

КОНТИНЕНТ

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNET CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

82



Бунтовщики.
Смутьяны.
Воры.
Поскольку так оно
и есть —
про ум, про совесть
и про честь
напрасны
наши
разговоры.
Никчемна наша
болтовня...

Владимир Салимон Ион Друцэ

Висевший на рожнах
бык истекал кровью.
Он все еще продол-
жал следить за под-
носом, но дыхание
приближающейся
смерти уже косну-
лось его, и он взре-
вел так, что сотряс и
храм, и площадь, и
саму гору, на кото-
рой стоял храм. Ве-
ликая боль, и обида,
и прощание с этим
миром вырывались из его гортани...



Искушением для Церкви являются структуры, построенные со-
гласно мирским принципам: принципу иерархии и власти. Иерар-
хии как подчинения, как порабощения, как унижения; иерархии,
оттесняющей чужих и ненужных.

Митрополит
Антоний Сурожский

Когда пишешь, отдаешь себе отчет в том, что твоею рукой движет ребенок. Здесь действует именно сила детства... Упрек, который я предъявляю современным романистам, в том, что они не верят в истории, которые рассказывают, они считают себя слишком умными. Ребенок абсолютно верит своим историям. Это для него сушая правда...



Жюльен Грин Сергей Параджанов

Недоверие - удивительная обида, с недоверием связана целая судьба и короткая жизнь художника... Когда я не мог делать картины, мне давали, а вот когда я умею, мне не дают... Я считаю, что если в 40 лет тебе не доверяют как художнику, то и на том свете будут не доверять...



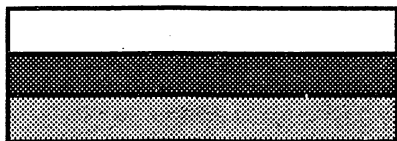


**ИНКОМ
БАНК**

**Журнал издается при содействии
ИНКОМБАНКа**

КОНТИНЕНТ

*Литературный, публицистический
и религиозный журнал*



Выходит 4 раза в год

МОСКВА • ПАРИЖ

82

КОНТИНЕНТ — CONTINENT

Издатели:

Редакция журнала "Континент"
Ассоциация друзей журнала "Континент"
(Париж, Президент Ассоциации и основатель-
учредитель журнала "Континент"
Владимир Максимов)
Издательство "Московский рабочий"

Адрес редакции: 101923, Москва,
Чистопрудный бульвар, 8а.
Телефон: (095) 928-97-42
Факс: (095) 201-57-41

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются,
и в переписку по этому вопросу редакция не вступает.

Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции,
не рассматриваются.

При перепечатке наших материалов ссылка на "Континент"
обязательна.

Авторы несут ответственность за достоверность
приводимых ими фактов и цитат.

© ТОО "Журнал "Континент"

© Название журнала "Континент" — В.Е.Максимов.

Главный редактор: Игорь Виноградов

Зам. главного редактора: Игорь Тарасевич

Ответственный секретарь: Сергей Юров

Редакционная коллегия:

Василий Аксенов ● Виктор Астафьев ● Ценко Барев ●

Александр Блок ● Армандо Вальядарес ●

Галина Вишневская ● Георгий Владимов ●

Ежи Гедройц ● Густав Герлинг-Грудзинский ●

Пауль Гома ● Алла Демидова ●

Милован Джилас ● Вячеслав Иванов ●

Фазиль Искандер ● Оливье Клеман ●

Роберт Конквест ● Наум Коржавин ●

Эдуард Кузнецов ● Николаус Лобковиц ●

Эдуард Лозанский ● Эрнст Неизвестный ●

Жорж Нива ● Амос Oz ● Ярослав Пеленский ●

Виктор Спарре ● Витторио Страда ● Карл-Густав Штрем ●

Юлиу Эдлис ● Сергей Юрский ●

Представители "Континента"

- Израиль Юлия Эйдельман
Hashaftim 22
64365 TEL-AVIV, ISRAEL
☎ (03) 69-67-375
- Италия Джулия Филиппелли
Via Olmetto, 5
20100 MILANO, ITALIA
☎ (2) 86-45-47-23
- Канада Ольга Бутенко
1221, Boul. Rene Levesque
SILLERY QC G1S1V8, CANADA
☎ fax (418) 688-1221
- США Эдуард Лозанский
3001 Veazey Terrace, N.W
WASHINGTON, D.C. 20008 USA
☎ (202) 362-7855
- Франция Татьяна Максимова
9 rue Lauriston, 75116 PARIS, FRANCE
☎ (1) 45-00-67-56
- Швейцария
Женева Жан-Филипп Жаккар
104 rue de Carouge
1205 GENÈVE, SUISSE
☎ (22) 321-4052
- Берн Юрий Гальперин
Scheuermattweg 14
3007 BERN, SUISSE
☎ (31) 459-463
- Япония Госуке Утимура
Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7
189 TOKYO, JAPAN

СОДЕРЖАНИЕ

Владимир САЛИМОН	
<i>Злосчастный фаталист. Стихотворения</i>	9
Ион ДРУЦЭ	
<i>Жертвоприношение. Повесть</i>	12
Лариса МИЛЛЕР	
Два стихотворения	76
Илья МИТРОФАНОВ	
<i>Стена. Повесть</i>	77
Кирилл КОВАЛЬДЖИ	
<i>Международная валюта. Стихотворения</i>	135
Владимир РОТОВ	
<i>Возвращенное время. Рассказы</i>	138
РОССИЯ	
Вера БОКОВА	
<i>Апология декабризма</i>	160
Анатолий АЗОЛЬСКИЙ	
<i>Кто убил Кирова. (Опыт домашнего расследования)</i>	179
ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ	
Валентин ХАЛИЗЕВ	
<i>Один из «китежан»</i>	206
А.А. ЗОЛОТАРЕВ	
<i>Вера и знание</i>	216

РЕЛИГИЯ

К 80-летию митрополита Антония Сурожского

Александр КЫРЛЕЖЕВ

Митрополит Антоний Сурожский — «заезжий православный миссионер» в России 229

Митрополит АНТОНИЙ

Интервью журналу «Континент» и выступление «Иерархические структуры Церкви» 246

ГНОЗИС

Сергей ЮРОВ

Лицо, пожелавшее остаться неизвестным 254

Марина КУДИМОВА

Длинное путешествие, или Костик из Седьмой бездны 257

ПРОЧТЕНИЕ

Илья СЕРМАН

Взгляд издалека 271

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Будущее надо вновь придумать. Интервью с Жюльеном Грином 297

ИСКУССТВО

Сергей ПАРАДЖАНОВ

Выступление перед творческой и научной молодежью Белоруссии 1 декабря 1971 года. Запись из архива ЦК КПСС 305

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

«КОНТИНЕНТА» 328

РАЗНОЕ

1. С. Сошинский. Надежды и тревоги о России. 355

2. От редакции 366

ЗЛОСЧАСТНЫЙ ФАТАЛИСТ

И.М.

Все то, что на плечи взвалил,
все скинул с плеч долой.
Одной полой смахнул Памир,
Таймыр — другой полой.

Москву стряхнул я, как слезу.
Когда протер глаза,
узрел: нет веры ничему —
пустынны небеса.

Во всей Вселенной ни души.
Должно быть, даже Бог,
творящий подвиги свои
в пустыне, одинок.

Случайной встрече не бывать.
Но если — иногда —
песок скрипит, шуршит трава,
в ручье журчит вода...

Что означает ветерок?
Лишь ток воздушных струй?
А в сердце — нож, а пулю — в лоб,
а в губы — поцелуй?!

**Владимир
Салимон**

— родился в 1952 году в Москве. Окончил географо-биологический факультет Московского государственного педагогического института. Автор книг стихов «Городок» (1981), «Уличное братство» (1989), «Страстная неделя» (1989), «Невеселое солнце» (1994).

Дорога втягивает нас
в немислимую авантюру —
минуя Тулу и Шатуру,
на то и Влас — чтоб пучил глаз.

Федот сидел, разинув рот.
А Дормидонт развесив уши —
народ, который шьет и жнет,
но все ж охотней бьет баклуши.

Я сам весь день смотрю в окно
бессмысленно и бесполезно.
Коровник. Пастбище. Гумно.
Меж них развершаяся бездна.

Оттуда слышен шум и гам.
Скрип расползающейся тверди.
И кажется со страху — там
безбожников пытаются черти.

Их стоны мой терзают слух.
О, как становится мне жутко,
когда под утро — вдруг петух,
собака, кошка...
треск и стук
без умысла и без рассудка.

Главы повинной не секли,
но в дело шли носы и уши.
Окровавленные Хлопуши
от боли корчились в пыли.

Бунтовщики. Смутьяны. Воры.
Поскольку так оно и есть —
про ум, про совесть и про честь
напрасны наши разговоры.

Никчемна наша болтовня.
И все брошенное слово —
бессмысленно и бестолково —
ничуть не трогает меня...

Один как перст, средь бела дня,
прикрыв измученное тело
полуистлевшею дохой,
на раскладушке мой герой
сидит с лицом белее мела.

Во сне он плачет без конца
или смеется без причины.
Смех — это признак дурачины.
Примета верная глупца.

* * *

Ни дождь, ни град, ни снегопад,
но — неизвестно что...
Вино, пролившись на пиджак,
дыру прожжет в пальто.

Мой друг, который о стихах
сегодня ни гу-гу,
давным-давно живописал
мне дырочку в боку.

Сегодня я и сам-с-усам.
Я знаю — все не так,
а пули след — лишь тайный знак
причастных небесам.

Самоубийца, дуэлянт,
злосчастный фаталист,
мой друг, который вусмерть пьян, —
всяк перед Богом чист.

И я, готовый преступить
последнюю черту,
как всякий чудик, всякий псих —
борюсь за чистоту.

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ

ПОВЕСТЬ

Милости хочу, а не жертвы.

Ветхий Завет.

От одной крови Бог произвел весь род человеческий.

Новый Завет.

Израиль сгорал заживо. Шел уже седьмой месяц после первого цветения — и ни капли дождя. Погибли и посевы, и горные пастбища, и одинокая смоковница при дороге. Каждое утро глаза измученного народа устремлялись ввысь, но выгоревшие от зноя небеса оставались пустыми, как глаза покойника, и ни тучки, ни ветерка, ни надежды никакой. И еще одна душная ночь, и еще один день ада. Пылит растрескавшаяся земля, солнце раскаляет скалы так, что за ночь они не успевают остывать, и под утро, если выпадет роса, низины и ущелья наполняются теплыми парами и туманами.

Что будем делать? — спросил у своих старейшин народ Израиля, собравшись в святой город Иерусалим. Что будем делать? — спросили старейшины у членов синедриона. Что

**Ион
ДРУЦЭ**

— родился в 1928 году в селе Городище (Дондошанский район, Молдавия). Окончил Высшие литературные курсы. Автор многих книг прозы, и драматургических произведений, получивших широкую известность. Публикуемая повесть представляет собою часть более обширной работы, посвященной апостолу Павлу

будем делать? — спросили члены синедриона у первосвященника Анны. Господи, что нам делать? — спросил в отчаянной молитве первосвященник Анна. Народ тем временем ждал на площади.

После молитвы, длившейся день и ночь, старец вышел к собранию и сказал: — Израиль согрешил перед Господом, и он должен принести жертву за содеянный народом грех.

Слова первосвященника принесли измученному народу некоторое облегчение, и, действительно, уже ночью, накануне жертвоприношения, над Иерусалимом неожиданно спустилась предгрозовая духота, и по горизонту растянулись караваны тяжелых туч. Всю ночь в переполненном храме молился народ. Господи, нету мира в костях моих от грехов моих! Господи, да польются дожди благодати над землей обетованной...

А на рассвете по мраморным ступеням Иерусалимского храма в окружении стражников и погонщиков уже поднимался редкой красоты и породистости бык. Грозный на вид, с раскинутыми в добрый человеческий обхват рогами, он послушно шел, куда его вели, и были поразительными его покладистость, его старание быть хорошим быком при хороших людях.

Возгласами восторга встречали его иудеи, стоявшие вдоль мраморных анфилад. Вот оно, спасение наше, передавали шепотом друг другу и при этом придиричиво разглядывали быка, чтобы ненароком не нарушить Закон. Приносимое в жертву животное должно быть без порока, порчи или изъяна. Глаз у иудея цепок и зорек, когда дело касается веры; но нет, ни у кого из потомственных скотоводов не повернулся язык сказать о быке худого слова.

Многих, верно, смущала редко встречающаяся, дымчатая масть. Однако по мере того как собирались тучи над городом, бык все время темнел. А на самом верху, там где мраморная лестница упиралась в небо, на миг выглянуло солнце, и, купаясь в его лучах, бык вдруг запылал ярким пламенем, чем привел в неопишуемый восторг рассыпанный по склону холма народ. Господь призрел нашу жертву! Господь готов ее принять, говорили друг другу.

У Золотых ворот озадаченный бык остановился. За воротами, на небольшую площадь, открывающую вход в храм, был вынесен Главный Алтарь Израиля. Догорающие угли слабо дымились подбрасываемыми в них благовониями. Пе-

ред жертвенником стоял престол первосвященника, отлитый из чистого золота, украшенный семисвечником. На некотором расстоянии от престола был поставлен наскоро сколоченный деревянный помост; чем-то это сооружение не понравилось быку, и взошел он на него с большой неохотой.

На площади, перед храмом, собрался весь Израиль. Усохшие от постов и постоянных ссор старейшины, всезнающие, неподкупные члены синедриона, книжники и мученики за веру, певчие, паломники, больные и убогие, доставленные сюда Бог весть как, Бог весть откуда. Теснота становилась угрожающей. Первосвященник подал знак служителям закрыть доступ на площадь, но в это время в воротах появились двое римских всадников; остановились, чтобы наблюдать. Ворота остались открытыми.

Главная площадь Израиля замерла. Жертвоприношение было, по иудейским представлениям, главной молитвой, венцом веры, прикосновением к Божественной вечности, и единственный, кто пребывал в совершеннейшем спокойствии, был зачинатель всего этого действия, первосвященник Анна. Он был уже преклонного возраста, и часто, в самое неподходящее для этого время, засыпал. Вот и сейчас в ожидании, когда хлопоты улягутся, присел на заготовленные для всеожжения дрова, и ненароком соснул.

А между тем бык принадлежал к тому типу быков, которые не терпят неопределенности, и, взойдя на помост, стал оглядываться, как бы вопрошая — ну, что? Все ли готово? Все ли в сборе? Оказалось, все готово, все в сборе, и он воинственно замычал. Он был готов к бою, но он честно предупреждал, он даже как-будто угрожал кому-то, и как только он перешел к угрозам, старец проснулся.

Долго оглядывался, соображая — где, каким образом, почему? Оказалось, сидит он на кучке дров, перед главным храмом. Над Израилем свирепствует засуха. Истрадавшийся народ собрался принести Всевышнему жертвоприношение за содеянный грех. Спихватившись, первосвященник поцеловал висевшую на его груди золотую табличку с именем Господа, после чего решительно поднял руки, приглашая помочь ему встать.

Бык с интересом следил за тем, как двое молодых священников вместе со старцем, все одетые в черное, приближаются к нему. Поднявшись на помост, первосвященник принялся придиричиво, дотошно изучать жертвенное живо-

тное. Видно было, что он знает толк в этом деле. Обойдя быка вокруг, полазил под ним, подергал за хвост, заглянул в зубы, покопался там, где другой и постеснялся бы, пока, помимо воли, не вырвалось из него на всю площадь:

— Чудо, а не телец!

Подошел к золотому престолу, омыл персты, помолился, зажег свечи. Тем временем священники надели на него пурпурную торжественную ризу, украшенную драгоценными камнями. Потом, отойдя, поклонились и замерли. Наступало время главной молитвы.

Человеку, даже если он первосвященник, не просто добираться до Господа Бога. Обратив лицо к нависающим над городом грозовым тучам, первосвященник дрожащим голосом воззвал:

— Господи! Обетованная земля превращается в пустыню, и избранный Тобою народ погибает! Мы исчезаем от гнева Твоего, и от ярости Твоей мы в смятении! Ты положил беззакония наши пред Собою и тайное наше пред светом лица Твоего! Прости грех народу Твоему, как Ты прощал народ сей от Египта доселе! Босыми ногами проложили мы тысячи тропок в каменистых горах, собираясь в Твой Дом, и первая молитва наша — помилуй нас, Боже! В знак глубокого покаяния согрешивший народ приносит Тебе сегодня жертву всеожжения. Прими ее, и отпусти нам грех наш!..

— Омен, — заключил синедрион.

— Омен, — подали свой голос старейшины.

— Омен, — выдохнул народ.

Вернувшись на помост, Анна возложил руки на голову быка, и следом за ним все старейшины Израиля, поднимаясь по очереди на помост, тоже возложили свои руки на голову быка. Тем временем Носитель Смерти, здоровенный, смурной на вид саддукей, подошел с левой стороны первосвященника с подносом, на котором было разложено около дюжины ножей. Стоявший на площади народ поспешил прикрыть лица бахромой белых тюрбанов, которыми в ту пору иудеи покрывали головы.

Первосвященник на ощупь отобрал нужный для первого удара нож. Как только рука коснулась рукоятки, как только он к ней прилачился, вращая в нее, слабым румянцем покрылись наполовину омертвевшие щеки. Расширились

ноздри, спина предприняла попытку выпрямиться, дикий азарт воина и охотника зажег его выцветшие глаза.

— Коли!

Бык вздрогнул и, опустив голову, нацелился в сторону Носителя Смерти. Первосвященник осуждающе посмотрел на нетерпеливого саддукея, и ноженоситель повинно опустил голову.

— Господи, да падет эта жертва к подножью престола Твоего!

Как только последние пред закланием слова были произнесены, дюжина молодых священников, оттеснив от быка погонщиков, повисла на нем. Бык спокойно принял неудобство и лишний вес. Каким-то непостижимым чутьем он уловил, что главная опасность исходит от подноса, который Носитель Смерти держит на вытянутых руках, и потому, не отрывая глаз, следил за ножами.

Дыхание приближающейся грозы взбудоражило площадь. Все замерли в ожидании великой благодати, и когда казалось, что дождь вот-вот зальет город, тяжелые тучи взорвались оглушительным громом. Гигантская змеобразная молния распоролла небо от Иордана до самого моря.

Грохот и слепящий свет пробудили в мирном быке дикого зверя. Вмиг разметав висевших на нем священников, бык рванулся вон.

— Сомкни!!

Острые рожны вонзились в бока бунтующего животного, замкнув его в своеобразную смирительную рубашку. От боли и неожиданности бык как встал на дыбы, так и замер, подпираемый со всех сторон.

— Коли!!

Удар был точный и глубокий. Кровь брызнула прямо на золоченую ризу.

— Заколот с одного удара, — оповестил Носитель Смерти, с восторгом глядя на престарелого первосвященника.

Висевший на рожнах бык истекал кровью. Он все еще продолжал следить за подносом, но пока он за ним следил, дыхание приближающейся смерти коснулось его, и он взревел так, что сотряс и храм, и площадь, и саму гору, на которой стоял храм. Великая боль, и обида, и прощание с этим миром вырывались из его гортани. Жертвенному реву с вершины горы ответили стада, ожидавшие своей очереди внизу, у овечьих ворот; их общий рев разошелся

по ущельям, множась вместе с порожденным им эхом и будоража все живое.

— Хана, это у него предсмертное, — сказал Носитель Смерти.

— Надо думать, — произнес не совсем уверенный в этом главный погонщик.

Но время шло, бык ревел и ревел и все не падал на помост. Переполненные влагой тучи стелились так низко, что, казалось, вот-вот залягут на верхушки соседних гор, а дождя все не было. Похоже было, что великое благо небес и на этот раз обходит Израиль стороной. Духота спала, отчего-то посветлело, на окраине Иерусалима запели петухи. Темно-красные, слабо дымящиеся ручейки бежали по шершавым доскам. Служители храма особыми лопатками возвращали те ручейки обратно, ибо, согласно Закону, кровь приносимого в жертву животного должна быть сожжена вместе с помостом.

Время шло, бык обливался кровью, душераздирающе ревел и не падал. Тяжелые тучи, караван за караваном, покидали небо земли обетованной. Теперь дожди пройдут над солеными водами моря, а иудина земля останется догорать под солнцем. Так решили небеса. Жертвоприношение не состоялось, конец мукам не наступил. И опять над святым городом обесцвеченное небо, пыль, жара и дыхание конца света...

Задрав шершавую в росинках морду, бык вопрошал небеса, почему в самый прекрасный, в самый свой счастливый день, он должен прощаться с жизнью.

Ужас охватил святой город. Что если бык так и не свалится на помост? Что если Господь не примет жертву, не простит всенародного греха? Обычно в минуты всеобщей растерянности и смятения находится некий смельчак, который, выделившись из толпы, берется сам вернуть события в разумное русло, но где, где он, этот единственный?..

Однако молодой член синедриона по имени Гамалиил, наставник будущих раввинов, подошел к остолбеневшему возле престола первосвященнику. Помог ему дойти до облюбванной им кучки дров и присесть. О чем-то попросил, на что первосвященник охотно согласился. Вернувшись к помосту, на котором без усталости ревели бедное животное, Гамалиил достал из-за пазухи большой белый платок, закрыл им кровоточащую рану. Как ни странно, его участие,

его спокойные, разумные движения несколько успокоили быка. Оставались, правда, погонщики, которые не давали быку вздохнуть, и Гамалиил сказал им:

— Отпустите.

— Разнесет, — возразил Носитель Смерти

— Отойдите.

— Сокрушит! — подтвердил главный погонщик.

— Изыдите!! И ты, с подносом, сгинь!

Как только они отошли, бык успокоился, свободно вздохнул, доверившись человеку. Гамалиилу понадобился помощник. Священники храма, озадаченные тем, что жертвоприношение сбилось с установленного ритуала, не выказывали готовности идти на помощь, и тогда Гамалиил бросил взгляд в тот уголок, где стояли, окаменев, будущие раввины. Сделал им знак подойти, но они были еще совсем детьми. Опустив головки, они переминались с ноги на ногу. И тут, ко всеобщему восхищению, самый маленький и неказистый из них, рыжий мальчик с непомерно большой головой, подбежал и встал рядом.

— Здесь я.

Народ выл от восторга. Нет, еще жив избранный Богом народ и жив будет, пока такие малютки бросаются на помощь. Кто бы мог тогда знать, что этому рыжему мальчику с большой головой суждено стать одним из величайших сынов человечества, что ему, апостолу язычников, будут посвящены храмы, а вопящий от восторга народ отречется от него и даже через две тысячи лет будет называть его ренегатом?..

Впрочем, жизнь мальчика была еще в самом начале. Народ продолжал вопить от восторга, и учитель сказал:

— Держи крепко, Саул! Обеими руками держи! — повторил Гамалиил, передавая платок, закрывавший рану. Мальчик держал крепко, на него можно было положиться, и Гамалиил подошел к престолу, омыл руки. Вернувшись на помост, возложил руки на голову быка и помолился. Это был тот же псалом, но, озвученный другим голосом, другой верой, прозвучал так, точно это была совсем другая молитва, сотворенная по другому поводу.

— Омен, — произнес в глубоком смирении народ на площади.

После некоторого раздумия к нему присоединился и синедрион, и старейшины, и сам первосвященник.

И тут, в наступившем умиротворении, бык послушно опустился на передние колена. Некоторое время прилаживался, как бы выбирая место, чтобы поудобнее улечься, и рухнул так, что затрещали доски помоста.

Теперь наступал черед первосвященника. При помощи Гамалиила и маленького ученика он подошел к заколотой жертве. Омочил персты теплой кровью и, согласно закону, семь раз окропил храм, занавес, жертвенник и престол. Заполыхали дрова, и опять появился Носитель Смерти с подносом. Подбежавшие священники мигом разобрали ножи и принялись разделять тушу, чтобы, согласно Закону: «...весь тук его, тук покрывающий внутренности, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник печени, все отделить и сжечь на жертвенном огне всесожжения...»

На следующий день в Хранилище Духа и Буквы Закона ученики Гамалиила вместе со своим учителем разбирали премудрости царя Соломона. Урок шел с трудом. Учитель, давая задание на толкование изречений великого мудреца, думал о вчерашнем жертвоприношении; вызванные пары учеников, которые, по традиции, должны были в форме диалога, как бы споря меж собой, высвечивать глубины соломоновых изречений, тоже оставались во власти дня минувшего. К тому же, в глубине зала маленький тарсянин, герой вчерашних событий, как вошел, так и продолжал стоять.

— Сын мой, ты почему на ногах?

Поклонившись, после некоторого колебания Саул ответил:

— Отбываю наказание.

— В чем оно?

— Весь день простоять на ногах.

— И кто это тебя так жестоко?..

— Сам себя.

— За какое именно прегрешение?

— Можно мне не отвечать на твой вопрос?

— Конечно, ты можешь на него не отвечать, но истинный муж Израиля, каким ты себя показал вчера на площади, перед всем народом, несомненно бы ответил.

— Вчерашний вот день, он и стал днем моего падения...

— Возможно ли, чтобы день славы совпал со днем падения?

— Очень даже возможно!

— Расскажи, как произошло падение.

Мальчик долго разглядывал отделанные мрамором своды. Господи, как Ты далек и как трудно нам по пути к Тебе...

— Вчера, — сказал мальчик несколько изменившимся голосом, — после всего того, что было на площади, мне вдруг понравилось, что меня хвалят. И вместо того, чтобы вернуться домой и в молитве отблагодарить Господа, я стал расхаживать по городу. Меня всюду узнавали, хвалили безо всякой меры, но к вечеру мне и этого было мало; я вышел к городским воротам.

— И долго там простоял?

— До темноты.

— Узнавали? Хвалили?

— Самыми великими словами! Но, возвращаясь в дом сестры, я вдруг вспомнил, что не отблагодарил Бога за этот день. Мне стало стыдно за свою слабость, и я дал обет весь следующий день простоять на ногах.

— Наказание справедливое, хотя излишне суровое. Если хорошо, с сердцем помолиться, можно было вымолить у Господа прощение.

— Об этом я тоже было подумал, но что делать человеку, если он потерял молитву?..

— Как, ты потерял молитву?! Где именно?

— Вчера на площади.

— А что значит для тебя потерять молитву?

— Горе одно. Вскидываю руки, произношу слова, не отрывая глаз от небес, а предо мной все тот же окровавленный бык. Он так долго за мной ходит, что мне стало казаться, будто между вчерашним и сегодняшним днем ночи и вовсе не было. По мне, день вчерашний еще не закончился, а сегодняшний еще не наступил.

Гамалиил стоял в некоторой растерянности. У этого маленького тарсянина был врожденный дар произносить вслух то, что носится в воздухе. И жалко было его, потому что такие люди обычно своей смертью не умирают...

— Что тебе в том вчерашнем дне, сын мой?

— Не могу его вместить. Не могу осмыслить. Я даже не знаю толком, что было вчера на площади.

— Вчера, помнится, была принесена жертва от имени народа. Весь Израиль собрался перед храмом выпросить у Господа прощение за содеянный грех.

— Господь принял жертву? — спросил мальчик из Тарса.

— Кто про это может знать? Будем надеяться и уповать.

— А если Господь принял жертву и простил народ, почему тучи ушли?

— С Господом, сын мой, не торгуются. Наш долг принести жертву и вознести молитву за содеянный грех, а дожди пойдут, когда на то будет воля Всевышнего.

— А если с Господом не торгуются, почему весь народ, произнеся молитву, не отрывал глаз от туч и, когда они сбросили свою влагу далеко над морем, даже сам первосвященник Анна...

— Сын мой, тебя так занимает вчерашний день?

— Я болею им, равви. Вот здесь, в горле, стоит.

Учитель подошел и долго, проникновенно, пытливо вглядывался в его лицо. Был он еще совсем мальчик, этот тарсянин, но странным образом в его словах и поступках временами прорывалась решимость не просто верующего духа, но духа, созидającego свою веру... С такими учениками тяжело, без них невыносимо. Весь Израиль был заключен в этом мальчике с непомерно большой головой, и это внушало особое к нему уважение.

— Хорошо, — сказал Гамалиил после некоторого раздумия. — Вечером, после молитвы, мы покинем храм вместе и дорогой обговорим события вчерашнего дня.

— Мы все тебя проводим! — хором завопили со всех сторон.

— Разве ваши души тоже смущены событиями вчерашнего дня?!

— И угнетены, равви! Угнетены до невозможности!!

— По правде говоря, — сознался учитель, — мой дух тоже пребывает в некотором смятении, и если устами нашего тарсянского друга Всевышний возвращает нас к тому, что происходило вчера на площади, да свершится воля Его.

— Омен! — воскликнули в восторге ученики.

— Омен, — подтвердил учитель.

Медленно и долго, затем еще медленнее и еще дольше учитель выгуливал свои сомнения меж двумя каменными скамейками, полными учеников. Господи, разумно ли такой тяжелый груз как грех, содеянный народом, погрузить на их слабые плечики? Но если пытаться большую правду

подменить небольшими истинами, что мы вырастим вместо себя? Кому мы оставим свою веру, своего Бога, свою землю обетованную?

Собрался было уже в десятый раз пройти все тот же круг, как вдруг на полушаге остановился.

— Дети мои! Блуждая по древу жизни в поисках смысла, мы каждое исследование должны начать с корней. В корнях заложены и сила, и срок, и смысл дерева.

— А плоды? — спросили дети.

— Конечно, — согласился Гамалиил, — хорошо вкушать спелые плоды, сидеть в тени дерева в жаркий полдень, слушая шелест листвы, однако все эти блага суть радости только одного дня. Истинное же дерево рассчитано на долгие годы, иные на века, а прошлое и будущее всякого плодоносящего дерева — в его корнях. Мудрые народы живут вчерашним, сегодняшним и завтрашним днем; только в этом триединстве жизнь полна, и эта полнота заложена в корнях.

— Можно ли Израиль уподоблять древу?

— Можно и должно.

— Но тогда мы — древо, избранное Богом?

— Конечно, мы избранное Господом древо, но посаженное Им на перекрестке всех бед и потрясений. А деревья, растущие на перекрестках, должны более других заботиться о своих корнях. И потому нам заповедано Господом все время возвращаться в свое прошлое. Там обрели голос трубы наших побед и там лежат печальные черепа наших поражений. Там и тогда нас Господь возлюбил; там и тогда мы согрешили...

Наверху, в престольном зале, завершая утреннюю молитву, певчие распевали псалмы. Молитвенная река, расцвеченная живыми голосами, омывала душу с такой живодарящей радостью, что Гамалиил замер.

— Что прекрасно, то и Божественно, — сказал он после того, как хор сошел в безмолвии. — А что Божественно, то и прекрасно.

Некоторое время слышен был гул хористов, покидающих зал, затем воцарилась обычная храмовая тишина.

— Закон о жертвоприношениях, — тихо, чтобы не вспугнуть опустившуюся тишину, начал Гамалиил, — поначалу имел несколько иной смысл. Но со временем все меняется.

— Что именно? — спросили дети. — Смыслы?

— И смыслы меняются. И Богоизбранный народ, выведенный некогда из Египетского плена, тоже во многом изменился.

— Мы были мудрее?

— Дело не столько в том, что мудрее, сколько в том, что — другие. В те времена Богоизбранный народ жил главным образом скотоводством. А между пастырем и его стадом испокон веку существуют удивительные, почти родственные отношения. Как известно, любой хозяин радеет о своей скотине, о ее пропитании, о ее размножении. Глубоко переживает порчу или потерю в стаде, устраивает праздники и увеселения при нарождении молодняка. В Святом Писании пастухи и стада чуть ли не на каждой странице. Все наши цари и пророки были поначалу пастухами. Даже Моисей, патриарх Богоизбранного народа, в молодости пас стадо своего тестя. Однажды молодая овечка, оставив стадо, понеслась по горам. Моисей побежал за ней. Так они и бежали вдвоем, пока овечка, наткнувшись на ручей, не припала к нему. Глядя на нее, Моисей почувствовался: «Бедняжка, мне и в голову не приходило, что тебе пить хочется! Теперь ты, должно быть, устала». Чувствуя себя виноватым, он взвалил ее себе на плечи и пошел в обратный путь. Господь Бог, видя, как он несет ее на себе, сказал: «Потому, что ты пожалел одну овечку, я дам тебе пасти целый народ...»

— Равви, — спросил рыжий мальчик из Тарса. — Что есть пастушество? Способ прокормить себя или высокое служение Господу?

— И то и другое, сын мой. Мы приручили домашних животных в далекой древности, но в большой степени и они повлияли на наши нравы и обычаи. Я даже думаю, что сама человеческая доброта родилась в загоне для скота. Пастырь уходил на долгие месяцы в горы, и стадо становилось его семьей, его родней, его смыслом жизни. Он давал имена своим козам и овечкам, знал все их слабости, у него даже был как бы свой язык общения с ними, и потому, когда, согрешив, или когда нужно было вознести молитву благодарения и древний иудей приносил жертву Господу, он вместе с тельцом или овном возводил на жертвенник самую большую радость, часть души своей. И уж если жертва была принесена за содеянный грех, то грех тот бывал отмыт раз и навсегда; а если жертва при-

носились в благодарность, достоинство той добродетели затем долго светилось в поступках и делах праведников.

Ученики окаменели вместе с каменными скамейками, на которых сидели. Они, конечно, понимали, что это не совсем обычный урок. Просто учитель прогуливался в Храменице Духа и Буквы Закона, размышляя о сокровенном, а им случайно довелось стать свидетелями его размышлений. И хотя многое из того, что учитель говорил, было еще недоступно для их понимания, они бережно собирали его слова, его интонации, уверенные, что когда-нибудь настанет день и они проникнут в их сокровенный смысл.

— Сегодня скотоводство не в почете, — размышлял между тем Гамалиил. — Иудеи живут молитвами и ожиданием Мессии. Если у кого есть нужда, работают по несколько часов в день, но не слишком. Тот пашет, иной на винограднике трудится, у другого ремесло на руках. При посещении храма для принесения полагающейся жертвы покупают у торговцев, толпящихся у ворот, животное, которое они никогда раньше не видели, не кормили, не поили, не радели о нем. И душа молящегося как бы в жертвоприношениях больше не участвует. Заплатили, закололи. Сожгли, помолвились и ушли. Закон остался тот же, но первоначальное его значение ушло. Потому, участвуя в жертвоприношениях, мы зачастую не столько замаливаем старые грехи, сколько совершаем новые. Может, еще более тяжкие.

— Возможно ли, чтобы мы вчера, участвуя в жертвоприношении, согрешили?!

— Очень даже возможно.

— Это нас и мучает?

— Грехи всегда мучительны.

Дети облегченно вздохнули и начали подниматься со своих мест. Слава Богу, их просветили. Вчерашний день вместо покаяния стал днем прегрешений. Что ж, осмыслив и запечатав день минувший, можно было, наконец, вступить в день нынешний; однако, похоже, учитель еще не закончил свою мысль и, стало быть, урок еще не закончен. Ученики послушно уселись на свои места.

— Но, положим, — миролюбиво допустил Гамалиил, прогуливаясь меж каменными скамейками. — Положим, мир не изменился со времен Моисея и сами мы несколько не изменились. Допустим, вчерашнего тельца мы сами взра-

стили от чрева матери его; сами пасли, лелеяли, и принесли в жертву от имени народа. Ну так давайте откроем свиток с Законом о жертвоприношениях.

— Каким числом? — спросил ученик, ведавший свитками.

— Наверху, третий узел справа.

Получив пергамент, поцеловал, поискал нужное место, и, пока искал глазами, лицо его медленно начало светиться. Вечность всегда прекрасна, и мы сами прекрасны в той мере, в какой прикасаемся к ней.

— Господи, благослови читающего. Имеющий уши да слышит: «Если же общество Израиля согрешит по ошибке, и скрыто будет от глаз собрания, и сделает что против Заповедей Господних, чего не надлежало делать, то, когда узнан будет грех, которым они согрешили, пусть от всего народа представят к жертвеннику тельца, беспорочного, но ни хромого, ни больного, ни с бельмом на глазу не приносите, ибо жертва ваша не будет принята...»

— Что было вчера нарушено? — спросили дети.

— Вот это-то я и хотел от вас узнать. Я еще раз прочту отрывок, а вы помыслите хорошо над прочитанным и скажите, какое именно место, по вашему разумению, было вчера нарушено.

Множество предположений, высказанных учениками, касалось в основном быка. Возможно, у него было то-то и то-то. Возможно, не с тех пастбищ, не из тех рук, не на те деньги. Гамалиил упорно отклонял доводы, приводя учеников в полное уныние. И вот школа будущих раввинов выдохлась. Сникла. Правда, там, в уголочке, продолжает молча отбывать наказание возмутитель спокойствия. Похоже, ему есть, что сказать, но не решается.

— Саул, можешь ли ты указать слова Закона, которые не были вчера соблюдены и которые привели наши души в смущение?

— Я знаю те слова, — твердо ответил мальчик.

— Укажи нам на них.

— Страшусь.

— Чего страшишься?

— Скалы позора, с которой могут меня низвергнуть.

— Не бойся. Мы вместе взойдем на ту Скалу. Говори.

— «Когда узнан будет грех».

— Да конечно же, дорогой мой мальчик, сын мой, конечно же! Закон предписывает принести Господу жертву от имени народа, когда узнан будет грех! То есть, когда прегрешение станет осознанным.

— Равви, что есть осознание греха?

— Дети мои, это самый тяжелый труд для духа человеческого. Я бы даже сказал, что осознание греха есть работа Божественного промысла внутри каждого из нас. Что есть свет и что есть тьма, что есть добро и что есть зло, что приближает, а что отдаляет нас от Господа — это предстоит решать нам самим, в одиночестве, каждый день, каждый час, каждую минуту. Только осознав грех, мы сможем освободить себя, восстановить свое общение с Отцом Небесным.

— Так, как это сделал Саул-тарсянин?

— Саул из Тарса вчера привел весь Иерусалим в восхищение, но мою любовь он заслужил сегодняшним признанием. Испытания постоянно разрывают нас на части, и только Дух Господний, заложенный в каждом из нас, пытается им противостоять. Осознание греха есть высшее просветление духа человеческого, но не каждому дано своими силами до этого дойти. Для того вы и учитесь в этой школе.

— То есть... Для чего?

— Для того, чтобы помочь себе и другим в осознании греха.

— Греха или грехов? — спросили ученики.

— Греха, — твердо заявил учитель.

— Почему так? Грех ходит не один; их тьма тьмушая.

— Сколько бы грехов на мне ни было, — сказал учитель, — я должен на сегодня выявить наиболее тяжкий, определяющий все мои прегрешения. И с тем единственным грехом предстать перед Господом.

— Почему так, равви?

— Потому что легко молиться Богу, прося отпущения всех грехов, надеясь, что все они тебе скопом и будут отпущены. Но увязать все вместе, это и значит не осознавать. А неосознанный грех не может быть прощен. Милосердием и правдою очищается грех, сказал Соломон, изречения которого мы сегодня пытаемся постичь. Грех, а не грехи.

— Равви, — спросил рыжий мальчик из Тарса, — откуда берется грех народа?

Эти рыжие, подумал Гамалиил, появляются на свет для того, чтобы мучить всех остальных.

— Всенародный грех, сын мой, есть заблуждение, сложенное из тысячи мелких заблуждений, не отпущенных в свое время. И проходят времена, иной раз века; эти мелкие заблуждения сливаются в единое русло народного греха, который начинает угрожать самим устоям, на которых был некогда воздвигнут народ. Многие царства, не осознавшие в свое время главный свой грех, сошли с лица земли, так что и их имена, и их традиции, и их обычаи канули в Лету.

— Учитель, — спросил тарсянин. — Осознание греха одним человеком завершается Божественным просветлением; а чем завершается осознание греха всем народом?

— Сын мой, так же как из множества заблуждений возникает единый грех народа, так же из множества просветлений воспламеняется единое всенародное озарение; а свет, он не для смерти, он для жизни дается Господом.

— Вчера на площади было темно?

— Когда небо в тучах, света меньше...

— И это было потому, что...

— Замолчи! — крикнул учитель ученику.

Саул честно попытался удушить в себе речь, но это было выше его сил.

— И это потому, что мы поспешили принести жертву, не осознав в чем грех нашего народа?

«Боюсь что этому мальчику-таки суждено умереть под градом камней... И жаль мне этого киликийского разбойника, очень жаль...»

Гамалиил долго, аккуратно укладывал свиток на свое место, но рыжий мальчик из Киликии, из самой воинственной провинции Рима, не собирался отступать. В конце концов вышел из своего угла, подошел к учителю, стал перед ним на колени и взмолился.

— Равви, тебе известен грех нашего народа?

— Я учитель, сын мой, а не пророк.

— Но у тебя есть подобие помышления?

— Подобие есть.

— Поделись с нами.

— Как делиться? Чем?

— Поделись, как делятся обычно хлебом в пути, когда путь долог, хлеба мало, но есть крошки и радость хлебодарящего.

Он меня погубит, этот маленький тарсянин, подумал про себя Гамалиил, выгуливая свои сомнения по той же дорожке. Хотя, если по правде, какой наставник не приносил себя в жертву ради своих учеников, и что может быть выше, что может быть прекрасней этого?

— Седьмой свиток с нижнего ряда. Не тот, соседний.

Получив, поцеловал. Глубоко вздохнул, опечаленный тлением свитков, на которых запечатлена вечность, и прочел:

«Давид поставил каменотесов, чтобы обтесать камни для Дома Божьего. И множество железа для гвоздей к дверям ворот и для связей заготовил Давид, и множество меди без веса, и кедровых деревьев без счета. Время шло, а начало строительства откладывалось. И сказал тогда Давид Соломону: сын мой! У меня было на сердце построить дом для Господа Бога моего, но было ко мне слово Господне, и сказано было: «ты пролил много крови, и вел большие войны, и ты не должен строить Дом имени Моему, потому что пролил много крови пред лицом Моим. Вот у тебя родится сын, будет он человек мирный...»

И умолк, аккуратно, благоговейно сворачивая святые листы.

— Равви, что из прочитанного мы должны считать главным?

— Пролитие крови. Запомните и передавайте детям, внукам вашим, что пролитие крови есть тяжкий грех. Это тот грех, который Господь Бог не прощает никому. Даже Давиду, любимцу своему, воспевшему Господа в псалмах, ставших нашими ежедневными молитвами. Но, нет! Ты пролил слишком много крови. Так сказал ему Господь.

— Но ведь, — сказал рыжий тарсянин, — проливают кровь штурмующие, но вынуждены проливать ее и защищающие крепость.

— Господь хорошо знал все войны, которые вел Давид, ибо Сам же и помогал ему в этих походах. Но Господь не склонен оправдывать одно кровопролитие другим кровопролитием, потому что от одной крови Бог произвел весь род человеческий.

— Равви, я не сойду с этого места, если ты не скажешь, в чем грех моего народа.

— Сын мой, мы грешны уже тем, что нам выпал на редкость тяжкий жребий. Кровь и слезы, кровь и чужбина — вот и вся наша история. Чтобы выжить, мы должны были проливать кровь, свою и чужую. И это еще не конец, потому что вот по нашим дорогам ходят чужеземные воины и на их знаменах языческие боги. Вы сами видели их вчера в воротах. Многие считают, что из-за них Господь не принял нашу жертву, и в тиши своих жилищ точат ножи, но ведь это может привести к неслыханному кровопролитию, к исчезновению с лица земли...

— Равви, — спросил опять мальчик из Тарса, — а верно ли то, что говорили вчера у городских ворот о тебе?

— А что они говорили?

— Будто ты один из тех, кто не переносит самого вида крови. Потому ты и поспешил вчера с платком.

— Верно, — сознался Гамалиил. — По природе своей я не выношу вид крови, но я достал платок потому, что мне стало жалко бедное животное, и потому, что я, в отличие от других, внимательно читаю пророков.

— И что там сказано о жертвоприношениях?

— «Милости хочу, а не жертвы». Так сказал Господь устами своего пророка. И незачем гонять красивого быка по мраморным лестницам после того, как были сказаны эти великие слова. И дабы вы их запомнили на всю жизнь, спойте за мной этот стих, и на этом завершим урок.

«Милости хочу, а не жертвы», — спели в один голос ученики и, поклонившись, стали спешно покидать Храбилище Духа и Буквы Законов.

Оставшись один, Гамалиил достал из-за пазухи большой белый платок. Вытер им руки, глаза, бороду, затем аккуратно сложив его вместе с усталостью, положил себе на макушку и замер.

«Господи, простишь ли Ты мне когда-нибудь прегрешения сего трудного дня?..»

Вдруг, подняв голову, увидел неподалеку все того же тарсянина.

— Чего тебе?

— Равви, мы не завершили урок молитвой. А это грех, потому что на тебе сегодня почтили и воля Божья, и Благодать Всевышнего.

— Как ты можешь про это знать?

— Я их видел. И слышал. И сам преисполнился Духом Святым.

Тяжело поднявшись, Гамалиил направился к Алтарю хранилища. Саул следовал за ним на некотором расстоянии.

— Позволь мне помолиться вместе с тобою.

Гамалиил указал ему место рядом. Оба опустили на колени.

— Господи, — тихо произнес учитель. — Без Твоего осенения мы никогда не дойдем до осознания своего греха. Прости нам заблуждения наши и не держи нас в одном загоне — хорошие и плохие, верующие и неверующие, любящие свет истин Твоих и предпочитающие темноту. А если иначе невозможно, и других загонов у Тебя нет, укажи нам, хотя бы изредка, на чей стороне Твое благоволение, иначе мы потеряем веру в правду Твою. И если вчера, из целого народа, тяжко согрешившего пред Тобою, нашлась одна чистая душа, которая прибежала ко мне на помощь, ради одной этой души напои благодатной влагой измученную нашу землю.

Той же ночью, при чистом голубом небе, ни с того ни с сего завернули с моря тучи и пошел обильный дождь, который шел до самого утра. На рассвете как бы утих, а после утренних петухов опять пошел и шел уже до самого обеда.

Богоизбранный народ торжествовал и славил Господа. К вечеру сыновья всех двенадцати колен собрались в Иерусалимский храм на молитву благодарения. Они принесли с собой богатые дары; первосвященник достойно их принимал.

Иерусалимский храм доживал свой век. В предместьях Рима уже бегал и резвился мальчик по имени Веспасиан, внук простого центуриона, будущий император, которому суждено будет огнем и мечом покорить бунтующую Иудею. Сын его, Тит, завершит работу отца, превратив Иерусалимский храм в развалины. Каким-то чудом уцелеет лишь небольшая часть фундамента, выложенная некогда Соло-

моном, и многие поколения иудеев, иной раз под страхом смерти, будут собираться сюда на молитвы, назвав этот осколок древности «стеной плача».

Нам не дано знать наше будущее, но без прикидок на завтрашний день мы не можем достойно прожить день сегодняшний, и может, поэтому какие-то древние наши инстинкты без устали молотят день и ночь в ворота грядущих времен. Иной раз удается-таки заглянуть в щелочку. По тем же законам, по которым в солнечный день муравейник, встревожившись, начинает таскать свое добро в надежное укрытие, учуяв, Бог весть каким образом, приближение бури, — по тем же законам Богоизбранный народ метался по горным тропкам, собираясь в свой главный храм, чтобы жертвами, постами и молитвами отвратить надвигающуюся беду.

Подчиненный римскому могуществу, выведенный из привычного русла небесных благодеяний, униженный в глазах мира и в собственных глазах, Израиль медленно сползал в пропасть. Спасти его мог один Господь, и, может, потому так страстно и ждали тогда прихода Мессии. Шли даже слухи, что Мессия уже пришел, он уже среди них, но до поры до времени не выявил себя, и ходит никем не опознанный. И, чтобы отвратить надвигающуюся беду, иудей, при встрече с другим иудеем, следил за каждым его шагом, за каждым словом, за каждым взглядом — не он ли Тот, которого так давно, так мучительно долго, с такой отчаянной надеждой ожидают...

Но Мессии все не было, и это увеличивало напряжение.

Многочисленные внутренние распри раздирали Израиль на части. Саддукеи видели спасение в беспрекословном соблюдении Закона и требовали побивать камнями каждого, хоть сколько-нибудь провинившегося. Более просвещенные фарисеи разными ухищрениями в толковании Торы пытались примирить строгости Моисеева Закона с миром, в котором так или иначе, а приходилось жить. Третья партия, зелоты, в спорах не участвовала; она день и ночь готовила восстание против владычества Рима, мало заботясь о том, что там, за тем восстанием, последует.

В эти тревожные времена в ощущении надвигающейся катастрофы, в жарких молитвах о скорейшем приходе Избавителя и проходила учеба будущих раввинов. Гамалиил трудился день и ночь в саду душ человеческих, стараясь

привить ученикам критическое мышление, — с тем, чтобы со временем они смогли очистить Закон, в котором среди многочисленных толкований и запретов зачастую трудно было отыскать святое зерно первоначального посева.

Очистить веру предков от бесконечных разъяснений и толкований, вдохнув в нее новую жизнь, — это всегда было главной заботой просвещенных умов Израиля, ибо в любые трудные времена, при поражениях и погромах, в плену и в изгнании, не меч, а дух Господень помогал народу выжить. И теперь, как никогда, вся надежда была на Всевышнего, потому что, иной раз тайно и скрытно, другой раз явно и открыто, но все настойчивее и упорнее эллинизм наступал на иудаизм. Эти две цивилизации, эти два мировосприятия не проявляли склонности ни к сосуществованию, ни тем более к взаимному сращению. Коршун несовместимости витал над каждым пятачком земли, на котором стояли эллины и иудеи. Казалось, они действительно разными богами сотворены. И если, например, краткость и афористичность были главной отличительной чертой и, возможно, высшим достоинством греческого мышления, то многословие и замысловатость Священного Писания иудеев, Талмуда, привели к тому, что со временем их совсем не в похвалу стали называть талмудистами.

Итак, склонный к мировой скорби иудаизм встречался лицом к лицу с более светлым и радостным мировосприятием эллинов. Легкие на подъем, любопытные и склонные к художественной импровизации, эллины проявляли больше готовности к взаимному сближению. Весь Иерусалим обошел рассказ о том, как некий эллин, пришедши к саддукеям в главный храм, сообщил, что готов принять иудаизм при условии, если они смогут объяснить ему, пока он будет стоять на одной ноге, в чем суть Моисеева Закона. Иудеи хотели выгнать его, но знаменитый фарисей Гилель, наставник Гамалиила, сказал эллину — не делай другому того, чего тебе не хотелось бы, чтобы другие сделали тебе. В этом суть Моисеева Закона. Остальное — комментарии.

Итак, постукались эллины. Открыл им Гилель.

Основанная Гилелем школа, которой теперь, после кончины ее основателя, руководил Гамалиил, представляла собой нечто похожее на школу при монастыре. Первая половина дня проходила в углубленном изучении Закона,

где Гамалиил был учителем и наставником. Вторая половина — в молельных залах храма, где Гамалиил был уже священнослужителем.

Будущие раввины молились, совершали обряды, выходили в приделы храма, чтобы участвовать в многочисленных спорах, ибо иудей ничего на веру не принимает. Ему все нужно подвергнуть сомнению, раскатать до основания, чтобы уяснить, что и на чем держится. Твердое основание и надежная крыша — вот что искала человеческая душа на протяжении всей своей истории. И ищет до сих пор.

В смутные, тревожные времена все спешат к главному очагу, к главной святыни. Иерусалимский храм бывал битком набит с утра до вечера. Паломники, евреи рассеяния, приносившие ежегодные пожертвования, странники, разносчики ложных слухов, самозванные пророки, смутьяны и еще Бог весть сколько разного люда заполняло что ни день приделы святилища, принося с собой груз непостижимых слухов, заблуждений и предрассудков.

Чтобы как-то очиститься от всего этого, раз в неделю, по пятницам, Гамалиил уходил в молитвенное уединение. Постились, в молитвах, и его ученики. Кто дома, кто в храме, кто в пещерах окрестностей. Сам Гамалиил предпочитал уходить по пятницам в малую пустыню, как он называл живописную возвышенность в восточных ущельях. При хорошей погоде брал с собой мешок со свитками для ученых размышлений, и этот мешок был заветной мечтой всех учеников школы.

Иной раз, то ли от усталости, то ли еще по какой причине, Гамалиил приглашал кого-нибудь из учеников помочь нести мешок и попоститься вместе. И уже тот, кого он выбирал, как бы вступал в особый круг избранных. Он уже знал немногим более того, что знала остальная школа, и видел то, чего другие видеть не могли. Ученики мечтали об этом приглашении, как мечтают о манне небесной, ибо, пробыв день с пустым человеком, ничего, кроме пустоты, от него не наберешься, а пробыть день с умным, мудрым, почти что святым человеком...

Трудно сказать, что в его душе творилось, но Гамалиил бывал на редкость скуп и разборчив, когда дело касалось приглашений. Неизвестно почему, приглашал в основном учеников замкнутых, молчаливых, нелюдимых. Должно быть, они легче приспосабливались к однодневному мол-

чанию, ибо весь тот день Гамалиил проводил без еды, без питья и в полном безмолвии.

К своему великому огорчению, Саул был из говорливых. И даже не то чтобы он особо много говорил, наоборот, он мог довольно долго держать слово в себе, но потом, в какую-то роковую минуту слова прорывали плотину. Происходило великое наводнение. И опять следовали дни, недели безмолвия, а что толку, если вся школа, да и сам Учитель, только и помнили, что о наводнениях.

Но, может статься, дело было вовсе не в его говорливости. Не исключено, что Гамалиил сам избегал этого маленького тарсянина, способного своими молниеносными вопросами нарушить покой дня, посвященного Господу. Мимоходом он ухитрялся без особых усилий разрушить многочисленные умные построения, над которыми трудились веками. Возможно, и сам Господь не давал Гамалиилу приблизить ученика к себе. Учителю опасно заводить любимых учеников, ибо зачастую любимые и предают, предоставив нелюбимым довести дело учителя до конца.

Так или иначе, а время шло, и только в последний год обучения, однажды во время уроков в Хранилище Духа и Буквы Закона, Гамалиил, гуляя по своему обыкновению меж двумя скамейками, полными учеников, увлеченно рассказывая о жизни пророка Экклезиаста, вдруг увидел маленького тарсянина, из последних сил вытягивавшего шейку из-за спин других учеников. Он, конечно, стоял, но этого было мало, и Гамалиил подумал, что бедный мальчик все эти годы простоял на ногах и вытягивал шейку только ради того, чтобы видеть лицо Учителя.

— А не наступил ли черед моему тарсянскому другу помочь мне донести мешок до малой пустыни? Сегодня какой день? Четверг? Что же... Завтра, Саул, даст Бог, и попостимся, и помолимся вместе...

Они покинули город задолго до восхода, ибо, согласно правилам отшельничества, пост считался полным только в том случае, если восход заставал постящегося на месте своего пощения. Некоторое время шли по большой Иерихонской дороге, потом свернули в ущелья, наполненные туманом и воем шакалов. На Саула эти вопли нагоняли невыразимую тоску. Они напоминали ему родные Тавры, семью, фалангу и ту странную смесь мощи и свободы,

которую дух человеческий обретает всякий раз, когда остается один на один с окружающими его горами.

Идти по узкой тропке с неудобной ношей — дело нехитрое для того, кто этому обучен. Саула, увы, этому не обучали, ему приходилось тут же, на ходу, постигать эту науку. Он постоянно натыкался мешком на острые скалы, спотыкался, падал, и его главной заботой было — не дай Бог уронить мешок со свитками. И еще раз споткнулся, и опять чуть было не упал. О, эти камни древней Иудеи! О них, право, стоит сказать особо.

Святой город на вершине горы окружен гигантской стеной белого с красными прожилками мрамора, точно это сама вечность, в которую примешаны страдания Богоизбранного народа. На своем веку и Иерусалим, и окружающие его стены выдержали столько осад и разрушений, что только город, хранимый Господом, и мог выжить. Его завоевывали и снова отвоевывали, крепостные стены разрушали до основания и снова возводили. У этих стен, должно быть, и родился знаменитый афоризм Экклезиаста — время разбрасывать и время собирать камни.

Последняя, Ирода, кладка светится еще и сегодня на вершине горы. Во времена смут и треволнений эти белорозовые монолиты стоят на страже цивилизации, отмечая, что мы можем на этой грешной земле, а чего не смеем и не должны сметь. Воистину святые камни, но...

Эти бело-розовые монолиты обладают одним коварным свойством, которым не обладают, скажем, песчаные или гранитные образования. Выдерживая огромные давления, иерусалимские камни если и уступят силе, то уж раскалываются на множество острых, как бритва, кусочков, мгновенно превращаясь в опасное оружие. Одним из таких камушков и сразил некогда Давид Голиафа.

За многие тысячелетия всевозможных обвалов и крушений острые камни рассыпались на огромное пространство, ими усеяны все горные тропы, напоминая путнику на каждом шагу о суровости Моисеевых Законов. Кто в силах сосчитать, сколько тысяч, возможно, повинных, а может, и невиновных погибло под градом этих камней, под улюлюканье беснующейся толпы, пока Спаситель не произнес свое знаменитое — кто из вас без греха, пусть первым поднимет камень...

Но вот, кажется, дошли. Внутри горного массива, на месте пересечений нескольких ущелий, уходящих в разных направлениях, многочисленные обвалы и оползни образовали небольшой холмик, который, веками обрастая кустарниками и дикими травами, превратился в чудесное место для пустынножительства. Находясь в сердце гор, вдали от мирской суеты, человек тем не менее из мира не уходил. Сквозь витиеватые ущелья открывались просветы во все четыре стороны света, а в хорошую погоду, в полдень, из глубины западного ущелья выглядывала даже часть Иерусалимской стены, что особенно согревало душу. Учитель, не проронивший за весь путь ни единого слова, дойдя до облюбованной им скалы, взял у Саула мешок, достал из него подколенную подстилку. У Саула не было с собой подколенной подстилки для молитвы, да ученикам она и не полагалась, и потому, достав из-за пазухи свой белый платок, подстелил его чуть поодаль.

Учитель посмотрел на него с укоризной и кивком указал место рядом с собой. Молились оба молча, про себя, едва шевеля губами. Изредка судорога глубинных чувств пробежала по ним одновременно, из чего можно было заключить, что они произносят одну и ту же молитву. Вдруг, обратя лица к небесам, оба глубоко, с болью, вздохнули. Еще один поклон в сторону Иерусалимского храма, и, востыив, по-братски поцеловались. Молитва окончена.

Расположив вокруг себя свитки, ученый углубился в свои исследования, изредка делая пометки мелком на каменном монолите, на котором полулежал. Саул, как это и полагалось в древности, сохраняя почтительное уважение к Учителю, устроился на валуне чуть поменьше и пониже. Полулежать в присутствии Учителя тоже было не принято, и потому, присев на прихваченный с собой узелок, Саул принялся исследовать окрестности. Горы прекрасны. Горы святые. Они присутствуют в иудейской истории на каждой странице. На одну из таких гор спустился Господь к Моисею, чтобы передать ему каменные скрижали с Заповедями, сказав при этом: «Я Господь, Бог твой... и да не будет у тебя других богов пред лицом Моим». Горы извечны, как ничто из созданного Господом, и потому, неся на себе печать вечности, печать Божественности, они превращаются в некий храм, в который душа входит с трепетом и смирением...

«О-ла-ла-ла...»

Детский солнечный крик, хмельная фаланга, с которой он блуждал некогда по Таврам, ворвались в этот храм, наполнив его веселым языческим гомоном; это было почти что святотатством, но изгнать их Саул не мог и не смел.

«Господи, прости незрелому духу моему скитания по недавним шалостям...»

Прошел час, и два, и три. Вокруг царство покоя, мира и безмолвия. Высоко в небе пролетела стая диких голубей. Они были белые, летели высоко, так высоко, что их почти не видно было, однако что-то заставляло поднять голову, искать их в бездонной голубизне. На лесистом склоне дикий зверь подал голос. И не потому, что на него нападали или он на кого напал. Просто так — подал голос, чтобы сообщить, что и он существует в этом мире, и от этого его желания выявить себя как-то теплела и светилась душа. И снова опускается неподвижная, жаркая, полуденная тишина. Слышно как далеко, на склоне соседней горы, мирно журчит ручей...

Какое это, в сущности, великое, Божественное чудо — долгий летний день, проведенный в посту, тиши и безмолвии! За один такой день можно перебрать всю свою жизнь и жизнь своих предков; прояснить все, что лежит мертвым грузом на сердце, простив все и вся, освобождая дух от кандалов обид и ненависти. Какие невероятные, воистину Божественные осенения посещают в течение такого дня! И кто знает, как бы сложилась мировая история, как бы выглядела сегодня карта мира, если бы мы сумели унаследовать от древних обычай уходить из мира суеты раз в неделю, на полный световой день, чтобы в посте и безмолвии поразмышлять над своей жизнью и жизнью окружающего нас мира...

— Равви! — воскликнул вдруг Саул, чем заставил Учителя вздрогнуть, ибо Гамалиил провел весь день в напряженном ожидании. Он был уверен, что тарсянина рано или поздно прорвет. К его великому удивлению, тарсянин провел день в полном безмолвии и только, когда солнце начало клониться к закату, не выдержал.

Чтобы не нарушить обет молчания, Учитель повернул ухо в сторону ученика, давая тем самым понять, что хоть и не очень охотно, хоть это и грешно, однако он его слушает.

— Равви, — повторил Саул. — Я встревожен тем, что дух мой все дальше и дальше уходит в ущелья. День поста на исходе, а душа моя все еще блуждает. Отчего так? — спросишь ты. На что я отвечу — если мечта есть полет духа в поисках подходящего для него обиталища, то горы — это родной дом моего духа!

Гамалиил, улыбнувшись, отложил мелок, которым делал пометки. Кто мог ожидать, что дух рыжего мальчика — это дикие, непроходимые горы!

— Вот, — продолжил Саул, — Бог создал Горы, образовал Землю, Реки и Моря. И Человечество, населяющее землю, создано Господом Богом. Все они, и Земля, и Воды, и Горы, и Человечество, носят на себе печать Творца Единого. Но почему, скажите мне, Гора с Горой не воюет, Река не поднимается на смерть против другой Реки, Море не вынашивает планы сокрушения других Морей и только Народы не могут ужиться, постоянно воюя, сокрушая и поднимаясь насмерть друг против друга?

Гамалиил был весь внимание. Воистину устами младенца... Он даже подался чуть-чуть вперед, как бы поощряя ученика продолжить нить своих размышлений.

— Возможно, это святотатство, но я все же спрошу — что есть у этих гор такое и чего нету у нас, чтобы мы тоже могли жить в мире и добром согласии меж собой?..

«О-ла-ла-ла..»

Саулу показалось, что Учитель тоже услышал этот клич. Боже, воистину грех лежит у порога! Оказывается, не храм духа, а заблуждения детства заставляют все дальше и дальше уходить в ущелья гор. Стыдно было перед Учителем. Поститься весь день для того, чтобы под вечер все потопить в детских шалостях... Нужно было немедленно наказать себя, дабы умиловить Господа. Саул быстро развязал принесенный с собой узелок, в котором лежали свалявшиеся шерстяные нитки. Он их всюду таскал с собой. Они помогали ему усмирить свой дух, прийти в себя, вернуть размеренный порядок мыслям. Конечно, было стыдно и унижительно в присутствии Учителя, в день пощения, перебирать эти вонючие нитки, ну да что делать, надо уметь унижать себя, чтобы помочь Господу усмирять дух твой.

Гамалиил с любопытством следил за трудами своего ученика, но вот он спустился со своего каменного массива,

отобрал у него нитки, мотки и все, что там еще было, сложив обратно в узелок.

— Почему ты это сделал? — спросил тарсянин.

— Распутывать слежавшуюся пряжу могут многие, — сказал Учитель. — Распутывать слежавшиеся понятия могут только отмеченные Господом. Говори.

— Вот! — воскликнул Саул и, вмиг воспламенившись, поднялся с камня, на котором сидел. — Над нами высокая, прекраснейшая гора. Скажем — это Эллины. Тот огромный массив пусть будет Египтом. Ну и далее — Персы, Сирийцы, Македоняне. У каждого своя гора.

Гамалиил согласно кивнул.

— Допустим, этим вечером приходит в мир Мессия и приносит избавление многострадальному Израилю. Наша гора расцветает. А во время благоденствия Израилевой горы что будет происходить на соседних горах? Может ли какая гора быть помилованной в окружении гор непомилованных? Может ли какая гора быть счастливой в окружении множества несчастных гор? И так ли уж разнятся, так ли уж далеки они друг от друга? Так-таки и не сообщаются они меж собой? Цветет вот миндаль на склонах иудейской горы. И на горном массиве Эллинов он плодоносит. У Египта его тоже много. Одно и то же солнце дает им жизнь. Одни и те же дожди их поливают. Голуби вьют себе гнезда когда тут, когда там, и, молясь за благополучие своей горы, мы молимся за одну свою гору, или за соседние горы тоже?

— Сын мой! — воскликнул Гамалиил, опрокинув голову и как бы прося у Господа прощение за нарушаемый им обет молчания. — Сын мой! Как и многим другим малолетним иудеям, тебе, видать, суждено стать великим!

— Великим — чего? — встревожился тарсянин.

— Ну, как знать... Может, великим ученым. Может, великим пророком. Может, великим устройтелем или великим ниспровергателем. Во всяком случае, своей смертью ты не умрешь, это уж наверняка.

— Но, надеюсь, при достоинстве, при добром имени умру?

— Кто, кроме Господа Бога, может про это знать!.. Все твое впереди.

— Мои слова тебя огорчили, равви?

— Я не сказал так.

— Но они могли бы найти, хотя бы на время, приют в твоём сердце?

Гамалиил ничего не ответил. Садилось солнце, наступал час заключительной молитвы. Учитель подстелил подстилку, указав ученику место рядом с собой. Более краткую вечернюю молитву они завершили братским поцелуем. Обратный путь, как и все пути возвращения, показался намного короче и радостнее. Шли молча, Учитель впереди, ученик за ним, стараясь ничем не нарушить Божественность проведенного вместе дня.

У входа в святой город, поднимаясь по широкой мраморной лестнице, Гамалиил вдруг почувствовал, что ученик слишком далеко отстал. Повернулся и вздрогнул. Саул шел в окружении каких-то темных людей, похожих на погонщиков, и даже какие-то палки у них были. Ужас, что он отдает на заклятие лучшего ученика, охватил Учителя.

Остановился. Постоял, дожидаясь Саула, а сравнившись с учеником, обнял его одной рукой. Так они и вошли в Золотые ворота, полуобнявшись, и люди, уступая дорогу, долго глядели им вслед. Это была трогательная и немного смешная картина — высокий, стройный, красивый Гамалиил, обнимавший едва достающего ему до плеча крепыша с непомерно большой головой.

Хоть он и пользовался славою баловня судьбы, Тарс тем не менее был городом-тружеником. И, как все истинные труженики, ценил отпущенное ему время. С первыми предутренними петухами оживали окраины, заселенные прядильщиками и ткачами. Скрипели двери, тарсяне выбегали за свежей водой, тут и там дымились крыши. До утра было еще далеко, а по городу уже везли больных. Кого на осликах, кого на носилках, кого и на себе. Молча, спотыкаясь впотьмах, спешила бедная родня, чтобы поспеть к заходу корабля в гавань.

Первые лучи солнца уже заставляли тарсянских больных лежащими прямо на земле, в два ряда, в ожидании спасителей. Если на горизонте не видно было кораблей, родственники разводили костры, грелись вместе со своими больными и опять укладывали их в два ряда и ждали. Когда час, когда два, когда и целый день. Если за день корабли в гавань не заходили, больных разносили на ночь

по домам, а на следующее утро, чуть свет, опять спешили к берегу.

Сошедшие с корабля, чтобы попасть в город, непременно должны были пройти мимо этих измученных страданиями, безнадежных, как бы мы сегодня сказали, больных. Родня стояла рядом и умоляюще следила за лицами вновь прибывших — может, кто видел подобное страдание; может, знает, как и чем лечить.

Милости хочу, а не жертвы, сказал Господь устами пророка. Саул был не просто способным учеником, он был уже зрелым мужем, у которого знания медленно и неотвратно перерастали в убеждения. Уезжая из родного города, он был еще в том возрасте, когда многое из земного остается неведомым; возвращаясь, как и полагалось прибывшим издалека, он обошел, в сопровождении отца, тяжелобольных. Конечно, в свои годы он еще слишком мало людских страданий видел, чтобы помочь другим. Матафий, чтобы как-то оправдать совместное с сыном шествие, отпустил родне одного из больных несколько советов, и хотя те поклонились и поблагодарили, видно было, что матафиевские советы для них не новость.

Отсутствие информации — вот безжалостный бич древнего мира. Люди забирались Бог весть в какие дали, прибегали к невысказанным уловкам, платили огромные деньги, лишь бы узнать что-нибудь новое. В собраниях граждан города, на семейных торжествах, даже на богослужениях наступал час, когда присутствовавшие требовали новостей.

Само собой разумеется, что и в синагогах, после чтений и толкования Торы, заведено было произносить Слово. Обычно, если присутствовал гость, кто бы он ни был, откуда бы он ни прибыл, его просили сказать Слово. Если гостей не было, Слово произносил только что вернувшийся откуда-нибудь член общины, или, на худой конец, кто-нибудь из наиболее вертлявых, из наиболее трепливых. А поскольку Израиль, изнывавший под иноземным владычеством, жил главным образом ожиданием Спасителя и исполнение пророчеств относительно прихода в мир Сына Божьего ожидалось со дня на день, то Слово, произносимое в синагогах, чаще всего так или иначе бывало связано с приходом Мессии.

И настал день, когда, завершив укладку Торы, тарсянский раввин Закхей, заметно взволнованный, сообщил собранию:

— Мужичья братия! Побыв положенное время для обогащения ума и духа в святом городе, вернулся достойный сын достойнейшего отца, которым мы гордились в прежние времена, гордимся и теперь. И хотя он сравнительно молод, но ведь он провел целых шесть лет у ног самой светлой головы Израиля; он молод, скажете вы, да, соглашусь я, он молод, но он возвращается из самого сердца земли обетованной! Попросим же его сказать Слово.

— Можно, — откликнулось несколько голосов как-то вяло и неохотно.

Первое, что увидел Саул, выходя перед мужами и старейшинами родного города, была ухмылка его старого неприятеля по школьным годам, небезызвестного в Тарсе Гада. Сидел он рядом со своим отцом в первом ряду, среди наиболее достойных граждан города, и новенькие плащи, обшитые серебром, свидетельствовали, что дела у них идут неплохо.

Гад, продолжая ухмыляться, смотрел прямо на Саула, и его рыжие, ехидные глаза как бы говорили — я поклялся тогда, у школьной ограды, закопать тебя, и уж я свою клятву выполняю... Боже, взмолился Саул, если я сын Богоизбранного народа, то почему и этот Гад является тоже сыном Богоизбранного народа? Как Ты мог избрать нас обоих — его и меня?!

Синагога замерла на волне провинциального превосходства. Видно было, что она настроена высмеять оратора, но еще не решила, в какую бездну сбросить его.

— Иерусалим оставляет на ночь открытыми свои ворота, — начал Саул свою речь об ожидании Мессии. — Храм тоже остается на ночь открытым. Тысячи и тысячи израильтян сняли с петель наружные двери, отогнали от своих домов собак, зажгли светильники, а Того, Кто должен принести нам избавление, все нет.

— А почему? — спросил Гад, ухмыляясь.

— Потому что мы много говорим и мало делаем для прихода Мессии.

— А что нам следовало бы делать? — не унимался Гад.

— Читать вслух Писание.

— И что мы там найдем?

— Там вы найдете такие вот слова пророка: приготовьте пути Господу, прямыми сделайте стези Его, всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизятся...

Гад слушал вполуха, продолжая ухмыляться, и весь его вид говорил, что как бы Саул ни толковал эти слова пророка, он, Гад, докажет, что Саул не прав. Его постоянные ерзания с одной ягодицы на другую и смена язвительнейших ухмылок действовали так угнетающе, что бедный Саул-таки сбился с мысли. И хотя он поначалу собирался рассказать об ожидании Мессии, потеряв нить, стал на ходу перекраивать свое Слово.

Поговорив о больных, которых что ни утро привозят к приходу корабля, сказав, что, по его наблюдениям, среди больных так же, как и среди жителей Тарса, есть дети разных матерей, изъясняющихся на разных языках, он заявил вдруг, что боль и страдание являются общими для всех людей и должны вызывать одинаковые чувства милосердия и сострадания.

Среди старейшин и присутствующих прошел ропот несогласия, и Саулу вдруг вспомнилось однодневное пощение с Учителем в малой пустыне. Образ величественных гор, кровно связанных Господом меж собой, не давал ему покоя, и он решил этот образ вынести на суд иудейской общины города Тарса.

Увы, воистину нету пророка в своем отечестве. Едва он начал перечислять горы, расположенные по соседству с Иудейской горой, красильщик, их сосед по дому, возмутился на всю синагогу:

— Македоняне, они, что, тоже гора? И самаряне — гора? И ассирийцы? Да как этот сопляк может сравнивать Богоизбранный народ с дикими племенами, с язычниками, одна тень которых оскверняет землю?!

Не успел красильщик выразить свое недоумение, а Гад уже хохотал.

Надо сказать, что Господь Бог, по доброте своей, чтобы никого не обидеть, отпустил каждому хоть какой-нибудь да талант, хоть какое-нибудь да дарование. У одного сила в плечах, у другого — ум, у третьего — меткость глаза и сообразительность.

У Гада был талант на высмеивание ближнего. Каждую минуту, каждую секунду он был занят тем, что выслеживал

очередную жертву. Вот и сейчас, выследив, настигнув ее, запрокинул голову, рассыпался мелким, бесовским, до того заразительным хохотом, что еще не поняв толком, в чем суть спора между Саулом и красильщиком, синагога уже содрогалась...

Бедный Матафий возвращался домой униженный и опозоренный. Единственный наследник, шесть лет учебы, такие немислимые деньги истрачены, и в одночасье все ушло, как вода в песок. Нужно было начинать собирать сына с самого начала. Боже, у кого нету детей, у того нету радостей, но и горя у них тоже нету.

Вернувшись домой, Матафий отказался от пищи и удалился в свои покои. Ни видеть, ни выслушать, ни расспрашивать сына ему уже не хотелось. Только поздней ночью передал через домашних, что завтра утром ждет сына на дубильне.

В те далекие, отмеченные простотой времена сами производства отличались простотой, даже примитивностью. Дубильня Матафия, якобы сданная в аренду македонянину Рапию, представляла собой огромное каменное строение с ветхой крышей, окруженное многочисленными, выдолбленными прямо в каменных наростах чанами.

В главной постройке производились почти все работы. В одном конце шло квашение козых шкур, подвешенных на высоких балках. Под ними день и ночь дымились угли, посыпаемые мелко наструганной дубовой корой, пока с шкур не начинала сходить мзdra. В другом отсеке, натянув шкуры на валики, македоняне длинными ножами счищали остатки шерсти, жировики, узлы и наросты. В последнем отсеке кожа рыхлилась, а затем ее выносили, укладывали в огромные чаны, и начинались долгие месяцы, иногда годы дубления.

Работа тяжелая, грязная, в какой-то мере постыдная, ибо хорошее дубление было связано со сбором собачьего помета. Отношение древних иудеев к дубильщикам можно проследить по закону о браке. В иудейской общине женщина не обладала абсолютно никакими правами. В своих молитвах бородатые иудеи благодарили Господа за то, что Он не родил их рабами или женщинами. Любой иудей мог по любому поводу, а то и без повода отослать свою

жену к родичам, дав ей бракоразводную записку. Но был один пункт в Законе, по которому сама жена вправе была оставлять своего мужа. Это допускалось в том случае, если ее муж занимался дублением кож.

Вернемся, однако, в матафиевскую дубильню. Наиболее тяжелая и грязная работа, до которой никак не удавалось найти охотников, располагалась несколько на отшибе, за огромной грядой валунов, служивших вместо забора. Там, в трех чанах, выдолбленных по склону друг над другом, размачивали и промывали только что поступившие шкуры. Частью шкуры спускали с гор просушенными, но бывало, что привозили и свежие, просоленные, чтобы не испортились в пути. Грязные, с остатками крови и навоза, в колючках, насекомых и болячках всякого рода, эти шкуры были тем товаром, который, как говорится, не всякий в руки возьмет. Но в них лежало богатство, Матафий усвоил это с ранних лет и всю жизнь рыскал по горам в поисках дешевых шкур. Деньги не пахнут, сказал римский император. А шкуры тем более, ответил ему Матафий.

Суть промывки заключалась в том, чтобы, взяв из большого навала по одной шкуре, спустившись с ней в каменный чан, расстелить ее шерстью наружу, и так шкурка к шкурке, пока дно чана не покроется своеобразным ковром. Второй ряд застилали уже шерстью вниз. И опять один ряд шерстью вверх, и еще ряд шерстью вниз, пока чан не наполнялся. Затем, направив в чан струйку воды из родника, расположенного прямо над чанами, нужно было долго, и день, и два, и три, разминать босыми ногами задубевшие шкуры. После первой промывки шкуры спускали во второй чан, и все начиналось сначала. Потом — в третий, и только после третьей промывки шкуры шли в главное здание, где подвешивались к балкам для квашения.

— Вот, — сказал Матафий, подъехав на своей ослице к трем пустым чанам, окруженным целой горой козьих шкур. Сними плащ, надень набедренную повязку и да поможет тебе Бог.

— Откуда и докуда будет моя работа?

— От начала и до конца.

— Что считать концом? Когда шкур более не станет?

— Могут и не поспеть.

— Но может так случиться, что пока я буду эти шкуры промывать, подвезут еще?

— Должны бы.

— И те, что подвезут, тоже перемыть?

— Все, что сюда поступает, все это наше с тобой добро. А свою работу человек должен сделать хорошо от начала и до конца.

Саул обошел все три чана, на дне которых догнивала зеленоватая жижица, оставшаяся от предыдущих промывок. Рой зеленых навозных мух кружил над ними, и вонь стояла такая, что переворачивалось нутро.

— Отец, ты меня ненавидишь?

— Да нет, отчего же. Живи.

— Как мне тут жить? Где я буду молиться? Где будет мой ночлег?

— Молятся Господу всюду и везде. Что до ночлега... Кто помышляет о ночлеге, когда столько работы! Часок-другой отдохнешь на теплых со вчерашнего дня камнях, а как начнет светать, опять за промывку. На дубильные светильников нет, здесь должно трудиться, пока Господь Бог светит.

— Кто мне будет давать хлеб?

— Кормиться будешь из моих рук.

— Разве ты будешь навещать меня что ни день?

— Если какой день и не приеду, попостишься. Это полагается и по Закону.

Подняв голову, Саул долго смотрел на своего сурового отца, сидевшего верхом на ослице, но ничего не мог прочесть на его обросшем рыжей щетиной лице.

— Я спрошу тебя, отец, словами Иова — хорошо ли для тебя, что ты сына своего унижаешь?

— Я тебя не унижаю.

— Но, оставленный здесь, кем я теперь для тебя буду?

— Сыном. Единственным сыном, начинающим постигать ремесло, которым отец кормит и содержит семью. Думается, этим же ремеслом придется и тебе кормить себя. Как бы ты потом ни прославился в науках, какое бы служение ни выбрал, ты всегда должен быть при своем куске хлеба. Надежней всего человек может прокормить себя своим ремеслом.

— Да свершится в твоих словах воля Господня! — сказал Саул и начал снимать с себя плащ. — А где моя набедренная повязка?

— Перевяжись лицевым платком.

— Как я останусь без лицевого платка?

— Какое-то время он тебе уже не понадобится.

Саул достал платок, разорвал пополам. Из одной половины сделал набедренную повязку, другую отложил.

— Вот, посмотри на него, вещь испортил, — пожаловался своей ослице Матафий.

— Мое лицо есть творение рук Господних! — завопил Саул. — И я буду содержать его в чистоте и опрятности, где бы я ни был и что бы со мной ни случилось!!

— Разумно, только не надо так громко, — сказал Матафий. — А вещи все равно жалко. Теперь такие платки знаешь в какую цену идут?!

— Я заработаю, куплю точно такой платок и верну его тебе.

— Смотри, не забудь свое обещание.

— Как можно! Счастливого пути, отец!

— Бог тебе в помощь, сынок.

Но ослица стоит, не трогается с места. Саул ждал, когда отец отъедет, стесняясь открыть при нем свою наготу, но нет, старая ослица стоит, словно каменное изваяние. Матафий, казалось, уснул, сидя на ней верхом, но сквозь щелки рыжих ресниц продолжал следить за тем, как сын снял с себя плащ, надел повязку, спустился в позеленевший, запущенный чан. Для начала нужно было его очистить, и Саул принялся на ощупь искать в позеленевшей жижице дубовую затычку, чтобы затем спустить воду и промыть чан.

Долго копался в кишашей червями и всякими нечистотами грязи. Перебаламученное днище стало издавать такую невыносимую вонь, что Саул тут же вспомнил, где затычка. Оказывается, она забивается и вышибается снаружи. Подошел к углу, чтобы, взявшись за края, оттолкнувшись, выскочить наверх, но тут выяснилось, что по причине своего малого роста он попросту не может выбраться из чана. Прыжка не доставало. Руки скользят по склизкой грязи, ногой не за что зацепиться.

— Отец, подъезжай поближе, кинь поводок своей ослицы.

— Нет, — сказал Матафий. — Ты испачкаешь поводок, мне придется потом мыть и поводок и руки. Пусть это будет тебе наукой.

— Что именно?

— А то, что прежде чем куда спуститься, разумный человек подумает, как он оттуда выберется.

Развороченная грязь воняла так, что Саула начало подташнивать, а затем последовала мучительнейшая рвота. В перерывах этого кошмара, перевода дыхание, Саул сквозь слезы видел на пригорке все ту же каменную ослицу, и на ней верхом сидел все тот же каменный Матафий.

Он меня ненавидит, думал Саул. Он не может смириться с мыслью, что от него, такого могучего и здорового, родился такой низкорослый побег. Он ждет, когда я захлебнусь, чтобы еще раз сказать домашним — все. Теперь уже все, конец. Но, нет же!! Жизнь мне дарована Отцом Небесным, и только Он может обозначить мой конец. ГОСПОДИ, НЕ СОКРУШАЙ МЕНЯ!!

Вдруг он заметил в стенке залепленные грязью приступочки, за которые можно было зацепиться ногой. Вот она, мудрость истинных мастеров, их доброта и человеколюбие! Зачистив выбоины, выбрался, выбил дубовую затычку, пошел к родникам. Там он перевел дух, отмылся, попил водички. Придя в себя, направил струйку воды в верхний чан и, как только набралось достаточно воды, смастерил себе веник из зеленых побегов и спустился в чан. Хорошо промыв его, пошел к навалу, выбрал шкуру белого козленка, спустился с нею и принялся аккуратно расстилать.

А ослица все еще стояла на пригорке, и рыжебородый иудей в щелочки глаз продолжал следить за работой сына. Увлечшись делом, Саул, казалось, совершенно забыл об отце. Да, собственно, какая могла быть в те времена обида сына на отца? Жизнь в патриархальных иудейских семьях была зачастую не просто суровой, а жестокой. И в Ветхом, и в Новом Завете сыновья, обращаясь к своему отцу, говорят не «отец», а «хозяин». Это было верно в том смысле, что во времена рабовладения сыновья являлись собственностью своих отцов. Согласно Закону, отец даже имел право за непослушание предать сына суду старейшин и требовать для него смертной казни, что, кстати, не раз и происходило. Сам Ирод, Иерусалимские стены которого стоят по сей день, предал смерти двух своих сыновей.

Зрелым в Израиле считался муж после тридцати лет. Предтеча начал проповедовать в эти годы, да и все пророки начинали свое служение с этого возраста.

До тридцати сыновья, как правило, оставались при родителях и обучались премудростям ремесла. Конечно, это просто так говорилось, потому что ремесла были зачастую настолько бесхитростными, что на них не нужно было тратить годы и годы. Если при этом учесть, что сын и в свои детские годы успевал постичь тайны ремесла родителя, то, по сути, с двадцати до тридцати сыновья отработывали хлеб детства.

К обеду первый чан был наполнен шкурами, и Саул принялся расчищать второй. Живущего Господом Богом невозможно унижить никакой работой, если только сам верующий не сочтет себя униженным и опозоренным. Любую работу можно осмыслить, приноровить к себе — с тем, чтобы она доставляла и пользу, и радость. Ну а если к этому добавить и несколько стихов из книги Восхвалений, которые Саул обычно распевал во время работы...

«Призри на меня, и помилуй меня, Господи, как поступаешь Ты с любящими имя Твое. Утверди стопы мои в имени Твоем, не дай овладеть мною никакому беззаконию; избавь меня от угнетения человеческого, и буду я хранить повеления Твои...»

«Омен», — услышал вдруг Саул и вздрогнул.

Присоединившись к молитве сына, Матафий, наконец, ударил пятками по ослиным бокам. Ослица, преодолевая каменную неподвижность, медленно сошла с пригорка.

«А из него может быть еще неплохой наследник», — думал Матафий, покидая дубильню.

Саул же перешел уже к другому псалму, который и распевал во все горло:

«Господь есть часть наследия моего и чаши моей...»

Матафий заботился о сыне не только тем, что каждый день доставлял ему хлеб насущный. Почти одновременно с ним и тоже каждый день спускали с гор новые партии шкур. Однажды, когда Саул у родника доедал свой хлеб, а с ослов снимали только что доставленные шкуры, один из погонщиков, помогавших при разгрузке, как-то очень светло улыбнулся. Саулу он тоже показался знакомым.

Пока он мучился догадками, боевой клич сотряс воспоминания: «О-ла-ла-ла!!»

— Аник!

Услышав свое имя, погонщик подошел к нему.

— Аникита салутатио фачере!

Боже, как летит время! За минувшие годы краткое имя Аник превратилось в Аникиту, да и сам он, хотя был в фаланге замыкающим, теперь вон перерос Саула.

— Саул салутатио Аникита.

Услышав свое имя, произнесенное в респектабельной форме, Аникита улыбнулся еще раз. Улыбка у него была краткая, застенчивая, мимолетная, очень располагающая к воспоминаниям. Легко рассуждать о неевреях, думал Саул, тем, кто видел их только издали. А каково ему, прошедшему в горах, вместе с фалангой, все лето! В этой детской фаланге он впервые стал на ноги, вздохнул полной грудью, заговорил полным голосом, и сердце его впервые там затрепетало...

— А где Фекла?

— Она плохая, — ответил Аникита, как-то вдруг смутившись.

— Она хóрошая, — не согласился с ним Саул. — Как она бегала над самой пропастью! Иной раз прямо страшно за нее становилось!

— Да, она была отчаянная, — согласился Аникита. — Птицей летала по горам. Но она — плохая...

— Фекла была, есть и навсегда останется хорошей, — твердо стоял на своем Саул. — Чего стоил ее боевой клич: «О-ла-ла-ла...» Он до сих пор будит меня по ночам...

— Да, голос у нее был такой, что перелетал через снежную вершину; ее знали даже на той стороне горы, где конец света. И все-таки она плохая. Истинным мужам тратить на нее слова недостойно. О ней больше не будем.

— Да чем она плоха-то?

— Ушла в верховья к пастухам.

— Давно ушла?

— Как только округлилась и стала пахнуть женщиной.

— Что же она там делает?

— Любит мужа, рождает ему детей.

— Кто ее муж?

— Этого никто не знает.

— И не пытались узнать?

— Нет.

— Да почему же?

— Потому что она, уходя, оскорбила фалангу.

— Как она могла оскорбить фалангу, которую сама же и собрала? Чем она могла так уж вас оскорбить?

— Словами.

— Что сказала?

— Она сказала — я не родилась для того, чтобы прожить в низинах, пропахших козами, а поднимусь в верховья, где воздух свеж и чист и пахнет ландышами...

Как из переспелого стручка, едва коснувшись его, вылетает горох, так из этой фразы, едва она коснулась его уха, выскочила отчаянно смелая, смеющаяся и неунывающая, называющая вещи своими именами Фекла. Ведь правда же, живут вот в провонявших козами низинах. Живут день, и два, и всю жизнь, и не помышляют более об ином. Не возмущаются. Не восстают. Саулу до смерти захотелось ее повидать, но он глубоко утаил это желание в себе, ибо в Киликии было не меньше острых камней, чем в самой Палестине.

Увы, иудею разыскать в Таврских горах язычницу — дело нелегкое.

В горах говорят мало, доверяют друг другу и того меньше. К тому же он был связан хлебом, который приносили что ни день. За ним следили во все глаза, но, Господи, если пути Твои неисповедимы и зов Твой живет в каждом из нас, то пусть стопы наши пойдут на поиски Гласа, зовущего нас...

Тайно, чтобы никто не мог догадаться, он сначала разыскал водопой горных пастухов. Под предлогом скупки шкур он расспрашивал о всех пастухах, живущих в окрестностях, об их отарах, об их семьях и в конце концов напал на ее след. Ему даже показали отару, которую пас ее муж. Жили они не там, а на соседней горе, в двух переходах, если идти пешком от дубильни, но что такое два перехода для молодого стосковавшегося сердца?

Оставалось ждать, когда Матафий отлучится. Но отец не уехал, он приболел, и как только Фамарь, мачеха, принесла Саулу хлеба, он попросил на следующий день не приходить, дав ему как бы день для пощения.

— Как бы? — тихо переспросила Фамарь. — У тебя тут в горах появился друг?

— Есть у меня друг.

— Это — женщина?

— Женщина.

— Хо ве, — чуть слышно прошептала Фамарь. — Я буду за тебя молиться.

Заручившись ее поддержкой, на следующий день, чуть свет, Саул поспешил в верховья соседней горы под самую красивую, прямо-таки ослепительную корону Тавр.

Две огромные собаки, гремя цепями, рычали, готовые броситься на пришельца, а она стояла у входа в пещеру, здоровая, румяная, крепкая. Кормила грудью младенца и красивыми, крепкими ногами пыталась утихомирить собак.

— Тебе мой муж?

— Нет. Ты.

— Вот, стою пред тобою. Чего ты хочешь?

Саула вдруг охватило какое-то странное вдохновение, похожее на восторг. Так высоко он еще никогда не поднимался. Высота — это великое Божье чудо. С большой высоты далеко видать. И чем больше высота, тем дальше видно.

— Ты стала такой красивой,— сказал Саул, любуясь почти неуловимой для глаз заморской далью. — Я люблю тебя.

— Что мне в твоих словах, когда у меня ребенок на руках и муж в пещере.

Мечтательно склонив голову набок, Саул долго, завороженно следил, как переливается красками ни с чем не сравнимая Киликийская долина. — от подножья горы до самого моря, до той вот еле уловимой дымки, что вьется где-то там, далеко, над землей обетованной...

— Хочу вывести тебя из этой пещеры в огромный, теплый, сверкающий мир...

— Хочешь ты чего-чего-чего?

Фекла озадаченно смотрела то на него, то вниз на Киликийскую долину, то опять на него.

— Ты — кто? — спросила она, наконец.

— Я твой проводник.

— Почему — проводник?

— Ну, не знаю... Так ты сама решила тогда, в первый день, когда меня привели в фалангу, ты меня назначила проводником!..

— Саул!!

Она бросилась к нему, хотя нет, она к нему не бросилась, иначе не была бы Феклой. Сначала она кинула в него своим ребенком, затем, в каком-то безумном полете, несясь за своим родимым, поймала его на лету вместе с головой Саула. Прижав их обоих к пахнущим молоком грудям, целовала по очереди, приговаривая при этом:

— Как я рада, боги мои, как я рада! За многие долгие годы ты первый из моих воинов, навещающих меня! Корнут! — крикнула она в сторону пещеры. — Иди, я покажу тебе золотую голову нашей фаланги.

В дверях пещеры появился сонный пастух, который никак не мог взять в толк, что случилось, отчего его разбудили.

— Вот, — хвастала между тем Фекла, — мой лучший воин! Я много тебе о нем рассказывала. Пока он был с нами, нам ни одного боя не удалось выиграть.

— Он приносит несчастье?! — с опаской спросил Корнут.

— Что ты, он — сама удача!

— Тогда почему вы не выигрывали бои?

— Он отговаривал от сражения. Он чудесно мог объяснить, почему разумнее всего уклониться от сражения. Благодаря ему я не сорвалась с тех скал, осталась живой и вот рожаю тебе детей.

Корнут подошел. Долго, молча, по-деловому изучал гостя, потом вернулся в пещеру. Какое-то время его не было, затем он вышел, неся в руках кусок обожженной глины, напоминавшей мужской орган деторождения. Перехватив его в сильных руках, сломал пополам. Одну половину сунул за пазуху, другую протянул Саулу.

— Зачем ты мне это даешь?

Корнут вопросительно посмотрел на Феклу.

— Он — иудей.

Хозяин воссиял. Он любил давать объяснения.

— Я тебе предлагаю дружбу с моим домом. Твоя половина будет храниться у тебя. Моя половина будет лежать в моем гостевом горшке, там, в пещере. Когда бы ты ни постучал в двери моего жилища, буду ли я дома, или жена, или кто там еще, ты покажешь свою половину. Мы отыщем в горшке нашу половину. И если они хорошо сойдутся, ты будешь моим гостем столько, сколько захочешь, и ни в чем не будешь терпеть нужды.

— Но... это же мерзость, — сказал Саул.

— Что именно? — не понял Корнут.

— Вот эти... половинки...

— Почему мерзость? — удивилась Фекла. — Это очень хорошая штука. На свадьбах невесты несут их на плечах. От них рождаются дети.

Корнут все еще держал в руках свое предложение о дружбе, а Саул все еще не решался его принять.

— Ты не хочешь быть нашим другом? — спросила обиженно Фекла.

— Хочу, но дети рождаются не от этого, — сказал Саул.

— От чего же они рождаются? — ехидно спросил Корнут

— Дети рождаются от того, что Господь Бог воспламенил в твоём сердце любовь к этой женщине, а её сердце воспылало ответной любовью к тебе.

— Ты сказал, в сердце моей жены что-то горит?!

— Горит.

— Что горит?

— Любовь, большая любовь к тебе.

— Как ты можешь это знать?

— Вижу по её глазам.

— Это правда? — спросил Корнут жену

— Я же сказала, что у него золотая голова..

— В моём сердце то же самое, — сказал Корнут — Твой воин — мудрец, но как мне с ним заключить союз на дружбу, если без этих двух половинок?

— Очень просто, — сказал Саул. — Ты протянешь мне руку, и я твою руку пожму. Пожимая руку, ты посмотришь на меня, запомнишь, какое у меня лицо, какие волосы, глаза, голос. Как твоё имя, спросишь. Затем, за помнив все это, скажешь своим близким — человека с таким именем, с таким лицом, с такими глазами всегда принимать, это мой близкий друг. А когда у меня будет свой дом, я расскажу о вас моим близким, и вы станете желанными друзьями моего дома.

— Чем то, что сказал ты, лучше того, что говорил я? — спросил муж.

— Над лицами нашими Бог больше всего трудился. Это самая прекрасная, лучшая часть нашего тела. Потому люди и носят их открытыми, потому они все время на виду

Ну а то, что не предназначено для всеобщего обозрения, обычно прячется под платьем и содержится в темноте.

— Ну а если у меня будет много друзей, как я смогу запомнить столько лиц, столько глаз, столько имен!! Другое дело горшок, он у меня большой, огромный...

— Дай Бог, чтобы у тебя было столько друзей, сколько твоя голова способна вместить имен.

— Она может запомнить столько лиц, сколько у меня овец?

— Она может запомнить больше, чем все отары, пасущиеся в Таврах!!

— Вот эта моя голова?!

— Вот эта твоя голова!

Счастливая Фекла стояла меж ними, сияя вместе с ребенком, которого держала на руках.

Долгое лето, измученный тяжелым трудом, а потом еще долгую осень, он жил псалмами и тайными посещениями своих новых друзей. Станным образом, но именно там, перед входом в убогую пещеру, среди этих простых людей, на него нисходило вдохновение. Все в мире обретало изначальную ценность, во всем открывался сокровенный смысл. Видно было простым глазом, откуда что брать, куда положить, чтобы вернуть миру заложенную в нем Господом гармонию. Работалось легко, и слова при этом приходили точные, речь становилась емкой, проникновенной, иной раз даже мудрой, чему и сам Саул немало дивился.

Он любил смотреть, как Корнут с отарой возвращался с пастбищ, но случалось заходить, когда его еще не было, и тогда, отойдя чуть поодаль, он усаживался под скалой и терпеливо дожидался возвращения хозяина.

— Да войди же ты в мое жилище!

Саул краснел и отрицательно мотал головой. У иудеев женщины, как правило, жили отдельно от своих мужей, и приглашение взойти к женщине имело несколько другой смысл. Но Фекла, эта безумная воительница, кажется, этого не знала. Другой раз и сам Корнут присоединялся к приглашениям жены, но Саул продолжал отрицательно мотать головой. Закон строжайше запрещал иудеям переступить порог неевреев.

Увы, судьба есть судьба, и ее, как говорится, не объедешь и не обойдешь. Случилось так, что целую неделю он не

мог навестить своих друзей, а когда, наконец, вырвался, было уже под вечер. Они сидели в тени скалы, за скромной пастушечьей трапезой. Корнут, четверо его ребяташек и Фекла, прислуживавшая им. Больше всего Саул опасался застать их за трапезой, на этом могла закончиться их дружба. Бывают в человеческих отношениях пределы, и такой предел наступил.

— Отведай хлеб моего дома, — предложил хозяин гостю.

Саул умоляюще посмотрел на Феклу, уж она-то могла знать, что можно, а чего нельзя иудеям. Фекла была на стороне мужа.

— Просим.

— Прежде, чем принять ваше приглашение, — сказал Саул после некоторого раздумия, — мне надлежит помолиться моему Богу.

— Мы подождем, — сказал Корнут сухо и отложил надломленную лепешку.

Саул прошел меж скалами и все шел и шел по косогору, а они, всей семьей, стоя, провожали его, потому что неизвестно было — идет ли он молиться Богу или уходит насовсем. А он все шел и шел, потому что единый животворящий Бог высоко, потому что Бог далеко, и не всегда, не каждому дано до него добраться.

«Господи, вложи в мой разум помышления Твои и в мои конечности повеления Твои...»

Снежные шапки гор пребывали в Божественном покое. Отсюда они была так же далеки, как и с низовьев, и неизвестно было, может ли человек когда-нибудь, как-нибудь дойти и прильнуть к их бесконечной чистоте...

— Чего тебе? — услышал вдруг Саул голос Учителя и вздрогнул. Гамалиила тут не было и быть не могло, но он явственно слышал его голос! Откуда он мог возникнуть здесь, под самой снежной вершиной? Саул обернулся и увидел осколок скалы, чем-то напоминавший человека. Ну, чем-то похожая, чем-то и непохожая, скала есть скала. А как бы хорошо было хоть на миг увидеть, хоть одно слово спросить...

И вдруг Саула осенило. А почему он не может поговорить с Учителем, как, бывало, на уроках они выясняли вместе самые что ни есть запутанные вещи? То, что Учителя не было рядом, ничего не меняло, потому что даже когда он бывал рядом, все равно не он говорил, а Дух Божий,

витающий над ним. Это Он осенял Учителя, когда разговор заходил в тупик. Так почему Дух Господний не может осенять эту скалу? Ведь Он вездесущ. И человек, и в равной мере скала — дело рук Его.

Недолго думая, Саул отыскал неподалеку от скалы некий холмик, так чтобы они могли меж собой общаться. Оставалось их только озвучивать.

Итак, Учитель — скала, ученик — холмик. Учитель спросил — чего тебе. Теперь очередь была за холмиком.

— Вразуми! — попросил Холмик.

— Тебе хорошо с ними? — спросила Скала.

— Мне хорошо с ними, — ответил Холмик.

— А отчего тебе так хорошо с ними? — спросила Скала.

— Не знаю, — ответил Холмик. — Едва ступлю, едва увижу их лица, точно вдохновение какое на меня нисходит.

— Что есть вдохновение? — спросила Скала.

— Не знаю, — ответил Холмик. — Должно быть, вдохновение есть проявление благодати Всевышнего.

— Тогда что же ты раздумываешь?

— Я не могу к ним прилепиться, ибо я иудей, а они — язычники. Мне Закон не позволяет лепиться к ним.

— Тогда оставь их.

— Когда я их оставляю, меня покидает Божье вдохновение; жизнь становится мукой, а душа — пустыней.

— Если тебе нету жизни без Божьего вдохновения, — сказала Скала Холмику, — следуй за ним и оставайся верным Ему, куда бы тебя пути-дороги ни завели, что бы с тобой ни происходило... Там, где Божья благодать, там Дом Духа твоего, и да не будет у тебя другого дома...

Вернувшись, Саул послушно сел на указанное место, принял из рук хозяина теплую кукурузную лепешку, смазанную медом. Фекла подала кружку с козьим молоком. Откусив от лепешки, Саул откинулся назад, потому что кружка была наполнена только наполовину и нужно было высоко поднять голову, чтобы отпить.

Едва он сделал глоток, ни прожевать, ни проглотить еще не успел, как увидел в проеме между скалами своего смертельного врага. Вместе с отцом и двумя братьями Гад спускал на осликах какой-то груз. Делалось все это как-то молча, нервозно, в большой спешке. Должно быть, груз был уложен на осликах впопыхах, он все время сползал,

они его на ходу ловили, подправляли, от чего взмокли все, и люди и ослики. Занятый своими делами, Гад поначалу не заметил Саула, но потом, почувствовав на себе чей-то взгляд, обернулся и замер в ужасе.

Секунда, не более секунды пребывал он в ужасе, но этого Саулу было достаточно, чтобы понять, в чем дело. Что же, подумал он, кто из нас без греха, особенно среди тарсянских иудеев, живущих в окружении воров и разбойников. Грешил Саул, грешил его смертельный враг, грешили понемногу и их родители. По Тарсу давно шли слухи о том, что Амон, отец Гада, делая вид, что торгует старьем, на самом деле жил тем, что скупал у морских разбойников краденое и перепродавал, наживаясь на этом.

Что верно, никому не удавалось застать их спускающими с гор краденое. Саул был первым, увидевшим их, и это его погубило. То есть поначалу он подумал, что, быть может, все обойдется. Опустив голову, с трудом жевал откушенное, ибо когда двое иудеев застигают друг друга в грехе, тогда что? Самое разумное — делать вид, что не видели друг друга. И Саул сказал себе — я не видел Гада в этот день. Он даже поднял глаза, чтобы доказать себе, что он действительно не видел его на том месте, просто ему примерещилось, но, Боже наш Святой...

Гад все еще торчал там. Мало того, подзвав отца и братьев, он показывал им на Саула, быстро сообразив, что у Саула против него нету свидетелей, а у Гада свидетели были. Саул сидел ни жив, ни мертв. Ком застрял в горле. Побьют камнями, предварительно сбросив со скалы, чтобы было легче добывать. Не зря этот Гад в первый день поклялся убить...

Судили его в синагоге, при большом стечении народа. Суд правили старейшины во главе с раввином Закхеем. Нарушитель Закона стоял в центре полутемного зала на деревянном помосте, меж двумя стояками, подпиравшими потолок. Народу собралось столько, что не вместились, и многие остались во дворе, в ожидании приговора. Маленькие тарсенята, которых даже во двор не пускали, но которым дома тоже не сиделось, собирали острые камни и складывали у ворот, чтобы после оглашения приговора не надо было их долго искать.

Вознеся руки, раввин усердно молился, ибо, как известно, без осенения свыше править суд невозможно. Его горячая, страстная молитва длилась бесконечно долго, и это начало раздражать тарсянских блюстителей Закона. Сыновья Амона метались по всей синагоге, точно это был их родной дом и они готовили его к свадьбе. А и правда, подумал Саул, сегодня день их торжества. И — о, Господи! — сколько злорадства, сколько ненависти и злобы может вместить в себе изъеденное завистью человеческое подобие!

Бесконечные хождения Амоновских сыновей мешали раввину творить молитву и, прервав ее, он спросил громко, на всю синагогу:

— Амон, сколько у тебя сыновей?

— А то ты не знаешь?!

— Не знаю.

— Ну, трое, — ответил несколько озадаченный Амон.

— Удивления достойно, — сказал раввин.

— Что именно? — спросил Амон.

— Они такие у тебя шумные и непоседливые, что иной раз мне кажется, что их не меньше пятнадцати.

По синагоге прошел смешок. Сыновья Амона, опомнившись, прошли с отцом и сели в первом ряду, лицом к лицу с раввином. Закхей тяжело вздохнул. Хотел как лучше, вышло хуже. Он не любил продавцов старья, не любил их товар, не любил их самих. Саул был и оставался его слабостью, его гордостью, ну да что поделаешь! Завет есть Завет. Закон есть Закон. Что свято, то свято. Омен.

Ударив три раза посохом в пол, установив полную тишину, поцеловал Тору, и вместе с ним поцеловали Закон все десять старейшин города Тарса.

— Господи, да снизойдет на нас мудрость небес при разборе наших земных прегрешений...

И, уже другим голосом, обращаясь вглубь зала, спросил:

— Матафий, твой сын готов?

Матафий, сидевший у самых дверей, ответил через весь зал:

— Равви! Суди властью Закона, и да не сжалится око твое над сыном моим!..

Скажи, какая у него хорошая память на святые места, удивился про себя раввин. Жаль только, что каждый выбирает из Закона то, что ему особенно по душе. Один

берет это, другие то, а чтобы целиком вместить в себя весь дар добра и света, таких мало. Во всяком случае, в городе Тарсе.

— Саул, сын Матафия... Признаешь ли ты себя виновным в том, что преступил порог неевреев и тем самым осквернил себя?

— Я не преступал их порога, — ответил Саул.

— Не то, не то, не то!! — воскликнул один из сыновей Амона. — Не так все было, не с этого надо начинать разбор дела.

— Разве? — удивился раввин. — А с чего надо было?

— С того, что Саул принял пищу из рук неевреев и ел ту пищу, и осквернил себя, и мы, все три брата вместе с нашим отцом, тому свидетельствуем. Так надо вести суд.

— Амон, — сказал раввин устало. — Поучи дома своих сыновей, как надо вести себя на людях. Скажи им, что когда раввин правит суд, они могут подавать голоса, только когда их о том попросят.

— Но они же обвиняющая сторона! — заступились за Амона старейшины.

— Нет, — сказал раввин. — Обвиняющей стороной, когда дело касается Закона, является сам раввин, правящий суд. Амон и его сыновья в данном деле выступают просто как доносчики.

— Доносчики — это в каком смысле?! — угрожающе спросил Амон.

— В хорошем смысле этого слова. В хорошем смысле, — успокоил его раввин. — Доносчик — это тот, кто доносит, что вот, мол, Закон нарушен. Хвала и слава таким иудеям.

— Да, но мы донесли тебе, что он ел пищу из рук неевреев, а ты перевернул это в том смысле, что он преступил порог!..

— Как можно принять чью-то пищу, не преступив его порога?

Некоторое время ушло на то, чтобы определить, что считать жилищем язычника — то ли место, где они спят, то ли место, где они питаются. Как известно, язычники народ непоседливый — спят, где придется, едят, где попало. В конечном счете решили, что жилищем язычника следует считать крышу, под которой он и его семья прячутся от непогоды и пребывают во время ночного отдохновения.

Остальные — обжитые — места вокруг пещеры не могут считаться жилищем в строгом смысле этого слова.

Таким образом обвинение в преступлении порога отпало. Оставалось, правда, другое, не менее тяжкое, — принятие пищи из рук язычника и осквернение себя той пищей.

— Саул, — мягко, с отеческой нежностью проговорил раввин, как бы приглашая помочь выручить его из беды. — Скажи, сын мой, ты просто принял пищу из рук неевреев с тем, чтобы не обидеть их, или твои уста коснулись той пищи?

— Какое коснулись!! — вскричал Гад. — Жрал так, что челюсти трещали!

— Я... правда, откусил, — сознался Саул в растерянности, — но не помню, глотал ли я ту пищу или нет. Скорее всего нет, потому что комок застрял в горле...

— Как же, ком застрял в горле, рассказывай! — возмутился Гад. — Я сам видел вот этими глазами, как у него работал кадычок!

— Ну, и в какую сторону он у него двигался? — спросил раввин. — Вверх или вниз?

— Вниз, конечно.

— А вот приложи руку к своему кадычку, и тогда узнаешь, что при глотании кадычок сначала идет вверх, как бы для принятия пищи, и только потом, вместе с пищей, опускается.

Синагога, почувствовав, что раввин сочувствует обвиняемому, затаилась, разъяренная. После мучительно долгого разбора, община потребовала сбросить Саула со скалы и там добить камнями. Более уравновешенные старейшины сошлись на том, что Саула следует извергнуть из общины. Пусть идет, куда хочет, и живет, где знает, но чтобы больше никогда нога его не ступала в этот город. Посыпание головы пеплом могло бы как-то смягчить его положение, но Саул отрицательно помотал головой, когда ему поднесли сосуд с пеплом. Это разозлило собрание, которое настаивало на том, чтобы сбросить его со скалы.

Почувствовав поддержку общины, сыновья Амона вместе со своим отцом пошли в наступление на старейшин, брызгая слюной вчетвером так, что бедные старики едва успевали вытираться. Процесс выходил из-под контроля, грозя превратиться в позорище всей общины, и тут старик Закхей,

встав, поднял посох и, возложим его себе на седой череп, вдоль плеч, руками потянул вниз концы, так что посох треснул на всю синагогу.

Наступила мертвая тишина. Раввин грозился сложить с себя сан, что обесчестило бы тарскую общину перед всей Палестиной. Но, опустив посох, перед тем как принять окончательное решение, следовало еще раз посоветоваться с Господом. Раввин удалился для молитвы. И вдруг во время этой последней молитвы его действительно осенило.

— Скажи, Амон, — спросил Закхей, вернувшись из молитвенного состояния, — какими судьбами ты вдруг оказался вместе со своими сыновьями так далеко в горах, так далеко от дома, в столь позднее время?

Синагога замерла. А в самом деле, чего они туда вчетвером понесли, под самую снежную вершину, на ночь глядя?

— Зачем тебе такой вопрос? — спросил Амон.

— Для истины.

— Истина вот она, пред тобой, в Писании.

— Я ее вижу. Но чтобы вершить правильно суд, мне сначала нужно выяснить, не нарушали ли сами обвинители Закон.

— Запоздали в пути, — как-то неохотно выдавил из себя Амон.

Но чем неохотнее отвечал он, тем разговорчивее становился раввин.

— Вы шли пешком или ехали?

— С нами, действительно, было несколько ослов. Но мы не ехали на них, мы шли.

— Ослы были под грузом?

— А? Что? Нет, груза особого не было. Так, корзины, тюки, узлы.

— Сколько, примерно?

— Что, корзин?

— И корзин, и тюков.

— Кто их считает!

— Все считают, кто дорожит своим добром, дабы в пути чего не пропало.

— По две пары на каждом осле, — сообщил средний сын, плохо понимавший, что происходит в синагоге.

— А ослов сколько было?

— Не то восемь, не то десять, — бросил Амон.

— Все твои?

— Половина мои, остальные занял.

— Груз поднимали или спускали?

— Не понимаю, куда ты клонишь, — сказал Амон сердито.

— Я никуда не клоню. Обычно груз либо поднимают в горы, чтобы оставить там, либо грузят в горах, чтобы спустить в низину. Не станете же вы грузить ослов дома, гулять с ними по горам, чтобы вернуться домой с тем же грузом!

— Нет, конечно! Что мы, — самаряне? Мы погрузились там, высоко в горах...

— Помолчи, отец! — крикнул старший из сыновей. — Ты не так отвечаешь на вопросы раввина. Ты и его путаешь, и сам себя запутываешь.

Собравшись вместе, сыновья с отцом о чем-то долго совещались, после чего сообщили залу, что все ослы были под грузом, но часть ослов и часть груза им не принадлежала. Спустившись с гор, они должны были их передать, а кому ослы принадлежали и кому они должны были их передать, про то сыновья говорить не стали.

Так или иначе, беседа вокруг ослов привела к тому, что выделение слюны со стороны обвинения резко поубавилось, чтобы не сказать, что совсем сошло на нет. Разочарованный зал устало утих, даже вздремнул немного, и, пользуясь благостным настроением общины, раввин предложил ограничиться десятью ударами.

— Что?! — завопили, тряся бородами, старейшины. — Сорок ударов без одного!

Зал, проснувшись, гудел и требовал идти к скале позора.

— Будем подавать голоса, — решил раввин. — Как всегда, начнем с края.

Старейшины вставали по очереди и каждый из них громко, на весь зал, произносил свой приговор:

— Сорок ударов без одного.

— Что же, — проговорил раввин, несколько удрученный единодушием старейшин. — Так тому и быть. Сорок ударов без одного.

И поднял руку, что означало разрешение на начало наказания.

Зал оживился, стиснул зубы и замер. Дышат глубоко, глаза горят, кулаки наливаются. Господи, что ты в нас

такого дикого вложил? Почему мы так любим смотреть, как унижают наказанием ближнего, и почему нам так хорошо, когда мы знаем, что каждый из нас достоин такой же участи, но, вот, его, а не меня, его, а не меня, его, а не меня!!!

Хаззан подошел к бывшему своему ученику, спустил с него плащ до пояса, обнажив торс. Ремнями, деловито и хватко, точно бунтующего тельца, привязал за руки к столбам позора. Правую руку к правому столбу, левую к левому. После чего примерил руку к тяжелой плети, состоявшей из четырех полос зазубренной и двух полос ослиной кожи, сплетенных вместе, причем плеть была настолько длинна, чтобы перехлест через плечо покрывал живот наказуемого до самого пупа.

Начиналась процедура со спины, так что поначалу наказываемый ничего не видел, только слышал свист плетки. Саул весь превратился в слух. Вот Хаззан отошел в дальний угол. Вот он медленно, неслышными шагами, приближается...

— А кто будет читать поучение?

Увлеченные живыми картинами будущей мести, забыли главное. Во время наказания громко читался отрывок из Торы, в назидание наказуемому.

— Пусть читает обвинение, — сказали старейшины, чтобы несколько задобрить старьевщика и его сыновей.

— А считать удары будет кто?

— Община, как всегда.

Опечаленный раввин сник, и его поднятая рука как-то сама по себе начала опускаться. Он любил Саула, как родного, он до сих пор помнил, как его, в детстве лишенного материнской ласки, суровый отец надумал было судить, и рука пожилого раввина, подустав, стала опускаться все ниже и ниже. И тут зал строптиво загудел. По Закону, наказание прекращалось, как только опускалась рука раввина. Бедный старик! Оказывается, за его рукой следили во все глаза. Следили сыновья Амона, следили старейшины, следила община. Следил Израиль, следил Завет, следил Господь. Стало быть, выше руку, старик, и держи ее, держи, держи!!

«Если не будешь стараться исполнять все слова Закона сего...»

Гад читал громко, зло, нравоучительно. Хаззан еще раз отошел в угол — чтобы на ходу, в полную силу. Медленно, по-кошачьи, приближаясь, завел плеть над головой и ударил. Удар был настолько мощным, с посвистом, что кровь брызнула вместе с ударом, от плеча до самого пояса.

— Один! — возопила в восторге община.

И тут, к удивлению всего собрания, большая голова Саула начала тихо сползать на правое плечо, и все тело как-то обмякло, повиснув на ремнях. Рука раввина начала тревожно опускаться. Община недовольно загудела, заулюлюкала, следя то за Саулом, то за рукой раввина. Матафий стоял в дверях ни жив, ни мертв. Над его головой нависал новый позор — он вырастил сына, который оказался не в состоянии вынести сорок ударов без одного, что было признаком совсем уж никчемного человека.

— Не-е-ет!! — завопил он что было силы, и вместе с этими окриком встрепенулась голова Саула, вернулась на свое место, и рука раввина снова высоко поднялась на страже Закона. Опасаясь, как бы обморок не повторился, Матафий локтями пробил себе дорогу, вышел и стал рядом с сыном — так, чтобы Саул мог все время и видеть и слышать отца.

«Если не будешь стараться исполнять слова Закона сего, написанные в книге сей...»

Еще взмах. Еще удар. И уже вся грудь в крови.

— Два!!

«Если не будешь стараться исполнять слова Закона сего, написанные в книге сей, и не будешь бояться сего славного и страшного имени Господа...»

— Три!!!

После тринадцатого удара Хаззан зашел уже спереди, так, чтобы бить по спине — тринадцать ударов через правое плечо, тринадцать ударов через левое плечо. Последние удары окровавленной плеткой приходились уже по сплошь кровавым ошметкам.

Саул выстоял. Правда, после каждого удара его голова мягко валилась когда вправо, когда влево, но Матафий, стоявший рядом, произносил после каждого сползания свое твердое «нет». Тридцать девять ударов, тридцать девять обмороков, тридцать девять отцовских окриков.

Наконец раввин опустил усталую руку. Проступок был наказан. Синагога опустела. Оставшись наедине с сыном,

наедине со своим позором, Матафий сам отвязал его от столбов. Почувствовав себя освобожденным, находясь все еще в состоянии шока, Саул тихо, одними губами, спросил:

— Теперь... можно?..

— Вот теперь — можно.

И он тут же грохнулся на окровавленный помост, и престарелый слуга синагоги, переступая через него, особым ковшиком с длинной ручкой возвращал уползающие сгустки крови, не давая им стечь на пол.

В приоткрытых дверях стояли женщины, и Матафий сделал им знак подойти. Фамарь и две ее помощницы принесли чистые полотенца, воду, оливковое масло. Омыв исполованное тело, смазав и перевязав, они вынесли Саула на руках, посадили на ослицу Матафия и окольными переулками, чтобы избежать лишних пересудов, лишнего позора, привезли домой.

— Куда положим? — спросила Фамарь.

— В мастерской, — бросил Матафий.

— Там душно. Там воздуха нет.

— Что ему воздух! На мягких козых шкурах уложим, и да хранит его Господь.

— Позволь мне остаться эту ночь при его светильнике, — попросила Фамарь.

— Нет, — сказал Матафий. — Да и светильник ему ни к чему. Зачем сжигать лишнее масло?

— Но ведь до утра еще очень и очень...

— Ничего. Уляжется и уснет.

Однако укладывать его не было никакой возможности. Саул стонал, как бы ни положили. Только на правом плече осталось немного нетронутой кожи, и каким-то образом Фамарь удалось уложить его на правом боку. Как будто утих. Фамарь принесла кувшин, увлажнила ему уста, оставив кувшин у изголовья. Матафий взял кувшин и переставил к дверям.

— Зачем твоя рука сделала это? — спросила Фамарь. — Не лучше ли было оставить кувшин у изголовья, чтобы он ночью мог отпить?

— Опасно оставлять кувшин у изголовья. Он может ненароком в темноте опрокинуть его. И сосуд разобьется, и вода попортит немало шкур.

— Как же он в бреду и горячке сможет встать и дойти до кувшина?

— Ничего, если Господу будет угодно, дотянется. Ну, а нет, так нет...

После чего запер мастерскую на замок, упрятал ключ в кожаном поясе и поднялся в свои покои.

Полная неподвижность, невыразимая боль, полыхающие небеса, и опять все сначала. Смерть подбиралась к нему, но она была еще где-то на окраине, а ему хотелось, чтобы скорее, до утра, все свершилось. И опять неподвижность, дикая боль, и снова полыхают небеса...

Ужасней всего было то, что Амон со своими сыновьями крушил горы. Тавры сотрясались до самых основ. Гремели, несясь в пропасть заснеженные вершины, с грохотом скалы налетали друг на друга, горели леса, выли обезумевшие звери. Кидон пенился и гудел, вот-вот выйдет из берегов, а она, отчаянная, она, безумная, стояла на высокой скале с грудным ребенком на руках и что было силы созывала фалангу, чтобы пойти на бой, выручить попавшего в беду проводника, золотую голову фаланги...

«О-ла-ла-ла...»

— Не надо, — тихо, в бреду, шептал Саул. — Уходи. Скала под тобой и твоим ребенком разламывается, уходи, я укрою вас потом, в другом месте.

Но она его не слушала. Она никого уже не слушала.

«О-ла-ла-ла...»

Ему бы встать, побежать к той обезумевшей Фекле, отговорить ее еще раз от этого сражения, потому что человеку бурю не преодолеть, не перекричать, но встать он тоже не мог. Над его душой стоял Гад с огромным рожном, и как только Саул чуть-чуть шевельнется какой-либо частью тела, в него тут же вонзается острый конец рожна.

ГОСПОДИ, НЕ СОКРУШАЙ МЕНЯ!!!

Они, видимо, пришли еще с ночи, потому что, когда рассвело, под старой маслиной уже стояли бедная вдова, четверо ее ребятишек и старый, изнуренный трудами буйвол. Как только молодой Плотник вышел, вдова, все ее ребятишки и, что было удивительнее всего, старый буйвол, все опустились на колени.

— Господи, — взмолилась вдова, — помоги мне. Пришла пора пахать, а наш кормилец, измученный мухами, сломал соседское ярмо и теперь никто не хочет одалживать.

— Своего ярма у буйвола нет?

— Было, но сломалось еще при покойном муже, и мы, по бедности своей одалживали ярмо когда у того, когда у другого; теперь, вот, оставшись без ярма, как мы его запрежем в плуг? А если поле останется не вспаханным и не посеянным, погибнем все шестеро, вместе с этим буйволом...

— Поднимитесь, — сказал молодой Плотник. — Сломанное ярмо — это еще не то горе, ради которого стоит бросаться на колени.

— Дело не только в ярме. У бедного буйвола вся грудь изранена. Когда у тебя нет твоего ярма и твоя скотина пашет в том, что удастся занять у других...

Плотник подошел. У буйвола и загривок, и основание шеи, и нагрудный упор — все было в гнояниках. Шкура бедного животного поминутно вздрагивала, отгоняя мух.

— Поздно ты ко мне пришла, — сказал Плотник. — Теперь нужно ждать, пока заживут раны, и только потом поговорим о новом ярме...

— А мы не только за ярмом пришли...

— За чем же еще?

— Говорят, у Тебя целебные руки, и все, к чему Ты ни прикоснешься, все заживает. Уж Ты прикоснись и к нашим страданиям... Сегодня нам нечем отплатить, но с нового урожая, если даст Бог и вспашем, и посеем, какую долю скажешь, такую и отдадим...

Тяжело вздохнув, молодой Плотник поднялся на крышу своего жилища, опустил на колени. Молился Он долго, смиренно, горячо, а когда спустился с крыши, у Него светились руки, точно были обернуты теплыми лучами лунного света. Подойдя к животному, обильно смазал все его болячки, и было так много в Его руках того благодатного света, что две-три капли упали на траву, под ноги животному.

Едва солнце взошло, счастливая вдова, вместе с ребятами и повеселевшим буйволом, на шее которого болталось новое ярмо, покидали двор Спасителя. По древним иудейским законам, начало и завершение любого труда должно увенчиваться особой молитвой. Поднявшись еще раз на крышу, воздав Господу молитву благодарения, молодой Плотник спустился, подошел к верстаку, чтобы на-

чать свои труды, и тут увидел рядом молодую женщину с ребенком на руках.

— Господи, — взмолилась она. — Друг мой страдает после тяжелого бичевания. Из-за теплой лепешки, намазанной медом, его чуть не забили насмерть. Одолжи мне немного того целебного света, чтобы я смогла помочь ему...

— Как ты нашла мой дом? — спросил молодой Плотник.

— По свету. Я шла всю ночь по светлому лучу; этим лучом ты однажды уже спас моего друга от верной гибели...

— Иди с Богом, твой друг не умрет.

— Он, возможно, и не умрет, но он глубоко страдает. Может, ты позволишь мне поднять с земли те капли, что упали и светятся вон там в траве...

— С земли каждый может поднять то, что найдет; а что нашел, то уже его.

На рассвете, когда Фамарь выкрала у спящего мужа ключи и прибежала в кладовую, она не застала Саула на тех шкурах, на которых уложили его накануне. Фамарь открыла было уже рот, чтобы вскрикнуть, но тут же увидела Саула в уголочке, корпевшего в потемках над клубком запутанной пряжи.

— Как ты встал? Кто тебе помог?

— Господь Бог.

— Зачем же ты, такой еще больной, принялся за труды?

— Возвращаю долг отцу. Этим днем я уйду, чтобы никогда сюда не возвращаться.

— Не делай этого, Саул, Богом умоляю тебя не делать этого...

— Не могу дольше оставаться в этом доме и в этом городе.

— Почему не можешь?

— Потому что здесь меня обидели, унизили и отбичевали.

— А я ведь думала было, что ты силен прежде всего духом.

— Почему ты о духе заговорила?

— Потому что только слабые духом покидают места, где их обидели, унизили и отбичевали.

— Что делают сильные?

— Сильные остаются.

— Остаются до каких пор?

— Пока не заживет последний синяк, пока не затянется последняя рана, и только потом, трижды плюнув через плечо, уходят. Но уходят мужами.

— Мне невозможно дольше оставаться с отцом под одной крышей. Наступают времена, когда мы должны оставлять земных отцов, чтобы посвятить себя Отцу Небесному.

— А тебе и не придется проживать с ним под одной крышей. Он уже решил, что утром отвезем тебя в горы, на дубильню. Там чище воздух, меньше злобных свидетелей и больше времени.

— Больше времени для чего?

— Чтобы переписать Святое Писание. Матафий решил, что ты на дубильне перепишешь своей рукой все Писание; вместе пойдете и принародно подарите это Писание си-нагоге.

— А потом?

— После того как вместе сделаете подношение, из си-нагоги сможешь пойти, куда захочешь. Отец отпустит тебя от очага, от стола, и от достатка своего.

— Спасибо, Фамарь. Небеса, должно, прислали тебя.

Нету пророка в своем отечестве — это сказано давно, сказано на вечные времена, но одно дело прочесть этот афоризм, удивляясь точности и меткости выраженной в нем истины, и другое — пережить его суровую истину на своей шкуре. Пресловутая малая родина многих вырастила, дав им крылья, но еще большее количество пророков она сокрушила в своей утробе, не дав им встать на ноги и расправить крылья. А если им все-таки удавалось ворваться в наш грешный мир, их поджидали плеть, скалы и острые камни.

«Восстань, Господи! Спаси меня, Боже мой!!» — повторял из молитвы в молитву слова знаменитого псалма униженный и опозоренный Саул. В горах хорошо здоровому, а для больного и одинокого там погибель. Раны то начинали заживать, то снова открывались. Оплаченный Матафием лекарь раз в два дня приходил промывать их и перевязывать, советуя непременно вернуться в город, но возвращаться под отцовский кров Саул не мог и не хотел.

К тому же он полюбил, как никогда, ночную тишину в горах. По ночам, сгорбившись над подаренными отцом пергаменами, переписывал, в третий раз за свою жизнь,

книги Завета. Впоследствии этот гигантский труд сослужил ему большую службу, ибо Саул стал одним из самых блестящих знатоков Торы, что выручало и сохранило ему жизнь при многочисленных словесных баталиях. Кроме того — и что не менее важно — постоянное общение со Святым Писанием укрепило его дух, помогло созреть как гражданину мира и сформировало его стиль как писателя.

Милости хочу, а не жертвы, сказал Господь устами пророка, и нашлись-таки люди, которые не просто носили в себе это изречение, а уверовав в его истину, при первой же возможности спешили на помощь ближнему. В конце концов, что есть жалость, как не призывная труба любви, ее вечный спутник, ее начало и продолжение? И даже когда и любви-то уже нет, жалость остается до конца держать ее место, чтобы Ангелы нашли, где было посеяно и взошло, но не дало плод великое чудо Господне.

И снова над Иерусалимом, в который раз за его трудную историю, начали сгущаться тучи. По городу прошел слух, что римляне везут на корабле гигантское изображение своего языческого бога, чтобы установить в главном храме иудеев. Со всех концов мира сыновья всех двенадцати колен спешили в святой город, чтобы встать на защиту своей святыни. Круглые сутки шли молитвы и жертвоприношения; певчие, сменяя друг друга, сотрясали своды псалмами царя Давида, метались старейшины, чуть ли не каждый день заседал синедрион...

В эти-то тревожные времена, как-то в поздний час, когда Гамалиил покидал храм, к нему подошел Закхей, тарсянский раввин, и, низко ему поклонившись, прошептал:

— У меня к тебе слово.

— Говори.

— Мы оба, — начал тарсянский раввин, заметно волнуясь, — растили чудесное дерево во имя и во славу Господню. Но не успело оно окрепнуть и начать плодоносить, как бури надломили его.

— И... что же? — спросил Гамалиил.

— Мы должны спасти ту душу, иначе Господь нам не простит сего греха.

— Как имя тому дереву?

— Саул.

— Боже мой! Саул! — вскричал Гамалиил и тут же умолк.

Из многих сотен учеников именно этот ученик стал его постоянной болью. Ему часто снилось по ночам, как поднимается Саул по мраморным лестницам в окружении погонщиков с рожнами; он все спешит и спешит ученику на помощь, но, видать, мало помогать друзьям во сне, надо помогать и наяву...

— Что с ним?

— Забери его от нас, — попросил Закхей, и голос его дрогнул. — Саул слишком умен и смел для нашей маленькой общины.

— Его ум приносит вам беспокойство?

— Что — беспокойство! Он сотрясает все и вся! А старики, они ведь предпочитают покой, они не любят, чтобы их трясло. Мои старейшины невзлюбили бедного Саула и боюсь, что они побьют его камнями. Один раз я Саула спас, выторговав у них бичевание вместо сбрасывания со скалы, но теперь они требуют от меня нового суда над бедным Саулом.

— В чем его грехи?

— Живет в горах по соседству с пастухами-язычниками. Возможно, там замешана женщина, македонянка по имени Фекла, но мои уста этого имени не произносили, и твои уши это имя не слышали. Как фарисей фарисея прошу.

— Глубоко почитаемый мною раввин! — сказал Гамалиил, взяв Закхея за локоть, чтобы отвести несколько в сторонку. — Уж если ты хочешь поговорить со мной как фарисей с фарисеем...

— Именно, как фарисей с фарисеем!

— Кстати, ты хороший фарисей?

Закхей поднял глаза к небу — в том смысле, что больше некуда.

— Точно такое движение могу и я повторить следом за тобой. Что же, поговорим как фарисей с фарисеем. Ты меня сегодня здесь не встречал и ни о чем таком со мной не говорил.

— Так! — воскликнул Закхей. — Это действительно так! Я тебя сегодня не видел и разговора с тобой не имел.

— Хо ве. Завтра у нас очень важное заседание синедриона. По его окончании мы пройдем вместе с первосвященником в храм на молитву. После молитвы, когда

будем покидать храм, ты подойдешь ко мне, даже если я буду не один, и спросишь — нет ли сообщения старейшинам города Тарса?

— У тебя может быть завтра для них особое сообщение?!

— Думаю, у меня будет завтра, что им сообщить.

И, повернувшись, тотчас исчез в толпе.

К осени состояние Саула стало ухудшаться и, по настоянию лекаря, его-таки перевезли в город. Зажившие было раны опять открылись и стали кровоточить; к тому же дубильня — это далеко не лазарет. Постоянно находясь в соприкосновении с козьими шкурами, от них чего угодно наберешься. Ни для кого не было тайной, что некоторые шкуры были содраны с подохших животных, а там поди погадай, от чего коза та низдохла...

У Саула заболели глаза, это и было то жало, которое мучило его всю жизнь. Опухли железки под веками, глаза постоянно слезились, мешая завершить труд, мешая вырваться из-под опеки отца земного, чтобы целиком посвятить себя Отцу Небесному...

Чтобы избежать ненужных встреч, будучи по природе очень ранимым, он, по возвращении, попросил оставить его на первом этаже, в мастерской, где было больше света и меньше недобрых глаз.

Он трудился над последней страницей Торы. Несколько сот слов его отделяли от свободы, когда вдруг открылись двери и весь цвет Тарса вошел в палаточную мастерскую.

— Матафий! — загромыхал, едва переступив порог, раввин. — Мы пришли с поклоном к твоему сыну! Пришли отдать дань уважения!

Следом за ним все старейшины, каждый в отдельности, повторили те же самые слова. После чего все вместе отвесили глубокий, низкий, почти до самого пола, поклон.

Матафий только что принялся сшивать новую палатку. Речь раввина, повторенная старейшинами, и особенно их глубокий поклон привели его в такое волнение, что он уронил на пол заготовки.

— Вы... пришли... глумиться над моим сыном?!

— Гордись, Матафий! — вскричал раввин Закхей. — Высоко подними свою седую голову и так неси ее до скончания дней своих! Твой сын, первый и пока единственный сын Тарса, избран членом синедриона.

— Так, — сказал Матафий, оглушенный этой новостью. — И как я теперь должен поступить?

— Отвяжи его от дома твоего и от хлеба твоего. Отныне Израиль будет его домом, а хлебом ему будет мир Богоизбранного народа.

— Сын мой, да простятся мне... — начал было Матафий, но раввин прервал его.

— С поклоном!

— Что-что?

— С поклоном!! С нижайшим поклоном принято обращаться к членам синедриона!

— Даже если тот член синедриона мой родной сын?

— Даже если он твой родной сын!

— Ну, хорошо. Пускай будет по-вашему. Сын мой, да простятся...

— Нет же! — вскричал Саул и взвыл от боли, потому что, забывшись, сделал резкое движение, и спина опять начала кровоточить.

— Нет же, — повторил он со слезами. — Этого быть не может! Я не могу стать членом синедриона, не будучи отцом!

— А где сказано, что отцовство считается только с рождения самого ребенка? — переспросил раввин. — Разве плод, который женщина носит под сердцем, не является благословением Господним? Разве тот, от которого она зачала, не может считаться отцом еще до рождения малыша?!

— О какой женщине, о каком зачатии ты говоришь?!

— Саул, у тебя уже есть жена! — радостно заявил раввин. — И хотя ты ее еще в глаза не видел, это не меняет дела. Я переговорил с антиохским раввином, через день-два она будет здесь. Ты ее увидишь и ахнешь!

— А почему именно из Антиохии?

— Вот, — сказал раввин Закхей, обращаясь уже к Матафию. — Величайшая загадка! Уж, казалось бы, сколько евреев разбросано по всему свету! Есть и праведники в сорока поколениях, и великие грешники среди них есть; есть богатые и знатные, испортившие себя хорошей жизнью, и вечно мыкающие горе есть. Живут на севере и на юге, в жарких, чуть теплых и холодных странах, но красивую молодую иудейку можно найти только в Антиохии. Что ни девица, то песнь песней!

Понудившись еще некоторое время про себя, продолжил, уже обращаясь к Саулу:

— Только, сын мой, не подводи меня! Я дал первосвященнику слово, что твоя жена вот-вот родит...

— Равви! — взмолился Саул. — Разве ты не видишь, что я в таком положении, при котором это никак не может произойти!

— Сын мой, — сказал тарсянский раввин Закхей. — Дело это происходит хорошо и в этом, и во всяком ином положении...

Некоторое время спустя в доме Матафия сыграли свадьбу, а еще через несколько недель Тарс вторично, с большой помпой, провожал Саула в Иерусалим. Вся пристань была в черных плащах с голубой каймой. Лица светились, речи были сладкие для уха отъезжающего, для ушей остающихся...

Когда берег совершенно исчез из виду и растаяли в дымке белоснежные шапки горных вершин, Саул осторожно, потому что не все раны еще зажили, двигаясь по палубе в поисках удобного места, чтобы присесть или прилечь, или преклонить колена, ибо приближалось время полуденной молитвы, вдруг среди груд связок и узлов наткнулся на сына тарсянского старьевщика.

— Ты-то, Гад, куда плывешь?!

— Как — куда? В Иерусалим, конечно.

— Надо же, — удивился Саул. — Я тоже туда еду.

— А что тут удивительного? — изрек Гад. — Двое евреев из Тарса едут по делам в Иерусалим. И ничего в этом удивительного.

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

х х х

Время пишет бегущей строкой,
Пишет тем, что найдет под рукой
Второпях, с одержимостью редкой —
Карандашным огрызком и веткой,
И крылом над текучей рекой.
Пишет густо и все на ходу,
С нормативным письмом не в ладу.
И поди разбери его руку —
То ли это про смертную муку,
То ль о радостях в райском саду.

х х х

А если говорить по существу...
Но, Господи, как теребит листву,
Как ветер листья треплет то и дело...
О чем, бишь, я сказать тебе хотела,
Спросить, сказать? Короче говоря...
Но погляди: качаются, горя
И пламенея, сосны на рассвете...
В вопросе — вдох, а выдох — он в ответе,
А между ними ускользнула нить
Беседы, что ни кончить, ни продлить.

1993

**Лариса
Миллер**

— родилась в Москве. Окончила Государственный институт иностранных языков. Автор книг стихов и прозы «Безымянный день» (1977), «Земля и дом» (1986). «Поговорим о странностях любви» (1989), «Стихи и проза» (1992), «В ожидании Эдипа» (1993).

СТЕНА

повесть*

Вернуться обратно нельзя, и времени вольного на один перекур. Я стою у вагона и гляжу на провожающих. Они устали от напрасных напутствий, поглядывают на часы и все машут и машут руками. Жестяное эхо летит над вокзалом и, словно не из диспетчерской, из влажной глубины ночного неба безликий голос объявляет расставанье. В тот же миг, покорно повинувшись этому голосу, вагоны вздрагивают, пробуждаясь от недолгого покоя, и нервная дрожь прокатывается по всему поезду.

Проводник мельком взглядывает на меня. Глаза у него усталые, но по-хозяйски озабоченные — со мной, мол, не пропадете, а голос с хрипотцей:

— Поехали, граждане-товарищи!

«Поехали, так поехали!» — я вскакиваю на подножку вагона и чувствую, как спину обжигает холодком...

1.

Когда я добрался до дома — поселок уже спал. Стены домов белели в теплом ночном воздухе, и только на взгорке светились окна винпункта. К приемным бункерам подходили машины с виноградом, я услышал ровный гул кон-

* журнальный вариант

**Илья
МИТРОФАНОВ**

— родился в 1948 году в г. Килия (ныне Молдавия). Окончил Литературный институт. Автор книг «Забывтая дорога» (1989), «Свои люди» (1982), «За синими деревьями» (1982). Трагически погиб в 1994 году.

вейера, привычный с детства. Этот гул разносился по всей округе каждый год в одно и то же время уборки винограда.

Сердце мое забилося.

Наша Каменка — большой поселок. Но если ехать автобусом мимо, в Кагул или Вулканешты, — его не увидишь, потому что стоит он меж холмами, в стороне от трассы. Черепичные крыши обросли по макушку айвой и вишней. К центру поселка от проезжей дороги ведет заросшая туюй улочка — две машины на ней разминутся с трудом. Улочка выводит на площадь, укатанную асфальтом. Слева — вин-пункт, огороженный каменной стеной, на которой художники-оформители из Кишинева выложили керамикой историю нашей страны (начиная от штурма Зимнего дворца, кончая покорением космоса), справа от площади — двухэтажное здание с флагом Республики. Это агрономический комплекс, правление совхоза — одним словом, администрация. По обе стороны от площади густо обросшие домами, виноградной лозой, кукурузой улочки и переулки, — они стекают вниз, как высохшие русла речушек.

У колодезного аиста я умылся. Небо над поселком уже начало бледнеть, а у горизонта, в стороне Тучкова отсвечивало латунию. Но мир еще спал — виноградные ряды на совхозной плантации были покрыты дымкой, а на склонах холмов стелился туман. Когда я свернул в свой переулок, мне показалось, что в доме не спят. Окна, прихваченные росяным дыханием ночи, глядели на меня с безмолвным укором, словно все уже знали, что я проехал мимо. Стараясь не звякнуть щекоткой, я открыл калитку, но все же чувствовал на своем лице этот неотступный, осуждающий взгляд окон, на цыпочках, словно в секретную засаду в дозорном наряде, подкрался к веранде, но неверный мой шаг учуяла бдительная душа.

Звякнула цепь у сарая и блеснули оттуда два фосфорных зеленых огонька.

— Пират! На место! — голос мой, осевший за время безмолвного пути немного охрип, но неловкость в душе от невидимого упрека молчаливо глядевших на меня окон исчезла.

На веранде вспыхнул свет, мелькнула белой тенью рубашка за опущенными занавесками. Дверь отворилась, поначалу в щелочку, для проверки, потом настежь, и теплые руки обхватили меня.

Фуражка с моей головы слетела и покатилась, подпрыгивая по ступенькам крыльца.

— Митька! Митька приехал!..

— Ладно тебе... — Я поднял фуражку. И глянул на сестру, стараясь удержать в голосе степенное спокойствие, все-таки я человек военный. Глянуть-то я глянул, а узнал с трудом. Вроде и сестра моя, Виорика, а вроде — незнакомая девчонка. Стоит босиком, глаза блестят, и радость в них и смущение. Потом метнулась в комнату и все выкрикивала, что я приехал, вернулась, облегченно вздохнула.

— Ой, Митька-а! А на карточке ты не такой... А усы-ы-ы! Можно потрогаю?

Я хотел уже закрепить свою власть словом покрепче, но не успел ничего сказать, потому что мать вышла на порог, остановилась, глядя на меня, словно не могла признать; потом, вытянув руки, подбежала ко мне, прижалась к груди и зашептала сбивчивым шепотком.

— Ну, слава богу! Слава богу! — и глянула на меня с недоверчивой суровостью. — Что ж телеграммой не сообщил? Мы ж и не знаем, что приедешь...

— А ну, разойдись! — вышел из комнаты отец. Волосы взъерошены. Брови сбежались к переносице. Глянул исподлобья, вроде недоволен. — Живой-здоровый?

— Здоровый, тятя...

— Дай я твой китель померяю! — сказала Виорика.

— Я тебе сейчас померяю! — повысил голос отец, губы поджал, и худое его лицо, припыленное щетиной, в одно мгновенье сделалось нарочито суровым.

Как я робел всего год назад, когда видел его таким. А в эту минуту робости не почувствовал. Мне стало неловко. Непонятное смущение закралось в душу, и я в первое мгновенье не мог в нем разобраться и вдруг понял и осознал себя гостем в родных стенах. Нет, не тем гостем, который приезжал из Тучкова гсд с лишним назад, на выходные дни из училища. Тогда все было иначе. А сейчас, в эту минуту, я почувствовал себя почти чужим человеком. Почему — не знаю. Мать тронула меня за рукав.

— Ты чего, сынок?

— Чего, чего? На стол собирай! — взял на себя командную власть отец и, словно прося прощения за материнскую нерасторопность, похлопал меня по плечу.

— Идем в хату!

— А Петьку Синицу совсем отпустили! — встряла Виорика. — Полгода прослужил, и отпустили...

— Сейчас я тебе отпущю, — сказал отец, — дождесся!

Но когда Виорика, надув губы, выбежала из горницы, усмехнулся, — Неве-еста? — И спохватившись, встал. Застеснялся сидеть в исподнем белье, надел брюки. Тесемки майки на смуглых плечах свернулись. Надел рубашку.

— От, так! А сам, чего застегуешься? Сымай амуницию!

— Сниму, — сказал я.

Мать начала выкладывать на стол еду. Успела спуститься в погреб, принесла графин вина, разлила по стаканам и покосилась на отца.

— Может, тебе не надо, Ион?

Отец вскинул голову, словно отряхнул с себя невидимое оцепенение.

— Дожился! С родным сыном выпить запрещают!

— Да рази ж я запрещаю? — сказала мать. — Потом жжога печь будет... Мине рази жалко?

— Жжога от бога! Переживем! — сказал отец. — Не встрейвай...

Мне стало неловко.

— Мама! Тятя! Не надо...

Но отец все не мог успокоиться.

— Командиры! Шагу не ступнешь, чтоб не встряли... От Парфен с винодельни в Грузии был, рассказывал... У их какой порядок? Мущины за столом, женщины у дверей. И молчок!

— Ну ладно, ладно! — сказала мать. — Сынок приехал, а ты характер показываешь...

— Сейчас всюду равноправие, тятя! И в Грузии тоже! — подала голос Виорика, словно сама только что из Грузии приехала.

— О, другая... Воюй с вами! — Отец усмехнулся и махнул рукой. Что, мол, с вами толковать. Глянул на меня.

— Ну, как она служба? Рассказывай!

— Да куда ж рассказывать? — забеспокоилась мать. — Ты ж глянь, время скока... Пускай отдохнет!

— Мне спать не хочется, мама...

— Нет! Тут она правая! — сказал отец. — Отдыхай, сынок!

Я сейчас понимаю, — не о службе он хотел меня спросить. Поговорить ему хотелось со мной, просто поговорить, впервые за восемнадцать лет своей жизни. Никогда до той минуты мы с отцом не говорили по душам, на равных, как товарищи. В нашем роду Биженарей товарищество между отцом и сыном не принято. И я всегда это чувствовал с рождения. И отец меня к себе не приближал. Мать рассказывала, что в детстве он и на руки меня не брал, считая это баловством. Я привык к такому отношению и даже не представлял, что может быть как-то по-другому. Может быть в других семьях все иначе. Но в нашей — так. Я не забывал никогда, что отец старший, я — младший.

Но в ту минуту рассветного часа, когда я сидел с ним рядом, я почувствовал — что-то в его душе ослабло за этот разлучный год. Не было в его глазах прежней привычной снисходительности. Мне показалось, что в ту минуту он хотел протянуть мне руку. А я оробел. Хотя что я мог ему рассказать о своей службе? Ведь все, что я передумал на границе за долгий год, даже в те минуты, когда мне казалось, что моя жизнь в опасности, даже тогда я не мог сравнить свое положение с отцовской жизнью, с тем, что пережил он сам. Отец воевал. Я войны не видел. Он ранен. Я здоров. О чем я мог ему рассказать? Чем поделиться?

В тот рассветный час я сидел рядом с ним за столом, привыкая к больничному запаху ихтиоловой мази, въевшемуся в стены нашей горницы. Потом пошел спать и не мог уснуть. И слышал голос отца, и думал о нем так, как никогда до этой минуты не думал...

Мать рассказывала, что отец вернулся из госпиталя в самом конце войны, тоже под осень, в спелую виноградную пору. Он шел по поселку в пилотке и гимнастерке, в левой руке нес шинель, а правой опирался на палку, выданную ему в госпитале на вечное пользование.

Кто-то из соседей сообщил матери о том, что муж ее вернулся. Она выбежала ему навстречу и заплакала. Отец спросил: «Ты, чего плачешь? Я живой-здоровый!» «Да я так, — сказала мать. — Давай я шинель понесу...» «Не надо, я сам...» — сказал отец. И это не было упрямством. Причина была в другом. Кто-то из раненых, выписавшихся из госпиталя, подменил отцову гимнастерку. Оставил с

дефектом — на боку пятно от хлорки. Отец прикрывал это пятно шинелью, чтобы не видели соседи.

Но обо всем этом мне позже рассказала мать. Я не помню этого дня.

Сознание начинает жить во мне с памяти о парном тепле кухни, раскаленной до малинового жара плите, влажных, марлевых и тряпичных лоскутах, развешенных матерью для просушки. Отец хотя и лежал в госпитале, но раненая нога так и не зажила до сих пор. Каждый день он делает перевязку. Каждый день мать стирает бинты. Зимой, летом, осенью — всю жизнь, сколько я себя помню.

В детскую пору мне казалось, что война — это овраг меж холмами за поселком. Старые ветлы стянуты веревками, на прищепках висят бинты и играет военная музыка. А люди в шинелях ходят по оврагу, дожидаются, покуда высохнут бинты, чтобы перевязать свои раны.

Выстиранные сухие бинты я помогал матери сматывать в рулончики. Сматывать нужно было начинать обязательно с тесемок, чтобы когда отец забинтует ногу, тесемки оказались в конце бинта. Рулончики я клал на подоконник. Пять рулончиков на одну перевязку, пять на другую — а всего выстиранных бинтов хватало на два дня.

Я никогда не спрашивал у отца, когда у него заживет рана. Мне казалось, что он так и родился. За ночь бинты присыхали к ране. Отец по утрам, стиснув зубы, сдирал их и ругался про себя. Я глядел на стянутое шелушащейся кожей омертвелое тело голени с гнойными язвами и не понимал, почему пуля одна, а язв несколько. Но долго смотреть не мог, прятал глаза и думал — вот вырасту, отомщу фашистам. Пусть отец не говорит, кто его ранил, мне бы только вырасти поскорее. А уж где живет этот человек, я разыщу. «Ничего, — думал я, — живи, покуда я сил набираюсь...»

Сейчас, конечно, обидно понимать — ранение у отца было вроде не опасным. Пулю вытащили в госпитале, она даже кости не задела, и отец, когда был помоложе, мог ходить не хромяя.

Но рана так и не зажила до сих пор...

С фронта отец привез награды и хранил их вместе с инвалидной книжкой и облигацией в фанерной, покрытой вишневым лаком шкатулке — две медали — «За Отвагу»,

«За победу над Германией» и орден «Славы». Иногда, оставшись в горнице, я цеплял их себе на рубашку и казался сам себе героем.

Медали и орден сияли горячим блеском, и этот блеск высвечивает в моей памяти праздники в нашем поселке — Девятое Мая и Октябрьские. Отец чистил награды мелом, оточенной спичкой выковыривал меловые крошки из бороздок. И в нашем доме в эти дни, казалось, было больше света, чем в будни.

В центре поселка, на площади, наспех сколачивали трибуну, обтягивали ее алым полотнищем. И отец как ветеран войны стоял на верхотуре среди совхозного начальства, торжественный, строгий и немножко чужой. А мы — я, дед, мать с Виорикой на руках, глядели на отца снизу вверх. Я все время подпрыгивал, мне хотелось, чтобы отец взглянул на меня с трибуны и помахал рукой, — вижу, мол, что вы стоите... Но на нас он не глядел. Домой возвращался к вечеру под хмельком. Дед подшучивал: «Ты бы, Ион, речь какую двинул. А? Что ж как засватанный стоял?» «Без меня есть, кому двигать...» — отвечал отец. «Без него-о! А ты что, язык проглотил? Он, как тее у телевизоре... Слово за слово, глядишь, разбрехался...»

Дед все вечера просиживал у телевизора. Однажды показывали передачу о ветеранах войны. Бывшие фронтовики в строгих костюмах, увешанные орденами, рассказывали о своих подвигах. Все они как на подбор были здоровяками, говорили складно, видать, выступать им приходилось не раз. И все вроде рассказывали верно и правдиво, но слушая этих людей, я украдкой поглядывал на отца.

Нет, не похож он был ни ростом, ни комплекцией на выступавших ветеранов. Не было в его лице ничего геройского. И нечаянное сомнение закралось мне в душу. «Да, — сказал я себе, — эти люди, конечно воевали. Но на какой-то иной земле. И если кто-нибудь из них и мучался, то не так, как отец мой мучается. Не было, не могло быть этих людей на той войне, которую я представлял в детстве. Не могли эти люди ходить по ночному оврагу и дожидаться, покуда высохнут бинты. Не было в этом овраге этих людей. Не было...»

Почему мне так казалось? Почему с такой непримиримой ревностью смотрел я эту передачу? — не могу себе объяснить.

А тут еще дед жару подсыпал: «Ты ж гляди, языки клепаные! Ты ж глянть, Ион! Он той , той, толстобрюхий. И де ж он такое пузо наел?». Отец молчал. А мать не выдерживала: «А чего ж ему не наест? У ево пенсия рублей сто пятьдесят!». «Не ме-еньше! — поддакивал дед, — майорам и полковникам меньше не положено... А, Ион?». «А что вы меня пытаете? — обижался отец, — Я что ли майор?». «Да я так, для голоса, — усмехался дед. — Кто ж тебя рядового у телевизер пустит? У тебе и медалей стока нима!». «А вы мои медали не трожьте!», — серчал отец. Но дед не поддавался: «Не горячись, не горячись! Горячий какой! Сиди себе тута! Они может и пороху не нюхали, брехать научились... А ты сиди! Бинтуйся усю жись...». «Такая моя доля...», — ответил отец.

Давно был этот разговор, когда еще жив был дед. Но все, о чем тогда говорили, я запомнил. Может, от этого и ревность в душе моей осталась. Может быть, после этого разговора и закралось в мою душу сомнение и начало казаться, что в том, что отец мучается, виновата не война, а какой-то один человек...

Дед был прав. Ничего не изменилось. Рана у отца не зажила. И он, как пять, десять, пятнадцать лет назад, делал перевязки по утрам. Иногда только глянет на мать исподлбья и скажет: «Скока отак еще терпеть?». Мать молчит. И я не знаю, что ответить.

2.

Проснулся я рано. И первая мысль в моем сонном сознании — «Я дома! Команды «Подъем!» не будет...» — обрадовала меня. Я открыл глаза и снова почувствовал себя именинником. Поднял голову, увидел на потолке забеленный известкой крюк, похожий на перевернутой книзу вопросительный знак. На этом крюке висела в детстве деревянная люлька. Ее смастерил дед, когда я родился. Правда, спящим себя в этой люльке я не помню. Зато помню, как укачивал в ней Виорику. Я убаюкивал ее маленькое тельце и все время поглядывал на крюк, как бы он не оборвался. А чтобы храбрость не оставила меня, пел отцовскую песню о фронтовых путях-дорогах.

В песне есть такие слова:

Помирать нам рановато,
Еще есть у нас дома дела!

Последнюю строчку отец переиначил и, если был в добром настроении, напевал:

Помирать нам рановато,
Еще есть у нас бочка вина!

Хотя никакой бочки с вином в ту пору, когда отец вернулся из госпиталя, у нас не было. За виноградником надо было следить, а потом была засуха. Дед вместе с отцом выкорчевали старые, отжившие корни и посадили молодую лозу.

Сознанием моим овладела смущенная радость от невидимого тепла родных стен. Все было мне знакомо, все было на прежнем месте. Рушники на стенах, вышитые матерью болгарским крестом, коврик с выгоревшей на солнце картиной — усатый кавалер в шляпе играет на мандолине, а сам все поглядывает на занавешенное окошко в домике, ждет не дождется свою невесту... А вот шкаф, разошедшийся от времени старичок, пригрелся на солнце. Его тоже дед смастерил матери в приданое, и мать рассказывала, что когда я родился, дед взял меня на руки и спросил, не ночевал ли, случаем, за этим шкафом приезжий цыган? — что-то уж очень я загорелый с рождения вышел. Мать обиделась. А отец ее успокоил — ничего, мол, цыганская кровь молдавской не помеха. «Да какой же ты молдаванин? — удивился дед. — Ты хохол бессарабский!». «А ты кто? — не поддался отец. — Турок?» Дед усмехнулся: «Э-э-э! — говорит. — У меня стока кровей, что и сам не знаю...».

Насчет цыганской крови дед, конечно, пошутил, но русский и молдавский языки для меня одинаково родные. Мать и отец знают и румынский. Волей-неволей пришлось выучить, потому что в те времена, когда наш край был оккупирован боярской Румынией, других языков власти не признавали. Не дай бог по-русски слово сказать в примарии* — плетками били. Дед знает. Вот он глядит на меня с фотографии, застекленной в рамочку. Шляпа сдвинута на левую бровь, глава из-под низких бровей держат меня на прицеле, не отпускают: «Лежишь, басурманин!?

* П р и м а р и я — сельская управа.

А ну, вставай!...». Голос деда я услышал явственно и удивился — в армии я всегда вспоминал о доме и вспоминал часто деда. Но память была безголосой. Отчего так?

Я встал с постели и, чувствуя босыми пятками шершавое тепло домотканого половика, потянулся по привычке к тумбочке, но вспомнил, что не в казарме.

Моя солдатская форма висела на спинке стула, видно, мать сложила, когда я уснул. Китель с зелеными погонами, брюки, ботинки казались чужими в этих стенах. И на мгновение мне показалось, что форма эта не моя, что я ее никогда не носил. Я прошелся по комнате, прислушиваясь к непривычной тишине, потом оделся и вышел во двор...

Солнце стояло высоко в небе, уже по-осеннему глубоко, слегка подсиненном у горизонта. Такое небо в нашем крае бывает только осенью, в виноградную пору. В звонком и прохладном воздухе ясно и чисто выступали из-за домов и огородов холмы, уже не зеленые, а с рыжими, красноватыми подпалинами иссушенных солнцем виноградных листьев. Красные черепичные крыши соседних домов, пестрые платки сборщиц винограда, тут и там пестревшие над крышами, на склонах холмов, — весь сочный свет живущего дня мгновенно вошел в мое сознание.

Дверь в летней кухне во дворе была настежь распахнута, мать хлопотала у плиты, в лицо пахнуло жаром горящего хмыза*. Руки у матери были по локоть закатаны и вымазаны сажей. Она разламывала ветки крепкими пальцами и, увидев меня, улыбнулась непривычно смущенно, будто не могла узнать.

— Как спалось, сынок?

— Нормально...

Пират выскочил из будки, забегал кругами, подседая на задние лапы, и я сразу вспомнил заставу — сейчас там, наверное, чистят вольеры. И моя служебная овчарка Амур злится, потому что на время моего отпуска ее закрепили за Володей Пашутой. Оба, наверное, нервничают, привыкая друг к другу. Ну ничего, может за десять моих отпускных дней и успеют привыкнуть. А там и возвра-

* Х м ы з — сухие виноградные ветки.

щаться обратно. Но время возвращения казалось мне далеким, и думать о нем не хотелось.

У сарая я увидел отца. Он сидел на акациевом чурбаке. Рубаха расстегнута на груди. И свежесбритое с порезом на подбородке лицо его казалось сосредоточенным и чужим.

Я присел на корточках рядом. И снова привычная, как год и два назад, скованность охватила душу. Мне хотелось поговорить с отцом. И о службе своей я бы мог ему рассказать. Но с чего начать разговор я не знал. А отец ничего не спрашивал. Он, видать, встал уже давно, как вставал и два года назад, когда еще работал в совхозе, и уже нашел себе дело. На земле лежал снопик сушеного проса. Темно-красные зернышки семян выглядывали из тоненьких веточек, словно глаза невиданных птиц. Перочинным ножичком отец подрезал стебли и складывал их отдельно.

Я оглядел двор. Чего-то не хватало.

— Грушу спилили что ли?

Отец поднял голову, и глаза его, сощурившись от ясного света, глянули на меня с усмешкой.

— Спилили. А что?

— Жалко...

— Трухлявая. Чего жалеть?

Он встал и попробовал наотмашь просыной снопик.

— О! Веник будет... А? Красота-а! — снял с крючка моток веревки, один конец завязал на дверной скобе, другим обвязал себя. Захлестнул на снопике петельку и упершись ногами в землю потянул веревку. Веревка натянулась струной, стягивая снопик все туже и туже. Лицо у отца покраснело, синяя жилка вспухла на виске. — Вот та-а-ак! Это будет талия! А сейчас мы ее провололочкой утянем... Учись! На старости согдится! — и, затянув снопик еще в двух местах, полюбовался почти готовым веником, закурил. Папироска в его пальцах подрагивала.

— Куришь?

— Курю...

Отец протянул мне сигареты. Снова мне захотелось о чем-нибудь спросить его, чтобы только не молчать. И вдруг, неожиданно для самого себя, я подумал, что вот так, вместе, в ясном свете осеннего солнца я сижу с отцом впервые в жизни.

Два года назад, когда я учился в училище, домой я приезжал редко, чаще по праздникам. Да если бы я никуда и не уезжал, времени у отца рассиживать не было. Его в утренний час дома не застанешь. А по вечерам, когда он возвращался, в нашем дворе беспрестанно хлопала калитка — люди заходили к нам запросто, просто посидеть, а чаще за советом. У каждого имелась к отцу сокровенная просьба или дело неотложной важности, потому что отец — специалист в виноградарском деле. После войны, когда в Каменке организовали совхоз, отец пошел работать на школку* и пропадал там с утра до вечера. А выдавалось свободное время, ездил в Кангаз и в Парташены — искал нужные сорта винограда и знал всех стариков виноградарей в округе поименно, знал, главное, какой сорт винограда роднее нашей каменецкой земле. Отца посылали на курсы виноградарства и виноделия в Кишинев. Но он не поехал, потому что считал — умению чувствовать лозу научиться нельзя. Может быть, он и прав, не могу судить, но люди у отца учились, и, когда он работал в совхозе, в нашем дворе было многолюдно... А сейчас я сидел с ним рядом и понял, что дело не в том, что за время моего отсутствия спилили грушу. Но ничего не сказал, докурил сигарету и спросил, где Виорика. Хотя что было спрашивать — и так ясно, что была она в это время в школе, точнее на совхозном винограднике.

— Все сейчас там, — сказал отец, — план гонят. А куда гонят и сами не знают...

— Всегда ведь так было...

— То-то и оно, что всегда! А все лето дожди шли. Сахару и двенадцати процентов нима... Неделью, полторы можно подержать, пока солнце?

— Наш виноград не резали?

— Себе я покуда не враг, — сказал отец.

— Пойду гляну...

— Успеешь...

Отец встал и пошел к погребу, ссутулившись и припадая на свой «бостончик» — вишневую палку. В нашем дворе будто стадо овец паслось — вся земля исколота. Помню, мать попросила меня купить в Тучкове настоящую фаб-

* Ш к о л к а — опытный участок земли для выращивания виноградных саженцев перед высадкой на плантацию.

ричную палку, потому что, сказала, с самодельной отец, как дед старый. Я купил. Но отец к ней не привык — самодельная, сказал, сподручней.

Прихрамывать он стал сильнее. Это я заметил по приезде. А когда сидел за столом, спросил о его здоровье. Он только отмахнулся — все, мол, в порядке. Но какой уж тут был порядок. При ясном свете солнца было видно, как он похудел за год. Ворот рубахи казался просторным, словно с чужого плеча, вены на шее вздулись. Отворил дверь погреба, и увеличенная солнцем тень уперлась в стену. Пахнуло вялым духом лука. Высыпанные на просушку, луковые головки лоснились в солнечном свете.

Отец поддел «бостончиком» крючок подвальной двери, и словно дохнул кто-то оттуда земляным сумраком и винным сусликом.

— Спускайся! — И протянул мне кружку, почерневшую от винной синьки.

Я спустился в погреб и словно перешагнул невидимую черту, разделявшую живой свет от неизменных во времени сумерек, живущих здесь с тех еще пор, когда начал жить наш род Биженарей. Погреб этот выкопал мой прадед. Земля на осклизлых стенах зацвела. Акация, растущая на вольном просторе, протянула свои корни вдоль стен, словно придерживала ветвистыми руками стены от обвала.

Я пообвык к сумеркам, нацедил кружку вина из указанной отцом бочки, пролил немного на землю — капли розово блеснули в солнечном свете. Примета была доброй. Значит все, кто лежит в земле из нашего рода, душу мою помянули — так говорила мать...

Отец стоял в проеме двери, вглядываясь с беспокойством в сумеречную прохладу, и давал мне указания, переспрашивал, из той ли я бочки взял пробу и хорошо ли вбил в отдушину шпунт? Убедившись в том, что все это я выполнил, как положено, облегченно вздохнул и сказал, что вино он держит специально для меня, к моему конечному возвращению со службы.

— Ниче-е-е! Раз такое дело, пробуй! Не кислое?

— Вроде нет... — выдохнул я, переводя дух.

Вино было холодным и терпким. А какое оно, кислое или нет, я не разобрал, да и не задумывался об этом никогда, потому что всегда знал — домашнее вино не оценишь — оно свое.

— А я думал, будет уксить... — Отец отхлебнул глоток, прополоскал рот, улыбнулся. — Вроде ниче... Сахару ни грамму не клал...

— Ну что ты его поишь, Ион? У тебя разум есть? Наверное мы оба вздрогнули от неожиданности.

В проеме двери стояла мать. Она глядела на отца с осуждением.

— И куда ж это годится? Он же ничего не ел!

В глазах отца блеснул защитный холодок.

— Не можешь, чтоб не встрять?

— Та при чем тут это? Та сядьте за стол как люди...

— А тут мы что, не люди? Я попробовать дал... На колер и вкус...

— Знаем мы этот колер! — сказала мать.

— Мама! Тятя! Не надо ругаться!

— А кто ругается? — мать поглядела на меня, словно просила взять ее сторону в споре.

Мне стало досадно. Хотя что было досадовать? Замечание матери было верным. Могли бы мы и за столом попробовать это вино.

Но ведь не в вине было дело. Мгновенье, всего мгновенье назад мне казалось, что еще чуть-чуть и рука отца ляжет на мое плечо, и уже не будет между нами привычной с детства стены.

Нет, не в вине было дело. Не поняла мать ничего.

— Ты куда? Куда, Митя? — голос у матери был виноватым, словно она винулась передо мной, словно просила прощения...

Вот так всегда: нет в нашей семье покоя. И не было никогда. Сколько помню себя, все какое-то нервное напряжение жило под крышей нашего дома. И если даже бывало тихо, то и тишина была тяжелая, как перед грозой. Но напряжение было всегда.

Кто был в этом виноват? Может, это в крови у всех нас, Биженарей? Не знаю. Но ссорились отец с матерью частенько. И причина была не в вине. Отец выпивает редко, разве что по праздникам — ссоры случались по пустякам. Придет отец с работы и молчит. Он вообще молчаливый. А если наработается за день — из него слова не вытянешь. А матери, конечно, обидно: «Для людей ты увесь выложисся, а во дворе чужей-чужого...». Отец вспы-

лит, скажет слово. Мать в ответ — два. И пошло-посхало. Дед насупится, брови у него были, как у отца, густые, подождутся крылышками к переносице: «А ну, молчок! И в торбу!...»

Куда там! Мать и деда ошпарит словом, чтобы не встревал под горячую руку. А мне хоть во двор беги.

Сяду у калитки и на звезды гляжу.

В ту пору уже летело в небе с пяток спутников, и я наблюдал, как живая звездочка тянется над нашим поселком и пропадает в черном пространстве. «Ничего, — шептал я себе, — у меня все будет иначе. В моем доме будет покой. Самое главное, покой...»

Посижу немного, прислушаюсь — Виорика плачет в своей люльке. Надо ее успокоить. Войду на цыпочках в комнату — отец сидит, насупившись, перебинтовывает рану. Молчит. А мне жалко и стыдно за него. Хочется подойти, прижаться к нему и сказать какое-нибудь утешительное слово — по-русски или по-молдавски. Но слова такого я не знаю. Да и подойти робею. Гляну на мать. Она тоже, вроде, успокоилась. Ваткой, намоченной в марганцовке, протирает рану отцу. А дед еще держит в душе досаду: «Идите у виноградник и там лайтеся! А мне покой дайте...»

На несколько дней, правда, в нашем доме становилось тихо, но потом все повторялось. И я уже привык к этим ссорам, но, наверное, ничего даром не проходит — рос я замкнутым.

Это сейчас я понимаю — причину для ссоры всегда можно отыскать. Дело не в причине, в человеке. Кто-то обязательно должен быть старшим в доме. Чье-то слово обязательно должно быть последним. Или, как дед говорил: «На всякий огонь должна быть вода под рукой. А если огонь на огонь, тогда крестись и с хаты беги...» Все это так... Но почему отец не стал старшим в доме? Почему его слово не стало последним? Вот что досадно мне сейчас понимать. Понимаю я и другое — моя детская мечта о том, что все у меня сложится иначе, кажется мне сейчас смешной.

Как же иначе, если я сын своих родителей. Как же иначе, если кровь рода Биженарей течет и в моих жилах...

Ветерок пахнул в лицо легкой прохладой и дышать стало легче. Досада моя прошла. Пусть они ссорятся, если им хочется. А мне хочется праздника. Все-таки я в отпуске и шагаю по своей земле — год ее не видел. Вот он, наш огород и виноградник за огородом. А дальше совхозное поле, уже перепаханное на зиму, похожее издали на застывшую речную рябь меж пологих холмистых берегов.

Тропинка под моими ногами была утоптана, ботинки не оставляли на ней следов. Я присел на корточки, потрогал землю ладонью. Земля была теплая, мне стало и чудно и неловко от того, что я ее потрогал, словно сделал что-то стыдное. Оглянулся — не видит ли кто меня? Вроде никто не видел. Только ветер щекотал разгоряченное тело, невидимой бархоткой касался лица и бежал дальше по огородной земле, дымил пеплом остывшей золы. Видно, мать с Виорикой перед моим приездом жгли сохлую траву.

Виноградник с привянувшими и порыжевшими от солнца листьями стоял в зрелой своей силе, чернел гроздьями. Ягоды были покрыты серой дымчатой пленкой. Я попробовал одну — виноград был сладкий. Мудрит отец — как раз самое время сбора. Хотя время это не подчинено отцовскому желанию. В совхозе — там, да. Там все по плану. Яков Коджебаш, главный винодел совхоза, назначит день сбора. И начнется сбор. А на своих виноградниках люди не спешат. С недельку, полторы попридержат в нетронутой целостности свои владения. И каждый хозяин вроде своим умом живет, ни с кем не советуется. Спроси у любого, когда он думает собирать свой виноград — пожмет плечами. А встанешь однажды утром, выйдешь на огород, глядишь, неведомый сговор свершился. Соседние виноградники, по обе стороны от нашего, уже в работе, и в пожелтевшей листве видать спины, платки, шляпы. Тут уж и отец отпросится у совхозного начальства, встанет с рассветом, корзину возьмет и до обеда срезает виноград. А после обеда кто-нибудь из соседей придет подсобить — такой в нашем краю обычай. Хотя отец никого не просит. Он и сам управиться может. Мне в такие дни всегда было обидно за то, что в рассветный час отец меня не будил. Все сам. Даже матери не скажет. Мать выйдет на порог: «Ну, чертяка упрямый! А ну, Митька! Виорика! Берите корзины...»

Когда я в последний раз собирал виноград дома? В прошлом году не удалось — призвали в армию. Только уже перед самым отъездом, когда повестка была в кармане, вырвался домой, но опоздал — сусло уже шумело пчелиным роем в бочках... Значит в позапрошлом году? И в позапрошлом не удалось — всю нашу группу из училища отправили на уборку за тридцать километров от Тучкова, в село Слободзею совхоза «Путь к коммунизму». Выходит, что собирал виноград в своем винограднике я в ту еще пору, когда учился в школе...

Я сорвал кисть, сжал ее в ладони — розовый сок просочился сквозь пальцы. И словно в тело мое, сквозь поры кожи, впиталось живое тепло. Оглянулся — холмы глядят на меня. Солнце в зените. А сердце кольнуло, будто подало знак, и захотелось прикрыть ладонями рот и крикнуть: «Эге-ге-г-ей!», как в детстве. Чтобы голос мой, долетев до холмов, до двух акаций, что стоят на меже, возвратился усталым эхом...

— Здорово, служба!

Я оглянулся.

Со стороны своего огорода шагал прямиком ко мне сосед наш, Василий Килару, по-уличному — Пилюля.

Не знаю, кто его так назвал и почему — никакого отношения к медицине Килару не имел.

Я глядел, как он идет по тропинке своей земли, не глядя под ноги, а на нашей шаг поубавил. Обветренное лицо Василия улыбалось. Папироска прилипла к губам, серые глаза из-под выцветших, словно приשמаленных бровей, глядели на мир с оценочной прикидкой. Все эти глаза замечали, особенно то, что плохо лежит. Об этой слабости Василия все в поселке знают. Если у кого что пропадает, косвенная улика на него: «Ну-у! Это Пилюлина работа!». Правду сказать, уличить его никто до сих пор не мог. И жил он припеваючи, хотя и сам с собой в своем хозяйстве, потому что жены с Василием почему-то не уживались. А женат он был два раза.

— Привет! — Василий протянул свою маленькую крепкую ладонь. И, словно не доверяя глазам, потрогал материал моих брюк.

— Лавса-ан! А насчет сапог как у вас там? Мне сорок третий, хромовые, можешь достать?

— Нам хромовые не выдают...

— А ты у офицеров спытай! А? Деньги я вперед дам, не бои-ись...

— Не обещаю, Вася.

— А ты постарайсь, мэй! Надо, понимаешь? — Он наклонился и зашептал: — А то, может, до меня сходим? А? За жизнь побалакаем... Куды там гири на международной арене тянут... Вам там политику читают, знаю! Просветишь...

И, не договорив, вскинул голову, прислушался.

— Тебя, штоль, кличуть?

Я обернулся и увидел Виорику. Она бежала по тропинке и махала рукой.

Солнце уже перевалило за полдень, но припекало не по-осеннему. Мне было душно в мундире.

На противоположной стороне дороги, ведущей из Тучкова, остановился автобус.

Люди, нагруженные городскими покупками, потянулись не спеша по улочке.

Я услышал за спиной знакомый голос, оглянулся и увидел учительницу молдавского языка и литературы Нину Георгиевну. Она тоже увидела меня.

— Биженарь?

— Он самый... — ответил я и почувствовал себя учеником.

По молдавской литературе у меня всегда стояла твердая «четверка». Но я вспомнил и другое — полтора года назад (к тому времени я уже успел полгода проучиться в училище) я встретил в поселке Нину Георгиевну, и она сказала: «Ну, зачем тебе это пэтэу? Ты ведь способный, Биженарь...». В голосе ее чувствовалась досада, будто я совсем потерянный для жизни человек. Мне стало обидно, потому что к тому времени я уже мог проложить шов в нижнем положении и полюбил электросварку.

Нина Георгиевна не изменилась. Черноволосая, худенькая, она всегда была похожа на старшекласницу. Хоровой, танцевальный кружок, викторины, — все держалось на ее худеньких плечах. Ни один праздничный вечер не прошел в нашей школе без ее участия. Обычно в такие дни муж Нины Георгиевны, добродушный толстяк Семен Семенович, — технолог с винпункта, приходил в школу, усаживался в уголке и поглядывал, как жена отплясывает с кем-нибудь из старшекласников. Посидев с полчаса, не

выдерживал: «Ниночка! Ну, хва-атит!». Нина Георгиевна обжигала супруга своими черными, жаркими глазами и отвечала быстрым шепотом: «Иди домой! Домой иди...»

— Здравствуй, Биженарь! — Нина Георгиевна протянула мне свою худенькую смуглую ладошку.

— Здравствуйте, — ответил я. А о чем говорить, не знал. Ее радость меня смутила. За время учебы она никогда вот так запросто со мной не здоровалась.

— Ты возмужа-а-ал! В отпуск, или насовсем?

— В отпуск, Нина Георгиевна...

— Ну, хорошо, хорошо...

С минуты она молчала, должно быть вспоминала, каким я был до армии. А я вспомнил всех ребят, с которыми учился до восьмого класса. Но странно, все мои сверстники, моя учеба в школе не держались близко в памяти. Наверное потому, что училище и ребята, с которыми я учился, были ближе, а те, что остались в школе, остались далеко, в детстве, и о них я не думал.

— Давайте вашу сумку, — попросил я.

— Да она не тяжелая!

— Давайте, давайте! — Я взял у нее сумку и почувствовал себя уверенней.

— За тобой не угонишься! — Нина Георгиевна улыбнулась и начала расспрашивать, как проходит моя служба и сколько мне осталось еще служить. Я отвечал. Она кивала, словно спрашивала у меня урок, потом вздохнула.

— Вот увидела тебя и думаю, неужели я уже столько прожила? — И умолкла, будто застеснялась чего-то. И вдруг спросила:

— А ты помнишь мои уроки?

— Помню, Нина Георгиевна...

— А конкретно — что тебе запомнилось? — Черные, чуть раскосые глаза ее глядели на меня пристально. — А? Конкретно?

— Как мы на могилу француза ходили... Помню...

— Это вне школы! — вздохнула Нина Георгиевна. — А на уроках, на уроках, что тебе запомнилось?

Поначалу я и не знал, что ответить, потому что в самом деле не мог припомнить сразу, о чем она говорила нам на уроках. А вот могила француза — совсем другое дело. Об этом я помнил всегда.

У нас в Каменке на склоне холма стоит памятник из кательца. В ясный солнечный день, когда едешь из Тучкова, памятник видать издалека. Это могила француза. Я не знаю, как его зовут, потому что имя и фамилия стерлись от времени: кателец — надежный строительный материал для памятников. Но всякий скажет, что здесь похоронен француз. Нина Георгиевна рассказывала, что до прихода советской власти помещик Драгош Стэнэску выписал из Франции специалиста-виноградаря. Здесь он и умер. С его могилы соседние села — Кангаз, Алуат, новостройки Тучкова — как на ладони. Когда наступала весна, Нина Георгиевна приводила нас к могиле и заставляла запомнить все, что мы видим, а потом написать изложение, будто мы все, как и она, приезжие и не знаем, что Тучков находится справа от Каменки, а Алуат и Кангаз — слева. По-моему, излагать это все на бумаге — лишняя трата времени. Но ходить на могилу все мы любили — это лучше, чем сидеть в душном классе, хотя Нина Георгиевна и это время считала уроком и называла его — «Ора юбирий кэтра натурэ»*.

Почему ей сейчас не понравилось, что я вспомнил об этом часе? — не могу понять. Мне стало неловко, будто я ее в чем-то обидел.

— Я помню ваши уроки, Нина Георгиевна... Правда, помню... Стихи помню...

— А ну-ка, ну-ка!

— Минутареле плоий кобоарэ**... потом Ам кулес фрунзе ши***...

— Ну вот видишь, видишь? Я была права — память у тебя хорошая! Тебе нужно, нужно было учиться дальше! — обрадовалась Нина Георгиевна.

Мне стало неловко, и вдруг, помимо желания, вырвалось.

— Скажите, а у Цветаевой хорошие стихи?

В первое мгновение мне показалось, что она не слышала, о чем я спросил, потому что посмотрела на меня так, словно никогда до этой минуты со мной не встречалась.

— Цветаева? Ух, ты! Ты знаешь стихи Цветаевой?

— Нет, не знаю... Я слышал, что она стихи писала...

* Ора юбирий кэтра натурэ — час любви к природе (молд.)

** Минутареле плоий кобоарэ... — падают стрелки дождя (молд.)

*** Ам кулес фрунзе ши... — мы собрали листья (молд. стихи)

— А-а-а! Слышал... — Нина Георгиевна вздохнула. — Ну-ну! Хорошие стихи у Цветаевой? У нее много стихов...

— А почему мы их в школе не учили?

— Да ее в программе нет, милый мой!

— А почему?

— Ты все такой же упрямый, Биженарь! Я ведь тебе сказала, — нет ее в программе! Нет! — Она очень разволновалась. И на повороте у своего переулка забрала сумку.

— Странно... — сказала она.

— Что странно?

— Да ничего...

— Я провожу вас!

— Нет, нет! Спасибо! Счастливо тебе отслужить, Биженарь! — И пошла, почти побежала вверх по улочке.

В дом я заходить не стал, присел во дворе у палисадника и закурил.

Солнце миновало край левого склона за поселком и жаркой силы уже не имело. Длинная тень от стены дома легла на землю.

Мать вышла на крыльцо и увидев меня, присела рядом.

— Ты ж где пропадешь?

Мне стало неловко.

— Я Нину Георгиевну встретил...

— Учительницу, что ли?

— Ну...

— Про Виорику ниче не говорила? Она у ей классный руководитель...

— Нет, ничего...

Мать умолкла. И я замолчал. А неловкость не покидала душу. Все казалось, что она начнет допытываться, где я пропадал с самого утра. Но она ни о чем больше не стала спрашивать. Сидела рядышком, сохраняя в своем молчании сдержанное спокойствие. Руки были закатаны по локоть, пальцы вымыты до хрусткой чистоты — отцовские бинты, рубахи сушились на проволоке. Особняком полоскалось в теплом воздухе бельишко Виорики.

— Зачем ей стираете? Сама не может?

— Ниче-е-е! — сказала мать. — Настирается еще на своем веку...

— А потом будете жаловаться, что делать ничего не умеет. Так?

Мать прикрыла мою ладонь своей влажной ладошкой.

— Ты чего?

— Ничего...

— Ну как же ничего? С утра подался. Как же так? Скока не видались? Утром — нима! Вечером — нима! Не хорошо отак, Митя. Ей-богу, не хорошо...

— Никуда я больше не пойду, — сказал я.

— Правда, что! — полегчала голосом мать. — Присхал, так побудь с нами...

— А тятя где?

— Та за краской до Пилюли пошел! — Мать выглянула на улицу, и в лице ее на мгновенье напряглось привычное недовольство. — Я ж чего тебя жду? С утра, думала, на могилки сходить...

— И сейчас еще не поздно...

— Ну это так. А все ж с утра лучше было б... — Мать глянула на меня, успокоилась. И лицо ее было смиренно покорным, каким оно никогда не бывало при отце, значит, берегла это спокойствие для меня. А я этого раньше не замечал. Да много кой-чего не замечал. Глянул в ее лицо, и на мгновенье мне показалось, что я вижу ее со стороны, не как сын, как посторонний человек. Это ощущение я уже испытал в первый вечер, точнее утро, когда увидел мать. В ту минуту она мне показалась постаревшей, а сейчас такой же, как и всегда... — лицо загорелое до черноты, а под глазами темные полукружья и взгляд усталый, будто прихвачен сумерками. Всегда у нее были такие глаза. Она всю жизнь проработала нянечкой в совхозном детском саду. Я туда, правда, не ходил. Оставался с Виорикой за старшего в доме, но каши детсадовской поел в неурожайный год — мать приносила ее в марлевой тряпочке. Плохо мы жили в ту пору. Отец лежал в госпитале, и помощи ждать было неоткуда.

— Ты китель свой сыми! И как не спарился?

— Сниму...

Мать встала и, ослабив опорный шест, начала снимать сухое белье с проволоки. Она складывала его на левую руку, и бинты доставали до земли. Я подошел подсобить и услышал, как хлопнула калитка.

Отец вошел во двор, увидел меня, но ничего не сказал, присел у палисадника, достал из корзинки баночку с краской, оглядел ее со всех сторон.

— О! Не поспешил Пилюля! Это все заради твоего приезда... «Мине, говорит, Митька сапоги офицерские обещал...»

— Ничего я не обещал!

— Значит что? Сбрехал? — пожал плечами отец. — Сбреха-ал!

— Ладно тебе! — сказала мать. — Ты уже, видать, и обмыл эти сапоги... А?

— Ниче я не обмывал... — вздохнул отец.

— А то я не вижу! Иди перевязку делай...

Отец не стал спорить, сел на веранде на лавку и начал снимать резиновый чулок, стягивающий рану. Я глядел на него и заметил, что он прячет глаза. Мне показалось, что он стесняется, стыдится, что я вижу, как мать вытирает ваткой сукровицу на ране.

— Давайте я забинтую...

— Не на-адо! — Отец поморщился, глянул на меня с усмешкой. — Забинтует он... Ты б лучше сказал, куда утром подался?

— Друг у меня в Кагарлы...

Отец перевязал рану, опустил штанину, притопнул ногой, будто проверил крепость перевязки, встал с лавки.

— Друг, говоришь? А мы что, чужие тебе?

— Да я...

— Молчи!

Я замолчал. И все время, покуда мы обедали, чувствовал на своем лице его насмешливый взгляд. Мать не стала меня защищать — отец прав. Но все же не стерпела.

— Ты что ж так плохо ешь?

— Не хочется...

Отец посмотрел на часы.

— Ешь, ешь! И поспешайте, если идти надумали. А то, солнце вон где...

— Ниче, Ион, — сказала мать. — Успеем...

3.

Верно она сказала — спешить было некуда. И солнце было еще высоко. Холмы на фоне неба казались темнее и ближе. Крыши домов тонули в багрянце деревьев у под-

ножий холмов, но утонуть не могли — держалась еще в пожелтевших листьях летняя крепость.

Мы с матерью спустились к площади как раз в тот момент, когда автобус привез школьников с виноградника. Шум голосов ребятишек разбудил предвечернюю тишь. И сразу же тесно и весело стало на площади. Ребятишки выскакивали из пропыленной духоты автобуса — русоволосые, черные, как смоль головы, словно невидимым ветром разнесло в разные стороны. И вдруг нечаянно в этой беспечной кутерьме я увидел себя с пересохшими от виноградной сладости губами, липкими ладонями, в рубашонке, засахарившейся на груди... Вот я бегу во весь дух к колонке. Какой холодной и вкусной кажется вода! Уже и пить не хочется, уже перекачивается в животе ртутная прохлада. А пьешь, пьешь... Чья-нибудь шальная ладошка с мокрым рукавом зажмет тугую струю, и усталое солнце вспыхнет радугой в вечернем небе. И так близко эта радуга стоит перед глазами, кажется, рукой можно потрогать. «Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидят Фазаны, — выкрикивал я, стараясь точнее угадать солнечный спектр, — Красный, Оранжевый, Желтый, Зеленый...». Вот, вот что я еще крепко запомнил со школы — поговорку о солнечном спектре. Мне нужно было бы и о ней вспомнить Нине Григорьевне. Хотя нет. Поговорка эта — память об уроках физики. Точно, физики... Нина Георгиевна здесь ни при чем... Не пойму, почему она так испугалась, когда я спросил о Цветаевой? Почему удивился Виктор, когда я заговорил об этом Болеро Равеля? Что такое Болеро? Кто такой Равель? А Цветаева? Может, сходить в библиотеку? Надо сходить...

— Ну что ты с ней будешь делать? — сказала мать. — Ты ж, глянь, вырядилась!...

Я увидел Виорику. Она шла, окруженная стайкой девчушек. В то время куда мальчишки, ее сверстники, носились по площади, — девчушки вели себя, как взрослые. Шли тесной группкой. Лица у всех, как яблоки-скороспелки, глазенки блестят, уставились на нас, и я вспомнил, что на мне военная форма.

Виорика тоже на нас глядела, но как-то независимо, даже с вызовом, чувствовала крепость коллективной власти. Недовольство матери было, конечно, справедливым — подружки Виорики были в брюках, закатанных по колено, а она невестилась в платье.

— У тебя что, одежды другой нима? — пошла в наступление мать.

— А что, нельзя? — огрызнулась Виорика. Глазенки взблеснули с вызовом. И голосок прозвенел бойко.

Мать такой ответ услышать не ожидала.

— Ниче! — сказала тихонько. — Придешь домой, я с тобой иначе поговорю... — И пошла, не оборачиваясь, вниз по улице.

Мне стало досадно.

— Ты чего мать не слушаешь?

— А твое какое дело? — не поддалась Виорика.

— Я тебя сейчас огрею ремнем по одному месту — узнаешь, какое!

— Не испугалась! — Виорика отпрыгнула в сторону. И кто-то из ее подружек хихикнул мне в спину, словно камушки бросил.

— Ла-а-адно!

Я быстро догнал мать. А успокоиться не мог.

— Она всегда с вами так разговаривает?

— Ну а что с ней сделаешь? — в голосе матери слышалась обида.

— Баловать не надо! Вот что!

— Да кто ж ее баловал? Что, разве не вместе росли?

Я промолчал. Но ехидный бесенок забрался в душу, подзуживал. Защитный тон голоса матери распек во мне ревнивую досаду. А от чего? Ведь сестра моя, кровь моя... С чего на нее досадовать? Конечно, я старше Виорики, и мне всегда хотелось, чтобы она видела во мне старшего. До армии это получалась. А сейчас? Ей на мое старшинство наплевать. А мать ничего не чувствует. Защищает. Конечно, она права, мы росли вместе. Но когда Виорика была маленькой, в нашем доме был мало-мальский достаток. Нет. Мать ее балует. Это точно. Такой пряткой год назад она не была. Всего год назад... Ладно, разберемся. Я глянул на мать. Она молчала, шла быстро, а на окраине поселка, в распадке возле церкви, сбавила шаг, перекрестилась. И в то же мгновенье стая ворон вспорхнула с купола, понеслась рваной шалью к горизонту, словно чья-то душа унеслась. Нетоптанная трава за оградой желтела в запустении. У калитки стояла старушка. Увидела нас и поспешила навстречу. Черная юбка по стародавнему фасону была длинная и скрывала бег невидимых ног. Подбежала,

запыхалась, спеченое солнцем личико поморщилось в улыбку. Глянула на мать, потом на меня внимательно, с почти детским любопытством.

— Сынок, Ксюта?

Мать глянула на меня с горделивой строгостью.

— Сынок, бабушка Домка!

— Ну дай тебе Бож здоровья! Дай Бож... — Домка перекрестилась, и глаза ее, словно из серой слюды, легли на мое лицо.

— Узнал хоть? — спросила мать.

— Конечно, узнал... — Я взгляделся в старухино лицо и удивился. Она не старела, бабушка Домка. Я помню ее с детства. И даже в ту пору она мне казалась уже старой, а сколько ей лет, я не спрашивал, да она и сама, наверное, не знала. Живет она с дочерью, через три дома от нашего. В войну у нее погибли на фронте три сына. Домка всегда ходила в церковь молиться за них. На свадьбах, похоронах без нее не обходятся. Откуда у нее столько сил? И где эта сила держится? В чем она держится?

— А ты чего тут? — спросила мать.

— Та батюшка просил прийти... По дому штось...

— За Дмитрия за здравие помолись... — Мать достала из кармана кофты пару монеток, сунула в ладошку бабушки Домки.

— Сделаю, усе сделаю, родная моя! — кивнула старушка и снова взглянула на меня, но на этот раз деловито, словно зарубила отметку в своем сознании. Мне стало неловко от мысли, что судьба моя дальнейшая может зависеть от нее.

— Не надо, мама... Ни к чему это...

— Пускай помолится! — строго сказала мать. Но не сразу сказала, а когда мы уже отошли от церкви порядочно. — Пускай, — повторила тихонько, и лицо ее, горделиво-спокойное минуту назад, словно тенью покрылось. — Кто вот тока нас вспомянет? Я покуда ниче, бегаю потрошки. А тятя еле ходит... Ты от приехал, он вроде забодрился. А так целый месяц лежал. Нога раненая ничего... А здоровая у коленке болит. Соля какиесь, или што...

— Он мне ничего не говорил...

— А кому он скажет? Кому? — Мать остановилась. — Ему никада не надо было ничего! Ни себе, ни детям! На

смерть и то денег не сховал... — Голос у нее осекся, она прикрыла рот платком, словно поперхнулась, глянула на меня, в душу самую глянула. — И за тебя волнуясь... Такое беспокойство по миру... Радио слушаем, усюду беспокойство... Ночью проснуся, спать не могу... Как ты там? Сердце болит... Не могу спать...

— Все будет хорошо! Не надо, мама... Все будет хорошо!

— Дай Бох... — Она оперлась на мое плечо, потому что тропинка круто стекла вниз, петляя между проявленной солнцем лежалой травы. Солнце, уцепившись за гребень холма, просвечивало стволы акаций, похожих издали на молоденькие саженцы. Закатный свет стекал под уклон, и в этом свете горели холодным пламенем подзолоченные листья шиповника. Памятник французскому виноградарю, стоящий в одиночестве на склоне холма, был хорошо виден. А чуть ниже, отбеленные известью, чисто белели кресты, тумбочки с поржавевшими жестяными звездами. Старые вишни закрывали склон. Ягодки на ветках были сморщены, словно обуглились. Я оглянулся, и мне показалось, будто в грудь мою кто-то толкнул крепеньким детским кулачком.

Здесь, на этом месте, в распадке между холмами, мы играли в казаков-разбойников. Здесь и жила в моем сознании отцовская война — проволока натянута между ветлами, и бинты, множество бинтов полощет теплый ветер. Раненые люди в измазанных хлоркой гимнастерках ходят ночами по мягкой земле. И часто во время игры, уже в сумерках, когда легкий туманец опускался в распадок возле кладбища, внезапная жуть обжигала мне спину ознобным холодком. Крик ворона из мгливой тяжести деревьев отдавался в моем сердце заячьей дрожью, и я, не помня себя, опрометью бросался бежать к поселку. «Домой! Домой! — стучало сердце. И чудилось, кто-то гонится за мной следом, хрипло дыша в спину. — Домой! Домой! Скорее домой!». А дома мне уже было не страшно, потому что никогда наш двор не оставался пустым. Калитка даже в поздних сумерках была настезь открыта. Кто только не перебивал в нашем дворе. Люди приезжали из соседних сел, Алуата, Кангаза, Ваисильевки и даже из Слободзеи, знаменитой в ту пору Слободзеи, где живут гончары. Все приезжали по делу. К отцу насчет саженцев, а к деду с заказами на новые бочки. Захаживал частенько и главный винодел нашего совхоза — Яков Петрович Коджебаш. Он

окончил в Кишиневе курсы виноградарства и виноделия. Но курсы — курсами, а посоветоваться со стариками считал делом неззорным. Он носил в ту пору темно-синие галифе и гимнастерку со следами погон. Из нагрудного кармана поблескивала гусиная лапка авторучки. Ростом Коджебаш невысокий, кряжистый, лицо красное, с выгоревшими бровями, а глаза маленькие, но ухватистые — все насквозь видят. Сядет у палисадника, голову вытрет носовым платком — стригся Яков Петрович «под Котовского» — покурит и заведет с дедом разговор о виноделии. Начнет с погоды, или с инвентаря, потом уж свернет разговор на виноградарство. Любопытство его было не праздным. Сам Яков Петрович был не каменецкий, а с северных наших мест — там земля с котельцом пополам, там и сорта другие. Дед ему и рассказывает, что у нас и как. Коджебаш слушает, кивает: «Такая, значит, фактура... Ясно!». Авторучку достанет, черкнет пару строк в потрепанную записную книжку. Посидит, покурит и откланяется. Ужинать с нами никогда не оставался.

«Настырный!» — говорил отец. Дед усмехался: «А ты как хотел? На то и начальство... Не будешь настырным, спихнут овцы пасти...». «Я бы тоже мог курсы кончить... — говорил отец. — Дело какое...». «И че ж не кончил? — спрашивал дед. — Сичас бы фертом ходил!». «А я командовать не умею...».

Разговор на этом кончался. А мне обидно. Все-таки, отец ранен и мог бы себе найти и полегче работу. Но легкой работы он не хотел, пропадал днями на плантации. «Мне, — говорил, — там спокойнее...». А дед оставался дома. В совхоз он вступил, но мастерскую в совхозные владения отдавать не захотел. Все прохудившиеся бочки на ремонт привозил к нам во двор из винпункта ездовой Василий Сулак, сухонький, как корешок старой лозы, старичок. Въедет во двор, скатит бочку на землю, спину разогнет, косит бесцветными, как обсосанные леденцы, глазками на дверь мастерской. А дед, знай себе, постукивает молотком и внимания на Сулака не обращает, покуда мать не выдержит: «Тятя! Принимай заказ!». «Чую! Не глухой...» — отзывался дед. И выходил из-под пропахшего стружечным духом навеса. Высокий, жилистый, в прилипшей к спине гимнастерке — донашивал после отца. Отверверхую, припорошенную древесной пылью шляпу вскидывал на заты-

лок, щурил глаза, постукивал по днищу бочки согнутым пальцем. «Э-э-э! Ити вашу в технологов мать... Как же ее ремонтировать? Ее выбросить надо!». «Рассохлась, Семен Митрич... Складских помещений нету. А финансов — сальдо!» — оправдывался Сулак. Он среди совхозного начальства пообтерся, знал, как ответить. Глядел на деда, ждал одобрения или хотя бы подтверждения своему ученому объяснению причины рассохшейся бочки.

Но дед даже не глядел на него. Очень ему надо, бондарю-специалисту, выслушивать рассуждения всякой ездовой прислуги. Молчал, раздумывал. Я заглядывал в отдушину бочки, и дыхание мое перехватывало спертым духом старого сула. «Ага-а! — кричал я. — Сидишь, винный дух? А ну, вылазь!». Голос мой отдавался гулким эхом, и чудилось, что в душной тишине и вправду ворочается, недовольно посапывает живая душа: она злится, ворчит, а выбраться в горловину не может, так и будет маяться в темноте, стянутая обручами.

Дед баловства не терпел: «А ну, не мешайся!». И сам заглядывал в горловину. Наверное, верил — есть живая душа в бочке. А как же ей не быть? Кто суло колобродит? Кто крепость вину дает? Ясное дело, — винный дух... «Откати под навес! — приказывал Василию Сулаку. — Будем смотреть...». «Просили за два дня управиться!» — передавал наказ начальства Сулак. «Скока, скока? — переспрашивал дед. — Ишь ты-ы-ы! Скорые какие...». И замолкал. Но ездовой требовал конкретного ответа: «Что передать, Семен Митрич?». Дед сворачивал костистыми, пожелтевшими от курева пальцами известную фигуру, подсовывал ее под нос Сулаку. «От ее и передай! А за два дня пускай Коджебаш ее сам до ума доведет...». «Добрэ, Семен Митрич! — кивал Сулак. — Передадим! Наше дело какое? Сказали, привезь? Привезем! Сказали, отвезь? Отвезем... И передать тоже можем! Но! Холера!».

— Сюда, сюда, Митя!...

Мать свернула с обхоженной тропки на невидимую в пожухлой траве стежку. Стежку эту я не заметил. Кладбищенские вишни, дикая маслина, слива выросли вместе со мной, поди угадай, где дедовская могила.

Умер он давно, я ходил в третий класс, но помню, на похороны меня не взяли. Помню, в тот день шел сильный

дождь, и мать выбросила во двор всю кухонные ножи, чтобы, по старой примете, отвести гнев небесных сил от нашего дома. А бабушка Домка крестилась и шептала: «Дождь хорошо! Душа очищение примет! Влагодй небесной очищение! Прими Господи его душу! Господи, прими...».

Мать пробиралась дальше, мимо раскидистых кустов сирени, нетронутой в пору цветения — увядшие бутоны щетинились ржавыми гвоздиками тычинок. Земля под моими ногами податливо прогибалась, я чувствовал неловкое смущение, неловкость от каждого шага и старался ступать по материнским следам, а казалось, иду по живому. У холмика, заросшего травой, мать присела на скамеечку, а я смотрел на могилу.

Крест хорошо сохранился и стоял ровно, только голубая краска выцвела на солнце и свернулась в струпы. Я поддел ее ногтем, и она легко отпала — под краской было видно еще не постаревшее тело дерева, такое молодое, будто крест был недавно сделан. Пахло дубками, но где они росли, я не заметил — много было осенних цветов на соседних могилах. Остья сухих, прямоствольных стеблей, похожих на укроп-семянник, росли на дедовой могиле густо. Я потянул стебелек, но сорвал верхушку — корень остался под землей, словно держали его там, в слепой глубине цепкие дедовы пальцы.

— Проведать пришли, называется! А сапу забыли! — сказала мать.

— Может, у людей спросить? — Я оглянулся, заметил чью-то косынку, белевшую у самой ограды.

— Придется... Что ж делать? — Мать пошла к ограде, осторожно ступая по мягкой земле. А я присел на скамейку, закурил и глядел на дедовскую могилу. Рядом была могила бабушки, она умерла еще до войны, а дальше — сестер матери, крестной моей, тети Веры — весь наш род Биженарей лежал здесь, под ясным осенним небом, в глубине просушенной солнцем земли. На мгновенье жизнь во мне замерла, только кровь стучала пульсом в висках: «Я здесь! Я здесь!», но о смерти я не думал. Смерть не вмещалась в моем сознании. Я чувствовал ее близость только там, на границе, в ночных нарядах, она таилась за темными выступами скал, на невидимом прицеле. И в те минуты скользкий холодок подкатывал к сердцу, я напрягал тело, вбирая в грудь побольше воздуха, чтобы не дать этому

холодку власти над собой. И в сознании бился упрямый голосок: «Держись, Биженарь! Тебя не убьют...», хотя понимал, нельзя верить этому голоску, нельзя успокаивать себя обманом. А голосок не утихал: «Тебя не убьют! Ты будешь жить! Долго жить...».

Мать принесла сапу и осторожно, словно боясь нечаянно задеть за живое, начала срезать сухую траву с дедовской могилы. В том месте, где стебли были уже срезаны, белели корешки корней. Я вынес траву к ограде и поджег — пусть дурное семя сгорит без остатка. А мать достала из кошелки бутылку нашего вина из той бочки, которую открыл отец к моему приезду, плеснула из горлышка на обновленную землю могилы.

— Пей, тятя...

Вино впиталось в землю, будто дед потянул его губами. Пусть пьет. Это наше вино. Он почувствует, что наше — отец хотя и насажал после войны новых саженцев на нашем винограднике, но с десятков старых дедовских корней осталось...

Пей, Семен Дмитрич! И я, твой внук, выпью, выпью за тебя, и будем мы душами вместе.

Потом я взял бутылку с краской и обвел выцветшие следы вырезанных на кресте цифр — даты рождения и смерти деда. Краска плохо впиталась от того, что дерево высохло от долгого солнца.

— Ниче... — сказала мать. — Живы будем, весной справим оградку. А крест можно новый...

— Я вернусь, из трубы сварю... — сказал я и подумал, что из двухдюймовой трубы крест получится понадежней, чем из дерева. А если еще выточить на токарном станке шарики и приварить с торцов, то будет даже красиво, не хуже, чем у других.

— Там поглядим... — сказала мать. — Дожить еще надо...

— Доживем...

Мать не ответила, но оглядела и соседние могилы — всех, кто в земле лежит, надо душой помянуть.

Крестов из акации, двухдюймовых труб, посеребренных краской, было на кладбище достаточно, но много было и щеголеватых оградок, с ухоженными мраморными надгробиями. Неподалеку под плакучей ивой виднелся даже домик, похожий на огромную птичью клетку. И только

тумбочки с жестяными звездами, выкрашенные бронзой и суриком, а кое-где проржавевшие — были строго одинаковы, как сторожевые посты без часовых.

Кто лежал в нашей земле под этими звездами? Чья мать, сестра ухаживает за этими могилами — я не знал, потому что на нашем кладбище хоронили людей из Алуата, Бановки и Омарбии — всех умерших свозили сюда, на нашу каменецкую землю. И вдруг, неожиданно, помимо желания, словно сумерки легли на мою душу, и беззвучный, но явственный голос во мне самом спросил: «А ты, ты где будешь лежать, Дмитрий Биженарь?». Сознание мое напряглось, сердце замерло, будто сдавленное тисками. Я замер, прислушиваясь к самому себе. Я не мог понять, чей это был голос? И если он случайно заглянул мне в душу, то почему в мою? Мне ведь нет еще и двадцати, и впереди у меня жизнь, долгая жизнь! Но, подчиняясь этому голосу, словно во сне ступая по мягкой земле, я спросил у себя: «А в самом деле, где? Где ты будешь лежать, Дмитрий Биженарь? Если второй год твоей службы пройдет спокойно.. А если нет? И даже если я доживу до старости, хватит ли на этом кладбище свободной земли для тебя? Или лежать отдельно от всех умерших в роду Биженарей? И останется ли в первозданной крепости Каменка?»

4.

Когда мы вернулись домой, был уже поздний вечер. Из темноты переулка свет в нашем дворе показался мне очень ярким. По голосам, доносившимся с веранды, я догадался, что сосед Василий Пилюля принес карты.

В лице матери появилось привычное выражение ревниво-хозяйственной озабоченности.

— Просидят теперь до утра...

Я открыл калитку и увидел отца. Он сидел за столом под шелковицей. А рядом Василий Пилюля и дед Викул Илларионович, наш сосед через три двора, высокий худой старик.

Ветви шелковицы ложились на клеенку стола змеистыми полосами. Отец сидел спиной к нам и не видел, как мы вошли во двор, зато Василий обернулся, кивнул на отца.

— Ты ж глянь, Ксюта! Как он меня, на два ноль!

— Молодой! Отыграешься... — сказал отец.

Викул Илларионович улыбнулся, кивнул, подтверждая сказанное, хотя слышал плохо. А может и вообще не слышал. Он был очень старым и в карты не играл, а заходил к нам посидеть при свете — «за компанию...», как он говорил.

— Ну как? Все в порядке? — спросил отец. Лицо его показалось мне усталым. Глаза слезились.

— У нас в порядке! — ответила мать. — А вы, я вижу, оскоромились. — Она вытащила из-под стола пустой графин.

Отец промолчал.

— Это я принес, Ксюта! Я-я-я! Штоб карта легче шла... — улыбнулся Василий и, словно в подтверждение сказанного, хлопнул Викула Илларионовича по плечу. — Правда, дед? А ну-ка расскажи хозяйке, как до тебя комиссия приезжала...

— Да слышали, слышали, — отмахнулась мать.

— Ниче-е-е! Расскажи еще раз! Расскажи-и-и! — упрасивал Василий, но Викул Илларионович не слышал. Василию пришлось прокричать ему на ухо, что от него хотят. Старик кивнул, расправил костистые плечи и выдохнул истонченным, почти мальчишеским голосом.

— А что про тое рассказывать? Мине от тут обида! — И легоньким кулачком постучал себя в грудь. — Они мине сперва сказали, что я являюся вторым должжителем в стране...

— Тока не бреши! — взвился Василий. — Ты сперва говорил, что пятым, а не вторым...

— Ласа, мэй!* — вступился отец.

— Да, да! — не расслышал старик. — Так и говорят, что вторым... И пытаются, что я ел, как, значит, питался... Ну я им говорю, отвечаю, значит. Питался я по-всякому. А ел у молодости мамалыгу с брынзой, када, значит, Драгош Стэнеску помещиком был... А када, значит, Советы пришли, то питался дома. А ел, што жинка сготовит. Так вот... «Вино, — пытаются, — пили?». И вино пил. «А сколько?». А сколько нальют... «Курили?» — пытаются. Курил... Махорку с листа рубил. А када у помещика служил, то

* Л а с а — спокойно, тихо (молд.).

раз и сигару. пробовал... Ну, они говорят: «Это с медицинской точки зрения не может быть...». «Как же, говорю, не может быть? Када я вот он, перед вами сидю?». Подался со двора. «Не может быть, и все...».

— Пра-авильно! — усмехнулся Василий. — Раз комиссия сказала, значит ты, Викул Илларионович недоразумение! Тебя вообще нету, понял? Ты, как это? Ты мираж... Во!

— Оставь старика! — вмешался отец. — Для чего насмехаца?

— А кто над им насмехается? Я ж шу-у-тю! — обиделся Василий. — Какие вы все, Биженаре, шуток не понимаете...

Его серые, ухмылистые глаза остановились на моем лице.

— Сыграем, Мить? На удачу...

— Хватит вам, наигрались! — сказала мать. И в голосе ее окрепла привычная властность. Она накрыла карты ладонью.

— Не трожь! — тихо сказал отец.

Мать отдернула руку. Викул Илларионович взглянул на нее, потом на отца и видно подумал, что ссора вспыхнула из-за него, привстал, не зная, что делать, то ли оставаться, то ли бегом со двора.

— Сиди, дедушка! — сказал отец.

— И зачем скандал поднимать? — вмешался Василий. — Ксюта! От ей-богу правду говорю... Почему я с вами женщинами дела не имею? Потому, что вы всюду встречаете... Мы ж тихо, мирно... По-соседски... Мэй, мэй, мэй!

Мать махнула рукой, пошла в дом, и с ее уходом словно тяжесть невидимая, давившая отцовские плечи, поослабла. Он положил руку на плечо Викула Илларионовича, стоявшего в растерянности у стола — «Садись, мол, все в порядке. Дальше живем...», подвинулся на лавке, освобождая место для меня.

— Чего как засватанный? — И начал раздавать карты. «Шлеп!», «Шлеп!» по клеенке стола.

— Как грица, — потер ладони Василий, — не везет мне в карты, повезет в любви...

— Молись богу, чтоб повезло, — улыбнулся отец. — А то кому хату оставишь?

— А родному совхозу и оставлю! — не поддался Василий.

— И не жалко будет?

— Не-е-е!

— Брешешь! — сказал отец и глянул на соседа исподлобья. А в самом деле, кому достанется все нажитое Василием добро? Ведь живет он один и, хотя с хозяйством управляется и живет в достатке — каждый кустик винограда, каждое деревце ухожено, а к сорока годам детского голоса во дворе не слышать. Жены не оставили Василию потомства. Какой смысл в жизни, если нет у человека детей? Для кого тогда жить?

Василий медлил с ответов. Но я заметил, что всегдашняя, дурашливая ухмылка слетела с его лица. Он сжал губы и прищурясь взглянул на отца.

— А ты свою хату кому оставишь, Ион? — И покосился на Викула Илларионовича, словно приглашая его в свидетели. Но старик только кивнул, наверное не расслышал.

— А сыну и оставлю! — сказал отец и шлепнул картой по столу. — Поддавай, Митя!

— Сомнева-а-аюсь, Семеныч! Сомнева-а-аюсь! — усмехнулся Василий. — У твоего сына какая специальность? Электросварщик! Верно, Митя? Где ему тут работать? Э-э-э! От помянешь мое слово, с армии вернется, в Тучков мотанет... Што, нет скажешь?

— Это мы еще посмотрим! — вздохнул отец. Но голос его будто дал трещинку. Он заерзал на лавке, взглянул с усердным вниманием в свои карты, потом покосился на меня, словно поддержки просил.

Что я мог ему ответить? Василий был, конечно, прав. Я и в мыслях не держал, что вернувшись из армии, буду работать в совхозе. Но чувствовать правоту Василия было досадно.

— Это, значит, как получается? А? — вскрикнул вдруг в наступившей тишине Викул Илларионович, — Это как не может быть? Не-е-ет! Брешешь! Я двадцать лет у помещика на одних харчах жил... Это рази ошибка? Я по людям работал, за лей* у день! Я овцы пас! Это хто хочешь тебе подтвердит...

— Не буянь, дед! — отмахнулся Василий и глянул на меня, как победитель на побежденного. — Ваш ход, товарищ пограничник!

— Получай! — Я шлепнул картой о стол.

Отец оживился и тоже подбросил карту Василию.

* Л е я — румынская денежная единица.

— Ниче-е-е! Это мы еще поглядим, сусед... Чужим оставлять? Не-е-е! Наш корень Биженаровский тута! Ты нас Тучковым не пугай... По совхозу возьми! Скока приезжих?

— Ну, то с России! — отозвался с неохотой Василий. — Россию чего считать? Она всегда голодная была... От када Советы в сороковом пришли, тетка Марица балакала, сестра до ей приехала... Мешок луку с голодухи съела. Нажарит на сковородке и аж давица...

— При чем здесь Россия? А у нас что, голоду не было? — не поддался отец. — Не в этом все дело... С России, с Украины, а все одно, едут! Е-е-едут! Тятка покойный как говорил? Время такое придет — все с городов побегут...

— Ла-а-адно! Мы тоже побежали... — не стал спорить Василий. Но всегдашняя ухмылка крепко держалась на его лице. Он встал из-за стола. Следом подхватился и Викул Илларионович со своей обидой на комиссию, будь она неладна, шляпу надел, не просто нахлобучил на голову, а на левое ухо, протянул мне сухонькую ладошку, выкрикнул.

— Служи! Верой и правдой! — И затрусил семенящим шагком к воротам.

— А ты сам хоть служил, дед? — донесся до меня басок Василия. Ответа старика я не расслышал. Сидел за столом и глядел, как пляшет ночная мошкара в ореоле света под козырьком крыльца. Промелькнувший день показался мне коротким, как мгновенье. Никогда я так остро не чувствовал, как бежит время.

Мать увидела, что гости разошлись, вышла на крыльцо, и строгости в ее лице прибавилось. Снова ее власть утвердилась над нами.

— Вечерять будете или нет? — спросила она.

Отец стоял у калитки и не расслышал ее голоса, а я ничего не ответил. Мое молчание мать раздосадовало.

— Ну ты чего? Уснул, или что? И Виорики нету... Ой, господи-господи... Морока мне с вами...

— Пойду поищу... — Я встал и вышел за калитку.

Мне не хотелось встречаться взглядом с отцом. Я понимал, что в споре с Василием мне нужно, нужно было его поддержать... Неловко было еще и от того, что Василий ушел, уверенный в своей правоте, будто распорядился моей дальнейшей судьбой.

На площади горели фонари. А в переулке было темно, хоть с закрытыми глазами иди. Я вышел на середину дороги. Свет из окон соседских домов пробивал оголенные ветки вишен, но осветить всю землю переуллка силы не имел — каждое окно жило для своего двора.

Всех я знаю в этих дворах. Вот дом Михаила Овчара. С сыном его Николаем я учился до восьмого класса. Где ты сейчас, Николай? Где тебя носит? А вот мерцает телевизионными бликами окошко тетушки Еяны. К ней мы с отцом всегда ходили в баньку. В совхозной, стоящей неподалеку от площади, отец мыться стеснялся — что людям бинты свои показывать?

Мелькнуло в глубине двора слюдяной чернотой окно Викула Илларионовича. Наверное, уже лег спать старик, а может не спит, доказывает сам себе, что он не ошибка, он есть на земле. В самом деле, черт с ней, с этой комиссией. А попробуй докажи людям, что ты это ты — и служил и работал, если года перевалили за сотню и пережил ты своих сверстников, и никаких документов, трудовой книжки у тебя нет. Какая там трудовая книжка при помещике...

У Дворца культуры я поглядел на афишу кино. Фильм был незнакомый — на заставе мы такой не смотрели. Свет в фойе был погашен, только у входа светилась лампочка дежурного освещения.

Кто-то окликнул меня. Я оглянулся. На аллейке, под плакучей ивой, тренькала гитара и вспыхивали огоньки сигарет.

— Зазна-а-ался, Биженарь! — слышался дружелюбный, с легкой хрипотцой голос.

Конечно же, это был голос Кости Стефана. Гитариста Кости, балагура, неперемногого участника всех совхозных свадеб, скандалов, всех больших и незначительных событий в нашей Каменке.

Костя был старше меня на добрый десяток лет, но как это ни странно, не старел. Его любили все, а особенно женщины, хотя Костя относился к ним со снисходительным пренебрежением и за глаза посмеивался.

Легендой стал уже тот случай, когда в поселке появилась практикантка из педагогического института, будущая учительница пения. Как сумел к ней подъехать Костя, чем ему удалось ее увлечь — не могу сказать. Но в первый

же вечер знакомства он предложил ей совершить экскурсию на винпункт.

В этом ничего, конечно, зазорного не было. В Каменку приезжают экскурсии, чтобы побывать в подвалах, где хранится марочное вино. И практикантка могла бы и сама упросить дежурного технолога провести ее и показать подвалы. Но пошла она с Костей и, что самое неправдоподобное, согласилась пойти именно ночью. Потому что, как ей объяснил Костя, только ночью можно услышать, как бродит вино в бутах.* Мало этого. Костя провел ее на территорию не через проходную, а в заборную щель. Сделать это было легко — пять лет назад территория не была ограждена стеной с выписанной на ней историей нашего государства. Но факт этот никому не казался достоверным. Все-таки практикантка была человеком образованным и могла догадаться, что поступок ее если не преступление, то по крайней мере хулиганство.

История закончилась неудачно. На территории будущую учительницу задержал ночной сторож, и защиты ей искать было не у кого, потому что Костя мгновенно исчез, предоставив своей доверчивой спутнице самой объясняться с представителем ночной власти. Скандала, конечно, не было. Но практикантке пришлось уехать из Каменки...

— Садись, командир! — Костя подвинулся, и я присел на пригретое место. И хотя командиром себя не почувствовал, но и рядовым в эту минуту осознавать себя не хотелось.

Рядом с Костей сидел Михайла Попушой. Тоже человек в нашем поселке знаменитый. Кто его не знает? Весу в нем — центнер с лишним, и в дни физкультурника, когда на пустыре за поселком устраивалась трынта,** Попушой почти всегда выигрывал барана. Взвалит его на плечи и, придерживая одной рукой за рога, второй за связанные задние ноги, сделает круг почета. А потом соберется у лесопосадки компания, барана освежают и жарят целиком на вертеле. Народу соберется — не пробьешься. Мяса, может, и не всем хватит, но подышать праздничным дымком всем вдоволь хватало.

* Б у т — дубовая бочка, емкостью свыше тысячи литров.

** Т р ы н т а — молдавская национальная борьба на поясах.

Внешне Михайло мало изменился, только немного обрюзг. Лоб у него покатый, а глаза с воспаленными прожилками, блестят, как черные бусинки.

— На, глотни! — Он протянул мне бутылку. Я сделал глоток, чтобы не нарушать этикета. Пить мне не хотелось. Да и вино было дрянное. Я передал бутылку Косте. Он приглушил струны ладонью и подмигнул мне.

— Что-то стало холодать! А, Митя? На сколько отпуск дали?

Я ответил. А про себя отметил, что этот вопрос задают все, кого я успел повидать. Хотя, с другой стороны, о чем еще можно спросить...

— Красота-а-а! — усмехнулся Костя. — Я вот три года отбухал, в отпуске не был...

— А я был, — встрял Михайло. — Погулял трошки...

— Да ты и не служил! Погуля-я-ял он! — вскинулся Костя.

— Я — десантник! — вскипел Попушой. — У меня двадцать прыжков с парашютом!

— Кто, ты? Да ты мешка базарного от парашюта не отличишь! Деса-а-антник! С твоим весом...

— У меня в армии вес был нормальный, — возразил Михайло. — Не знаешь, молчи!

— А то что? Что-о? — начал задираться Костя. — Молчи-и-и! Народ пошел! Плунешь в морду, драться лезете... — в лице его мелькнула снисходительная усмешка. Знал, ведь, что Попушой драться не полезет, скосил на меня глаза, вздохнул.

— Ты ж, глянь! В ботиночках! А я в кирзачах бухал... Три года... — Костя умолк, потянулся, глаза блеснули мечтательным светом. — А вообще ничего-о-о! У меня тоже служба была в порядке... Я на Западной Украине служил... Пощупал гуцулок! Они на лицо ничего, пугливые тока... Но я одну приручил. Подушку мне на чистом пуху дала. И одеяло из чистой шерсти. Коц, по-ихнему... Я сверху казенное, потом коц — красота-а-а! Служить можно... И командир у меня был свой хлопец. В увольнение? Пожа-а-алуйста! По-гражданке переоденусь, гуля-я-яю! А скока мы с ним вина выпили! Море! На кухню в наряд пойду, а там у меня тоже одна была... Правда, старовата, но ниче... Мяса кил пять нажарит — ешь солдатик! Не-е-е! Служба у меня была класс! Командир упрашивал: «Ос-

танься на сверхсрочную!». «Не могу, — говорю. — Я хлопсец бессарабский... Мне ваш климат противопоказан...»

Костя умолк. Лицо его, и в темноте видать было, раскраснелось от сладости воспоминаний. Михайло сидел, насупившись, терпеливо вздыхал, потому что историю службы Кости Стефана на Западной Украине он слышал не один раз и потому, едва тот умолк, спросил:

— А ты где служишь, Митя?

— Ты что, по поганам не видишь? — перебил Костя. — Тоже мне деса-а-антник...

— За кого ты меня принимаешь? — обиделся не на шутку Михайло. — Военный билет тебе показать? Да?

— Бросьте вы, ребята! — не стерпел я.

— А чего он подковыривает?

— Кто тебя подковыривает? — огрызнулся Костя. — Тебе тока стакан налей... Э-э-эх! Тоска ночная... — Он широко, по-братски обнял меня за плечи, дохнул в лицо перегарцем.

— Ну, что молчишь? Как там граница?

— Нормально...

— Бро-о-ось! — усмехнулся Костя. — Рассказывай, сколько шпионов поймал?

— Не ловил я шпионов. — Я почувствовал, что начинаю злиться, не на Костю, на себя.

— Чего ты к нему привязался? — вступился Михайло.

— А ты сиди-и! Парашютист!

Я встал.

— Пойду я, ребята...

— Да подожди ты! Поговорим...

— Нет. Пойду...

Я зашагал к площади, чувствуя спиной их глаза. «Все верно, — оправдывал я себя. — Чего, в самом деле, сидеть? Надо разыскать Виорику... Куда она могла подеваться?». Я зашагал быстрее, стараясь закрепить в себе досаду на сестру. Но тут же понял, что сестра ни при чем. Досадно было от встречи с Костей и Михайло. Странно, но в ту минуту я почувствовал себя намного старше этих ребят. Да, именно так. А ведь до армии не то, что поговорить, — посидеть в их компании мне было приятно. А сейчас? «Поговорим...». О чем? В самом деле, что я мог рассказать им? О шпионах? Но на нашем участке не было задержаний. О чем еще? О поварихе, жарившей персонально для меня

мясо? Или о командире, с которым я выпил море вина? Но ведь не было этого в моей службе! А я почувствовал, что и Костя и Михайло хотели от меня что-нибудь подобное, такую же историю, но не правду. Вот в чем дело. Вот от чего мне стало досадно...

А зачем обманывать? Для чего? Для какой цели? И почему вообще (я это и раньше замечал) отслужившие ребята вспоминают о своей службе с какой-то снисходительной беспечностью? Хотя беспечного и легкого в службе нет. Ведь знаю, знаю наверняка, не жарила повариха мясо для Кости. И не пил он со своим командиром. И наверняка, за три года службы был у него, хоть один, но был, случай, крепко запавший в его душу. А ведь он об этом случае не вспомнил. Не захотел вспомнить. Почему? Почему человек так устроен — то, что мучает его сильно, он старается схоронить поглубже в себе... Почему? И чем я отличаюсь от остальных людей? Ведь я тоже скрытен. И стараюсь все свое держать при себе. Ведь мог бы я рассказать Косте и Михайлу все то, о чем передумал за год... Почему же не рассказал?

Стыдно было. Стыдно и неловко. Боялся, что не поймут, или поймут неверно и посмеются...

Конечно, можно было бы вспомнить о том, что вспоминают обычно все — кем я стал в армии и чему научился. Можно было бы похвастаться, как я умею стрелять из автомата по движущейся мишени, колоть штыком, стрелять на свет, на огонек спички, стрелять лежа, с колена, из-за укрытия... О том, что я умею читать следы диких животных, следы различных марок машин. Знаю несколько приемов, с помощью которых можно сбить человека с ног... О том, как я умею подавать звуковые сигналы, ползать по-пластунски, окапываться, маскироваться в зависимости от ландшафта местности, бегать в противогазе по полной боевой выкладке. Умею работать со служебной собакой...

Умею, знаю, могу... Все это так, так... Всему этому я выучился за год службы. Но ведь все эти у м е ю, з н а ю, м о г у не принадлежат моей душе, а относятся к моей военной форме, которую, если все будет хорошо, я сниму через год, когда стану мирным, гражданским человеком. Ведь все эти у м е ю, з н а ю, м о г у я не держу в сердце, не ощущаю сердцем. А помню и не могу забыть тот далекий осенний день, когда в курилке учебного

отряда сержант из соседней роты командовал «Встать!», «Сесть!» Степану Осипенко. И не в ночных нарядах мне было по-настоящему страшно, а в тот закатный вечер, когда я услышал резкий и хлесткий, как удар кнута, голос этого сержанта. Поначалу я никак не мог понять, почему мне стало страшно. Я думал об этом случае, засыпая ночью в казарме, и слышал голос этого сержанта, видел его самого в ладно подогнанной щеголеватой форме. Лицо его приближалось ко мне, огромное, слепое лицо. Я отталкивал его, стараясь заглянуть в глаза. Но глаз не видел. И в ту ночь, когда мне все это привиделось, я понял вдруг до последней кровинки в сердце, почему мне стало страшно, я понял, что человек, наделенный властью, но превышающий ее, опаснее врага. Жестокость врага видна всегда, а у превышенной власти ее не разглядишь, ее не ограничишь уставом. Тайной, неведомой силой эта жестокость может жить в душе человека. Как ее разгадать? Как укротить? И почему, почему она появилась в душе у Степана Осипенко после того, как его у н и з и л и? Жила ли эта жажда жестокости в его душе с рождения? Или родилась после этого случая в курилке? И почему у него появилось желание испытать свою власть на мне? Почему именно на мне?..

Ведь неизвестно, чем бы окончились его притеснения, если бы я не вырвался в отпуск, если бы не отличился при учебной задержке нарушителя. Помню, помню, когда приказом по полку мне этот отпуск объявили и я уже знал, что поеду домой, выглаживал свою парадную форму в бытовке, Степан открыл дверь, остановился на пороге и сказал: «Вэзэ тоби, Быжэнарь!...». В голосе его я почувствовал грусть, сожаление, карие глаза глядели на меня по-дружески, точно так же, как и в первые дни нашего знакомства в учебном отряде. В душу мою, словно жарким солнцем пахнуло. Захотелось обнять Степана, крепко обнять. «Что тебе привезти, Степа?» — спросил я. Но словно отталкивая мою невидимую протянутую руку, он сжал губы, и в голосе, в мгновенно покрасневшем лице напряглась защитная, официально-командная суровость. «Ничого нэ трэба!» — И хлопнул дверью. Я слышу, отчетливо слышу этот хлопок, здесь, за тысячу километров от заставы, в родной своей Каменке, под этими звездами... Как они близки? Рядом совсем, рукой дотянуться можно...

Миновав площадь, я свернул в переулок. Сквозь оголенные ветви вишен углядел молочную белизну чьей-то рубашки, услышал полусмех-полушепот.

Я остановился, прислушался и догадался сразу, чей это смех, но какое-то, почти детское любопытство пробралось в душу. Я бросился к телеграфному столбу, замер. Потом выглянул и, крадучись, сделал несколько шагов к штакетнику, стараясь не попасть в полосу света, бывшего из окна бабушки Домки.

— А что их бояться? Схватил и на берег! — слышался мальчишеский голосок. Ему отозвался смущенный, девичий.

— Все равно страшно! А вдруг ущипнет?

— Ущипне-е-ет! Вареных все-е-е любят... Хочешь, завтра сходим?

— Не знаю...

На несколько секунд голоса смолкли. Потом девичий слышался снова, но уже недовольный.

— Петька! Опять ты... Ну?.. Пусти!..

— Та постой, мэй! Постой...

— Кому сказала, пусти! — В девичьем голоске слышалась нешуточная угроза.

«Ай да Петька! Ты не только раков ловить умеешь...» — Я вышел за угол.

Паренек отпрянул от Виорики. На мгновенье оба в растерянности замерли. Паренек смущение переборол первый. Руки засунул в карманы и глянул на меня с вызовом. «Что-то жених у тебя низкорослый...» — подсадовал я про себя и вдруг почувствовал себя дремучим стариком, почти ровесником Викула Илларионовича. Но голосом смущения своего не выдал.

— А ну, домой! Невеста!

Когда я подошел к калитке, Виорика была уже во дворе. Я увидел ее черноволосую голову, и в следующий миг раздался звонкий, испуганный голос:

— Тятя!...

Я бросился во двор и увидел отца. Он лежал на земле у стены дома, лежал неудобно, как-то боком, подмяв под себя левую руку, правой упирался в землю, пытаюсь встать.

— Он шел и упал! Только что упал! — выкрикнула Виорика.

— Вы чего кричите? — Отец поднял голову.

— Держитесь за меня... — Я легонько потянул его за руку, чтобы принять его тело на свои плечи.

Виорика охала, путалась под ногами, пытаюсь подхватить отца за другую руку.

— Оставь! — сказал я. — Сам управлюсь...

Я приподнял отца, и все мне казалось, что он воспротивится, оттолкнет меня. Но он покорно оперся на мое плечо, и я почувствовал его легкое тело. Сердцу моему стало больно.

Из кухни выбежала мать, метнулась на помощь. Отец увидел ее и убрал руку с моего плеча.

— Нога подвернулась... Холера б ее взяла...

— Это я увидела первая, как он упал! Шел и упал! — встряла Виорика.

— Уви-и-идела она! — накинулась на нее мать. — Ты где доси ходишь? Где, спрашивается? Покою с вами нима, ни днем, ни ночью...

— Пое-е-схала! — Отец усмехнулся, отряхнул брюки и, присев на скамейке, потер колено.

— Курить у тебя есть что?

Я дал ему закурить. Он жадно затянулся, сплюнул табачную горечь.

— Тьфу! Хоть бы раненая, а то здоровая...

— Болит?

— Ноет трошки...

— Вам подлечиться надо...

Отец сощурился от дыма, искоса поглядел на меня.

— Мама пожалилась?

— Я и сам вижу... Сейчас инвалидам войны льготы есть...

— Зна-а-аем! — В глазах отца взблеснул отблеск огонька сигареты. — Знаем. Когда фронтовиков жменя осталась, то спохватились...

— Все равно подлечиться надо...

— А что мне это даст? — вскинул голову отец. — Я в госпитале лежал у Киеве, мне главный хирург Сорокин Александр Николаевич как сказал? Сказал: «Гнить, Биженарь, до самой смерти будешь...». Он правду сказал. То-о-от еще был хирург...

— Сейчас тоже врачи хорошие...

— Какие там хорошие! Сорокин сам был фронтовиком. А кто пороху не нюхал, какой врач? Тот и не врач...

— И чего ты споришь? Чего? Правильно он тебе говорит! Подлечиться надо! — вышла на порог мать. Она уже расправилась с Виорикой и, видно, слышала наш разговор, ждала, покуда подкипит душа до жаркого предела. И теперь уже сдержать себя не могла. — Подлечиться! И я за это... А то что ж получается? Ты тридцать лет в совхозе! А какую они тебе льготу дали, какую помощь?

— Ну как какую? А премии? А приемник подарили на День Победы... Он, слухай музыку...

— Наслухался? — отмахнулась мать. — Тебе машина-легковушка бесплатно положена! Он, Петька Бурлак не воевал, а справок надергал и ездит, кум королю...

— Пускай ездит, — усмехнулся отец, — меня на гробки и на казеной повезут. Может, даже с оркестром... А что? С оркестром, точно...

— Вы гляньте на него! — разгорячилась мать. — Он еще и шуточки надумал! У-у! Черт упрямый! Начальство теревить надо! Скока горбатился?

— А я не для начальства горбатился, — тихо ответил отец, — я для людей...

— Знаем, знаем мы этих людей! — не отступала мать. — Када саженцами заведовал, так и были все друзья-товарищи... А и где они сичас? Где? Сиди теперь, вяжи веники...

— Веник — штука нужная! — усмехнулся отец. — На базаре по три рубля. Гро-о-оши...

— Ага, ага! Озолотился на старости лет! Озолотился!... Ай, Ион, Ион... — Мать махнула рукой, ушла в дом.

— Она права, тятя. Подлечиться надо, — сказал я.

— Да что вы ко мне причепились, как те репьяхи! — вскинулся отец. — Ничего мне не надо! Ясно тебе?

5.

Я промолчал. Но утром решил сходить в совхозное правление. Встал я рано. Убрал из каморы* старые доски, навел порядок и в дедовской мастерской, а когда переделся, солнце уже было над холмами и на площади собрался народ — студенты в разномастных майках, шляпах с лихо заломленными полями, девушки с заспанными лицами и

* Камора — глиняная пристройка у дома.

школьники. Они сидели нахохлившись, как стайка воробьев на бордюре у обочины. Виорика стояла в сторонке со своими подружками. Все же мать ей вчера ума в голову вложила. Виорика была в брюках. Мне хотелось и жениха ее, специалиста по ловле раков, отыскать. А ну, показывайся, где ты? Но где его отыщешь? Вон сколько нестриженных макушек, поди угадай, кто мой будущий родственник. Зато Нину Георгиевну я увидел сразу.

— Не на уборку с нами, Биженарь?

— Нет, Нина Георгиевна... — Я поднялся по ступенькам в правление. У дверей толпились студенты. Они чему-то смеялись, но, увидев меня, смолкли, и я снова почувствовал себя военным человеком.

В фойе было сумеречно и накурено. Я оглядел себя в зеркало, снял фуражку и причесал волосы.

Сюда я заходил редко. Делать мне здесь было нечего. Разве что когда еще учился в школе, забегал посмотреть на подарки, выставленные в тамбуре запасной двери. Здесь, как и раньше, висела трафаретная табличка: «Победителям, занявшим первое место в социалистическом соревновании...». И многоточие. Потому что неизвестно, кто станет победителем. В пору моей учебы за стеклом стоял радиоприемник на ножках и стиральная машина «Рига». Это я хорошо запомнил. Сейчас победителей ожидала награда — телевизор «Рекорд».

Время на месте не стояло.

Я поднялся на второй этаж. Дверь в приемную главной дирекции была открыта, но никого в ней не было. За столом, уставленным телефонами, сидела Вера Чулак.

Вот уж кого увидеть на секретарском месте я никак не ожидал.

Голубое платье туго облегалo Верину и без того расплывшее тело. Рыжие волосы блестели на солнце, и взглянула она на меня так, будто я пришел пол мыть в приемную.

Я расстегнул пуговицы на кителе:

— Ты чего тут делаешь?

— А вы по какому делу? — осведомилась Вера. И не довольная, видно, моей фамильярностью, поджала губы. Я глянул на нее в упор. Вера не выдержала взгляда, часто-часто заморгала густо начерненными ресницами и вдруг вскочила.

— Ой! Бижена-арь! Ой, не узнала! Какой ты здоровый стал, Бижена-а-арь!

— Овсянки поешь, поздоровеешь...

Разговаривать с Верой у меня не было охоты. Я учился с ней до восьмого класса, и все восемь лет и десятью словами с ней не обмолвился. Она была круглой отличницей и очень этим гордилась, считала себя Бог знает кем... Родители ее наши, каменецкие. Отец — главный бухгалтер в совхозе. А мать — заведующая почтой. Вера единственная дочь. Чуть ли не с пятого класса она начала готовиться к поступлению в университет... И, честно сказать, увидев ее сейчас на месте секретарши, я удивился.

— Ты что, и вправду здесь работаешь?

— Ну пря-я-мо! — улынулась Вера. — Сейчас ведь трудовой семестр...

Все ясно. Папа с мамой позаботились о том, чтобы единственная дочь не гнула спину на совхозном винограднике.

— Неплохо устроилась!

— Уж как умею!

В следующее мгновение мне стало ясно, что у м е е т она хорошо, потому что когда я подошел к обитой дерматином двери, Вера мягко, как ученая кошка, выскользнула из-за стола и загородила дорогу.

— Нельзя! У Якова Петровича наряд!

— Ладно. Подождем... — Я уселся в кресло и вытянул ноги.

— У тебя к нему что-нибудь важное?

— Нет! Поздороваться пришел! — Я отвернулся к окну.

— Ты все такой же, Биженарь... Себе на уме... — слышалось за спиной. — Хоть бы рассказал, где служишь?

— В пожарно-водолазных частях...

Полные Верины губы сжались сердечком.

— Разве есть такие части?

— А говоришь, в университете учишься! Главные части в армии... Подводная лодка загорится — мы ее тушим... «Зачем я это говорю? Зачем вру?»

— У нас нет военной кафедры... — вздохнула Вера.

Я не выдержал и засмеялся. Потому что представил ее в солдатской форме. Трудно будет найти сапоги на Верины ноги.

Подобный случай у нас в отряде был, в первые дни моей службы. Призвался с нами один толстяк из Моги-

левского района. Мы уже все ходили в форме, уже и привыкнуть к ней успели, и уже был тот случай в курилке и я подружился со Степаном Осипенко, а паренек из Могилевского района разгуливал в тапочках, дожидался, пока куда в голенища сапог отрядный сапожник вставит клинья...

— Ты чего это смеешься? — насторожилась Вера.

Ответить я не успел. Дверь кабинета главного винодела распахнулась. И не спеша, по-одному, по двое, начали выходить люди. Звеньевые, табельщицы, бригадиры, учетчицы — младший командный состав совхозных владений. Запахло потом, дымком папирос.

— Не курить! Не курить, товарищи! — подала голос временная секретарша.

Но товарищи не обратили на нее внимания. Они подчинялись только главному виноделу. Сам Яков Петрович из кабинета не вышел.

Я открыл дверь.

Главный винодел стоял у висевшей на стене карты — плана совхозных плантаций, постукивал по ней согнутым пальцем и, глядя сверху вниз на кряжистого низенького человека, выкрикивал, словно урок втолковывал.

— Нет! Нет! Не согласный! Этот склон трюшки пускай подождет... От такая фактура!

Слушавший его человек был в сером костюме, при галстукке. Не знаю почему, но мне показалось, что пиджак он надел поверх офицерского мундира. Он стоял, расставив ноги, уважительно молчал, кивая круглой, коротко остриженной головой. Потом сказал.

— Убирать все-таки придется, Петрович...

— Это что? Твоя команда? Не-е-ет! Ты в это дело не лезь. Понял? — Яков Петрович рубанул воздух ребром ладони, словно примеривался, как ударить по голове непонятливого слушателя. — Не лезь! — повторил он. — А марочные сорта я студентам убирать не дам. Знаем, как они убирают... — И добавил одно молдавское слово, качество работы студентов определившее точно.

— Директива! Яков Петрович... — вздохнул человек в сером костюме.

— Я ваши директивы видал знаешь где? — выкрикнул Коджебаш и взглянул на меня.

— Тебе чего, солдат?

Человек в сером костюме тоже повернулся ко мне, но как-то неуклюже, всем туловищем. «Не вовремя я...» — мелькнуло в сознании. Но отступить не хотелось.

— Я насчет отца...

— Какого отца? Как фамилия? — четким и быстрым голосом спросил человек в сером костюме. И все его коренастое тело подалось мне навстречу.

Я назвал фамилию и понял, что наш род Биженарей он не знает, потому что лицо его осталось настороженным и строгим. Он посмотрел на Якова Петровича.

— Биженарь Ион... — сказал главный винодел. — На школке работал... — Он вытер разгоряченное лицо носовым платком, вздохнул.

— Сынок его будешь?

— Не помните, Яков Петрович?

— Всех разве упомнишь? С такой работой скоро самого себя забудешь... — И покосился на человека в сером костюме. — О! Валерий Никанорыч! Взвод от таких орлов на пятнадцатый участок! И порядок...

— Где я тебе взвод возьму? — ответил Валерий Никанорович и поглядел на меня так, словно пожалел, что я не могу заменить взвода.

— Так что ты насчет отца хотел узнать?

— Ему бы путевку... Подлечиться...

— А у кого Биженарь в бригаде? — спросил Валерий Никанорович.

— На пенсии он... — ответил Коджебаш. Его сухие обветренные губы сжались, он опустил голову и начал перебирать на столе стопку бумаг, будто в этот момент ему понадобилась одна, самая важная.

Валерий Никанорович пожал плечами, посмотрел на главного винодела, словно не понял его объяснения, потом повернулся ко мне и перешел на «вы».

— А почему вы именно к нам обращаетесь? Есть ведь собес, есть медицинские учреждения... По-моему, вы не по адресу...

Сердце в моей груди сжалось и застучало часто-часто.

— Это как не по адресу? Мой отец в совхозе с самого начала! Как это не по адресу?

— Ты не кричи. Мы не глухие... — Коджебаш поглядел в окно. — Дать путевку, конечно, надо... Как инвалиду войны...

— Тогда в военкомат! Только в военкомат! — разгорячился Валерий Никанорович. — Я-то ведь не знал, что он инвалид войны! Пусть в военкомат обратится. Это функция военкомата! Самая непосредственная... Разве не так? Ведь так?

Голос у него был взволнованным, убеждающе-взволнованным, словно не меня, не главного винодела, себя самого в первую очередь ему хотелось убедить в своей правоте. Потом он умолк, словно застеснялся своей горячности, и на мгновение в его серых глазах мелькнуло извинительно-дружелюбное сочувствие.

— Ты нас правильно пойми... Без обиды... Постановление о ветеранах войны мы знаем... Но это уже не наша функция... Пойми...

— Ну, что тут толковать? — перебил Коджебаш. — Фактура ясная. Нам что, путевку жалко? Нам не жалко. Только ему ж по ранению надо? Специальная путевка, верно? Чего молчишь? Не согласный?

Как тут было не согласиться — все было верно, все логично. Но когда я вышел из кабинета, на душе было, как в детстве, когда я играл в снежки — льдистый комочек попал за шиворот, жжет холодком спину. И выбросить хочется, а руками не достать...

Всю дорогу до Тучкова я смотрел в окно и старался ни о чем не думать. Пробегали мимо холмы, черепичные крыши, увязшие по макушку в отмирающей позолоте листьев. Весь бегущий мир от горизонта до горизонта дремал, как в мутной воде. И только на автостанции в Тучкове солнце прожгло хмарную завесь неба, но выглянуло ненадолго, — тучи были плотные и тяжелые, наверное к дождю.

К военкомату я пошел пешком — мне казалось, что так будет быстрее. Сердце разогрелось в груди, кровь стучала в висках. Я шел и шептал: «Ничего! Ничего! Надо все доводить до конца! До конца! До конца!...».

В пахнущем свежевывытым полом вестибюле военкомата, среди предостерегающих об опасности, грозящей нашему государству, плакатов я успокоился и почувствовал себя солдатом.

В знакомой, перегороженной барьерчиком комнате, где я в первые дни приезда ставил учетный штамп в военный билет, сидела девушка-сержант. Я спросил у нее, где на-

ходится кабинет военкома. Девушка взглянула на меня рассеянно. По всему видать, привыкла разговаривать за-просто и с чинами постарше, назвала номер комнаты и принялась стучать на машинке. «Стучи, стучи, — подумал я. — До старшины достучишься...». И пошел по коридору.

У комнаты военкома остановился, хотел было уже постучаться и войти, но в самое последнее мгновение мне показалось — что-то в моей форме не по уставу, да и сердце еще не совсем успокоилось. Я отступил шаг назад и наткнулся спиной на чей-то локоть.

Послышался шлепок, будто мокрой тряпкой ударили о пол.

Я обернулся.

На полу лежала папка с разбросанными листами бумаги. Веснушчатый, розовощекий, словно только что из парной, молодой парнишка чуть постарше меня, но уже в форме прапорщика глядел на меня. И вдруг выкрикнул командным тенорком.

— А ну, поднимай! Чего стоишь? — Лицо его еще больше покраснело. Капелька слюны упала мне на щеку. Я хотел нагнуться, но словно тугая пружина сжала спину. Не двигаясь с места, я смотрел на прапорщика и ничего не слышал. Только видел его глаза, красивые, светло-карие, с рыжими ресницами.

— Та-а-ак! Очень хорошо! Отлично! — Прапорщик вздохнул и начал собирать с пола листы бумаги. — От-ли-и-ично! — повторил он, поглядывая на меня снизу вверх. — Сейчас мы тебя на губу оформим... Это мы мо-о-ожем! Губа у нас знаешь, какая? Эге-е-е! Лучше санатория... Отдохнешь, отоспишься... А? — И вдруг выкрикнул что есть духу.

— Фамилия!

Ответить я не успел.

— Ну, что тут у тебя случилось, Синичка? — послышался за моей спиной хриловато-ворчливый голос.

Дверь кабинета отворилась, и в коридор вышел невысокий, сутуловатый человек в форме майора.

— Та вот, товарищ майор! Рядовой устав забыл! — пожаловался прапорщик Синичка. И принялся объяснять, что я его чуть с ног не сбил и даже не извинился.

— Вот оно как? — Майор с придиричивым любопытством оглядел меня с ног до головы. Глаза у него были голу-

бье-голубые. А лицо пожившее, морщинистое, с вьевшимися, словно татуировка, синими крапинками на смуглой коже у виска.

— А ну-ка, дай свой билет! Та-а-ак! А еще отличник погранвойск... А? — И вздохнул с укоризной. — Знакомая история... В отпуск вырветесь, все с головы вон...

— Виноват, товарищ майор...

— Виноват он! Это мы и без тебя видим... А наказать придется...

— Товарищ майор! Подождите наказывать! Я по делу, по личному делу...

— Вот так даже? Ну зайди, раз по-личному...

Майор пропустил меня в кабинет. И только я вошел, мгновенно почувствовал, что нахожусь на службе, и вспомнил заставу. Потому что здесь, в кабинете, пахло так же, как и в кабинете начальника нашей заставы — папиросным дымком, сапожным кремом.

Я клял себя за то, что ослушался прапорщика, мне было стыдно перед самим собой и перед этим человеком в майорских погонах, потому что я, едва глянул в его глаза, почувствовал, что он уже устал носить на плечах всю строгость уставной власти. Путаясь и волнуясь, я рассказал ему и об отце, и о своем неудачном посещении совхозного начальства. А он слушал, кивал, и на мгновение у меня даже мысль мелькнула, что он уже знает, знает заранее все то, что я ему рассказываю. Он стоял, нагнув голову, упершись руками в стол, потом сказал:

— Все правильно... Совхоз тут уже ни при чем... Юридически, конечно... Юридически... — Глаза его сощурились, остановились на моем лице.

— Какого твой отец года рождения?

— Тысяча девятьсот двадцать пятого...

Майор подошел к селектору и нажал кнопку.

— Катя! Принеси дело Биженаря Иона Семеныча, двадцать пятого года... Да, да... — И, словно позабыв о моем присутствии, подошел к окну и стал смотреть во двор сквозь зарешеченное стекло.

Стало тихо, и слышно было, как поскрипывают сапоги на грузных ногах майора. За окном был двор жилого дома. Я видел, как детвора носится по асфальту, потом кто-то крикнул обиженным голосом: «Славка! Отдай велик!...».

— Двадцать пятого года призыва мало осталось, — сказал, не оборачиваясь, военком. — Совсем мало...

В комнату вошла девушка-сержант и положила на стол папку серого картона, на ней синим фломастером была написана фамилия отца и год рождения.

— Пожалуйста, Сергей Петрович!

Сердце в моей груди забилось сильно и часто. Я глядел на папку. Она была совсем тоненькой; казалось, в ней ничего не было, ни одного листочка. Неужели девушка-сержант ошиблась? Не может быть, чтобы вся отцовская война, ранение, госпиталь, все то, что он пережил, перемучил в себе, смогло уместиться в этой папке...

— Спасибо, Катюша! Свободна... — Военком развязал тесемки и начал листать подколотые листки. — Та-а-ак! Биженарь Ион Семенович. Орден Славы третьей степени... Медаль «За Отвагу», «За взятие Кенигсберга»... Ранен при взятии Кенигсберга... Стоп! А юбилейная медаль? Почему не получил? Э-э-э! Так дело не пойдет... Она за мной числится... Мы ж его извещали!

— Давайте, я ему передам!

Военком усмехнулся.

— Ишь ты, герой какой нашелся! Отцовские награды вручать. Не-е-ет, голубчик, ему самому надо явиться...

Он закрыл папку и прихлопнул ее ладонью.

— В общем так! Все будет чин-чином! Отдыхать и подлечиться мы его направим. Есть хороший госпиталь для ветеранов войны... Так что пускай документы возьмет и приедет...

— Он не приедет. Он не хочет лечиться. Это мы с матерью за него решили...

— Как это не приедет? Повесткой вызовем! Ну, дела-а-а! — Военком улыбнулся и, откинувшись на кресле, закурил.

— История знакомая. Практикой, как говорится, отработана... Кому льготы положены, тот ими и не пользуется...

Он погасил папиросу и, словно вспомнив о чем-то, снова открыл папку.

— Стой! Стой! Вообще-то двадцать пятый год на Курскую дугу шел... А тут Второй Белорусский... А? Повезло, выходит, твоему батьке? На Курской, там было жа-а-арко...

— Это разве повезло? Всю жизнь рана не заживает...

— Э-э-э! Не заживает! Зато живой вернулся? Живо-о-ой! И тебя на свет родил. А? Так, голубчик мой, нельзя-я-я! Бановку, село, знаешь?

— Чего ж не знаю?

— Ну во-о-от! Так в этом селе пятнадцать человек без вести пропали! Пят-над-цать! Не раненные, не убитые — без вести... Что мне ихним женам отвечать? Там есть одна, Курышина Лидия Степановна, так она меня замутила! «Ты, — говорит, — тут вместо мебели сидишь... А мой муж, может, и жив-здоров!». «Да где ж там, жив-здоров? — говорю. — Сколько времени прошло? Куда мы только запросы ни делали! По радио объявляли!...». О! Какая женщина... Я б таким собственноручно медаль «За верность» вручал. Эх-хе-хе... — Военком позвонил по телефону, спросил:

— Юрий Иванович! Мы когда с тобой обедать пойдем? Так, так... Добро. Договорились... — И, положив трубку, нажал кнопку селектора.

— Синичка! Зайди ко мне, голубчик! — И посмотрел на меня. — Сколько тебе еще гулять осталось?

— Двое суток, товарищ майор!

Прапорщик Синичка будто под дверью стоял. Вытянулся в струнку и щелкнул каблуками. И с его появлением лицо военкома стало по-официальному строгим. Он надел фуражку.

— Ну, что тебе сказать, рядовой Биженарь? То, что за отца болеешь душой — это ты молодец! А устав, голубчик, забывать тоже не следует... — И прапорщику. — Полчаса строевым рядового!

— Есть полчаса строевым! — щелкнул каблуками Синичка.

— Товарищ майор!

— Кругом!

— Есть, кругом!..

Пятки мои еще горели, командный тенорок прапорщика Синички: «Смирно! Равнение направо!», «Смирно! Равнение налево!» — звенел в разгоряченной моей голове, но когда я вышел из военкомата — ни обиды, ни досады не было в моем сознании — вся она в землю ушла. Горячая, бездумная усталость властвовала в моем теле.

Я приехал в поселок засветло; солнце еще горело над холмами и крышами, и бесприютный ветерок курил пылью на площади у правления, и как-то непривычно пусто было вокруг — ни души, ни голоса.

Я поднял голову и понял, что опоздал — единственный в году день, день уборки винограда начался именно сегодня. В соседних виноградниках виднелись тут и там линияые рубахи, пестрые косынки, со дворов доносились голоса и перезвон молотков. И в переулке не было ни души. Из дома Василия Овчара вышел Костя Стефан. Он катил тачку, на тачке подпрыгивала облепленная кожурой тяска.* Видно, одолжил ее Костя на время. Он подмигнул мне, но останавливаться не стал. Скрылся за поворотом. Времени на пустяшные разговоры не было. Время не стояло. Я зашагал быстрее, и мне показалось, что стены нашего дома будто помолодели. В окнах багряным светом остывало солнце. Калитка была настежь открыта. Иссохшие за лето дедовские бочки (два дня назад мы с отцом залили их водой) влажно чернели набухшими клепками, но были перевернуты горловинами к земле, выпарены кипятком и накрыты виноградными ветками. Дверь в каморе была открыта. Пахло сырой, терпкой сладостью дробленых ягод. Запах сусла уже успел заглушить земляную сухость саманных стен, заполнил сумеречное пространство до потолка. Я остановился на пороге.

Мать с бабушкой Домкой возились у перереза.** Он стоял, как и положено, на двух акациевых чурбаках. Средняя от днища клепка была заглушена деревянным чопиком. Но, видно, чопик давал течь — мать, пододвинув эмалированный таз, постукивала по чопику молотком. Бабушка Домка собирала в ладошку ягоды с пола. Увидела меня и сказала матери.

— Глянь, Ксюта! Сынок на подмогу пришел...

Мать вытерла разгоряченное лицо ладонью. Поправила волосы и перевязала платок.

— Ты что ж так долго, Митя? Чего молчишь? Был у начальства?

* Тяска — пресс, для отжима винограда.

** Перерез — деревянный чан для слива сусла.

Я снял фуражку и повесил на гвоздь у двери.

— Был... Дадут путевку.

— И слава богу! — Мать облегченно вздохнула, глянула на бабушку Домку. — Путевку Иону дадут, чуешь?

— Ага! Ага! — Сморщенное личико бабушки Домки вытянулось в старательном внимании. Видно приготовилась слушать объяснения, подробности этой новости. Но мать и сама ничего не знала.

— А куда ж хоть направят?

— В санаторий для ветеранов войны...

— Ну, вот! И правильно! Он же у нас ветеран... Ветера-а-ан. Медали есть, а как же? — И вытерла о передник измазанные синькой руки. — Ну и хорошо, и слава богу... А мы, это, начали обирать потрошки...

— Что ж мне вчера не сказали?

— Та я рази знала? Тятя решил... — В голосе ее мелькнула ревниво-обиженная нотка. — Ниче-е-е! Успеешь натягаться... Поешь иди, поешь...

— Потом...

— Та када ж потом? На кого ты схожий? Что ж там у армин скажут? У родной матери был, чи где?

— Я сказал, потом...

Я снял китель и пошел в виноградник. Но еще издали увидел — была и без меня подмога.

В освещенной закатным светом зелени сутулилась спина отца в клетчатой рубашке, мелькало платьице Виорики, видны были спины соседа нашего Василия Пилюли и дедушки Викулы Илларионовича.

Каждый взял себе по ряду. Викул Илларионович немного отстал, а Виорика всех обогнала — на совхозной плантации руку набила.

— Щас две штрафных понесешь! — вскинул голову Василий.

— И понесу!

Викул Илларионович обернулся. Порыжевшая в пятнах пота шляпа была надвинута на самые брови. Он щурил глаза и вдруг выкрикнул что есть мочи.

— Здравия желаем!

— Как генерала-ала! — усмехнулся Василий и глянул на старика. — Ты чего кричишь? Иди на перекур. Иди, иди-и-и! Мы тут и без твоей лошадиной силы управимся!

Викул Илларионович не ответил. Не расслышал, наверное. И все глядел на меня с полуулыбкой на иссушенном лице немигающим взглядом слезящихся глаз, будто не зрением, не слухом, душой ожидал от меня услышать какие-то особенные, ему одному предназначенные слова.

Что тебе сказать, старый человек? Спасибо, что живешь долго на свете. Спасибо, что не минули твои ноги наш дом стороной и пришел ты нам подсобить. И мы тебе поможем...

Я облюбовал себе место в крайнем ряду, спохватился — корзину не захватил.

— В мою бросай! — сказал отец. Он сидел на кухонном стульчике, обхватив ногами куст, и не спеша, но ловко, почти на ощупь, срезал гроздья перочинным ножом. Лицо его морщилось, словно сердцу больно было за каждую срезанную кисть. Взглянул на меня, улыбнулся.

— Ну! Чего, как индюк, надулся?

— А что говорить?

— Что-о-о! Рассказал бы, как там начальство поживает?

— Вы о чем, тятя?

— Не крути-и-и! С Коджебашем видался?

«Мать рассказала...».

— Видался, тятя...

— Побеседовали или как?

— Беседовали, тятя...

Я опустил голову.

— Ну...

— Все в общем нормально... Он меня сразу узнал... Про деда спрашивал... Про ваше здоровье... — Я умолк, почувствовал, как вспыхнули щеки. — Там еще один человек был, Василий Никанорович...

— Стриженный? — перебил отец. — Зна-а-аем! Парторг новый... Ниче, деловой хлопец...

— Точно, парторг, — кивнул я. — Он вас тоже знает. «Биженарь — гордость совхоза!» — так он сказал... Потом секретаршу вызвал... «Соедините меня, — говорит, — с Тучковым! С военкомом! Мы отца твоего в лучший санаторий для ветеранов пошлем...».

— Тьфу ты, ити твою раз! Я тебя, кажись, об этом не просил! — Отец бросил ножик в землю. — Просил я тебя об этом?

— Я им тоже так сказал... Я сказал: «Он не хочет!». А Валерий Никанорович и слушать не стал. «Как это так? — говорит. — Таких людей, как твой батька, надо беречь... Таких людей мало осталось! Если он о своем здоровье не думает, то мы подумаем...». И Каджебаш тоже... «Верно, — говорит, — Ион Биженарь свое здоровье совхозу отдал... Мы его всегда помним... Мы его не забудем...».

Давкий, пекучий комок подкатил к горлу. Я боялся поднять голову и взглянуть на отца. Все ждал, что сейчас он перебьет, усмехнется.

Но он молчал. Вытащил из кармана рубашки сигареты. Спички не зажигались, будто отсырели. Прикурил, поднял голову, глянул на совхозное поле, на холмы с дымом.

— Ясное дело, что помнят... Как же забыть? — и повторил тихо, будто у себя самого спросил. — Как же?.. Пятнадцать гектарей от этими руками... Шутка?.. Не-е-е...

— Дед! — выкрикнул Василий. — У тебя горло не пересохло?

— Дошь будет, — отозвался Викул Илларионович. — Он, гляди, какая хмара бежить...

Василий обиделся.

— Я ему насчет горла, а он про дождь!

— Дождь не страшно! — отозвался отец. — Пускай пылюку собьет...

Он встал, рывком взвалил на плечо корзину с виноградом.

— Давайте я понесу...

Отец выпрямил спину, широко расставил ноги, выбирая равновесие, — сухое, жилистое тело его напряглось, и на лбу вспухла синяя жилка. Глянул на меня из-под руки, обжог горячим дыханием.

— Ниче-е-е! Выдюжим... — И пошел ко двору.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВАЛЮТА

х х х

Почему не веришь, что случилось,
что светло нахлынуло, нашло,
если состоялось, получилось,
если срифмовалось, повезло?

Кайф любовный, молоко парное,
но лишь вознеслись мы до небес,
русская родная паранойя
тут как тут. Привет, подпольный бес.

И когда ты сбрасываешь платье,
подозренья сотрясают дом.
Бывшие товарищи и братья
баррикады строят под окном.

Требуется срочно расковырка
хрупкого блаженства и добра.
В небесах озоновая дырка,
в ткани звездной — черная дыра.

В ванне образуется воронка,
молоко сбежало на плите,
под кроватью пьяная воровка
судорожно шарит в темноте...

**Кирилл
КОВАЛЬДЖИ**

— родился в 1930 году в Бессарабии. Окончил Литературный институт. Автор многих книг стихов и прозы. В настоящее время главный редактор издательства «Московский рабочий»

х х х

«Не верь, не верь поэту, дева...»

Ф.Тютчев

Молчи, не прекословь:
любовь, любви, любовью...
Запущен был тобою
он в купол голубой.
Любви слагая оды
по воле высоты,
летел он дни и годы,
летит... Но где же ты?
Тебя в краю высоком,
встречая новый день,
он сбросил ненароком,
как первую ступень.

ЗАВТРА?

И вентилятор выключен,
и клеткой стала грудь,
как будто воздух выкачан, —
ни охнуть, ни вздохнуть.

Проверенный, провеянный
отборный кислород
на склады по конвейеру
спрессованный идет.

Уже известно каждому
из дышащих из нас:
опасно в мире, граждане,
он нужен про запас!

Озон — международная
валюта из валют, —
подушки кислородные
из-под полы дают...

Жду время нормы суточной,
когда в полночный час
с любимой на минуточку
сниму противогаз.

х х х

Садовое Кольцо
носить обречена
Москва — обручена
с придумавшим дорогу,
что из себя в себя,
течет, собой полна,
и целиком видна
лишь летчикам да Богу.

Садовое Кольцо,
круженье колеса,
судьбы зеленый свет,
а красный — пахнет адом.
В одном конце Кольца
сияют небеса,
в другом конце Кольца
холодный ливень с градом.

Садовое Кольцо
вращает сатана,
в две стороны круги
задуманы заране.
В одном конце Кольца —
гражданская война,
в другом конце Кольца —
народное гулянье.

ВОЗВРАЩЕННОЕ ВРЕМЯ

Рассказы

1. ОБРАЗ

Чукреев... Чугунов... Чумаков... Виктор Иваныч мозги сломал. Чумичкин... Чуранов... Мадам, извините, вам не знакома такая фамилия — Чудаков? Нет, это не то, конечно. Чудаков фамилия известная, не редкая, он бы вспомнил. А Чумичкин, что ли, редкая? Извините, мадам, я не нахал, но мне важно... Пардон, пардон... Виктор Иваныч вправду был не нахал, но ему почему-то шепнуло изнутри, что эта благообразная дама (в обращении лучше: мадам), с сиреневым зонтиком и сумочкой под цвет, с породистым лицом, она и могла подсказать фамилию. Отчего шепнуло, кто его знает. И вышел конфуз: мадам Виктор Иванычев облик быстрым взглядом смерила и ответить не удосужилась.

Представьте себе положение. Шесть часов у него до поезда. Вроде бы времени прорва, но в справочном-то сколько ждать придется? А если еще адрес на краю города, туда, скажем, час да на вокзал оттуда час. Да посидеть, поговорить. А до всего до этого фамилию надо вспомнить, иначе и все расчеты ни к чему. А фамилия канула. Память виделась Виктору Иванычу глубокой ямой, куда все летит и пропадает, кроме ерунды, не стоящей внимания. А все важное канет.

Дождик закапал. К той даме бы под зонтик. А вот и она, не ушла, здесь еще, возле торгового ларька. Чурилин?... Почему помстилось, что она знает? Мадам, пардон... Ушла. Виктору Иванычу показалось, будто последняя надежда

**Владимир
Ротов**

— родился в 1937 году в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ. Публиковался в периодике.

ушла. Он машинально двигался за ней в отдалении, со своим дипломатиком, непокрытый, прическу дождь прибил и отяжелил. Он не думал, что Москва обдаст дождем — холодным душем. У себя в городе осень не встретил, так в столице пришлось...

Чуриков?.. Нет, нет, это актрисы фамилия, он бы запомнил.

Чурбанов?.. Ну уж это уж он совсем...

Клял себя Виктор Иваныч за то, что бумажку с адресом потерял.

Он ее давно потерял. Лежала в тетрадке, а потом пропала, выронил где-то. Имя-отчество запомнил, потому как общались: тот его — Виктор Иваныч, а он того — Павел Юрьич. Павел Юрьич Чу... Виктор Иваныч в очередной раз плюнул. Он подумал, что годам этак к семидесяти и свою фамилию забудет, к тому идет. Его соседка по лестничной площадке чуть не каждый день с ним знакомится. Не дай Бог дожить.

Павел Юрьич этот останавливался у него пяток лет назад. Городок — никакой не курорт, но озеро, тишина, приволье, малолюдье; последнее его особенно привлекло, он сказал, что по курортам не любитель ездить, а здесь — чудо. Виктор Иваныч был один в двух комнатах, пустил с милой душой, пока жена в больнице лежала. Павел Юрьич цепкий был к людям, приметливый, он Виктора Иваныча обозначил как человека детского. Есть люди взрослые, а есть детские. Виктор Иваныч именно такой, детский. Но это не обидно, сказал он, это лестно. Виктор Иваныч и не думал обижаться, мимо ушей пропустил. Такую слабину он за Павлом Юрьичем заметил: любил порассуждать на всякие темы, поблагодушествовать за рюмкой или чаем. Виктор Иваныч ему компанию, бывало, составлял. Вообще-то не очень они компания: Виктор Иваныч со своей столяркой и Павел Юрьич, умственный человек. Однако точки находились общие, а что тот его вроде как изучал и разными сторонами поворачивал перед своими острыми глазами и ему же описывал без церемоний, то все это Виктор Иваныч мимо внимания пропускал.

Вот что обидно, помнился Павел Юрьич так явственно, будто неделю как расстались: главным образом худоба помнилась, втянутые щеки, бурые и усеянные черными точечками порохowymi, хотя был он человек законченно

гражданский и вроде даже болезненный, если судить по неживому цвету щек и всего лица, по этой худобе. Был высокий, Виктора Иваныча выше на голову. Так все помнилось, так ясно перед глазами стояло его лицо с выт-кающимися в тебя внимательными зрачками — все помнилось, кроме фамилии, что обидно. Уже битый час Виктор Иваныч болтался у трех вокзалов, прятался под навесом от дождя, который затянул свою шелестящую песню надолго. На всякий случай поискал, как сошел с поезда, справочное бюро, но что-то не попало ему ни одной будки — упразднили, что ли, эту службу? Еще не легче. Но главное, он считал, вспомнить.

Вспомнил Виктор Иваныч, как это и бывает чаще всего, неожиданно. Прошла дама (не та, а еще одна дама, тоже под зонтиком) чуть подпрыгивающей на мокром асфальте походкой, Виктор Иваныч ей вслед посмотрел — и вроде створки там, в памяти, раскрылись, вроде хлопнуло и треснуло с облегчением в голове, ясность пришла, и фамилия вылупилась: Пичугин. Вот тебе и Чу... Пичугин! И сразу стало понятно, при чем тут та, первая, дама: на зонтике у нее сиреневые птички были наляпаны. А у этой не птички, но зонтик похожий. И походка еще. Вот какие сложные зигзаги проделала память, чтобы Виктору Иванычу шепнуть простую, какую и забывать-то не следовало, птичью фамилию.

А фамилия и адрес вытянула. Простой тоже адрес, номер дома на номер квартиры аккуратно делился, и название улицы незатейливое.

Обрадовался Виктор Иваныч чрезвычайно. Ему даже показалось, что и все его путешествие теперь получило полное свое оправдание, хотя оказался он в Москве проездом, направляясь к брату в родительское гнездо, в деревню. Брат что-то захандрил после инфаркта, просил приехать, пока оба живы. Брат у него был один, Виктор Иваныч мигом собрался. Но и второе дело, не соперничая с первым, представлялось ему важным и безотлагательным, то есть как же не воспользоваться случаем и, будучи в Москве, не посетить Павла Юрьича. Пичугина. Виктор Иваныч все катал на языке это заветное слово и адрес.

Павел Юрьич жил не на дальней окраине, а всего в двадцати минутах езды на метро. Дом на углу, подъезд со двора. Двор длинный и пустой, голый, без раститель-

ности, несколько машин жалось к бордюрику вдоль дома. Виктор Иванович все подъезды оглядел, пока не нашел нужный номер квартиры в самом последнем. Этаж был высокий, ехал в лифте. Дверь — направо, пройдя как бы в нишу. Дверь была приоткрыта.

Виктор Иванович топтался перед этой приглашающе отворенной дверью, не зная, толкнуть ее или дать знать о своем приходе звонком. Тут она распахнулась шире, вышел человек с красным лицом, пожилой тоже, Виктор Иванович не успел посторониться, и человек его задел, но не удивился, а кивнул и спросил что-то вроде того, мол, опоздали? Виктор Иванович рот открыл, развернувшись к нему всем корпусом, а тот уже в лифт входил, отрешенный от него и углубленный в свое. Но дверь теперь была настежь, из квартиры голоса слышались, в прихожей подмазывала губы женщина, она взглянула на Виктора Ивановича и бледно улыбнулась ему, тоже не удивляясь. Зато он все больше удивлялся и чувствовал, что попал не вовремя — или как раз вовремя?.. Он вошел. Из комнаты появился высокий и молодой, с лицом призрачно знакомым, хоть Виктор Иванович его никогда прежде не встречал. Этот также не удивился — у Виктора Ивановича нарастало убеждение, будто его все ждали и, увидя наконец, сочувствовали, что он опоздал. Молодой глядел насупленно, однако Виктору Ивановичу кивком гостеприимно показал туда, откуда вышел. Виктор Иванович почему-то не спросил Павла Юрьича, он вообще ничего не сказал, послушно следуя приглашению. Комната была полна народу, сидящего за бесконечно вытянутым столом. Павла Юрьича в ней не было. Но он присутствовал и был здесь главным — главенствовал его большой портрет высоко над сидящими, на шкафу, стоймя прислоненный к стене.

Потеснились, и Виктор Иванович сел. Он глядел на портрет. Павел Юрьич на портрете был и моложе, и здоровее, чем знал его Виктор Иванович, и никаких, конечно, пороховых точек на щеках не было: парадный портрет, добросовестно отретушированный. Тот молодой был больше похож на этот портрет, чем на живого Павла Юрьича.

Виктор Иванович только один раз удивился, прежде, когда вошел, а больше не удивлялся, ему показалось, будто с тем он и ехал сюда — чтобы посидеть за этим длинным столом и молча поглядеть на портрет. Событие нагнало

его и теперь шло вровень, словно и не было поисков справочного бюро, не было того дела, с каким он сюда направлялся, а была с самого начала лишь эта единственная цель. Он сидел обособленно, он никого здесь не знал и его никто не знал. В первую минуту он ощутил себя незванным гостем, которого могут и турнуть чего доброго, если поймут, насколько случаен его приход, но затем быстро почувствовал себя на равных с другим, поочередно вспоминая Павла Юрьича: он тоже сидел и вспоминал, только про себя, и чем дольше сидел, тем яснее, подробнее и печальнее вспоминал. Он раздвоился незаметно для себя: одной половиной сознания слушал, другой думал и вспоминал.

То, что говорили, наверное, было справедливо и правдиво в той же мере, в какой уместен и правдив парящий над головами портрет, — но как далек был этот портрет от Павла Юрьича, запомнившегося Виктору Иванычу, так и произносимые слова, казалось ему, рисовали чей-то другой образ. Эти два плана никак не хотели в нем совмещаться. Павел Юрьич, судя по речам, обладал всеми мыслимыми и немыслимыми достоинствами, и Виктор Иваныч несколько не хотел их оспаривать, однако тот, какого он знал, был другим. Он был много лучше. Потому что тот был текучий, изменчивый в каждом слове и жесте, разный теперь и час назад, вчера и сегодня, был прихварывающий и бодрый, молчаливо-задумчивый и разговорчивый, усмехающийся и серьезный. Этот был застывший и одинаковый. И даже какие-то события и факты его жизни, о которых вспоминали, происходили, казалось, с другим, удручающе однообразным человеком, эталонно правильным в своих поступках. Виктор Иваныч ни одного из них не мог бы оспорить, более того, он абсолютно убежден был в том, что в речах нет выдумки, что Павлу Юрьичу ничего не приписывают лишнего. И все-таки все это была неправда, жалящая Виктора Иваныча.

Щемящие его воспоминания рисовали то момент первого появления Павла Юрьича возле их пятиэтажки на берегу озера, струившего поверхностный свет по всей необозримой глади, то прогулки вдвоем вдоль камышей, высывающих из воды свои мохнатые палочки, — Павел Юрьич изловчился одну сломать и на ходу перекатывал на ладони, получая удовольствие от ее щекочущей бархатистости.

«Виктор Иванович, жаль, супругу вашу я не повидаю. Когда ее выписывают?» — «Через неделю обещают». — «Не повидаю. Признаться, забыл, какое это чувство — быть женатым». — «А кто же за сыном присматривал?» — «Приходила одна женщина, нянька. А теперь он взрослый». Павел Юрьич второй раз не женился, овдовев. «Скучаете по дочке?» — «А как же! Уговаривал: живите тут. Но она — куда муж; вообще-то законно, правильно, вот только сошлось некстати: она уехала, жену в больницу...» — «Ничего, Виктор Иванович, все придет в норму... Смотрите, чайки что делают. Непогода нас, однако, ожидает, как считаете?» — «Похоже. Это вам отходная, в честь вашего отбытия». — «Словечко вы подобрали, Виктор Иванович, неутешительное». — «Пардон, Павел Юрьич, не подумавши...» Павел Юрьич усмехнулся, выставив блестящее железо во рту: «А уж это-то — пардон» — у вас на положении слова-паразита, хоть вы извиняющийся смысл в него вкладываете». — «Пардон. Привычка...» — «Да ладно, говорите, как удобнее. А вот в писаниях своих осмотрительнее будьте со словами». Виктор Иванович ему кой-что показывал. Давно уже пристрастился, строгая доску или ножовкой работая, складывать в голове фразы — про животных любил сочинять, про природу. Вечерами записывал тайком от жены и дочки, чтоб не прохаживались на его счет: писатель, мол, выискался. А Павлу Юрьичу без колебаний показал. Тот перед сном прочитал, очки вздев, а утром на прогулку его увлек: воскресенье было. Сказал ему так, ведя под руку, склонясь над ухом, словно тайну открывал: «По письму сочинения ваши лопатить и лопатить. Нажевано так, будто та ваша Полоска потрудились, нажевала жвачки (корова Полоска у него в тетради фигурировала). Но наблюдения есть точные, уникальные даже. А главное, взгляд ваш, Виктор Иванович, отношение к тому, что описываете, которое вы и сами до конца не осознаете, — это интересно. Вам уж сколько?.. А восприятие детское. Редкость это. Но жвачка, жвачка... Попробуйте почистить сами. Что лишним покажется — вычеркивайте. Приеду в другой раз — загляну. Или вы когда в Москву попадете». В другой раз он не приехал. Виктор Иванович в Москву попал. Дипломатик с тетрадками в прихожей стоял, забытый Виктором Ивановичем.

За столом говорили, какой был Павел Юрьич хороший редактор. Тут сидели его сослуживцы, больше женщины, но многие, понял Виктор Иваныч, в издательстве теперь не работали, такие времена настали, всех разогнали. Павла Юрьича хоть это не коснулось: он раньше ушел на пенсию по болезни. Узнал Виктор Иваныч, что была у него болезнь крови, и вспомнил его землистые щеки.

Солнечный свет гас в них. Лицо Виктора Иваныча, контрастно полнокровное, круглое, простодушное, вызывало неизменную улыбку Павла Юрьича — улыбку осторожную, как бы считающуюся с небольшим запасом сил в его организме. Эта улыбка тлела по утрам, к вечеру он обыкновенно утомлялся.

Он не купался и не загорал. Он много ходил, Понимал теперь Виктор Иваныч: пытался одолеть болезнь, уйти от нее скорым своим шагом, за которым здоровый Виктор Иваныч не всегда поспевал. Где было поспеть ему, коротконотому, семенящему. Спыхватываясь, Павел Юрьич останавливался, оборачивался и ждал, глядя с обычным задумчивым прищуром.

За столом вспоминали разные эпизоды из жизни Павла Юрьича. Но и в них, казалось Виктору Иванычу, действовал незнакомый ему однообразный и скучный человек. Парадный, как портрет.

В наступившей короткой паузе Виктор Иваныч встал.

— А вот утка, — сказал он, держа в пальцах дрожащую рюмку, — серая, а оттенки, оттенки, вы, Виктор Иваныч, говорит, оттенки покажите, но и это, Виктор Иваныч, говорит, не главное, а главное, понимаете ли, такое, что не опишешь просто, вот как фотограф фотографирует, главное — это что утка из себя представляет как образ... вот как — как образ... какое ее настроение в целом, не ее настроение, пардон, а от нее, в общем, какое исходит... что она рождает своим видом, какие чувства... И вот Павел Юрьич сам — он тоже образ, живой образ, смотрит, улыбается, говорит... вот он бабке Макарихе, мол, я — Павел Юрьич, а на другой день опять: я — Павел Юрьич, он не дожидается, пока она спросит, он ее жалеет, чего ей напрягаться, понятно? — а сам и улыбается, и она кивает, рада, что познакомилась со столичным человеком, а он и на третий день... живой, я говорю, а не этот... Пардон...

Виктор Иванович помолчал в тишине, рюмка дрожала, водка лилась ему на пальцы, а потом он сел и заплакал.

Стол тихо сидел, удивленно и сочувственно на Виктора Ивановича глядя.

Он почему заплакал? Он потому заплакал, что осознал внезапно, стоило ему все это облечь в слова, что Павла Юрьича — мало сказать нет здесь или нет там, или даже нет нигде, а Виктора Ивановича поразили факт исчезновения, потому что Павел Юрьич еще час назад был, существовал — для него был, когда Виктор Иванович адрес искал, — теперь он исчез. Стремительно, бесповоротно исчез. Виктора Ивановича это потрясло, потрясение исподволь подбиралось к нему, пока он сидел за столом, и вот ударило. Он находился в доме исчезнувшего, где было много народу, а самого хозяина не было.

И странность дальше произошла с Виктором Ивановичем, которая его, впрочем, не слишком удивила. Идучи к метро, чтобы ехать на вокзал, успокоившийся, только с еще дрожащей внутри печальной нотой, с уходящими отголосками этой ноты, он вдруг на полном пути остановился: он снова забыл фамилию, будто исчезнувший Павел Юрьич забрал ее с собой. Виктор Иванович пошел дальше, дождь перестал, асфальт нерешительно взблеснул, отражая солнце, он шел и бесцельно, запоздало, мучительно напрягался: Чубиков... Чуляев...

2. БУНТ

Геннадий Витальевич Пустовойтов, не зная чем объяснить это, в глубине души до чертиков страшился предстоящего своего юбилея. Ныла и трепетала его душа, стоило ему вспомнить об октябрьском дне, когда нагрянут гости, будут его поздравлять, говорить всякие слова, а он будет сидеть, приговоренный к выслушиванию этих слов, для всякого другого отрадных и глядящих душу, а для него ненужных, лишних и вонзающихся, словно острые колючки. Смиреник и скромник Геннадий Витальевич, таким образом, свой страх объяснить все же мог обыкновенным человеческим смущением, присущим ему в чрезмерной, из ряда вон выходящей степени. Но даже это не могло послужить объяснением всей диковинности происшедшего

в день юбилея. Ибо всему есть мера, есть непреложная черта, за которую человек сколько-нибудь разумный и отдающий себе отчет в своих действиях ступить не может. Геннадий же Витальевич ступил и оказался в положении того тихони, кто, представьте себе, посреди какого-нибудь чинного мероприятия выразился так, как ни от кого не ждали, а уж от него, от тихони, и подумать не могли ожидать чего-либо подобного. Вот в таком незавидном и конфузном положении очутился неожиданно-негаданно Геннадий Витальевич Пустовойтов в день собственного шестидесятилетнего юбилея.

Званы были: родной брат с женой и дочерью, шурин с женой — это родственники, а кроме них, пять человек сослуживцев, коих он считал необходимым позвать как бы в продолжение нешумного торжества на работе, да еще друг со студенчества Влас, Влас Власович, со своей половиной; не считая, разумеется, домочадцев: супруги Виктории Андреевны, сына, невестки, внуков, ну и самого юбиляра, наконец. Это сколько же получается? — это большая компания получается: сослуживцы тоже частично с женами. Вот Геннадий Витальевич и страшился, воображая себе и уже будто слыша все эти речи, видя все эти повернутые к нему лица.

Юбилейный день пришелся на субботу, чему несказанно радовалась Виктория Андреевна, смерть как не любившая всякие переносы семейных праздников, когда они выпадали в неудобные будние дни. А тут судьба подгадала так, что и гостям хорошо — не спешить завтра на работу, и хозяевам сподручно принять их, целый субботний день до вечера подарен для праздничных хлопот.

И Виктория Андреевна где-то часа за два до сбора гостей, когда уже все, в основном и целом, готово, стол накрыт скатертью и уставлен тарелками и рюмками, отрядила юбиляра в магазин. (О чем после сокрушалась всею силою изболевшейся и истыдившейся души: неужто никого другого не нашлось послать, да хоть Витальку, сына, гораздо, кстати, более скорого на ногу, и все равно он только мешал, а не помогал, вот и прогулялся бы, а ее бес толкнул Геннадия Витальевича отправить; сокрушалась Виктория Андреевна, когда уже было поздно что-нибудь исправить.) Геннадий Витальевич с неопределенной радостью исчез, потом радость стала определенной, но неизвестно, про-

изошло ли это до булочной, главной цели его похода, или когда миновал ее. Скорее всего, до, так как хлеба, а и нужно-то было подкупить немного на всякий случай (тоже мучение для Виктории Андреевны: вполне могли обойтись), он так и не купил. Да, вернее всего, уже на выходе, уже чуть отойдя от дома, Геннадий Витальевич ощутил эту вполне оформившуюся радость узника, внезапно одаренного свободой. Ноги понесли его... к булочной. Ведь ему сказано было хлеба купить. Ноги его несли, а тем временем радость крепла... Но здесь следует повторить, во избежание недоразумения и кривотолков, что да, страшили его предстоящие славословия — однако не это гнало от дома, смешно было бы в связи с этим сравнивать радость вышедшего за хлебом юбиляра с радостью освобожденного узника. И вообще это сравнение мало уместно: родные стены ни в какой мере не были для Геннадия Витальевича тюрьмой, а дородная и зачастую растерянная Виктория Андреевна — смотрительницей или надзирательницей.

Ничего подобного нельзя было сказать о доме и семейной жизни Геннадия Витальевича — она протекала благополучно в высшей степени, как только мог вообразить себе когда-то в молодости Гена Пустовойтов, уже на третьем курсе сделавший выбор спутницы, выбор, со всей благосклонностью принятый и разделенный лишь тяготевшей тогда к полноте однокурсницей Викой Топтало — такая была ее девичья фамилия, с которой она без сожаления распростилась. И дальше все шло своим поступательным житейским ходом, будто бы по намеченному, вплоть до рождения, как и желалось, сначала дочери (теперь жила с мужем в другом городе), затем сына. И дети во благовреме обзавелись семьями, и у них свои появились дети, Геннадий Витальевич и Виктория Андреевна и не заметили, как стали дедушкой и бабушкой, и вот уже он — юбиляр, как это ни странно, и ни грустно, и ни страшно ему. Геннадий Витальевич удалялся от дома с виду неспешным и очень мирным, но на самом деле паническим шагом. Осенний сырой ветер гнал его в спину, как бы подталкивая и утверждая в назревавшем, еще не вполне твердом, с каждым шагом крепнущем и, наконец, бесповоротном решении. Он миновал булочную, наверное, покосившись на нее и, может быть, замаявшись на мгновение, видя себя перед рубежом, ступив за который, он

отрежет себе путь назад. Смешно это, конечно, было: кто мешал ему хоть откуда вернуться и купить хлеба? Но рубеж тем не менее обозначился именно близ булочной: так человек намечает себе условную вежу, чтобы совершить поступок, на который иначе не может решиться, — вот досчитаю до десяти, вот покажется третий трамвай, вот если миную булочную... Он миновал и пошел дальше, гонимый непреклонным и бесцеремонным своим сообщником, который сметал заодно под ноги ему и гнал скукоженные листья, производя эту дополнительную работу единственно от избытка сил, не желая тратить их на одного щедедушного Геннадия Витальевича.

После выяснилось, что и дождик его прихватил, а он вышел без зонта, потому что в булочную и потому что не рассчитывал надолго. Но это, конечно, мелочь, дождик можно и переждать где-нибудь. Тем более это мелочь в том состоянии, какое подвигло его на такой, скажем, экстравагантный поступок.

Никто, разумеется, об этом его поступке и подумать не мог, и гости шли в назначенный час с самыми радужными предвкушениями душевного и желудочного свойства: они знали, что будут щедро улагодворены в гостеприимном доме Пустовойтовых, и главные упования, конечно же, были обращены к не менявшейся с годами, неизменно радужной Виктории Андреевне. Но когда гости, набираясь друг за другом и заполняя постепенно трехкомнатные апартаменты хлебосольной семьи, достигли запланированной цифры (а вернее сказать, уже и до того), выяснилось, что хозяйка пребывает в большей, чем обычно, растерянности и недоумении по поводу странно долгого отсутствия юбиляра.

Выяснилось это сначала из препирательств и взаимных упреков Виктории Андреевны и Витальки, отца двух погодков мальчиков, которого давно следовало бы именовать более солидно, но он как-то оставался для всех Виталькой. Упреки были такого рода: зачем ты послала отца? а затем, что тебя не допросишься сходить... ну уж прямо не допросишься, а он вон пропал, и где он?.. Гости тоже слушали с недоумением, которое у них появилось сразу же по приходе, когда оказалось, что поздравлять пока некого и подарки надо куда-то складывать, вместо того чтобы дарить. Они не сразу включились в обсуждение происшедшего, до

них как-то не дошла серьезность положения: ну, вышел юбиляр за хлебом, а что он вышел два часа назад и что за хлебом столько не ходят, это они не сразу уразумели. Зато когда уразумели, лица их вытянулись, и, надо отдать должное окружению Геннадия Витальевича, это все чуткие, как оказалось, люди, на их лицах менее всего отразилось разочарование, что посидеть не удастся, а была тревога, потому что два часа, действительно, за хлебом не ходят. Они стали переглядываться со значением, пряча свою тревогу от взоров бедной Виктории Андреевны, разрывавшейся между обязанностями хлебосольной хозяйки и встопорщенными мыслями о том, что же такое необыкновенное (и, думалось, страшное) могло приключиться с Геннадием Витальевичем. Гости, каждый в меру своего понимания и жизненного опыта, принялись обсуждать ситуацию, щекотливость которой меркла перед все более овладевавшими ими опасениями насчет неизвестной судьбы юбиляра, пребывавшего непонятно где. Разумеется, деликатные гости не высказывали прямо эти свои опасения, ограничиваясь предположениями нейтрально-оптимистическими, вроде того, что юбиляр кого-то встретил и тот затащил его куда-нибудь хлопнуть стопку за его здоровье в честь такого дня. Мысль была шурина. Виктория Андреевна посмотрела на брата не то чтобы неодобрительно, а с большим сомнением: за Геннадием Витальевичем не водилось, чтоб он с кем-нибудь куда-нибудь заходил. А собственный юбиляра брат, мучась тревогой побольше других гостей, решил разрядить ее шуткой, шутка получилась такая: «Куда ушел? — беспечно спросил он, — а на пенсию, вот куда». Сам он хмыкнул, и гости улыбнулись, а один засмеялся, но коротко и совсем одиноко.

Как раз в дальней комнате зазвонил телефон, Виктория Андреевна кинулась туда, зачем-то прикрыв за собой дверь. Все тоже как-то подтянулись и насторожились, связывая этот звонок с исчезнувшим юбиляром: каждому дикой казалась мысль, что в такой час может прозвучать какой-то отвлеченный звонок.

И они не ошиблись, судя по взорвавшемуся радостью голосу Виктории Андреевны. Слова: ты где? ты что? — исторгли у них вздох облегчения. Далее Виктория Андреевна, по-видимому, слушала молча. Потом она говорила, приглушив голос, в котором слышалось вернувшееся не-

доумение и даже непривычный гнев. Разговор был не очень длинный, после чего она вышла из комнаты с успокоенным и одновременно встревоженным лицом — выражение было настолько сложным, что никто в первую минуту даже никакого вопроса ей не задал. А во вторую минуту оправившаяся Виктория Андреевна пригласила всех за стол. Выпить за здоровье юбиляра. Без юбиляра. Потому что его не будет.

Вот это был номер. Тут уж вопросы посыпались, но Виктория Андреевна молчала с упорством скалы, при этом искренне пожимала плечами и растерянно улыбалась, так что всем стало ясно, что она тоже не вполне в курсе, почему юбиляр не будет присутствовать на собственном торжестве. Успокоились на том, что он жив и здоров. (Это легко сказать — успокоились: вопросы, как утихающие волны, накатывались со слабеющим напором, пока действительно не наступило успокоение. Тем более что сели за стол.)

И, конечно, посидели мало. И скудные тосты, конечно, носили укоряющий оттенок. Юбиляра вроде бы поздравляли заочно, но поздравления изнутри звучали так: ладно уж, хоть он и выкинул номер, пусть будет здоров и счастлив. Тихое и угнетающее недоумение витало над столом. Где уж тут сидеть долго. Один шурин сумел очень быстро накачаться, после чего настроился сидеть основательно. Он стал вслух возмущаться юбиляром. Он почувствовал себя оскорбленным. Напротив него сидел студенческий одноклассник обоих супругов Пустовойтовых — Влас, который сам с собой прикидывал так и этак, пытаясь проникнуть в суть происшедшего, с учетом тех черт характера и особенностей Гены Пустовойтова, какие были ему знакомы с молодости. Но и у него не получилось проникнуть в эту суть. Тяжелодумный Влас Власович кончил тем, что положил себе непременно выпытать у тихони Гены, какая муха того укусила и с каких пор он стал выкидывать такие фортели.

Геннадий Витальевич никому ничего не сказал, он оставался загадкой для всех, таким доморощенным сфинксом, к которому соответственно и отношение появилось — как к сфинксу. Иными словами, от него стали ждать повторения — не в буквальном смысле, а чего-нибудь этакого,

из ряда вон, щекочущего воображение. Но ничего такого больше не происходило, он исправно и методично являлся на службу и уходил со службы домой.

Не сказал же он ничего потому, что если бы сказал, никто бы ничего не понял. А так, чтоб понятно, сказать ему было нечего.

Внутри него тянулся некий выжженный след — от молнии, чиркнувшей по душе в тот юбилейный день. След самим Геннадием Витальевичем ощущался каким-то ноющим образом, будто там саднило постоянно и мало-помалу привычно, и главное заключалось в том, что невозможно было распознать, что же собственно произошло и ударило, что оставило этот след. Он шел тогда, удаляясь от дома, с трепетавшей внутри радостью, словно впервые мог распорядиться собой, он сам одновременно и удивлялся этой крепнущей радости, невесть откуда и почему залетевшей вдруг. Светящаяся точка, к которой он шел, разгоралась все ярче, все ослепительнее, вокруг нее как бы стоял ликующий нимб, заставляющий все существо Геннадия Витальевича стремиться, устремляться к ней... внешне это выглядело так: пожилой, худой, юркий человек поспешает по неотложным делам и, опаздывая, ускоряет свой озабоченный шаг... Что он мог тут объяснить даже самому себе? Дни-близнецы, наперед очерченные и знакомые, от которых вроде уже и ждать нечего, кроме вечного круговорота повторов и в качестве новизны — дальнейшего безжалостного старения (это ведь тоже стучало: шестьдесят! шестьдесят!); четко отмеренные торжества, вроде этого юбилея, на которых он почему-то обязан присутствовать; мир службы и мир дома с одними и теми же лицами вокруг (нет, нет, он ничего против них не имел, просто они были те же, те же изо дня в день). Все перечисленное — а в противовес эта озаренная нимбом точка, природу и значение которой он не мог охватить своим бедным разумом, приспособленным только к повседневной, конкретной и привычной работе, а не к объяснениям природы таинственных светящихся точек, существующих лишь в его взбунтовавшейся голове.

Пожалуй, тут найдено нужно слово — бунт, но бунт против чего? Против кого? Против добрейшей Виктории Андреевны? Против сослуживцев? Или против себя, такого послушного и удобного? Стоит ли объяснять и докапы-

ваться?.. Был октябрьский день, сильно склонившийся к вечеру, временами сыпал дождь, туго дул в спину ветер, словно отрезая Геннадия Витальевичу путь назад, а он шел к разгоравшемуся, радостному мерцанию впереди.

3. ВОЗВРАЩЕННОЕ ВРЕМЯ

Узенький ручеек пассажиров протек в салон, раскатываясь налево-направо от прохода отдельными каплями по креслам, — в шапках, платках, куртках, меховых воротниках. Рассаживались деловито и буднично, в основном народ был привычный к полетам, теперь такое время: кому не по средствам, тот сидит дома, а кто летает, тот летает, невзирая ни на что. Владислав Андреевич, относящийся к первой категории, неожиданно был вознесен во вторую, так что ему было в новинку, вернее, ощущения были подзабыты, когда-то он летал. Ощущения не назовешь особенно специфическими: если не смотреть в иллюминатор на убегающее, а затем летящее вниз поле, можно вообразить себя в салоне комфортабельного междугородного автобуса. Высокие кресла с выгнутыми подголовниками, матовое свечение в потолке, шторы на окнах-иллюминаторах.

Обстоятельства, двинувшие его в дорогу, были просты, как жизнь и смерть; между ними, то есть жизнью и смертью, находился теперь один человек, который заслуживал того, чтобы Владислав Андреевич бросил дела, бросил домочадцев и пустился хоть не в длительное, но все же дальнее путешествие: четыре часа для современного авиалайнера — это расстояние, вызывающее уважение. И если, скажем, на возвратном пути роком станет нелетная погода этак на несколько суток, то путь на поезде будет уже и дальним, и длительным. Следовательно, тот человек имел для него значение несколько чрезвычайное, отмечающее напрочь мелкие расчеты и копеечные соображения. При том вовсе и не копеечные по нашим временам.

Человека звали Юрием Алексеевичем Бибиком, для Владислава Андреевича был он много лет Юркой без всякого Алексеевича, и оставался им, несмотря на лысину, полноту и хвори, связанные с возрастом. Сам Владислав Андреевич последних пока счастливо избегал, а что касается прочего

из этого грустного формуляра, то набор был, каким ему и положено быть, с разными вариациями: вместо лысины седина, вместо полноты, которая ему явно не грозила, другая мета свирепого времени — уже старческая костлявость, убогая худоба тела, лишенного молодых соков. Однако сочетание того и другого — ровной серебряной седины и поджарости — давало эффект, до сих пор несколько опасный для женщин, для «дам», как он их называл полугалантно, полущутливо. Чего, по-видимому, нельзя было сказать про старинного друга Юрку Бибика: он-то с младых лет не пользовался благосклонностью этих самых дам, хотя добивался ее неумоимо, и старания его не пропадали совсем втуне: третьим браком был женат друг Юрка. А Владислав Андреевич прочно прилепился к своей единственной Елене Константиновне, Леночке. Он в своей жизни не расплылся, не поддавался соблазнам, и не тянуло, честно говоря. Известно, что Господь посылает красивый купальный костюм не умеющим плавать.

Трогало до зуда в глазах, что Юрка в первую очередь вспомнил о нем и позвал. И пугало: значит, так плох, потерял надежду; он отнюдь не сентиментального склада, Юрка Бибик. Было когда-то сказано: если что, зови, явлюсь без задержки. В смысле, если что понадобится, о такой крайней причине не думалось. Я ведь твой, можно сказать, крестник. А, махал тот рукой, перестань все об одном, так и будешь поминать всю жизнь? А если что, позову, конечно. Ну и ты, разумеется, тоже, если что... А именно на реке, купаясь, в увольнении, чуть было не забулькал он на дно; не подгреби своими мощными саженками Юрка... Голос Кати, третьей и, похоже, последней Юркиной жены, был испуган: «Велел позвонить, он в больнице. Сможете приехать?». Что за вопрос.

Ну и думалось все об одном, все об одном во все часы этого ровного полета над нескончаемым и однообразным снегом облаков. Солнце летело навстречу, и время сжималось, уплотненное двойным движением земного шара и самолета.

Владислав Андреевич времени не замечал, и лишь когда лайнер покатил по бетону, когда он увидел пронзающие тьму аэропортовские огни, он неприятно поразился тому, как быстро съедено время: в Москве еще был день, середина дня, а здесь полный вечер.

Но зимние вечера ранние, он успел, не откладывая на завтра, попасть к Юрке в больницу, прежде заехав к ожидавшей его Кате. Она всплакнула, сопровождая его. Владислав Андреевич из телефонного разговора знал, что у Юрки Бибика был удар; к его приезду ничего не изменилось, и он порадовался тому, что Юрка по крайней мере жив, что он не опоздал.

Юрка, Юрий Алексеевич Бибик, большой свой живот выставил в потолок, нос кнопкой был устремлен туда же, а глаза, цепкие и оживленные, скосились на Владислава Андреевича, правая щека чуть сдвинулась в улыбке. Владислав Андреевич подержал его правую руку, почувствовал слабое ответноежатие (а левая мертво лежала на одеяле). Катя присела на другую табуретку, глядя на мужа тщательно высушенными глазами.

— Моводец, — сказал Юрий Алексеевич. — Как дева?

Владислав Андреевич уже знал от Кати, что речь затруднена, что вообще больному лучше не разговаривать. Он предостерегающе прижал указательный палец к губам, как бы призывая хранить некий секрет, не проболтаться о чем-то. Юрий Алексеевич понял этот жест, имеющий сейчас для него невеселый смысл.

— Мовчать скучно, — не согласился он, с усилием ворочая языком.

Да уж, Владиславу ли Андреевичу не знать. В курилке, насыпая на аккуратный прямоугольничек газеты аккуратной струйкой махорку, сворачивая и зализывая газетные строки, Юрка Бибик собирал вокруг себя матросиков и травил. О чем угодно. Всегда молчание было для него равносильно пытке. Служили они вдали от морей, в арсенале, где хранились морские боеприпасы и с последней, Отечественной войны, и даже с русско-японской, сухопутные матросики, щеголявшие и гордившиеся флотской формой. Уже так далеко ушли пусть не в забвение, но в нереальность, труднопредставимую живой нынешней памятью, те четыре года их погрузо-разгрузочной службы, те тонны перетасканных на их плечах и горбах снарядов — союзнических «Эрликонов», трофейных «Бофорсов» и разных отечественных. Бесконечно далеко ушли, но стоило теперь увидеть все того же Юрку, да, все того же, ибо что-то главное в облике, что является, по-видимому, ядром

человека, не меняется, — стоило увидеть, как тотчас те годы приблизились и встали рядом.

А Юрка Биби́к лежал, с выпяченным животом, неподвижный, перебирая по больничному одеялу слабыми пальцами одной действующей руки, и это было так странно, как если бы на него, молодого (каким он оставался в глазах Владислава Андреевича целую, считай, жизнь), кто-то противоестественно напялил шкуру пожилого паралитика. Оттого-то Владислав Андреевич ощутил холод тоски и почувствовал свои собственные годы на плечах. Те снарядные ящики были легче.

Катя, здорово подвядшая с тех пор, как он видел ее у себя в Москве и познакомился с ней, внутренне коря Юрку за непостоянство в браках, сидела немного обособленно, предоставив ему главное место подле больного. Губы ее были подкрашены чуть неряшливо, что было в общем извинительно в данных обстоятельствах. Глаза, скрывая озабоченность и тревогу, ненадолго задерживались на лице больного и обращались к Владиславу Андреевичу с тайным вопросом: как вы его находите? Они не успели перейти на «ты». Владислав Андреевич улыбался ей и улыбался Юрке, его разнонаправленная улыбка, впрочем, не делилась на такую и этакую, оставаясь одинаково и приподнято бодрой. Что повергало его самого в недовольство: он не мог найти верную манеру поведения — спокойную, но без искусственного бодрчества.

Чтобы Биби́к больше молчал, Владислав Андреевич говорил сам: на беглый вопрос «как дева?», то есть как дела, он отвечал пространно, обстоятельно, что в другом случае производило бы впечатление известного простодушного занудства, но сейчас было кстати, и кстати еще потому, что перезванивались редко, виделись вообще в несколько лет раз, событий накапливалось от раза к разу. Сообщил Владислав Андреевич, что внук пошел в школу, что у дочери новый муж, и стоило ли менять одного на другого — в этом он не уверен, что жена, Елена Константиновна, Леночка, ничего, особенно не прибаливает, вообще жизнь как ни каверзна, а одолеть их не может, тьфу-тьфу-тьфу, и Бог даст, его, Биби́ка, тоже не одолет болячка, матросы-комендоры не поддаются никому и ничему. Тот арсенал был артиллерийский, и числились они комендорами, в отличие от тех, кто служил в минных

арсеналах, носили на рукаве форменки, бушлата, шинели красные скрещенные орудийные стволы — комендорские «штаты». Бибик на последнее замечание улыбнулся кривыми губами и одной щекой, а Катя согласно закивала и тоже улыбнулась искательно мужу, призывая его не падать духом.

Вероятно, это было излишним: Юрка Бибик, срочно вызвавший к себе старого друга ввиду внезапной тяжелой болезни, помирать, судя по всему, не собирался; и то, что он все-таки вызвал его, говорило о многом (похоже, и о явившейся к старости сентиментальности). Сыновей, а их было двое и жили они в разных городах, он ведь не вызвал; впрочем, отношения были крепко испорченными, Катю они, кажется, не хотели знать.

Косноязычный Бибик не желал лежать распластанным полутрупом, он, невзирая на запреты, норовил вести разговор, как ему всю жизнь и было свойственно. Не помогали уговоры ни Кати, ни Владислава Андреевича, который в конце концов махнул рукой, поскольку Бибика не переделать. Юрию Алексеевичу не очень мешало даже то, что язык его находился словно в путах, был скован. Не мог он помогать себе и жестами. Тем не менее разговор двигался, хотя и рывками, переваливаясь через бугры и рытвины, когда Бибик, запинаясь, пытался четко выговорить слово, слыша и понимая свое внезапное косноязычие.

Работа — что работа? Он с нею рассчитался, на пенсию выходит, у него шесть соток. Чего им с Катей еще надо? Верно, Катя? — обращался к жене за поддержкой. Она готовно кивала, она со всем была согласна. Катя была покладиста и терпелива, она поздно нашла своего Бибика. Он еще говорил про Владислава Андреевича, что тот в науке, в трудах, небось и поболеть некогда, а мне, мол, что, раздолье, лежи не хочу. И улыбался опять. Велел пожурить Ленку (он называл Ленкой): почему плохо кормит мужа, скелет, а не мужик. Владиславу Андреевичу только и оставалось, что улыбаться тоже. И вообще, со свиданием-то им бы полагалось. Владислав Андреевич и с этим не стал спорить, добавив лишь, что в следующую встречу они не пропустят случая.

Он чувствовал странную тяготу: как будто щеки его были тоже парализованы не сходящей улыбкой, обязанной присутствовать на лице в силу некоего негласного уговора,

принятого между людьми в таких обстоятельствах, — бодрой, поддерживающей больного. Это при том, что Юрку Бибика было, конечно же, искренне жаль и искренняя за него тревога сверлила.

Пришла сестра делать укол, и они с Катей вышли, а потом зашли снова, он попрощался на сегодня, Катя осталась дежурить возле больного, как было договорено с врачом, а Владислав Андреевич отправился на ночлег, взяв у Кати ключи от квартиры.

На другой день он всю центральную часть города обошел махом, рассеянно интересуясь достопримечательностями, думая про Юрку Бибика, который лежал на своей койке без особых, видимо, изменений, и гоня мысли о том, сколько придется ему здесь торчать и ждать — и чего ждать? Он чувствовал себя выброшенной из родного водоема рыбой — выброшенным из привычного круга дел, задыхающимся без них. Одновременно он ощущал ту полноту удовлетворения, когда человек знает, что поступил как должно, а все прочее второстепенно, несущественно и его можно перемочь. Он и перемогал, бесцельно бродя по снежным скрипучим улицам морозного сибирского города.

Но, однако, вопрос не праздный — чего ждать? После обеда он был у Бибика, тот лежал и правда без каких-либо перемен, обрадовался, его увидев; лежал он в одиночестве (удивительно, что нашлась для него отдельная палата, не Бог весть какая птица — заводской мастер), Катя отдыхала, отдежуривав ночь. Новая встреча с малыми отклонениями повторила вчерашнюю. Главное отличие заключалось в том, что Бибик меньше говорил в этот раз: видимо, вчера все выложил, и уже мало тем находилось. Был бы здоров — конечно, нашлось бы, о чем поговорить и что вспомнить, но Владислав Андреевич старался его не поощрять, предупрежденный снова врачом.

На третий и четвертый день стало ясно, что состояние больного находится в более или менее устойчивом равновесии, которое неизвестно сколько времени продлится, может, и месяцы. Не слишком радужная перспектива. Было понятно и самому Бибику: не может Владислав Андреевич проводить здесь дни за днями, и необходимости в этом нет. Бибик первый ему сказал: отчаливай. Как с самолетом? В смысле, насчет билета?

С билетом вышло удачно. В кассе выдали на завтрашний рейс — известно, что лучше всего брать накануне или даже в день отлета, всегда остаются непроданные. Владислав Андреевич днем с Бибиком попрощался, подержав напоследок его живую руку в своей и почувствовав (а вернее всего, ему показалось, ибо хотелось, чтоб было так) более крепкое ответное пожатие, чем в первый раз. Юрка Бибикич, Юрий Алексеевич, смотрел ему вслед, и он у двери обернулся, они обменялись последними улыбками: улыбку Владислава Андреевича сопровождал щемящий спазм в горле, а у Бибикича было не разобрать, что там с его скованной улыбкой, которую, если не приглядываться, и не различишь.

Снова косо полетело вниз аэродромное поле, в отличие от подмосковного затянутое морозной стынью, снова спустя какое-то время потянулись внизу однообразно белые облака сплошной снеговой массой. Владиславу Андреевичу показалось, что самолет был тот же, каким он летел из Москвы, салон тот же, и, может быть, так оно и было.

Но что было другим, отличным и даже противоположным, так это поведение времени. Владислава Андреевича вдруг поразило, как поражает сделанное внезапно нехитрое открытие именно своей простотой и очевидностью, которых почему-то не замечаешь до поры, до некоего счастливого момента, поразило свойство времени то нестись вскачь, то останавливаться. Он вспомнил, как стремительно попал из дня в вечер, прилетев к Бибику. Теперь же время стояло, и сколько он ни летел, он находился все в той же временной точке, никуда как бы и не двигаясь. Как ни странно, никого вокруг это не поражало. Он огляделся — лица были спокойны и озабочены будничными мыслями. И отчего бы им быть иными? Никакого чуда не происходило, время вело себя так, как ему полагалось себя вести: Земля крутилась в одном направлении, самолет летел в противоположном, скорость совпадала, в итоге время остановилось. Куда уж проще.

Однако Владислав Андреевич заволновался и засуетился, ему почудилось, будто он попал в какое-то неземное измерение, где добавляется какое-то внеплановое, дарованное время. И его надо использовать как-то особенно. Как? Под руками ничего не было, он даже не захватил с собой статью, которую не успел закончить, — не захватил, боясь

потерять рукопись, а как было бы елавно сейчас поработать, использовать дармовое время. Дармовое? Он забыл, что оно было украдено и сейчас лишь возвращено. Он знал одно: время не движется, и в тот час, когда он поднялся в воздух в Сибири, в тот же час он сядет на землю в Москве. И тогда он стал молиться, чтоб Юрка Бибик поправился. Молиться тому, кто распоряжается временем и находится, скорее всего, в этом ничейном, с точки зрения людей, пространстве. Во всяком случае он был уверен, что в эти-то не принадлежащие людям часы Бибик не умрет. Потому что их нет, они не существуют ни для живых, ни для мертвых.

Вера БОКОВА

АПОЛОГИЯ ДЕКАБРИЗМА

В наше время, когда, наконец, очевидно, что отечественная история была в прежние годы во многих и многих своих главах откровенно фальсифицирована, сделалось модным «пробовать на излом» кумиров недавнего прошлого. Жертвами этой моды стали, в частности, и декабристы. Следуя нашему всегдашнему национальному пристрастию «сжигать все, чему поклонялись», публицисты со рвением занялись ниспровержением недавних «рыцарей, кованных из чистой стали», объявляя их нарушителями присяги, цареубийцами, злонамеренными проводниками нерусского духа и вообще людьми, «с которых, собственно, все и началось». Не хочется называть конкретных имен, хотя можно было бы привести и соответствующие цитаты,— речь, в сущности, идет не о той или иной статье или телевизионном, радио ли выступлении, а о наметившейся тенденции, о складывающейся на наших глазах новой оценке, ничуть не менее фальсифицированной, чем та, что существовала ранее. А по опыту прежних лет мы знаем, как тяжел груз подобных оценок, как препятствуют они объективному и неподвзятому историческому исследованию, как искажают, в конце концов, картину минувшего.

Декабризм в очередной раз делается жертвой политической конъюнктуры, но плохо еще и то, что рассуждать о нем берутся

**Вера
Бокова**

— родилась в Москве. Окончила исторический факультет МГУ. Старший научный сотрудник Музея декабристов. Автор книги «Декабрист Сергей Григорьевич Волконский» (1993), многочисленных статей и публикаций по вопросам русской истории. Составила несколько сборников мемуаров и документов XIX века.

люди, мягко говоря, не вполне осведомленные в обстоятельствах дела.

Так, скажем, никакой присяги «декабристы» не нарушали, потому что большинство из них никакой присяги Николаю Первому не приносило, а прежняя, Александру Первому, со смертью последнего утратила силу. Во время следствия вопрос о присяге специально выяснялся и обнаружилось, что в этом отношении никто из подследственных закона не нарушил. Более того, мятеж на Сенатской площади проходил, как известно, под лозунгом «Конституция и Константин» и большинство рядовых участников, не только солдат, но и офицеров, искренне верило, что, выходя на площадь, они демонстрируют свою верность законному императору Константину I, от присяги которому их хотят заставить отказаться в пользу Николая (что могло восприниматься и как насилие над военной честью, и как замаскированная узурпация власти Николаем, формально не имевшим на нее права^{*}). У руководителей мятежа, конечно, были и другие цели, но и эта объективно существовала.

Вряд ли можно утверждать и то, что «все началось» именно с декабристов. Даже та цепь событий, что привела наконец к октябрю 1917 года, несомненно, простирается гораздо далее 1825 года, и имела началом то роковое противостояние государства и общества, которое тянется то ли с монголов, то ли с принятия христианства по византийскому образцу, то ли с еще более ранних времен и событий, — словом, упирается в пресловутый и вечный вопрос о «русском пути». Декабризм, безусловно, веха на этом пути, но вовсе не его исток.

Очевидно, что не первыми «декабристы» подняли в России вооруженный мятеж — вспомним хотя бы стрельцов. Не первыми они обсуждали цареубийство — и, подчеркнем, не совершили его. А до них, и без особых рассуждений, российские дворяне умертвляли нескольких своих царей. Царственная кровь лилась в России и в XVIII веке (от царевича Алексея до Павла), и в XVII-м (убиенный Федор Годунов был совершенно законным наследником русского престола), и в XVI-м (царевич Иван), а о временах более ранних и говорить не приходится. И не «декабристы», разумеется, первыми заговорили о конституции и о «позоре крепостничества». Избрание на русский трон королевича Владислава в начале XVII в. уже обставлялось условиями, создававшими подобие конституционной монархии. Еще князь Василий Васильевич Голицын, фаворит царевны Софьи, размышлял и писал о плачевном положении русского мужика...

* См. например: Беляев А.П. Воспоминания декабриста о пережитом и переучуванном. Красноярск, 1990. С. 122-123.

После августа 1991 года иные из наших публицистов проводили прямую аналогию между известными событиями и четырнадцатым декабря 1925 года. Мятежи, конечно, все похожи друг на друга. Существует даже особая типология переворотов, насчитывающая с добрый десяток общих показателей*. И все-таки, параллелей между 19 августа и 14 декабря (если не считать, конечно, того, что оба эти события приходились на понедельник) гораздо меньше, чем, скажем, между 19 августа и 28 июня 1762 года, когда случились события, возведшие на престол Екатерину Великую. И там, и здесь задолго до события ходили будоражающие слухи о нем, глава государства отсутствовал в столице, в заговоре принимало участие второе по положению в стране лицо, побежденные предпринимали унижительную попытку выторговать себе прощение у победителей и т.д., и т.п.

Причина очень многих критических недоразумений заключается, очевидно, в том, что расставаясь на словах с «марксизмом», наша публицистика на деле сохраняет верность абсолютному большинству «марксистских» (а точнее, ленинских, или даже вообще «партийных») догм и штампов. Так и в случае с декабризмом наблюдается безусловное следование пресловутой ленинской теории «трех этапов» (хотя и не им созданной) и знаменитому «декабристы разбудили Герцена» («потому, — как неизменно теперь, хихикая, прибавляют, — что была ночь и он спал»). Герцена «декабристы», действительно, разбудили, только не так, как это принято думать. В 1825 году, когда произошел мятеж, ему было 13 лет. На его счастье, ни тогда, ни позднее он так и не узнал толком, чего же, собственно, хотели те люди, что вышли на Сенатскую площадь, не держал в руках ни одного из основных написанных ими политических проектов и лишь слышал о них в позднейшем приблизительном пересказе. Прочти он их — особенно наброски Пестеля — пришлось бы расстаться со многими иллюзиями. Потрясло же его — и не его одного — кое-что, связанное с казнью пятерых осужденных: невиданное нигде в мире и противное христианским правилам повторное повешение сорвавшихся с виселицы, «убийство по суду» того же Пестеля, повинного лишь в инакомыслии, благодарственный молебен по случаю успешного совершения казни.. Все это кого угодно могла навести на печальные размышления, а жизненные обстоятельства довершили дело — Герцен «проснулся».

Именно Герцен, впрочем, вольно или невольно, стал родоначальником «декабристской легенды». Он сотворил вокруг «героев 14 декабря» ореол борцов и мучеников, он первый произнес слово «революционеры» (впрочем, так же точно он называл и Петра Великого), он в своей книге «О развитии революционных идей

* Мирский Г.И.

в России» заложил многое из того, о чем в советское время стали писать в школьных учебниках.

В сущности, случилось так, что в декабризме, как историческом явлении, никогда не пытались разобраться спокойно, «без гнева и пристрастия». По горячим следам «с гневом» писали историки-официалы, стремясь обвинить и заклеймить. Потом стали писать историки «либерально-демократического лагеря», «с пристрастием»: искали преемственность — и находили, как водится. Изредка звучали и трезвые голоса (В.О. Ключевского, например, многое сумевшего подметить в декабризме, хотя тот и не относился к сфере его специальных интересов), — но услышаны эти голоса не были и на сложившуюся версию не повлияли. Так продолжалось до 1917 года, а то, что произошло в исторической науке потом, хорошо известно*.

В коммунистическом культе, где четко распределялись функции новых святых и мучеников, пророков и праотцев, за «декабристами» однозначно закрепился праотеческий ряд иконостаса. В праотеческом ряду — декабристы с петрашевцами и народовольцами, в пророческом — Кампанелла с Томасом Мором и Сен-Симоном, а в праздничном — В.И. Ленин на броневике. Пушкин едва не попал в этот иконостас. Умри Достоевский в Сибири — и он бы здесь красовался под биркой «мученик за социалистические убеждения».

То, что коммунистическое вероучение пародирует христианство, заметили уже довольно давно. Мenee, кажется, обращают внимание на то, что теперь, отвергая коммунистическую веру, мы пародируем правоверных безбожников 1920-х годов. Нам так же мало разрушить иконостас — нужно еще плюнуть на икону; мало провозгласить: «Бога нет!» — надо еще доказать, что Иисус Христос никакой не Сын Божий, а негодяй и проходимец...

Ясно, что там, где речь идет о культе, трудно ждaть беспристрастия и объективности. «Жития святых» и научный труд — явления разных порядков, а на практике выходило так, что почти все, что писалось о «декабристах», соответствовало требованиям не столько научным, сколько житийным. Клишировались тысячи благонамеренных, благолепных статей и заметок, герои которых, неразличимо похожие друг на друга, были старательно приглажены, набелены и оскоплены. За пределами устоявшейся схемы оказывалось* не только множество биографических черт и подробностей, способных «опорочить» любимых героев, таких, как

* Любопытно, что сложившаяся в советское время концепция «декабристского движения» (в значительной степени сотворенная М.В. Нечкиной) вольно или невольно подгонялась под схему «Истории ВКП(б)»: обретение верной теории и тактики — борьба со всяческими уклонами и заблуждениями — победа «единственно правильного» — наконец, восстание, как венец всего движения.

адюльтер, венерические болезни, брошенные внебрачные дети, имущественные споры и т.п.— как бы важны для реальной судьбы они ни были,— но это еще полбеды; за пределами схемы оказывались и не вписывающиеся в канон идеи и факты. Их либо не замечали, либо не интерпретировали должным образом. Между тем, даже беглый взгляд на источники способен навести на вовсе не традиционные мысли.

Прежде всего, становится ясно, что ни о каком едином «декабристском движении» речи идти не может. В силу, в общем-то, исторической случайности под единой вывеской оказались собраны люди самых разных, зачастую противоположных, взглядов и устремлений. Вряд ли можно твердо говорить даже о том, что некоторые из них были революционерами, тем более, что само это слово «революционер» как и слово «революция», пожалуй, не имеют у нас до сих пор удовлетворительного толкования. Сказанное относится и к другим словам, обозначающим сходные явления: бунт, мятеж, восстание, переворот и пр. Слова разные — видимо, и явления, ими обозначаемые, должны как-то различаться, хотя бы по таким показателям, как массовость, подготовленность либо спонтанность, результат... Но мы их употребляем как попало: называем бунт Семеновского полка в 1820 году или мятеж на Сенатской площади одинаково — восстанием*, переворот октября 1917 г. зовем революцией и т.д. А в начале XIX века многие привычные нам слова еще не имели того смысла, который мы в них вкладываем теперь, и тогда слово «революция» могло обозначать любой переворот. Революцией считалось, в частности, воцарение Екатерины II. Иные из «декабристов» употребляли на словах и в сочинениях слово «революция», но что они имели в виду, следовало бы еще выяснить. Иные из «декабристов» были сторонниками переворота, но были ли они при этом революционерами? Во всяком случае, то представление, которое мы чаще всего вкладываем в понятие «русский революционер», вряд ли применимо к «декабристам», и прежде всего потому, что поступки последних в огромной степени определялись такими двумя понятиями, как Бог и Совесть.

Истинно «пламенный революционер» в России — всегда безбожник, но фанатик революции. Вера в «светлое будущее» замещает и восполняет у него потребность во всякой иной вере. Когда в революцию приходил религиозно верующий человек, он либо расставался с верой в Бога, либо рано или поздно переставал быть революционером.

* Впрочем, слово «мятеж» характеризует происшествие на Сенатской площади тоже не вполне точно. Возможно, более подходящими были бы слова «вооруженная демонстрация».

Среди «декабристов» были деисты, но не было, по сути, ни одного атеиста. Большинство же участников тайных обществ было глубоко верующими христианами (в общества не принимали лиц не христианских конфессий). Более того, именно в декабризме был особенно част тип образцового христианина, вообще, как можно судить по свидетельствам современников, сравнительно редко встречавшийся в дворянстве в те времена*. «Декабрист» мог иной раз не принимать формальной церкви и ее обрядов (И.Д. Якушкин), но и тогда оказывался подлинным христианином во всех своих поступках и нравственных устремлениях, круто замешанных на Христовых заповедях.

Христианские принципы определяли и бытовое поведение «декабристов», и их мировоззрение, в котором, несомненно, можно найти немало аналогов теории «христианского социализма», примерно в те же годы начавшей оформляться и в других европейских странах, а впоследствии оказавшей такое сильное воздействие на российское славянофильство. Республиканизм у «декабристов» весьма часто опирался на идеи, почерпнутые из Священного Писания. С.И. Муравьев-Апостол, поднимая мятеж Черниговского полка, задумывал его, как новый Крестовый поход во имя установления Царства Божия в России: «Да будет всем Един Царь, на небеси и на земли,— Иисус Христос». Перед фронтом мятежникам зачитывалось: «Христос рек: не будете рабами человеков, яко искуплены кровью моею. Мир не внял святому повелению сему и пал в бездну бедствий. Но страдания наши тронули Всевышнего — днесь он посылает нам свободу и спасение... Отныне Россия свободна. Но как истинные сыны церкви — не покусимся ни на какие злодейства и без распрей междоусобных установим правление народное, основанное на законе Божиим, гласящем: да первый из вас послужит вам»**.

К сожалению, сохранилось мало материалов о взглядах Сергея Муравьева, но истовая религиозность явно определяла их в очень большой степени. В самом психологическом типе Муравьева было много от христианского подвижника. Не случайно священник Мысловский, наставлявший его в темнице, признавался потом, что подле Муравьева-Апостола он помимо своей воли испытывал то же благоговейное чувство, что и перед храмовым алтарем, а

* К наиболее чистым представителям этого типа, особенно в сибирские годы, можно отнести П.С. Бобрищеву-Пушкина, Н.М. Муравьева, Е.П. Оболенского, А.И. Одоевского и др.

** «Православный катехизис». — Восстание декабристов. Материалы. Т. IV. М.-Л., 1927. С.254, 256.

знавшие Муравьева солдаты при упоминании его имени крестились и, благочестиво подняв глаза к небу, говорили: «Святой мученик, воззри на нас»*.

Наблюдения над религиозной жизнью «декабристов» способны дать и интересные образцы аскезы, и миссионерства, и осознанной «жертвенности», от «раздать имение свое» до — «жизнь положить за други своя», — но, к сожалению, весь этот богатый материал почти не изучался. То, что появилось до революции**, было вовсе не удовлетворительно, а после революции усилия исследователей направлялись главным образом на усердные, но безуспешные поиски в «декабристской» среде атеистов.

Религиозность, будь она сознательная или неосознанная, «друзей 14 декабря» обусловила их второе принципиальное отличие от революционеров позднейших времен: неизмеримо более высоко развитое нравственное чувство. Даже затеявая мятеж, они следовали лишь романтической установке «пожертвовать собой на благо Отечества» («Ах, как славно мы умрем!»***). Неромантическая действительность и пролившаяся чужая кровь моментально их отрезвили и стали причиной того полного и нелицемерного раскаяния, через которое прошли практически все «декабристы», даже те из них, кои участия в мятеже не принимали. Как писал позднее А.П. Беляев, «я и теперь сознаю в душе, что если б можно было одной своею жертвою совершить дело обновления отечества, то такая жертва была бы высока и свята, но та беда, что революционеры вместе с собой приносят преимущественно в жертву людей, вероятно, большею частью довольных своей судьбой и вовсе не желающих и даже не понимающих тех благодетелей, которые им хотят навязать против их убеждений, верований и желаний... Я вполне убежден, что только с каменным сердцем и духом зла, ослепленным умом можно делать революции и смотреть хладнокровно на падающие невинные жертвы»****.

«Ослепленный ум» в декабре 1825 года был налицо, но «каменным сердцем и духом зла» никто из мятежников, безусловно, не обладал.

Сказанное может показаться не соответствующим широко известному утверждению о том, что основной целью заговорщиков было цареубийство и даже истребление всей императорской фамилии «от старца до сущего младенца». Собственно, именно как цареубийц «декабристов» и судили, осведомленность в цареубийственных планах становилась серьезнейшим из всех предъявлен-

* РГАЛИ, ф. 1345, оп.1, д. 622.

** Буткевич Т. Религиозные убеждения декабристов. // Вера и разум. 1899. № 22—23; 1900. № 1, 4.

*** Слова А.И. Одоевского, сказанные в канун мятежа.

**** Беляев А.П. Указ. соч. С. 135—136.

ных обвинений, а на груди у пятерых повешенных красовалась надпись «Злодей-цареубийца». Не будь подобных планов, большинство из осужденных просто не за что было бы наказывать, ибо причастность к мятежу могли вменить в вину лишь примерно 20-ти из 126-ти приговоренных. Естественно, что в подобных условиях приверженность к идее цареубийства была значительно преувеличена следствием. Из нее выжали все, что было можно, собрав и эпизоды, порожденные одномоментной яростью, и сутубо теоретические дискуссии (согласимся, не совсем корректная тема для дискуссии, но порожденная самой тогдашней жизнью, богатой политическими потрясениями), и все сделанные в запальчивости или в пьяной бахвальбе оговорки. Сколько-нибудь серьезными из установленных эпизодов были лишь два: так называемый «Московский заговор» 1817 года, ставший совершенно естественной реакцией на предполагаемую «национальную измену» Александра I (одновременно с известием о даровании Польше конституции пришел слух о тайном сговоре Александра с поляками с намерением возвратить им принадлежавшие ранее польскому государству территории Украины и Белоруссии). Он длился фактически лишь один день, после чего все предполагавшиеся цареубийцы дали себя уговорить повременить с роковым шагом до окончательного выяснения истины. Вторым эпизодом было намерение покушения на Александра I в 1825 г., зародившееся в недрах кружка Рылеева и исходившее от А.Якубовича и П.Каховского. Само поведение предполагаемых исполнителей было в этом случае проникнуто такой экзальтацией и театральностью, такой страстью производить эффект и всячески красоваться ролью тираноборца, что заведомо исключало всякую серьезность намерений, что потом и подтвердила жизнь.

В сущности, вопрос об исполнителях всегда был слабым местом всех цареубийственных построений общества. Судьба избавила заговорщиков от необходимости решать эту проблему и сама выступила в роли цареубийцы, но если бы — что маловероятно — мятеж все же состоялся еще при жизни Александра I и вопрос о судьбе его и его семьи был бы поставлен практически, проблема исполнителей неминуемо завела бы его в тупик. Идеальным вариантом было бы, если б нашелся какой-нибудь злодей или безмозглый фанатик, способный избавиться от хлопот и взять на себя это безбожное и непривлекательное дело. Тогда его можно было бы с чистой совестью послать на эшафот, а руки у реформаторов оказались бы развязаны. Но сыскать подобный персонаж вне сферы влияния общества едва ли было возможно, внутри же — если и мог найтись «герой», увлеченный, в духе времени, античными примерами и согласный «избавить Отечество от тирана», то совершенно очевидно, что не сыскалось бы никого, способного расправиться и с «фамилией». Ни в каком душевном или умственном

ослеплении никто из участников общества не смог бы поднять руку на женщину или ребенка — это однозначно, а это лишало смысла и само царевбийственное предприятие, имевшее конечной целью обеспечить стабильность и исключить возможность дальнейшей реставрации.

В рядах тайных обществ 1810-1820-х годов соединялись люди разных взглядов: от классических либералов, умеренных просветителей и убежденных легитимистов* до приверженцев жесткой централизации и даже тоталитаризма и сочинителей жутковатых утопий вроде «Ордена русских рыцарей» (православная орденская республика, закрытие университетов, истребление инородцев, насильственное обращение иноверцев, мощная армия и завоевательные походы от Швеции и Греции до Индии), а также изрядное число просто фрондирующих дворян и откровенных честолюбцев, которым не давали спокойно спать лавры екатерининских Орловых (в каковых побуждениях откровенно признавался, в частности, А.А. Бестужев-Марлинский**). Это явление можно без особой натяжки уподобить недавнему диссидентству, мирно объединяющему под одной этикеткой и Сахарова с Солженицыным, и Лимонова с Гамсахурдиа. В силу этого ни о какой единой декабристской программе, даже внутри того или иного общества, единой стратегии или тактике говорить невозможно: их не могло быть и их не существовало. Каждое общество, в сущности, разбивалось на несколько кружков, группирующихся вокруг того или иного лидера, а также на ряд одиночек, ни к кому определенно не примыкавших, но в обществе числившихся. При этом вступление человека в

* При понимании легитимизма как принципа сочетания нерушимости монархической власти с признанием исторических реалий, сложившихся в Европе в результате событий рубежа XVIII-XIX вв. См.: Минаева Н.В. Европейский легитимизм и эволюция политических представлений Н.М. Карамзина. // История СССР. 1982. №5.

** «Быв на словах ультралибералом, дабы выиграть доверие товарищей, — писал А.Бестужев к Николаю I, — я внутренне склонялся к монархии, аристократию умеренной. Желая блага отечеству, признаюсь, не был я чужд честолюбию. И вот почему соглашался я на мнение Батенькова, что хорошо бы было возвести на престол Александра Николаевича (т.е. сына Николая I, будущего Александра II). Лстя мне, Батеньков говорил, что как исторический дворянин и человек, участвовавший в перевороте, я могу надеяться попасть в правитель(ствен)ную аристократию, которая при малолетнем царе произведет постепенное освобождение России. Но как мы оба выдели препятствие в особе Вашего Величества, — истребить же Вас, Государь, по чести, никогда не входило мне в голову, то в решительные минуты обратился я мыслию к Государю Цесаревичу, считая это легчайшим средством к примирению всех партий и делом, более ласкавшим мое самолюбие, ибо я считал себя, конечно, не хуже Орловых времен Екатерины. В прения думы почти не вступался, ибо знал, что дело сильнее пустых споров, и признаюсь Вашему Величеству, что если бы присоединился к нам Измайловский полк, я бы принял команду и решился на попытку атаки, которой в голове моей вертелся и план». (Из писем и показаний декабристов. Под ред. А.К. Бороздина. СПб., 1906).

тайное общество ни о какой зрелости его убеждений не говорило. Была мода на тайные общества. Она возникла задолго до Отечественной войны и не в России, но пришла и в Россию, и по меньшей мере с 1803 г. следы тайных обществ обнаруживаются то там, то здесь. И с «декабристами» эта мода не кончилась, продолжалась и позднее. Во всем христианском мире возникали в этот период десятки и сотни таких обществ. Были общества роялистов, республиканцев, филантропов, борцов с иноземным владычеством, мистиков, расистов, испытателей природы, тайных развратников. В 1821 году в Петрозаводске существовало тайное общество под громким названием «Французский парламент», члены которого систематически собирались для совместного картежа и пьянки. Это была романтическая эпоха, а что за романтический герой без жгучей тайны? Членство в тайном обществе вносило в жизнь мирного обывателя остроту и возвышало его в собственных глазах. Не случайно наиболее многочисленны и активны были общества, возникавшие в провинции и в армейских полках. Вообще же не было, вероятно, в России середины XIX в. ни одного крупного государственного деятеля, который не прошел бы в юности через какое-нибудь тайное общество — понятно, чаще не из тех, что попали в обиход «декабристских», — или через полулегальный офицерский кружок. Назовем хотя бы А.Х. Бенкендорфа, Л.В. Дубельта, М.С. Воронцова, С.С. Ланского и др.

Сама по себе подобная мода может, вероятно, расцениваться, как свидетельство известной зрелости общества и стремления к политическому объединению, предшествующего обыкновенно появлению классически оформленных политических партий с единой программой, уставом и т.п.

В тайные общества вступали более чем охотно. Так, Н.В. Басаргин рассказывал в своих мемуарах, что когда его, арестованного, везли в Петербург, случайно встреченный в дороге офицер буквально не давал ему прохода, требуя, чтобы его теперь же и немедленно приняли в тайное общество*. Однако, вступив в них, чаще всего вовсе не стремились отметить свое членство каким-либо действием. Вплоть до осени 1825 года, десять лет, бездействие тайных обществ было почти абсолютным. Все это время мнимые заговорщики провели в бесконечных разговорах, в традиционных для русской общественной жизни интригах и взаимной подозрительности, а также в бесплодном прожектерстве — бесплодном, ибо ни один из «свирепых» планов ни разу не попытались воплотить в жизнь. Свойственная той эпохе болтливость нередко приобретала у членов общества особенно рискованный характер. Среди отличавшихся в этом отношении был и П.И. Пестель. Тот же Басаргин вспоминал о нем: «он часто увлекался и в серьезных политических

* Басаргин Н.В. Воспоминания, статьи, рассказы. Иркутск, 1988. С.78.

разговорах, особенно когда встречал противоречие, доходил до крайних пределов своих выводов и умозаключений. Это давало иногда повод к таким разговорам, которые хотя и не имели определенной цели, но... впоследствии при следственных допросах были причиной осуждения многих невинных в злых умыслах против правительственных лиц. Все это происходило оттого, что в жару прений он, желая усилить доказательства, увлекался против собственной воли и потом иногда сам признавался в том*.

Другие действия участников тайных обществ свелись еще к нескольким случаям частной благотворительности и к написанию ряда политических сочинений, в чем-то более, в чем-то менее радикальных, чем те, что каждодневно в больших количествах поступали на Высочайшее имя.

В общем, в тех случаях, когда действительный революционер последующих времен после бурного совещания отправлялся делать бомбу, или рыть подкоп, или печатать «подрывную литературу», или вообще нечто делать, «декабрист» спокойно шел домой, занимался своими частными делами и нередко даже вовсе забывал, о чем это у них недавно шел такой жаркий спор.

Подобное положение вещей даже Пестеля, самого упрямого и настойчивого из всех, довело наконец до отчаяния. Примерно с 1824 года он стал обдумывать разные крайние действия: покончить с собой, принять схиму, либо же пойти с повинной и сдать всю компанию, по возможности преувеличив масштабы дела так, чтобы навести власти на мысль об опасности медлить с преобразованиями.

К сказанному можно прибавить, что даже обсуждая возможность переворота в России, участники тайных обществ сходились на том, что в случае удачи ни один из них не должен будет принимать участия в новом правительстве, но тотчас же и навсегда отойдет от политической жизни. Подозрение же в намерении узурпировать власть способно было в глазах сотоварищей любому из них испортить репутацию. Согласитесь, это заставляет задаться мыслью, с какого рода явлением мы имеем дело? Если политика, по традиционному определению, это власть, то может ли считаться политическим, тем паче революционным, движение, которое к захвату власти не стремилось? Или это все же чисто идейное движение и его исторической функцией было лишь осмысление своего и чужого опыта и выработка неких новых путей умственного развития?

В общем-то уже к началу 1820-х гг. почти все «отцы-основатели» и большинство позднее присоединившихся членов тайных обществ прекратили на практике свое членство в них, а те, что еще оставались, делали это чаще всего по вполне субъективным причинам: из слабоволия, по подозрительности, либо чтобы удер-

* Басаргин Н.В. Там же. С.338.

жать других от крайностей, и лишь в считанных случаях — следуя искреннему убеждению.

Роспуск Союза Благоденствия в 1821 г. был вызван по-настоящему не столько «страхом правительственных репрессий», сколько тем внутренним кризисом, в котором Союз пребывал, а также и изменениями общественной ситуации, породившей его прежде к жизни. В 1816-1818 гг., когда возникали первые декабристские общества, Россия (вопреки устоявшемуся в отечественно историографии мнению) переживала общественный подъем. Проведения крестьянской реформы и дарования конституции ожидали буквально со дня на день, и стратегия тайных обществ заключалась в подготовке общественного мнения к восприятию грядущих преобразований и в том, чтобы помешать правительству откатиться от намеченного курса. Общество, в сущности, играло роль конструктивной оппозиции. Эту роль до известной степени признавал за ним и император, чему свидетельством как-то сохранившееся у Александра восклицание: «Эти люди любого могут уронить или возвысить в общем мнении»*. Общее мнение Александр уважал. Он с ним считался. Он еще в юношеские годы познал его действенность и приложил немало усилий, чтобы сформировать его (как институт) в России: создавал и финансировал журналы и газеты, разъяснявшие и пропагандировавшие его, Александра, взгляды и политику («Санктпетербургский журнал» 1798 г., «Санктпетербургский журнал» 1800-х гг., «Северный вестник», «Северная почта», «Journal du Nord» и др.), заказывал соответствующие книги и переводы, нанимал публицистов с европейским именем, ведших подобную же пропаганду на Европу и остальной мир (один из этих литераторов, Август Коцебу, в 1819 г. пал жертвой своего усердия и был, как русский агент, заколот студентом Зандом). С детства познавший истину «мнения правят миром», Александр сделал очень много, чтобы его мнения сделались мнением русского общества. В этом он следовал советам своего бывшего наставника Ф.-Ц. Лагарпа, рекомендовавшего ему в грядущих преобразованиях опираться на соответственно подготовленную часть общества и прежде всего на «просвещенную молодежь». Молодые люди, составившие тайные общества, все сложились в Александровскую эпоху и были, по справедливости, плодом затраченных императором усилий.

Эта тема, «Александр I и декабристы», как и следовало ожидать, никогда у нас не изучалась. Ее исследование еще может принести интересные сюрпризы. Известные же факты таковы: Александр знал о деятельности тайных обществ с самого момента их возникновения; ему были известны по именам большинство активных

* Якушкин И.Д. Записки, статьи, письма декабриста И.Д. Якушкина. М., 1951: С. 73.

участников; ему доносили обо всем, что там происходило. Он не только не мешал их деятельности, но и едва ли не поощрял ее. По справедливому замечанию В.О. Ключевского, вплоть до 1822 г. «само правительство предполагало возможным не только для гражданина, но и для чиновника принадлежать к тайному обществу и не видело в этом ничего преступного»*. Ни один из членов тайных обществ, даже тех, о ком точно было известно, что они продолжали свое членство после официального запрещения, не был подвергнут сколько-нибудь заметным стеснениям, не говоря уже о преследованиях (иногда ограничивалось передвижение по службе, но и здесь нет особых оснований считать, что происходило это именно из-за членства в тайном обществе; был арестован В.Ф. Раевский, но не за участие в обществе, а за опасную пропаганду среди солдат). Занимавшие высокое общественное положение продолжали его занимать; отличившиеся по службе получали поощрения. В 1823 г. после царского смотра под Тульчиным были награждены Пестель и Сергей Волконский, причем последнему милостиво обратившийся к нему Александр сказал буквально следующее: «Вот и занимался бы лучше, князь, своей дивизией, а не управлением моей империей»**.

Подобное развитие отношений продолжалось до самой смерти Александра, притом, что в 1820-1821 гг. общественная ситуация в России изменилась. По Европе прокатилась волна политического террора и так называемых «военных революций»; в Петербурге взбунтовался «государев» Семеновский полк. И первое, и, в особенности, второе потрясло Александра. Перед ним маячил реальный признак русского бунта, «бессмысленного и беспощадного», результатом чего стало известное изменение внутривластного курса: ужесточение цензуры, «гонение на университеты», развязывание рук политической полиции (проявившееся, главным образом, в ужесточении надзора и поощрении доноительства) и т.п. После недавних вольностей это вызвало естественное раздражение в обществе, и не только слева, но и справа. Как говаривал А.А. Бестужев, «ум, как и порох, опасен только сжатый».

Одним из последствий нового курса стало не только уничтожение Союза Благоденствия, но и появление совершенно новых тайных организаций, некоторые из которых вошли в состав «декабристских»: Общество Соединенных славян, чья история пока, можно сказать, не изучена; кружок С.И. Муравьева-Апостола, или так называемая Васильковская управа Южного общества — по существу, совершенно самостоятельная организация, душой и мозгом которой был не столько Сергей Муравьев, сколько М. Бестужев-Рюмин; кружок К.Ф. Рыльева, формально действовав-

* Ключевский В.О. Сочинения в 9-ти томах. Т. 5. М., 1989. С. 228.

** Волконский С.Г. Записки. Иркутск, 1991. С. 383.

ший в рамках Северного общества, но на деле достаточно замкнутый и самостоятельный. Еще один кружок, офицеров Гвардейского экипажа, в буквальном смысле слова пал жертвой «Хлестакова от декабризма» — Д.И. Завалишина, — и был втянут в орбиту действий кружка Рылеева в самый канун мятежа, уже в период междуцарствия, и сделался основной действующей силой на Сенатской площади*.

Между «старыми» и «новыми» «декабристами» существовала довольно заметная разница. Основывали общество люди, принадлежавшие к наиболее знатным семействам России, часто титулованные, почти всегда богатые (нередко очень богатые), либо занимавшие высокое общественное положение. Почти все прошли Отечественную войну и завершили ее в хороших чинах, рано повзрослели, обрели жизненный опыт, научились властвовать собой и другими. Почти все были прекрасно образованы; многие склонны к теоретизированию в области политических или других наук и в своих теоретических построениях последовательны и достаточно реалистичны.

Те, кто вступил в общество в 1820-х гг., в массе своей либо не имел военного опыта, либо имел, но эпизодический, воевал в низших чинах, находился в положении подчиненного**. По социальному положению эти люди принадлежали к среднепоместному или, чаще, мелкопоместному дворянству, состояние имели

* Так называемое Южное общество во всех своих особенностях возникло еще в 1818 г., после перевода П.И. Пестеля на Украину. Лидер авторитарного типа, Пестель не нуждался в соратниках — он искал подчиненных. Всякий потенциальный соперник (как, например, И.Г. Бурцев) изгонялся, всякое иное мнение отвергалось. Люди со сколько-нибудь сильной волей и самостоятельным характером рядом с Пестелем не уживались, зато натуры слабые, аморфные оказывались на своем месте. В конце концов сложился кружок, состоявший из непререкаемого авторитета и некоторого количества «лиц без речей», послушного и безынициативного « хора », готовно подхватывающего всякую предложенную ему мысль. Как замечал Н.М. Муравьев, «В Северном обществе всякий имел свое мнение, в Южном... не было никакого противоречия мнениям Пестеля» (Мемуары декабристов. Северное общество. М., 1981. С. 312).

** Интересные наблюдения, относящиеся к этому вопросу, содержатся в статье Л.Я. Лурье «Некоторые особенности возрастного состава участников освободительного движения в России (декабристы и революционеры-народники)». // Освободительное движение в России. Вып. 7. Саратов, 1978. Из числа ветеранов Отечественной войны, несомненно наиболее зрелых в умственном и нравственном отношении участников движения (военные действия на собственной территории и связанные с этим переживания создавали такой духовный опыт, которого нельзя было приобрести в условиях обычной войны, ведущейся в чужих краях), приняли участие в мятежах только трое: С.И. и М.И. Муравьевы-Апостолы, а также И.И. Сухинов, воевавший рядовым. Еще двое ограничились лишь теоретическим содействием подготовке к мятежу, уклонившись от реального участия в нем: С.П. Трубецкой и В.И. Штейнгель.

небольшое, либо не имели никакого, жили главным образом на жалованье, иногда дополняя его побочными заработками, наиболее часто литературными (особенно много литераторов было в кружке Рыльева). Нередко среди них были представители «игрою счастья обиженных родов», люди, «учившиеся на медные деньги» и сами сделавшие себе карьеру, либо те, кто так или иначе был обойден по службе. Часто встречался тип человека экзальтированного, увлекающегося, красноречивого, с романтическим мировосприятием, склонного к позе, инфантильного, чье поведение в очень большой степени диктовалось литературными образцами* и само становилось объектом литературного отображения /в прозе А.А. Бестужева-Марлинского, а потом, в пародийном варианте, у М.Ю. Лермонтова (Грушницкий)/. К этому типу можно отнести и самого Рыльева, и В.К. Кюхельбекера, М.А. Бестужева, А.И. Одоевского, Е.П. Оболенского, Д.И. Завалишина, М.П. Бестужева-Рюмина. Очень ярко перечисленные черты проявились у А.И. Якубовича, прославившегося у современников своим «витийством», бретерством (именно он прострелил на дуэли руку А.С. Грибоедову; по следу от этой раны труп Грибоедова был опознан в Тегеране), скандальным волокитством, кавказскими подвигами, романтической черной повязкой на лбу, прикрывавшей след от горской пули, своей повсюду декламируемой ненавистью к императору Александру, сославшему Якубовича (за дуэль) на Кавказ, и громкими обещаниями «отмстить тирану». Весь 1825 год Якубович повергал то в жар, то в холод северных «декабристов» своими цареубийственными порывами, так что Никита Муравьев пытался найти на него управу то у Орлова, то у Михаила Фонвизина, давно отошедших от общества и только советовавших Муравьеву сделать то же самое, то у Рыльева, который с большими усилиями и выполнял просьбу, едва удерживая рвущегося в бой «цареубийцу».

14 декабря 1825 года Якубович сослался на сильную боль от раны в голове и отказался участвовать в мятеже; потом вышел на Сенатскую площадь и предложил возглавить выступление; потом исчез с площади, объявился в свите Николая и изъяснялся ему в верноподданических чувствах; потом явился перед мятежниками, чтобы уверить их, что их боятся... Вернувшись вечером того же дня домой, забаррикадировал дверь, зарядил ружье и пугал слугу обещаниями дорого продать свою жизнь. Когда пришли арестовывать, разрядил ружье и, разобрав баррикаду, спокойно сдался властям. В крепости писал Николаю письма с требованиями политических реформ и с предложением стать ис-

* Подробно разобрано Ю.М. Лотманом в его статьях: Декабрист в повседневной жизни; О Хлестакове. См.: Лотман Ю.М. Избранные статьи. Т. I. Таллин, 1992.

купительной жертвой: «Я молод, виден собой, известен в гвардии. Пусть меня поставят к памятнику Петру и расстреляют» и т.д.

Теоретические воззрения этих «новых» людей отличались эклектичностью, соединяя в себе элементы радикальные, либеральные и просветительные, причем на словах преобладала радикальность, а на бумаге, если кто-либо из них обращался к теории (В.И. Штейнгейль, Г.С. Батеньков, А.О. Корнилович и др.) фиксировались более чем умеренные положения.

Перечисленными чертами отличались не только «новые декабристы», но и участники других организаций, возникших в 1820-е гг., в том числе во второй половине десятилетия: кружки братьев Критских, братьев Раевских, Н.П. Сунгурова и др.— тот же (иногда еще более «демократичный») социальный состав, та же эклектичность взглядов, чрезвычайное увлечение идеей «военной революции», вообще очень популярной в Европе после серии бескровных переворотов начала 1820-х гг. и то же неясное видение того, что будет «назавтра после переворота»*. Это смутное представление о конечной цели мятежа особенно ярко проявилось в канун 14 декабря: с одной стороны, был написан манифест, одним махом разрубавший все «гордые узлы» российских проблем (самодержавие, крепостничество, тяготы рекрутчины и т.д.), с другой — провозглашалась необходимость создания Временного правительства и созыва собрания представителей для окончательного решения судьбы страны. Помимо того, что эти шаги, в сущности, противоречили друг другу, вторая мера вовсе не гарантировала проведение именно тех реформ, которые казались желательными. Об этом говорит, в частности, сам выбор имен кандидатов во Временное правительство: Н.С. Мордвинов, М.М. Сперанский, И.М. Муравьев-Апостол, А.П. Ермолов, П.Д. Киселев и др., которые были, несомненно, людьми ясного ума и свободных взглядов, но столь же несомненно — и осторожными политиками, вовсе не склонными к авантюрам. В ключевых же вопросах: об образе правления и крепостном праве, всех их по сравнению с мятежниками 14 декабря отличал несомненный скепсис и здоровый консерватизм.

В целом можно сказать, что если «старые декабристы» имели совершенно конкретное представление о том, каким желательно быть будущему России, но, по сути, ничего не делали для воплощения своих планов в жизнь, то «новые» хотели действовать ради самого действия. Можно сказать, что для них это было своего рода эрзацем Отечественной войны, попыткой в героическую эпоху восполнить недостаток героического прошлого в собственной биографии. В результате между «старыми» и «новыми» «декаб-

* См.: Андреева Т.В. Русское общество и 14 декабря 1825 года. // Отечественная история. 1993. № 2. С. 157.

ристами» присутствовала постоянная разобщенность и взаимное непонимание; в новых организациях «старики» играли чаще всего роль «свадебных генералов», а когда дело дошло до действия, никто из них (за единственным исключением Сергея Муравьева-Апостола; Матвей Муравьев-Апостол был лишь пассивно втянут в орбиту действий брата*), даже имея к тому все возможности, не стали участниками мятежа (А.З. Муравьев, С.П. Трубецкой и др.). Особенно символично поведение П.И. Пестеля. 13 декабря 1825 года он был вызван в штаб и арестован. Отправляясь в штаб, он знал, что его собираются арестовать, но все-таки поехал. Несколько дней затем его содержали под минимальным караулом на квартире у дежурного генерала Байкова. Здесь, у Байкова, Пестель виделся и говорил с С.Г. Волконским, одним из наиболее преданных своих «клеветов». Волконский в тот момент исполнял обязанности командира дивизии и имел в своем распоряжении четыре прекрасно дисциплинированных полка, почти все офицеры в которых состояли в тайном обществе**. Итого, три возможности обрести свободу и поднять мятеж были у Пестеля и ни одной он не воспользовался.

В общем и целом можно сказать, что олицетворяли собой декабризм одни люди, а на площадь выходили, реально, другие. Вот почему насквозь условен термин «декабристы», применяемый ко всем ним.

Мятеж не только не был вершиной деятельности тайных обществ, он, по сути, даже не являлся ее следствием. Его породило, главным образом, роковое стечение обстоятельств, а в итоге не только пострадало значительное число вполне безвинных людей, но и сами благие и насущные идеи были дискредитированы. Не случайно, что когда вернувшихся в Россию ссыльных пытались поздравлять с годовщиной мятежа, те говорили в ответ, что «14-е декабря нельзя ни чествовать, ни праздновать; в этот день надо плакать и молиться»***.

К числу распространенных заблуждений, связанных с «декабристским движением», относится восприятие его, как чего-то неорганичного, привнесенного в Россию извне, сложившегося под влиянием идей и представлений, пришедших с Запада. Не останавливаясь здесь на доказательствах того, что на самом деле

* Фактически С.И. Муравьев-Апостол оказался в таком положении, когда он не мог не поднять мятежа. К этому его буквально вынудило поведение офицеров из его кружка. См. воспоминания его брата: Мемуары декабристов. Южное общество. М., 1982. С. 192-193; Ср.: РГАЛИ, ф.1345. оп.1, д.622.

** Впоследствии С.Г. Волконский рассказывал об этом кн. П.В. Долгорукову и очень радовался, что никто из этих офицеров не попал в сферу внимания следствия и не был наказан. См.: Некролог С.Г. Волконского // Долгоруков П. Петербургские очерки. М., 1992. С.404.

*** Русский архив. 1886. № 5. С. 144.

движение исходило из чисто русских общественных условий, что иностранные заимствования в программах тайных обществ были незначительны и несущественны, и прочем тому подобном, укажем лишь на то малоосвещавшееся обстоятельство, что элемент национальный и даже, можно сказать, националистический, был в декабризме вообще одним из основных. Возникший во многом из ущемления только что возникшего, а потому и особенно раннего патриотического чувства, декабризм и на всем протяжении своего существования питался идеями российской великодержавности и национальной самоутверждения. Об этом свидетельствует и ксенофобия, пронизывавшая документы «Ордена русских рыцарей», и полонофобия Союза Спасения и Союза Благоденствия, пронесенная многими их членами через всю свою жизнь, и германофобия, присущая Рылеевскому кружку (отвратившая от него в свое время П.А. Вяземского)*. Именно перевозбужденное национальное чувство объясняет многие эпизоды истории тайных обществ, от упомянутого выше «Московского заговора» до агитационных песен Рылеева («Царь наш — немец русский»). В этой связи естественные сомнения вызывает и традиционная трактовка взаимоотношений заговорщиков юга с Польским патриотическим обществом, которому, по устоявшейся версии, обещали независимость Польши в обмен на помощь при перевороте. В 1825 году переговоры, начатые, кстати, по инициативе поляков, что ставило их в положение «младшей», ищущей стороны, находились лишь на зачаточной стадии, но, зная болезненное отношение большинства членов общества к польскому вопросу, можно утверждать, что в конечном итоге ни о какой серьезной политической самостоятельности Польши речи идти не могло, скорее, вырисовывалась картина полуколониальной зависимости по типу позднее осуществленного «социалистического содружества».

И в завершение следует сказать о том, что «декабристское движение» не столько открывало собою новую страницу в русской истории, сколько завершало ее предыдущую главу. Сами «декабристы» генеалогию своих идей вели вовсе не с Робеспьера, и даже не с Радищева, но с «верховников» и Екатерины Великой**, и, действительно, в истории «аристократического конституционализма» в России было гораздо больше и идейных, и тактических

* Последний случай особенно интересен, потому что в кружке Рылеева были как этнические немцы (В.К. Кюхельбекер, А.Е. Розен), так и «полукровки» (В.И. Штейнгель, сам Рылеев), но по трактовке, распространенной в то время, когда смешанные браки между дворянами разных национальностей были самым привычным делом, человек мог считать себя русским, оставаясь природным немцем, если воспринимал Россию как свое Отечество, и оставался немцем, если считал ее только местом жительства или службы, «кормушкой».

** См. например: Фонвизин М.А. Обзорение проявлений политической жизни в России. // Фонвизин М.А. Сочинения и письма. Т.2. Иркутск, 1982.

совпадений с декабризмом (особенно это касается переворота 11 марта 1801 г., возведшего на престол Александра I), чем в истории революционного движения XIX — начала XX вв. Назрела, и давно назрела, необходимость создания новой, научной, концепции «декабристского движения». Рано или поздно она, конечно, будет создана и лишит, наконец, это явление «заидеологизированности», учет и объяснит все его своеобразие, все многообразие составляющих его, нередко взаимоисключающих, элементов. Все встанет на свои места и утихнут страсти, возбуждаемые этой давней страницей российской истории. Но даже когда «декабристы» перестанут, наконец, «будить Герцена», останется в этой теме нечто такое, что привлечет к ней внимание не только замшелого ученого мужа: яркость характеров, обаяние героической и юной эпохи, а самое главное, простите за пафос, не зависящий от идейной правоты или неправоты моральный урок, ибо здесь, неподалеку, на российской земле, и не в баснословные времена, а не так уж и давно, существовала, оказывается, и та самая верная и вечная любовь, и личное достоинство, которое ничто и никто не способны были сломать, и нравственная сила, не позволяющая никогда и ни при каких обстоятельствах опуститься и потерять человеческий облик, и то поразительное в наш циничный и меркантильный век чувство, которое побуждало человека, имевшего все: деньги, знатность, ум, силу, здоровье, жизнь,— взять это все и положить к ногам своего Отечества основанием его будущего благополучия, а потом спокойно и просто принять от этого Отечества то, что оно сочтет нужным дать взамен: лавры, или плевки, или французский штык в живот, или намыленную петлю, или вонючую арестантскую куртку и дырявую юрту на вечной мерзлоте.

КТО УБИЛ КИРОВА

(Опыт домашнего расследования)

Как известно, 1 декабря 1934 года ленинградский большевик Л.В. Николаев застрелил С.М. Кирова, члена Политбюро, Оргбюро, Секретаря ЦК ВКП(б), 1-го секретаря Ленинградского обкома и горкома ВКП(б). Преступление совершилось в коридоре 3 этажа Смольного, где размещался обком и горком, недалеко от кабинета Кирова, куда тот направлялся. Убийцу сразу же схватили и опознали, вину свою он не отрицал.

Для судеб СССР выстрел в Смольном имел то же трагическое значение, что для Германии — поджог рейхстага. Большевистская власть никогда не уважала права граждан на жизнь, после же 1 декабря — словно с цепи сорвалась, начался Большой Террор, в лагеря и на расстрелы пошли миллионы людей. Внутренняя политика не могла не выразиться во внешней, страна ввязалась в войны.

Будь следствие объективным, оно без труда установило бы, что в Кирова стрелял одиночка, обозленный неврастеник в состоянии аффекта. Но такой вывод противоречил идеологии государства. Человек, утверждали большевистские вожди, ничто, человек не может сам что-либо делать, не получив на то разрешения или приказа, главное — это коллектив, выражающий мнения личностей, руководящий действиями их, осуществляющий контроль над ними. Еще не допросили Николаева, а в набираемом тексте правительственного сообщения уже обозначился преступный сговор: «...от рук убийцы, подосланного врагами рабочего класса...». За врагов принимали белогвардейцев, проникших на территорию СССР через границу, и объявили о расстреле 104 террористов. 2 декабря приступили к арестам тех, на кого власть

**Анатолий
АЗОЛЬСКИЙ**

— родился в 1930 году в Вязьме. Окончил Высшее военно-морское училище им. Фрунзе. Автор романов «Степан Сергеич» (1987), «Затяжной выстрел» (1987), повестей «Легенда о Травкине» (1990), «Пароход» (1990), «Лишний» (1990), «Окурки» (1993).

давно держала камень за пазухой. Бытовала и «консульская» версия, достаточно убедительная, послы аккредитованных в СССР стран протестовать не стали, когда выслали Биссенсекса, консула Латвии в Ленинграде. Но лишь 15 декабря было с трибуны объявлено, какие именно враги подослали убийцу: оппозиция! Последовали процессы над нею, ей, среди прочего, вменялся заговор с целью убийства Кирова. Николаев 3 декабря дал показания о связи своей с оппозицией. Через двадцать пять лет будет доказана фальсифицированность улик и правовая несостоятельность громких судилищ. Более поздние исследования обнаружили странность в деле Николаева: все выложенные следствием улики против него — взаимобратимы, универсальны, одинаково работают и на обвинение и на защиту, если бы таковая была, избыточны. Дневник Николаева, к примеру, устойчивый фундамент версии «убийца-одиночка», но на нем же прочно обоснуются и все другие, вплоть до «руки Сталина обгажены кровью Кирова». Какой факт ни возьми, толковать его можно как в пользу Николаева, так и во вред ему.

А раз так, то все вещественные, поведенческие и прочие улики в части, касающейся Николаева, никакой доказательственной силой не обладают. Ими можно пренебречь. Их вообще нельзя принимать во внимание, поскольку не уничтожены только те материалы следствия, которые нацелены на версию «оппозиция», а она абсолютно ложна.

И от нагромождения фактов, легенд, слухов, домыслов, сотен статей о Кирове и Николаеве, свидетельств и многостраничных воспоминаний остается только происшествие в Смольном, носящее случайный характер. Что это так — сомнению не подлежит. Убийство свершилось при фантастическом совпадении обстоятельств, в неестественной стыковке их. С утра 1 декабря Киров работал дома, четырежды звонил в Смольный, торопя помощников, готовясь к докладу в Таврическом дворце, где в 18.00 намечалось совещание актива и куда Киров хотел отправиться, минуя Смольный. И дел-то у него в обкоме никаких не было. Правда, у Чудова, 2-го секретаря, шло совещание, ходом которого Киров интересовался по телефону и получил исчерпывающие ответы, ни словом при этом не обмолвившись о желании лично присутствовать на нем. И вдруг появился в коридоре, шел в свой кабинет, показал спину и затылок Николаеву, только что покинувшему приемную Угарова, еще одного секретаря обкома. После выстрела Киров не прожил и нескольких секунд.

Убийство, следовательно, непредумышленное, случайность выстрела придает всем версиям зыбкость, поэтому следствие не касалось вопроса о том, каким неисповедимым путем Николаев узнал о скором прибытии Кирова в Смольный. Поговаривают до сих пор, будто Кирова кто-то вызвал в обком, но когда на экраны

вышел отредактированный Сталиным фильм «Великий гражданин», официальная трактовка убийства стала неоспоримой, а уж в ней и следа нет случайности.

В последние годы над разгадкой тайны убийства трудились многие исследователи, они как бы нехотя признают трагическое сцепление обстоятельств, приведшее к гибели Кирова. Газетные и журнальные публикации продолжили начатый Сталиным же мифотворческий процесс возвеличивания Кирова, убитого будто бы по приказу Сталина. Родилась новая версия. Официального подтверждения она не получила (и получить не могла), но уже прочно внедрилась в общественное сознание. Факты, положенные в ее основу, сюжет мифа, детективный характер интриги — способны удовлетворить самых взыскательных любителей историко-революционного и литературного чтива.

Суть версии такова. На 17-м съезде партии в январе 1934 года при выборах в ЦК Сталин получил (голосование тайное) наибольшее количество «против», а Киров — наименьшее, чего счетная комиссия делегатам не сообщила, а бюллетени либо уничтожила, либо спрятала. Сразу после съезда состоялось и тайное совещание видных большевиков «ленинской закалки», Кирову будто бы предложили стать лидером партии, о чем простодушный Миронич немедленно доложил Сталину, и рвавшийся к власти вероломный грузин решил убрать Кирова с политической арены, замыслив убийство соперника, с какой целью назначил верного ему чекиста Запорожца начальником управления НКВД Ленинграда и Ленинградской области. Почуввав опасность, Киров яростно воспротивился. Тогда пошли на компромисс, Запорожец стал заместителем Медведя, начальника управления, человека, безмерно преданного Кирову. Однако в Ленинград Запорожец отбыл с группой ответственных сотрудников аппарата НКВД, Медведю она не подчинялась. Группа и нашла подходящего для убийства человека, им оказался бывший инструктор испарткомиссии Николаев Леонид Васильевич, человек дегенеративного телосложения, ничтожество, обуянное манией величия, мужчина с параноидальным бредом ревности, всерьез поверивший в то, что его жена Мильда Драуле — любовница Кирова. Не заметить Николаева и не оценить его в нужных целях НКВД не мог, охрана Кирова (во главе ее был Борисов) дважды задерживала и отпускала Николаева, этот кляузник прорывался к Кирову с жалобами на несправедливость, причем всегда имел с собою в портфеле револьвер и карту города с маршрутами Кирова. В день и час убийства Николаева подстраховали, Борисова разлучили с Кировым, который под пулю Николаева шел без охраны. Убили впоследствии и самого Борисова, Сталин, ударивший кулаком Медведя по прибытии в Ленинград, лично допрашивал Николаева, из путаных объяснений последнего можно было все-таки понять, что он связан

с НКВД. Участь его была решена. Как и организаторов убийства, Запорожца и Медведя. Не очень умелые чекисты получили по тем временам смехотворные наказания, 10 и 3 года заключения, причем к местам этого «заключения» отбыли в литерном вагоне, «срок» тянули вольготно, сидя в руководящих креслах. Аппарат НКВД отлично знал, по чьему приказу оба чекиста организовали убийство Кирова, и, в нарушение всех российских правил, вплоть до 1937 года продолжал осыпать провинившихся знаками внимания и почестями, пока Сталин не спохватился и не расстрелял обоих.

От ствола этой, уже ставшей канонической, версии ответвляются уточняющие побег. Документально зафиксированы оба задержания Николаева, есть точные свидетельства того, что Борисов действительно был убит, что некоторые сотрудники Ленинградского управления НКВД чуть ли не открыто обсуждали подготовку к скорому убийству Кирова. С каждой новой публикацией «сталинский след» все отчетливее проступает на страницах пыльных архивных дел. Кое-какие неувязочки еще рельефнее обозначают его. Запорожец (это установлено точно) с августа 1934 года находился на излечении, а с 13 ноября отдыхал в Хосте, откуда, конечно, руководить операцией эпохального масштаба весьма затруднительно, в Ленинграде он появился только 5 декабря, уже после отстранения от должности. Но, быть может, в этом-то и есть коварство НКВД? И с Борисовым не все ладно. То он специально отстал от Кирова, давая Николаеву возможность беспрепятственно произвести выстрел. То был задержан на лестнице соучастником («Браток, дай прикурить!...»). То вообще не несет ответственности за Кирова в стенах Смольного. То по приказу самого Кирова, не терпящего охраны, намеренно отстал от «объекта». Какое звено этой цепи эпизодов ни возьми, хрупкость версии обнаруживается. Куча несоответствий. Да их и не может не быть, ибо ни одному документу, ни одному свидетельству той поры доверять нельзя, современный исследователь, внимая голосам из далекого прошлого, как бы ~~попадает~~ попадает в курилку сумасшедшего дома: монопартийная диктатура чудовищно исказила сознание, испоганила быт, размыла все слова и термины до неузнаваемости. Перст общественного обвинителя, долгие годы направленный на троцкистско-зиновьевскую оппозицию, теперь уткнулся в Сталина, якобы убившего Кирова. Все прочие версии подзабылись, в том числе и «белогвардейская», потому что в перестроечные годы пик интереса к выстрелу в Смольном совпал с реабилитацией белого офицерства, и было бы бестактно вспоминать о бывших корнетах и штабс-капитанах, проникавших в Ленинград с территории Финляндии, поджигавших и убивавших. А уж о том, какая прихоть истории внезапно сблизила непересекающиеся прямые, что по-

гнало Кирова в Смольный и зачем пришел туда Николаев, — обо всем этом версия помалкивает.

Между тем Сталин не мог организовать убийство Кирова по той простой причине, что не было у него людей, способных осуществить такую акцию. Да, ему подчинялся весь аппарат НКВД, но довериться было некому. Не государственные мужи составляли руководящее ядро самого ответственного управления и наркомата, не лично преданные Сталину соратники, умеющие хранить тайну, а — талантливые авантюристы, снисходительно взиравшие на шалости подчиненных. Ядро-то существовало, и крепкое, но цементировалось оно личными связями, взаимными поблажками и обоюдной зависимостью. И, что немаловажно, каждый член Политбюро имел своего, преданного только ему человека среди начальников отделов. С середины 20-х годов Сталину верно служил некий полулегальный орган для расправ с неудобными людьми, ему приписывают уничтожение Фрунзе и Бехтерева, но после бегства за границу Бажанова, секретаря Сталина, после того как не вернулись из командировок и остались в Европе многознающие спецы ОГПУ, сохранившие связи с московскими друзьями и коллегами, прибегать к помощи этой конторы было опасно. Ягода, как и почти все начальники отделов, был евреем, а к ним Сталин испытывал стойкую неприязнь. Киров к тому же был членом Политбюро, а с этим органом приходилось считаться, он был островком безопасности в будущем море партийных и внепартийных расправ. Страх за себя заставлял Сталина поддерживать у членов Политбюро эту иллюзию неприкосновенности, с вождем еще можно было спорить, нередко бывало, что Сталин оставался в меньшинстве. Инспирированное им убийство Кирова объединила бы противников генсека, обнаружить им причастность Сталина к выстрелу было бы нетрудно. Поэтому он не желал устранения Кирова. Да и мужская дружба связывала их. Киров — единственный человек, с которым он общался честно и тепло, не выставляя колючек своего скверного характера. Погибает Аллилуева — Сталин просит Кирова быть рядом с ним, его же в дарственной надписи именует «братом». Конечно, никаких моральных запретов для настоящего большевика не существует, можно и «брата» убить ради счастья других «братьев», но убийство Кирова было Сталину еще и не в ы г о д н о. Оно никак не устраивало Сталина-политика. Оппозиция разгромлена и с поджатым хвостом приползла к ногам Сталина, просясь в партию. Группа Рюмина осуждена, о голоде, спутнике коллективизации, подзабыто, лишь немногие знают, что цифры пятилетки — сплошное вранье. Враги, конечно, есть, но на них напаян намордник потеснее железной маски, только что взрывался овациями «съезд победителей», морально-политическое единство достигнуто, трюбить после съезда о какой-то еще оппозиции, руками которой

убит Киров, было бы опасно и вредно, наличие любого сопротивления Сталину было прямым или косвенным признанием ущербности его курса, умалением роли Сталина. Наступил период некоторой стабилизации, так нужной и стране и Сталину. Еще одна свистопляска с процессом над убийцею казалась ненужной, выяснилось к тому же, что арсенал обвинений, бросаемых в адрес врагов и внешних и внутренних, почти исчерпался.

Любой политический эксцесс нависал угрозой над самим Сталиным, неизвестно ведь, в какую сторону качнется маятник от возможного взрыва страстей в ЦК ВКП(б). Эксцесс же возможен был — в Ленинграде конечно же! Городу этому Сталин никогда не доверял, а парторганизацию его — за преданность Зиновьеву — ненавидел. И послать Запорожца в Ленинград Сталин мог только потому, что хотел предотвратить эксцесс, отвести угрозу как от Кирова, так и от себя.

А Киров был уже обречен.

Он был обречен на уничтожение потому, что стал политическим д в о й н и к о м Сталина. Против собственной воли он превратился в подобие Сталина. Материя же нетерпима к существованию одинаковых сущностей, тождественных по каким-либо свойствам. Человеческая практика — выражение законов материи, ее императивов, и практика, ублажая Природу, выработала уйму способов, помогающих людям избегать нарушений иерархии. Ни в одном государстве нет двух президентов, двух и более премьеров, двух монархов, исключения (капитаны-регенты в Сан-Марино) только подтверждают правило единственности. В одной и той же литературной эпохе не засверкают два национальных поэта, лишь смерть одного может стать рождением другого, как это произошло в России (Пушкин и Лермонтов). Немыслима ситуация, когда на шахматном троне восседают два гроссмейстера, всегда отыщутся определяющие первенство коэффициенты. Но еще немыслимее матч-турнир чемпиона мира по шахматам с самим собою! Материя накладывает запрет и на запреты, допуская сожительствование одинаковостей, порою исторгая их из себя. Во все времена появлялись самозванцы, под восхищенный или возмущенный рев толпы (общества, народа, коллектива) провозглашая себя единственным выразителем людских интересов. Он, двойник, есть и всегда будет, сама среда, в которой действует обладатель власти, не что иное, как объемное, многоуровневое, пространственно-ограниченное существо, называемое государством, населенное народом с его национальной и материальной культурой, традициями, экономикой, и так противопоставленное держателю власти, что последний, выражая собою персонифицированный образ государства, отнюдь не склонен отождествлять себя с ним. Когда же среда обитания вдруг становится аморфно-послушной, пустотелой, прозрачной, тогда двойник — единственная опора, русская история дала убедитель-

ный пример: в 1575 году на престол (при живом и здравствующем Иване Грозном!) был самым царем посажен татарин Симеон Бекбулатович. Распятая опричниной Русь не подавала, как казалось Ивану, признаков жизни, угрюмо безмолвствовала, и Грозный решился на то, что так естественно в поляризованной Природе. Отражаясь сама в себе, материя резвится порою на отрицаниях и самоотрицаниях, делая историю непредсказуемой, таинственной, придавая ей особый привкус, в этом смаке истории — ее прелесть.

Взаимоотношения персонифицированных двойников полны загадок, они домысливают друг друга, маскарадно меняя одеяния, вживаясь в насочиненные образы. Испаряются они — и зуд одолевает властителя, ситуационные двойники возникают мыльными пузырями, тут же лопааясь с оглушительным треском. Долгоживущие двойники нашли-таки способ сосуществования, превращая тождественность в анитожественность, подобие — в антиподобие, они научились — каждый — видеть в двойнике личного врага и культивировать в себе враждебные к нему чувства, наделяя врага пороками, которых не лишены сами. Они — как сямские близнецы, наносящие друг другу удары, страдающие от ударов и по тому же поводу ликующие, они сближаются в любви и согласии для того, чтоб тут же вспылать ненавистью. Они едины и обособлены. Родство душ — так можно назвать этот союз непримиримых братьев, друзей, единомышленников, этот спевшийся дуэт, оголтело стремящийся к разрыву, к обличительным сольным партиям, но что уж попахивает мистикой, так то, что двойники мгновенно опознают друг друга, взаимная симпатия охватывает их с первого взгляда, чувство родства может вспыхнуть и опосредствованно, не в прямом контакте. 15 марта 1940 года Геббельс пишет в дневнике: «...Сталина фюрер увидел в каком-то кинофильме и сразу проникся к нему симпатией. Это, собственно, и положило начало коалиции с Россией».

Все люди тождественны друг другу, в броуновом движении людских масс всегда отыщутся пары с отношениями бытовых двойников, наделенных схожими свойствами, политические двойники лишь нагляднее проявляют законы материи и олицетворенную ими историю, которая движима волею людей постольку, поскольку те угадывают от них не зависящий ход ее. Россия и после 17-го года осталась самодержавной, иной и не могла быть, и Россия обостренно нетерпима к двуначалию, к нарушениям векового принципа. Участь Кирова была предreshена.

Впервые они встретились и познакомились 29 мая 1918 года в Москве на совещании. Сталин — наркомнац, член ЦК, на семь лет старше Кирова, соответственно и больше стаж революционной работы, а Киров — делегат от Терской области, большевик, знакомый только партийным низам Сибири и Северного Кавказа, на шатающейся иерархической лестнице того времени —

несколькими ступеньками ниже Сталина, человек, проку от которого мало — с точки зрения практического наркомнаца. Ни к каким задушевному разговорам совещание не располагало, к тому же в этот день 29 мая постановлением СНК Сталин и Шляпников назначены общими руководителями продовольственного дела на Юге России и облечены чрезвычайными правами, Сталин готовится к отъезду, спешит, и тем не менее, он, всегда выверенно дававший письменные рекомендации, вручает Кирову мандат, требуя относиться к тому «с полным доверием». Так этот аванс необычен, что историки ищут давнее знакомство, будто они, Сталин и Киров, повстречались еще в октябре 17-го года на 2-м Съезде Советов. Причина же мгновенно возникшей симпатии в том, что встретились «свои», словно в одной семье выросшие люди, одинаково воспитанные, то есть никак не воспитанные, и не часто среди мужчин возникает такое взаимное тяготение, преодолевая преграду лет и служебных положений. Пожимая руки, они еще не догадывались, как близки и похожи их биографии. У обоих в детстве — неполные, так сказать, семьи, отцы (бывают же совпадения!) в отходе, в ранней юности обоих — казенный кошт убогих и затхлых заведений, возвышенному стихоплетству Сосо Джугашвили вторила недописанная Сережей Костриковым пьеса шиллеровского накала. Оба, в сущности, самоучки, и каждый смело судит о тех теоретических пожитках, что прихватила в Россию вернувшаяся эмиграция. Оба, что весьма немаловажно, практики. Дела оба вершили по-разному, но притязаний у каждого на непогрешимость — в избытке. По этой части Киров кое в чем превосходил Сталина, последний, к примеру, не драконил работяг, самолично показывая, как правильно зажимать в муфте резец. Оба большевистских лидера полагали абсолютно доказанным — овладение, а то и просто знакомство с марксизмом, передовой теорией вкупе с наличием партийного билета представляет большевику безусловное право технически грамотно и политически верно судить обо всем. Образцы такого всеохватного знания и умения Киров оставил потомкам, с блеском и мудростью Леонардо да Винчи вникая в разнообразнейшие проблемы города и области, с ходу их решая. Он и всю промышленность Северо-Запада направлял, и бригады по ремонту паровозов организовывал (в свете Постановления ЦК ВКП(б) от 3 июля 1933 года), и внедрял в цехах техпромфинплан, он же спускался в машинные отделения линкора «Парижская Коммуна» и проверял у матросов знание ими обязанностей по боевой тревоге (о посещениях артиллерийских башен и штурманских постов биографы молчат), он и за сохранение Оперной студии при консерватории ратовал, им изменены стандарты оконных рам, он считается инициатором постройки крупноблочных домов, он и учреждения культуры навещал, хотя в записных театрах не состоял, но очень

тонко оценивал, например, исполнение Корчагиной-Александровской роли старой большевички, он, понятно, содействовал съемкам знаменитого фильма «Встречный», он... и так далее и тому подобное, — нет, совсем недурно для человека с дипломом техника. И повсюду — забота о молодежи, о подрастающем поколении, о детях, которые называли уже себя юными ленинцами, не став по этой причине кировцами. Возможно, кое-где их и величали так, но не зашагали с песнями «кировцы», хоть и боготворила юная поросль губернского-областных начальников; дети Поволжья в ту пору, когда Варейкис был хозяином Симбирска, именовали себя так: в а р е й к и с я т а.

Никаких разногласий со Сталиным у Кирова не было и не могло быть, разве что по мелочам и в те периоды, когда они на время становились антиподами. Ни в одной партии, кстати, не бранились так громко и часто, как в большевистской. Одинаково каралось и малейшее забегание вперед и малюсенькое отставание, с религиозным рвением исповедовали, предавали анафеме, лишали сана, и визгливое крохоборство это кажется — из благостной тиши брежневской эпохи — войною принципов. Сталин, Киров, Ленин, Зиновьев, Троцкий, Бухарин, Рютин и прочие — все были большевиками, насилие они считали единственным способом разрешения конфликтов, и пожелай партия сделать сельское хозяйство России кулацко-фермерским — горожан под конвоем погнали бы батрачить на богатеев. Идеология скроила большевиков на один манер, к концу жизни Киров стал походить на Сталина постоянным ожиданием диверсий и заговоров. Сталин своевольно менял разработанные охраной маршруты передвижений по Москве — и Киров, около 16.00 1 декабря выйдя из дома и пешком пройдя несколько кварталов, весь в мыслях о близкой поездке в Таврический, неожиданно сел в машину и приказал шоферу: «В Смольный!» Туда, куда двумя часами раньше пришел Николаев за пропуском в Таврический.

Дышать одним и тем же воздухом, жить или служить вместе — двойники не могут, после коротких встреч они расстаются надолго, но, отраженные друг в друге, они как бы удлиняют редкие контакты, мысленно продолжают сосуществование рядом. Раз в году, бывало, виделись они, но у всех биографов Кирова — навязчивая идея о совместной деятельности их то в годы гражданской войны, то в последующие периоды. Однажды Кирова едва не затащили под одну крышу со Сталиным, избрав членом Политбюро с постоянным пребыванием в столице, и Киров сопротивлялся яростно, не очень-то настаивал на переводе его в Москву и Сталин, для виду поломавшись и разыграв спектакль со смертельной обидой, а уж такие кадровые делишки он умел обтягивать как никто лучше. Политическое сожительство доставляло обоим и радости и горести, Киров, демонстрируя лакейскую преданность, интуи-

тивно догадывался, что находясь в тени Сталина, будет пощажён историей.

Это шаткое перемирие, могло быть нарушено каким-либо внутренним опрокидывающим процессом, происшествием на пленуме или партконференции, до которых однако было далеко, либо внешнею причиною, толчком.

История выбрала второй вариант.

Два разделенных Польшею государства — СССР и Германия — обладали тождественными характеристиками общественного строя, это были страны-двойники, частная жизнь граждан обоих государств не существовала сама по себе, а подчинялась воле правящих партий. 27 февраля 1933 года незадолго до девяти часов вечера запылал рейхстаг. Поджигатель его был пойман, им оказался Мариус ван дер Люббе, по некоторым данным — коммунист или бывший коммунист. Его не допросили еще, а Гитлер объявил Германии и всему миру, что поджог — дело рук заговорщиков-коммунистов, врагов немецкого народа. (Десять месяцев спустя 2 декабря 1934 года советские газеты сообщат о не названном еще Николаеве, как о человеке, подосланном врагами рабочего класса.) Общественные и частные расследования тех лет, не снимая с Люббе вины, указывали на главного поджигателя, Геринга, резиденция которого сообщалась с рейхстагом подземным коридором. Судьи в Нюрнберге (а их в мягкотелости к нацистам не упрекнешь) сочли Геринга не виновным в поджоге, а другой суд по иску родственников Люббе реабилитировал последнего. О происшествии в рейхстаге написаны сотни книги и тысячи статей, очень убедительны свидетельства того, что рейхстаг подожежен нацистами по приказу Гитлера, столь же внушительны доказательства обратного. Одно несомненно: в мозгах идеологов НСДАП засел некий эпизод, который, случись он, позволил бы партии овладеть ситуацией, как это ныне принято говорить. Какой в точности эпизод — не знал никто, взрыв, пожар, убийство, стихийное бедствие — все бы сгодилось, Германия вышла бы из шаткого состояния неполновластия, рейхсканцлеру Гитлеру мешала конституция. И пожар осветил Гитлеру дорогу, а уж все внутригерманские события после пожара, включая «ночь длинных ножей», индуцировали схожие эксцессы в СССР, причем Сталин вовсе не подражал Гитлеру, обе страны жили обособленно. Феномены подобного рода известны химикам, биологам, физикам, суть их сводится к неконтактной передаче информации от одного объекта к другому, от него не зависимому, и феномен этот объяснению поддается, но внедрение физико-математических моделей в историю добра не сулит.

По сравнению с Гитлером февраля 1933 года Сталин находился в более выигрышном положении, власть принадлежала ему и в центре и на местах, конституционные запреты его не смущали,

аналогии все же весьма любопытны. В законопослушной Германии для отмены некоторых статей Веймарской конституции требовался вполне конституционный правовой акт, и уже 28 февраля, на следующие сутки после поджога, президент Гинденбург подписывает декрет «Об охране народа и государства». Формализм немцев показателен, нарушение принципа «закон обратной силы не имеет» было осуществлено тоже законом — от 29 марта, в нем предусматривалась смертная казнь за государственную измену и совершение поджогов с подстрекательской целью, имелся в виду как раз пожар в рейхстаге, потому что закон распространялся на действия в период между 31 января и 28 февраля того же 1933 года (Люббе был приговорен к смерти 29 декабря и обезглавлен 10 января). Из этой юридической коллизии Сталин выскользнул, организовав 1 декабря 1934 года постановление ЦИК, разрешающее укороченное судопроизводство. 24 апреля 1934 года из ведения имперского суда Германии изъяли дела по государственной измене и измене родине, создали так называемые народные трибуналы, то есть нарушили статью 105 конституции, и в СССР соответственно появятся Особые совещания. Обособленные двойники лишены обратных связей и не втянуты в причинно-следственные зависимости, явления в них не а в о д я т с я, а уж потом осмысливаются, приобретая характер заимствования. Захват Гитлером власти не мог не вызвать диктатуры Сталина, на что страна была обречена и без событий в Германии, естественной поступью развития, поджог рейхстага ускорил шаги до бегства, индуцировал нечто такое, что по последствиям своим было адекватно пожару. Если бы в СССР нашлись (что сомнительно) подражатели берлинского эксцесса, то от идеи поджога они решительно отказались бы. Лейпцигский процесс завершился в конце декабря 1933 года оправданием «поджигателей», то есть бесславно для Гитлера, и поджог Кремля исключался, да это было и технически сложно. Тогда — убийство. Не Сталина, конечно. Кого-нибудь из его ближайшего окружения: Молотова, Кагановича, Ворошилова. Не на улице, естественно. Привязать место убийства к какому-либо учреждению, такому, которое наиболее часто мелькает в печати или на слуху людей: Кремль опять же, Колонный зал Дома союзов, Большой театр. И не только в Москве. Ленинград, пожалуй, предпочтительнее. Одно название города вызывает ассоциации с Ильичем и революцией, и место есть подходящее (Смольный, легендарный штаб Октября), и человек подходящий (Киров), и обилие вариантов (близость границы). Над этим размышляли в уединении кабинетов и камер многие умы Москвы и Ленинграда, сам Кремль спровоцировал эти упражнения, навязав Лубянке судебные процессы 1928-1932 гг., а та уж напридумала «тресты» и «синдикаты». Но черновые наброски так и не легли на бумагу, рабочие гипотезы не слетели ни с

чьих уст, а уж коридор 3 этажа Смольного так никому и не пригрезился. История распорядилась по-своему, выстрел прозвучал — в Смольном. А раз что-то произошло, причем именно так, а не иначе, то случившееся — единственное, что могло произойти, оно — итог сложения многих сил, некая равнодействующая, на которую влияют и незарегистрированные события; что бы ни происходило, выберется самый простой в данной ситуации вариант с наименьшими энергетическими затратами. Поэтому выстрел в Смольном — не трагическое стечение обстоятельств, он прозвучал, ибо не прозвучать не мог.

Изучая политические убийства, наиболее громкие и значительные, поражаешься тому, что «трагическое стечение обстоятельств» — обязательное условие этих преступлений. Уж очень своевременно стекаются обстоятельства, уж слишком хватко разные житейские мелочи сплетаются в сеть, из которой не выпутаться обреченному, но в которой нередко застревают сами покушающиеся на убийство. Злой рок и улыбка фортуны — непременные спутники всех заговоров, сюжеты финальных сцен так порою замысловаты, что подрывается вера в подлинность их. На Генриха IV было совершено восемь покушений, он предпринял чрезвычайные меры безопасности, никто не знал, в какой карете поедет он и куда, и тем не менее смерть настигла его, королевский кортеж влетел на узкую улочку, конная стража, не вмещенная в габариты ее, отделилась — и на подножку кареты вскочил убийца, дважды пронзивший стилетом давно намеченную жертву. Кучер Наполеона, консула, поднажрался в таверне и так спьяну погнал лошадей, что карета будущего императора миновала подложенную бомбу. Шесть или восемь раз Гитлер был на волоске от смерти, всякий раз уклоняясь от нее импульсивными решениями, подменяя себя кем-нибудь или раньше протокольного времени сходя с трибуны. Случайности спасали его: в жаркий день 20 июля совещание, куда принес бомбу Штауффенберг, произошло не в бункере, а в летнем домике, что ослабило ударную волну, да и портфель с бомбою был ногою одного генерала отодвинут подальше от фюрера. Лишь 30 апреля следующего года Гитлер поконтчил жизнь самоубийством, то есть успешно совершил покушение на себя. Вся история изобилует счастливыми или несчастливими (смотря для кого) совпадениями, которые ускоряют события, приближая их к неотвратимому финалу, или, наоборот, финал отдалают. Сама по себе случайность редка, иначе она вошла бы в какую-либо логику восприятия и утвердилась в ней, она — где-то на обочине анализа и причинно-следственных зависимостей, которые при определенной частоте повторений создают закономерность, обычай, принцип, формулу. Но, видимо, отношения двойников приводят к напряженности в обществе, ширятся слухи, все явления толкуются одиозно, в силовое поле про-

тивостояния втягивается — будто мощным пылесосом — бытовой мусор, мелочи жизни, невинные поступки людей вдруг приобретают характер сенсаций, мирные обыватели неожиданно для себя оказываются участниками жестко формализованных планов конспираторов, либо разрывая логические цепи идейных вдохновителей заговора, либо удачно дополняя их. Так называемые исторические события происходят на фоне обычной жизни — семейных дразг и секса, пивных и конюшен, трамваев и уборщиц, то есть всего того, что существует вообще, все случайности — выпяченные детали неразличимого скопища предметов и явлений, они, эти внезапно появившиеся детали, не поддаются, сваленные в кучу, разбору и опознанию, они — до поры до времени — пребывают как бы в несуществующем мире, ибо человеческое восприятие выхватывает из калейдоскопической картины мира только то, что пригодно ему для дела, умысла, оставляя без внимания второстепенные или третьестепенные для человека факторы, несущественные настолько, что их и не видят.

Но случайные преступники (Николаев, Люббе, Освальд) — люди с нарушенной психикой, неврастеники, видящие мир не так, как здравомыслящие обыватели и неглупые следователи, им присуща особая оценка событий, вещей, они отринуты от обиходно-бытовых представлений о действительности, они ищут смысл там, где его нет, и всегда что-то находят, не видят того, на что смотрят все, и магнитом тянутся к полюсам общественного противостояния.

И все же: как был убит Киров, кем — и причастен ли Сталин к убийству?

К началу 30-х годов зарубежные антисоветские центры впали в подавленное состояние, источаясь изнутри склоками и обессиливаясь провалами. Был похищен глава Русского общевойскового союза генерал Кутепов, разные «тресты» и «синдикаты», взлелеянные Лубянкой, разоблачены (идея их оказалась такой живучей, что уже в 1935 году на Дальнем Востоке выросли азиатские «тресты»). Агенты ОГПУ, внедренные в РОВС, то призывали к «накоплению сил» и свертыванию терактов, то пачками отправляли бывших офицеров на верную гибель, в СССР. Часть белогвардейских формирований парижскому центру не подчинялась, офицеры хотели заявить о себе чем-нибудь громким, да и в самом РОВСе витийствовали горячие головы. Что-либо взорвать или кого-либо убить — на такие дела всегда находились охотники, возможность убийства Кирова белогвардейскими пулями была более чем вероятна. И Запорожец прибыл в Ленинград с наказом Сталина — не дать свершиться теракту! Убережь Кирова от козней врагов рабочего класса!

Иного (или прямо противоположного) задания получить от Сталина он не мог. И по прибытии в Ленинград с группой отборных

сотрудников, Запорожец, честный трудяга на ниве ЧК-ОГПУ, приступил к выполнению приказа, начав с того, что, предотвращая покушение на Кирова, создал организацию для подготовки такого покушения. И вовсе не злым умыслом руководствовался он, и никем не был подкуплен, и никто не шепнул ему на ушко о тайном желании генсека убрать Кирова. Не могло быть и речи о каком-либо заговоре НКВД против Кирова или Сталина. Запорожец грамотно исполнил приказ, взяв метод, к которому прибегали большевики задолго до образования ВЧК, ту сумасшедшую парадоксальность, какой пропитана вся теория и практика ленинизма. Отвергая и отрицая все общественное развитие всех добольшевистских эпох, объявляя их «неправильными», российские марксисты, равнявшиеся к власти, привили себе (или позволили привить) особый стиль мышления, он наиболее полно соответствовал идеям насильственного переустройства всего и всех, логика же действий, чередование их — оказались как бы вывернутыми наизнанку и обращенными вспять, следствие подменялось причиной, логические фигуры разворачивались в любом порядке. Революция, к примеру, возможна при общем недовольстве масс существующими порядками. Образ мыслей большевика таков: но если такого недовольства нет, то его следует организовать; надо пропагандой так исказить и опоганить эти порядки, чтоб массы взбунтовались, чтоб иного выхода у них не было, и для благого революционного финала сойдут все средства. Отсюда и ликования по поводу бойни империалистической войны, поэтому и лозунг о желательности поражения отечества в этой войне, оттого и самоубийственная тяга к публичным шествиям с кровавым исходом. Короче, если нет причины, то надобно создать следствие, чтоб потом уж, задним числом поставить вычисленную причину впереди сочиненного следствия. Правоверные марксисты утверждали, например, что социалистическая революция грянет после возникновения некоторых объективных предпосылок, условий, — российский же большевики дудели: совершим революцию — тогда и создадим эти условия.

Таков ход мышления, который можно назвать обратным. Он — не изобретение большевиков, многовариантная человеческая мысль испокон веков варьировала причины и следствия, разрывала логические связи в удобных для дела звеньях, провакация вошла в обиход людей еще в ту пору, когда головной мозг научился блуждавшие в нем образы зеркально отражать, трансформируя в инверсии с элементами обратности. Но большевики эксцесс, случай, курьез, изыск, извращение — сделали нормою общественно-политической жизни и заложили ее во все структуры властвования. Исследователи не раз пытались найти некую систему в этом большевистском бреде, алгоритм решений, составляли словари наподобие оруэлловского — и с по-

зором отступали, потому что бред временами переходил в членораздельно-чистую речь, не лишенную благородных мыслей. На микроуровне природа обнаруживает причинно-следственные отношения во всех вариантах, и человеческая мысль когда-нибудь систематизирует все большевистские идеологемы.

Пока же судят по результатам, а они у большевиков непременно с обратным знаком. «С точностью до наоборот!» — эта формула родилась много лет назад, и в полноте обобщения ей не откажешь. Такое впечатление, будто в генетическом коде социализма участки хромосом поменялись, причем губительно, местами, еще и растеряв при этом некоторые молекулы. Страна шла не от победы к победе, а от поражения к поражению, становясь крепче, сильнее (по внутренним меркам, их так и не смогли подогнать к общепринятым).

Новую, большевистскую, философию быстренько освоили интеллектуалы, в 20-х годах ставшие руководителями ведомств, разведывательного и контрразведывательного, Артузов и Менжинский прежде всего, к разработке некоторых операций привлекался известный публицист и драматург Луначарский. До 1929 года Артузову подчинялся КРО, контрразведывательный отдел ОГПУ, и на примере деятельности КРО можно догадаться и понять, чем занялся в Ленинграде прибывший туда с особой миссией Запорожец.

В 20-х годах сопротивление большевизму создало бы по всей России антисоветские организации — не сразу, с течением времени, естественно и неотвратно, они и возникали в разных местах, стихийно и без надежд на помощь извне. Но («Время, вперед!») ускоряя бег событий, Артузов сколотил фиктивные организации, подконтрольные ОГПУ и ставящие своей целью свержение советской власти. Мнимые заговорщики претендовали на роль «единственных спасителей России», вступали в контакты с белой эмиграцией, выкачивали из нее деньги и связи, под предлогом же координации действий занимали ведущие посты в штабах непримиримых врагов СССР, приманивали к себе наиболее опасных деятелей. Иными словами, Артузов создавал в СССР аналог функционировавшей на Западе структуры. Идея вообще-то новизной не блистала, Менжинский и Луначарский позаимствовали ее у англичан, те в годы Французской революции (тема, очень знакомая драматургу и публицисту) выращивали в Париже роялистские и псевдороялистские заговоры, под нож гильотины укладывавая участников их. Да и в самой России набухла подходящая обстановка для провокаций, над страной так и поплывало кровавое озорство, артузовский проект напрашивался самим временем: «синдикаты» еще не разоблачились, еще «тресты» не лопнули, а в «Двенадцати стульях» обосновался «Союз меча и орала», О. Бендер тонко уловил политическую конъюнктуру и предъявил «за-

говорщикам» почтенного старца, «особу, приближенную к императору». На таких «особах» и держался авторитет взлелеянных ОГПУ поддельных «центров», среди мнимых руководителей фиктивных органов были видные хозяйственники, крупные ученые и высшие командиры РККА, мало кто из них ведал о своей роли. Тухачевский не знал, например, что сочувствует МОЦРу, Монархическому объединению центральной России. (Аукнулось в 37-м, большевистская мысль выписала сногсшибательный курбет, агенты НКВД сунули нос в сейфы западных разведок и обнаружили в них «предателя» Тухачевского.) Для большей надежности эти «тресты» иногда прирастали к какому-либо вполне официальному учреждению, так чекисты могли контролировать, не вызывая подозрения, подсадных и ряженых.

Артур Христианович Фраучи, он же Артузов, с КРО расстался в 1929 году и возглавил ИНО, иностранный отдел, внешнюю разведку. Более чем успешно Артузов работал до 1934 года, после чего его то ли повышают, то ли понижают в должности: был руководителем внешней разведки — стал заместителем начальника военной разведки, Разведупра; обе, правда, всегда работали в тесном взаимодействии и длительное время обитали под одной крышей. Но почти одновременно с Артузовым принимает дела и новый начальник Разведупра С.П. Урицкий, сменивший на этом посту Я.К. Берзина, — этого откомандировали на Дальний Восток, подальше от Москвы и Ленинграда, чтоб протащить через Испанию и, по обыкновению, расстрелять. Эти кадровые перемещения, вполне возможно, продиктованы Ягодой, глава НКВД не ладил ни с Артузовым, ни с Берзиным, вовлекать их в дела Запорожца он не хотел, да нужда заставила. Начальником же ИНО назначен был Слуцкий, этот подходил по всем статьям, а уж хитростью превосходил всех. Никаких документов по Запорожцу и сварганенному им «заговору» в печати не появлялось, их и не искали, архивы трясли с единственной целью — доказать, причастен или нет Сталин к выстрелу в Смольном, следы «заговора» — в судьбах профессионалов, мастеровитых чекистов. Свою часть общего дела Берзин завершил успешно, Разведуправление глубоко проникло в Финляндию, опутав ее разветвленной агентурной сетью, установив на границе выгодный режим, время от времени открывая ее на отдельных участках. Начиная с лета 1934 года, в окрестностях Ленинграда ищут прорвавшихся белогвардейцев, за информацию о них объявлена крупная (по размерам во всяком случае) награда: корова. Газеты сообщают о перестрелке в районе станции Тосно, достигнут, следовательно, шумовой эффект, создана атмосфера, в которой легко распространиться слухам о скором появлении террористов на берегах Невы. Одновременно «работали» с людьми, чему немало поспособствовал сам Киров, предоставив нужные кадры: это по его инициативе

в 1932 году почистили партсовгосучреждения, в отделе коммунального хозяйства Ленсовета обнаружили бывших белогвардейцев, 242 человека. Арестам их не подвергали, людской материал, таким образом, был в избытке, чистили-то не одно коммунальное хозяйство. Не довольствуясь этим, хватали наугад, в Крестах выколачивали показания о замышлении убийства Кирова. «Заговор» слепили, в него посвятили кое-кого из местных чекистов и, чего требовали обстоятельства, тех «особ», на имени которых покоилась лже-организация. Проникшие (или допущенные) в Ленинград белогвардейцы сомкнулись с обработанными в Крестах братьями по службе у Деникина и Юденича, успех гарантировался полный, ведь в подпольной организации — люди из ближайшего окружения Кирова! Был найден чекистами и проинструктирован некто, взявший на себя бремя покушения, им, конечно, был не Николаев. А Сталину доложили: да, ваши опасения не были беспочвенными, нами выявлена террористическая банда, готовящая убийство Кирова, принимаются соответствующие меры и враги будут обезврежены в подходящий момент. (Никто этого доклада не слышал, и документа никакого нет, но все последующее поведение Сталина показывает: знал генсек о происках «белогвардейской сволочи»! Еще с Байловской тюрьмы Сталина интересовали детали терактов, он, естественно, полюбопытствовал, кто «убийца» и какие меры безопасности придуманы чекистами. Ему либо показали фотографию «убийцы», либо обрисовали исполнителя. Вот почему в телефонном разговоре с Ленинградом вечером 1 декабря Сталин задавал нелепые вопросы о том, во что одет был Николаев, какой головной убор на нем.) Сталину же Запорожец (или доверенное лицо его) разъяснит, в чем суть спектакля, каким образом покушение не достигнет цели и Киров останется живым; холостыми патронами ли зарядят пистолет «убийцы», схватят ли в момент, когда оружие обнажится, — этого уже никто никогда не расскажет. Зато во весь голос заговорят факты, дотоле казавшиеся неправдоподобными, фантастическими, абсолютно вымышленными и никакого отношения к Николаеву не имеющие. Кто поверит, что в доме отдыха НКВД (под Ленинградом, в Детском Селе) открыто говорили о скором покушении на Кирова? Могли говорить, еще как, но только применительно к пестуемому заговору.

Была определена и дата, по неискоренимой партийной привычке накануне какого-либо значительного события, таковых в декабре 1934 года немного: 21 — день рождения Сталина, 22 и 23 — годовщины со дня открытия двух Всероссийских съездов советов, 25 — 29 лет с начала Таммерфорской конференции, где впервые встретились оба вождя. А может быть, проще — под Новый год. И место «покушения» выбрали, не в Смольном, разумеется, спектакль на то и спектакль, чтоб разыгрываться при обильном стечении «народных масс». На площади, в фойе театра или клуба,

как в «Великом гражданине» (вот она, фрейдистская оговорка!), или на заводском дворе, повторяя «каплановскую» версию и заодно отучая «Мироныча» от яхания с простым человеком. Не все ленинградские чекисты были посвящены в операцию, далеко не все, чему опять-таки способствовал Киров, Запорожца не признававший. Но уж телохранителя Борисова в «заговор» втянули, инструкции дали четкие, на 1 декабря «покушение» не планировалось — и бдительный страж расслабился в этот день, дав потомкам повод быть обвиненным в соучастии или в потворстве. Никого из четырех охранников не было рядом с Кировым, когда тот, неожиданно для себя и Николаева, оказался в коридоре 3 этажа Смольного.

Его, Леонида Васильевича Николаева, топчут аж с 1924 года, всем он не мил, все воротят от него нос, как от кучи экскрементов. Страх, отвращение и брезгливость сквозят в каждой о нем написанной строчке. Последствия выстрела — грандиозны, но демонизация личности преступника не произошла, Николаева так и не укрупнили до фигуры исторического масштаба: ничтожный, жалкий червяк, карлик, замахнувшийся на гиганта, человечешко, страдающий манией величия, демагог и кляузник, убежденный в том, что партийный билет в кармане — гарантия высокого оклада и руководящей должности; кам, грубиян, бездельник, склочник, трус, мерзавец, послушный другим мерзавцам, гнусняк, ущербленный к тому же отчетливо выраженной дегенеративностью. «Истеричен», — среди иных недостатков отметила конфликтная комиссия райкома партии; в частных разговорах члены комиссии, надо полагать, отзывались о безработном коммунисте Николаеве словами попроще и поглубже.

Но если на человечка ленинградской толпы глянуть несколько иначе, изменив угол зрения, то видится задавленный нуждою семьянин, несчастное от хворей детство и обостренное желание гражданина новой России пользоваться всеми теми правами, что обещаны властью. За правами он и гонялся, этот кривоногий и узкоплечий парень. Родился в 1904 году, принят в партию по льготному пункту ленинского призыва, хотел стать кадровым командиром РККА — не получилось, воспротивился райком комсомола, партийные органы испытывали к Николаеву недоверие, они чуяли в нем чужака, и тот пребывал с ними в постоянном конфликте. Не лишен публицистического дарования, грамотно писать руководящие статьи не смог бы, но при некоторой практике и натаске не хуже Кирова звал бы с трибун к светлому будущему. Образование — почти среднее, мало кто в ЦК мог похвалиться и таким. Голова большая и круглая, надменный и крикливый. Дерзил по любому поводу. Выгнали из партии, а потом восстали, после чего он любил садиться на собраниях поближе к

президиуму и задавать «каверзные» вопросы. Правда, в ту (и позднюю) пору от идиотизма партийной жизни и партийных судилищ в тихое или громкое озлобление впадали многие люди, отнюдь не дегенераты, и так получилось, что приноравливаться к революционным порядкам в самом революционном городе Николаев не мог, неизвестно чем отчужденный от них. Любая предлагаемая работа уже отвращала, навязчивой стала мысль о восстановлении на прежней, семья страдала, шесть человек в ней, мать в прошлом обтирала в депо трамвайные вагоны, братья, куда-то сгинувшие (уже 3 декабря все материалы о Николаеве были засекречены), в одной из анкет появился ребенок, чтоб исчезнуть. И — жена, Мильда Драуле. «Типичная чухонская внешность», — вспоминают о ней, добавляя: «Симпатичная». На ней держалась семья, на жизнестойкости этой женщины, к которой приветливо относился Киров, «улыбался при встречах». Улыбка однако входила в нормы поведения всех «секретарей» и «членов», да и — почему не улыбнуться встретившейся в коридоре миловидной единомышленнице, тем более что Мильда Драуле обладала, без сомнения, определенным шармом, чего нельзя было сказать о Марии Львовне Маркус, явно болезненной супруге Кирова, женщине вздорной, с причудами. Молва могла окатить подозрением и Драуле и Кирова, обляпать грязью, время было склочное, бытовой разврат пропитал общество, гражданский социалистический брак, основанный на общности идейных устремлений, трещал по швам, парткомы завалены разбором доносов и жалоб, алиментными делами, перерожденцев — тьма тьмуцая, супружескими изменами занимались комиссии при ЦК, и не поверить слуху о жене-изменнице Николаев не мог. А если и не поверил, то «принял к сведению», Леонид Васильевич Николаев с каждым прожитым годом ощущал свою особость, отстраняясь и отчуждаясь от среды, в которой вырос и где работал. Женился на девушке, единственной, наверное, нерусской в Лужском уезде ВКП(б), всегда старался выделить себя из однообразного коллектива, ни с кем не дружил на работе, а в доме, где проживал (Лесной проспект 13/8), сошелся с немецкой семьей.

Такой вот человек путался под ногами охраны Кирова, давно Борисов и прочие заприметили Николаева и не знали, как от него избавиться. Задерживали, допрашивали, обыскивали, находили пистолет, законно выданный, и, если верить историкам, карту с пометками. (Зачем она ему, думается? И ответ напрашивается такой: эмоционально недоразвитый Николаев походил на мальчишку с гипертрофированной бравадой, на пацана, который малюет усы на плакатах, а бумажным врагам выкалывает карандашом глаза.) Николаева допрашивали, обыскивали и — отпускали. Ибо арестовывать его было нельзя! Его ни в коем случае,

ни при каких обстоятельствах нельзя было арестовывать! И не потому, что его будто бы нацеливали на Кирова, нет и нет! А по той причине, что арестованного Николаева протащили бы через те кабинеты на Литейном, где слухом не слыхивали о мнимом заговоре, и вся авантюра Запорожца лопнула бы. В Ленинграде сложилась невероятная до идиотизма ситуация, внутри управления НКВД, матрешкою в матрешке, сидела группа сотрудников, готовившая спектакль с покушением, среди привлеченных исполнителей и статистов — люди разной степени осведомленности. Начни допрашивать Николаева по-настоящему, признайся он сдурю в злодейском умысле — и на ноги поставят все управление НКВД по городу и области, доложат в Москву, где считанные единицы посвящены в суть операции — Ягода, конечно, и Слуцкий, без ИНО, без разработчика матрешечной системы заговора в заговоре Запорожец ничего не догадался бы сделать. Поднялся б на дыбы весь центральный аппарат НКВД, там был нюх на свежатинку, в аппарате сидели как остолопы, еще свято веровавшие в коммунистические идеалы, так и отрубившие не один год профессионалы, превосходно понимавшие, что они, выражаясь языком тех лет, липачи.

Арест Николаева имел бы еще одно немаловажное последствие: известие о нем вспугнуло бы «заговорщиков», в числе их были и те, к кому кавычки не применимы. Головоломная по сложности ситуация, почему и отпускали Николаева. С ним, разумеется, «работали», то есть убеждали, советовали, намекали, — да могли Николаев понять оперативников, которые сами толком ничего не понимали?

Еще одна верная идейка заставляла «запорожцев» отпускать Николаева. Семнадцатилетняя практика ОГПУ свидетельствует: тяжесть обвинений в чем-либо всегда повисала на выгодном с политической или оперативной точки зрения человеку, а не на избалованном преступнике. К какому антисоветскому слою припишут «покушавшегося» — никто не знал, четких указаний не поступало, а Москва могла потребовать на роль убийцы (в кавычках) петлюровца, агента японской разведки, кого угодно, ревнивца даже. Рачительные чекисты, работавшие с размахом, предусматривали все варианты и держали Николаева про запас.

Восемь месяцев таскался по присутственным местам Ленинграда бывший инструктор испарткомиссии, в руке — портфельчик, неизменная поклажа ответственного служащего, там наверняка — кое-что из съестного, с деньгами даже на обед у Николаева — туговато (после выстрела НКВД объявит о найденных при обыске пяти тысячах рублях, верно сыграв на чувствах завистливой социалистической гольтѣбы), партбилет, разумеется, при себе, чтоб уж никаких сомнений ни у кого не оставалось: податель сего

обладает всеми правами руководящей в стране партии! И еще один предмет, свидетельствующий о том же: револьвер. Его выдавали не всем партийцам. Николаев приобрел его в Луге, когда еще работал в укоме, оружие закрепилось за ним разрешением № 4396 от 2 февраля 1924 года, то есть как только вступил в партию после смерти Ленина. В апреле 1930 года оружие перерегистрировано, на него выдано удостоверение № 12296, тогда же Николаев приобрел и патроны. Ни в кого стрелять он не намеревался, угрозы были мальчишескими, пустыми, оружие для него было как бы учетной карточкой члена ВКП(б), символом, знаком желанной принадлежности к тем, кто отвергал его.

Утром в четверг 29 ноября Киров вернулся из Москвы с очередного пленума ЦК. Уже обычаем стало: по прибытии к местам работы и службы члены ЦК рассказывают активу о пленуме, а затем собираются уже местные пленумы, областные или городские, для одобрений, принятия мер и т.п. В Смольном закипела работа. Пленум назначили на утро 2 декабря, актив — на 18.00 предшествующего дня. То, что будет именно так, знал любой ленинградский коммунист. И присутствовать на активе Николаев более чем желал. Так нигде и не работавший, презираемый всеми знакомыми и незнакомыми, проклинавший партбюрократов и страстно тянувшийся к ним, Николаев пришел в Смольный за пригласительным билетом на актив в Таврическом дворце. И получил отказ, вполне обоснованный, поскольку ни в каком активе Николаев не состоял, а приглашения на актив рядовым членам партии рассылались через парторганизации. Скандальный разговор кончился тем, что Николаева выгнали в коридор. Обозленный и голодный, слонялся он по нему. В кабинете Чудова шло совещание вперемешку с чаепитием, запахи еды, доступной немногим, накаляли растревоженного Николаева. Не раз уже унижали его, но в этот день 1 декабря — особо остро, ему было отказано не в пригласительном билете, ему запрещали жить. Он сделал еще одну попытку вернуть себя к жизни, вновь сунулся в приемную Угарова за билетом, вышел ни с чем — и увидел Кирова. Грянул выстрел..

Ошеломление было полным, всепроникающим, и в коридоре 3 этажа Смольного, и во всех кабинетах его, и на всех этажах Литейного, в доме, где царило двоевластие. Запорожца в городе нет, и «запорожцы» в смятении: чей человек Николаев — Запорожца, Медведя или, бери выше, Ягоды? Что докладывать Москве и как? Какие кары ожидаются?

Во всех публикациях о Кирове-Николаеве пишут: Сталину позвонили в 18.00. Невероятно: полтора часа как убит член Политбюро, телефонная связь с Москвою работает бесперебойно, а о важнейшем событии глава государства в известность не ставится.

Позвонили, конечно. И Москва отнеслась к известию с поразительным хладнокровием, ни одному слову не поверили, Сталин-то о спектакле знал, смерть Кирова не укладывалась в голове. Ошибка, недоразумение — примерно так думал он. В шесть вечера Смольный набрался мужества, доложил Сталину о происшедшем, а тот все еще витал в прежних грезах, спросил, а каков он из себя, этот убийца, и что нашли в карманах его. Попросил к трубке хирурга Джанелидзе, стал говорить с ним по-грузински, речь шла, конечно, о Кирове, Сталин никак не мог поверить в смерть того, кого предполагалось в последний момент спасти. «Как спичку обронил...» — так будто бы квалифицировал Джанелидзе отношение Сталина к смерти «брата». А как еще иначе рассудишь, слыша в трубке нелепости, вздор, обывательское пустомельство, ведь Сталин, наверное, глупо настаивал на том, что Киров — жив, что пуля — не настоящая, что...

Грузин поверил грузину, до Сталина наконец-то дошло: убит! И тлея все-таки надежда, что удастся еще как-то перекроить события, перестроить их в нужной очередности и с другим составом участников. «Стрелявший задержан. Личность его выясняется.» Так о Николаеве отозвалось правительственное сообщение. Конечно, сдержанность, немногословие и таинственность в таком «архиважном» деле объяснимы, но, сдастся, в ход пошли и заготовки, предварительные разработки, уж очень быстро и нелепо реагировала власть. Не составляло труда выяснить, откуда у Николаева оружие, да сверить номер удостоверения со списком. Тем не менее весь Ленинград обклеен листовками: всем гражданам сдать незарегистрированное оружие! (Следовательно, человеку на роль «убийцы» дали незасвеченный пистолет, следы от которого — куда потянутся? Надо реконструировать все события в Ленинграде, от 2 по 15 декабря хотя бы, осмыслить некоторые аномалии.) Скоропалительно расстреливается группа из 104 человек — и это в дни, когда следствию нужны наиточнейшие сведения; впрочем, расстреливают и в других городах, там, где первые секретари обкомов и горкомов целехоньки.

2 декабря Сталин прибывает в Ленинград, с ним — лучшие мозги и кулаки Лубянки. Как ни искажены свидетельства тех лет, все что-то знавшие о первом допросе Николаева твердят в один голос: убийца заявил о своих связях с НКВД. До каких пределов зашли игры Запорожца, Сталин не знал, а «запорожцы» тем более не ведали, какова вовлеченность Сталина в планы их шефа, насколько действия последнего санкционированы верхушкой НКВД, теми, кто с грозными полномочиями занял кабинеты на Литейном и в Смольном. Медведь отстранен от должности, но всех-то ленинградских чекистов на улицу не выгонишь. И случилось то, что могло произойти только в дурном сне режиссера

захолустного театра: всю труппу, игравшую «Женитьбу Фигаро», заставляют, не меняя декораций и костюмов, произносить вразнобой монологи из «Гамлета» и «Короля Лира», причем директор театра выбежал на сцену, пытаясь навести порядок. Сталин требует подать ему начальника охраны Борисова, времени у «запорожцев» в обрез, доставить Борисова живым означает для них смерть, не станет же Сталин разбираться в истинном предназначении «заговора», того, о котором непременно скажет Борисов. Решение приходит на улице Воинова, дорога каждая секунда, плевать уже на прохожих, которые все видят, убить Борисова, убить немедленно! И прохожие донесли до потомков изуверскую сцену убийства, остервенение чекистов, спасающих себя. «И этого не смогли сделать!» — так будто бы отреагировал Сталин, когда ему доложили об «автомобильной катастрофе», и смысл этих слов не загадочен.

Смерть Борисова — не единственная в своем роде, только архивы, если они не почищены, могут установить людей, которых впопыхах умертвляли «запорожцы». Их шеф отдыхал в Хосте, очередной отпуск, продолжительность его около месяца, а это значит, что запланированная заговорщиками (в кавычках и без) акция намечалась на последнюю декаду декабря. (Интересно бы знать, где в описанное время находился Слуцкий?). Разбродом в умах чекистов, местных и приезжих, можно объяснить арест тех, кто впоследствии стал «ленинградским центром». Их взяли в ночь на 3 декабря, утверждают, что поводом к задержанию были агентурные сведения о неблагонадежности каждого из тринадцати. Почти все из них — бывшие комсомольские работники, четверо военных, два хозяйственника, половина арестованных знала Николаева, но — только знала (загребли в подвалы Литейного любую крупную парторганизацию — там тоже «знали» бы Николаева, кляузник и сутяжник обошел все руководящие кабинеты Ленинграда). Изучение биографий, послужных списков и связей всех тринадцати поможет выяснить, к какому официальному учреждению прилепились «заговорщики», доподлинно известно, что поначалу следы замечались не метлой с широким захватом, выборочно. Только два человека признали на судебном процессе свою причастность к гибели Кирова, не считая, разумеется, Николаева.

Большими знатоками людей оказались чекисты, когда отказались от использования готового вроде бы материала, не затащили в компанию мнимых врагов партии круглоголового и узкоплечего Николаева. Допрашивался он на закрытом судебном заседании, дабы не во всеуслышание прогремели его откровения. Со странным, надо полагать, чувством внимал его показаниям Иван Иванович Котолынов, бывший секретарь Выборгского РКСМ, десять

лет назад не пустивший Николаева в военное училище. Ему, Котолынову, отводилась видная роль в процессе, ему вменялось в вину руководство группой оппозиционеров, пошедших на убийство Кирова, он наставлял Николаева. Виновным себя Котолынов признал частично, только в принадлежности к оппозиции.

Подготовили процесс плохо, топорно, роли не распределили, доказательств, даже для советского суда приличных, не накопили, через много лет глянули в материалы — и ужаснулись детским ошибкам торопыг из НКВД, всех, кроме Николаева, реабилитировали.

Но вот свидетельство, нигде не запротоколированное и передававшееся из рук в руки, ни в одну версию не влезющее.

Группа из тринадцати человек (будущий «ленинградский центр») подверглась, в сущности, превентивному аресту, ничего вразумительного предъявить им НКВД не мог. Еще одно важное уточнение: никаких мер физического воздействия к арестованным не применялось, разрешение на то появилось позднее, чересчур молчаливых или щепетильных обычно ставили на «конвейер», то есть допрашивали без перерывов.

И арестованного в ночь на 3 декабря И.И. Котолынова никто за язык не тянул. Проговорился он потому, что первым его допрашивал старый знакомый, близкий ему человек Леонид Федорович Райхман, следователь ленинградского НКВД, ставший впоследствии генералом госбезопасности и узником сталинских лагерей. Муж балерины Лепешинской, генерал этот водил дружбу с людьми искусства и в некотором горестном ошеломлении рассказал, незадолго до смерти, как друг юности Ваня Котолынов честно признался — да, участвовал в заговоре на убийство Кирова! А его еще ни о чем не спрашивали, еще не были заполнены протокольные атрибуты, и Райхман, с Запорожцем не связанный, так и не понял, что имел в виду Котолынов.

Был, следовательно, заговор (уместны или неуместны здесь кавычки — вот в чем вопрос). И в нем Котолынов — подсадной уткой, провокатором, исполнявший эту роль ради благородной цели, для изобличения каких-то антисоветских злоумышленников. И понятно, почему промолчал он на процессе, не рискнул поведать о матрешечной укладке заговоров. Могла быть сделка со следствием. Мог быть оказан нажим. Страх? Отчаяние? Горькая догадка: попробуй, докажи теперь, что ты чистенький... Все могло быть. И все сводилось к тому, что поведение людей, психология их, мысли — все было в плену обратного мышления, создававшего диковинные психофизиологические курьезы. Исчезла проблема выбора, пропала альтернативность, человек не мог поступать либо так, либо иначе, он обрекался на единственное решение, на поступок, подчас казавшийся невероятным, вся общественная жизнь

была пронизана «точностью до наоборот», дискуссии, к примеру, затевались не для выявления всех точек зрения на предполагаемое дело, а чтоб искоренить все точки зрения, кроме единственно верной. Укладом жизни народ провоцировался на самоуничтожение; кто виновен, а кто нет — такой проблемы не существовало, она затушеввалась общей подсудностью. Послушание стало нормой, ложь — правдой, а сохранение собственной жизни любой ценой — условием существования всего общества.

Ценил свою жизнь и Сталин. Не раз большевики попадали в сети, ими же расставленные, образ мышления всегда заводил их в тупик, выбираясь из которого они крушили стены лбом, могучим и победоносным. Латентный период — от осознания себя в тупике до удара лбом — у Сталина длился обычно дней десять-пятнадцать, такова пауза от начала войны до выступления по радио 3 июля. В Ленинграде же протекал этот период со 2 декабря по 15-е. Идея все взвалить на оппозицию набухала, крепла, подпитывалась и вылезла из утробы, проверещав голосом Жданова о том, что убийство Кирова — дело рук оппозиции. О том же сказал в Москве Каганович в тот же день 15 декабря. Ленинградские большевики еще не опомнились от речи Жданова, как сутками позже Агранов, заместитель Ягоды, посвятил их в подробности.

Убийство Кирова потрясло Сталина — так, наверное, безумствовал в горе Иван Грозный, когда по нечаянности умертвил своего сына и наследника. Две шестидневки тяжких раздумий привели к спасительной догадке: а ведь не все так плохо! Устранен, что ни говори, опасный соперник, да и повод появился — устраним всех прочих.

Уничтожались десятки и сотни тысяч «прочих». У Сталина к тому же всегда маячил в воображении суд над И.В. Джугашвили, все бытовое и политическое поведение его — психологическая подготовка перед неизбежной расплатой, он представлял себя осуждаемым — и уничтожал поэтому как свидетелей обвинения, так и защиты — по мере убывания первых. Прощенные им Запорожец и Медведь были в 37-м расстреляны, Берзин и Артузов — тогда же, из всего следственного аппарата кировского времени уцелели ничтожные единицы, Шейнин, к примеру, помогавший Агранову изблещить оппозицию. Прочесали всю страну, сажали за упоминание в письме Кирова, за написание фамилии.

В живых оставался последний, тот, кто был поумнее всех чекистских дуруломов, разработчик не по его вине сорванной операции, а таковым мог быть, пожалуй, только он, Абрам Слуцкий. Тот, который обматерив в разговоре «троцкистских собак», тут же всплакивал над несчастной судьбой их. Кто каждый прожитый день считал подарком судьбы. Бессчетно тративший деньги в ка-

баках Парижа и Берлина, Слуцкий и московские пьянки обставлял с западным шиком.

Еще не закатилась звезда Ежова, казни в аппарате НКВД набирали мощь и размах. Комиссары госбезопасности всех рангов послушно подписывали уничтожавшие их протоколы и признания, на партсобраниях с пеной у рта спорили, кто больше повинен в преступлениях, то есть кто чаще перекидывался словечками о погоде с только что арестованным соседом по лестничной площадке. А Слуцкого не трогали. Долгоживучесть его объясняют заботой НКВД о закордонной агентуре, она будто бы сдаст себя мировому империализму, когда узнает об аресте шефа. (Поскольку позднее этого она не сделала, то поневоле родилась мысль о двурушничестве, и повинуваясь еще одному взлету большевистской мысли, разведчиков звали в Москву и уничтожали). В 1937 году Слуцкий хорошо посидел в парижских ресторанах и смастерил отличную операцию, отправил в Москву преемника Кутепова, похищение, правда, вызвало большой шум, да и от генерала Миллера в Париже больше было толку, агент НКВД прослушивал все его разговоры в кабинете, мало что нового мог дать Миллер Лубянке, куда его доставили придушенным и скрюченным.

Всех вроде бы расстреляли к началу 1938 года, а Слуцкий продолжал ходить по утрам в свою контору и рассказывать анекдоты. Циник, жуир и аналитик сохранял в себе слезливое человеколюбие местечкового парня и пустобрешество хитрого изгоя. Допрашивать его по любому делу было смертельно опасно, А.М. Слуцкий мог не только лишнего наговорить, но и с лишнего начать. Удостоился он поэтому исключительно высокой чести, погиб на боевом посту, был приглашен в кабинет Фриновского, заместителя Ежова, подуставшему шефу внешней разведки предложили чай, вино, пирожные. Отравленный ядом, он и скончался там, унес в могилу детали ленинградской операции, фамилии и адреса.

Спешка с его ликвидацией была вызвана тем, что шел уже февраль 1938 года, а в марте начинался процесс над правотроцкистским блоком, на скамье подсудимых среди прочих — и Генрих Ягода, кое-что знавший о сочиненном заговоре, о ловушке, в которую попал НКВД, ловушку же смастеривший.

Процесс открылся. И 5 марта происходит следующий диалог.

ВЫШИНСКИЙ. Вы лично ... приняли какие-нибудь меры, чтобы убийство Сергея Мироновича Кирова осуществилось?

ЯГОДА. Я лично?

ВЫШИНСКИЙ. Да, как член блока.

ЯГОДА. Я дал распоряжение ... (запинается).

ВЫШИНСКИЙ. Кому?

ЯГОДА. В Ленинград Запорожцу ... (После молчания). Это было немного не так.

ВЫШИНСКИЙ. Об этом будем после говорить...

Говорить не стали ни в этот день, ни в последующие.

Пошла речь и о Николаеве, задержанном однажды с портфелем, где был револьвер. Запорожец освободил будущего убийцу.

ВЫШИНСКИЙ. А вы это одобрили?

ЯГОДА. Я принял это к сведению.

ВЫШИНСКИЙ. А вы дали потом указание не чинить препятствий тому, чтоб Сергей Миронович Киров был убит?

ЯГОДА. Да, дал ... (взрывается). Нет, не так.

ВЫШИНСКИЙ. В несколько иной редакции?

ЯГОДА. Это было не так, но это неважно.

Большого Ягода сказать не мог. Но и этого достаточно. Только сейчас проясняется истинный смысл недомолвок.

Валентин ХАЛИЗЕВ

ОДИН ИЗ «КИТЕЖАН»

«Громкость» имени и масштаб личности, популярность деятеля культуры и значимость им сделанного, эффект воздействия человека на общественное мнение и его нравственное достоинство не всегда взаимно согласуются, а в ряде случаев друг другу разительно противоречат. «Таланты наши, — с горечью заметил В.В. Розанов, — как-то связаны с пороками, а добродетели — с безвестностью»*. В России XX век подобными несоответствиями насыщен до предела. Зловещими вихрями истории ломались не только судьбы, но и души людей, в том числе незаурядных, ярких, талантливых. Лидеры и псевдолидеры культурного слоя в начале столетия отдавали обильную дань ницшеанско-дионисийскому «одержанию», позже — идеям воинствующе беспочвенным, а главное — ожесточению, которое успешно подпитывалось доктриной классовой борьбы. За «оглушающими аккордами бряцающих судеб и дел» (Д. Андреев) оказывались неслышными голоса тех, кого можно назвать китежанами: людей, которые, казалось бы, вопреки всему и вся сохраняли верность многовековым отечественным традициям и умели, как замечательно метко сказал В.О. Ключевский о Сергии Радонежском, влиять на людей «тихой и кроткой речью», «неуловимыми, бесшумными нравственными средствами», оставляя «смутное ощущение нравственного мужества»**.

Одним из таких «китежан» был Алексей Алексеевич Золотарев (1879 — 1950), писатель-прозаик, поэт; мемуарист, публицист, критик, краевед, философ и, что не менее существенно, человек с прочной репутацией праведника. Вот несколько суждений о нем современников. С.А. Аскольдов, религиозный мыслитель, публицист и литературовед, статья которого открыла знаменитый сборник 1918 года «Из глубины»: «лучший из умов»; «второе издание Сковороды»; «Философ тихий и безгневный, /Но мысли четки и

* Розанов В.В. Несовместимые контрасты жития. М., 1991. С. 493.

** Ключевский В.О. Второй сборник статей. Очерки и речи. М., 1913. С. 205 — 207, 213.

тверды». А.М. Горький: «чистой души человек, вроде псковских праведников»; «если бы такого человека, как Алексеич, не было, его нужно было бы выдумать». В.И. Смирнов, историк и краевед: «человек большой моральной мощи, человек евангельский». Краевед и поэт А.Н. Лбовский: «Ушел навеки праведник великий./ Его внушенья добрые сильны»*.

Детство и юные годы Золотарева, сына рыбинского соборного протоиерея, прошли в большой и дружной патриархальной семье. «Родственное отношение ко всем людям, — вспоминал он, — отличало наш дом, где постоянно с раннего утра до поздней ночи толпился и гостевал самый разнообразный народ». Золотаревский дом был «открыт в полночь и за полночь всякому, кто хочет быть гостем». После окончания гимназии Алексей поступил в Киевскую Духовную Академию, но через три года, в 1900 г., покинул ее, чтобы получить естественно-научное образование, после чего участвовал в революционном движении (в качестве «правозащитника», как сказали бы ныне), дважды ссылался, несколько лет провел в Западной Европе. Подолгу живя на о.Капри, сблизился с А.М. Горьким. В среде революционно настроенной интеллигенции Золотарев занимал независимую, «внепартийную» позицию. Откликаясь на идеи радикального преобразования общества (более в бакунинском, нежели марксовом варианте), он вместе с тем оставался «традиционалистом» — сохранял верность воззрениям и умонастроениям, которые с детства впитал из воздуха русской провинции, из атмосферы своей семьи. Вот несколько фраз из писем предреволюционных лет: «Я люблю... Россию со всем, что есть у нее, люблю от колоколен Московского Кремля до самого последнего сибирского этапа. И борюсь с этим, хочу выгнать иной раз ее, да разве это возможно?» «Перестали удовлетворять немецкие истолкования социализма, пересаженные на русскую почву... Мне стало душно в этом понимании». «Я уехал из Англии, окончательно порвав с дарвинизмом». «Был в Пестуме... К Богу стал немножко ближе, если питерский скепсис все еще разъедает Вашу душу, скажу в других терминах: восприимчивее к жизни и уживчивее с людьми». Не удивительно, что в околоторьковской среде революционной интеллигенции, атеистической и во многом денационализированной, Золотарев выглядел белой вороной. «Не..., а цветет, не мыслит, а ко Господу благоухает», — иронически отозвался о нем А.В. Амфитеатров**.

* Здесь и ниже цитируются рукописи, хранящиеся в РГАЛИ, РГБ, Архиве Горького, РНБ, ИРЛИ, ГИМ, а также в архиве семьи Золотаревых (автор благодарит А.Н. Аниковскую и Е.В. Золотареву за предоставленную возможность пользоваться принадлежащими им материалами).

** Литературное наследство. Т. 95. М., 1988. С. 446.

Вступив в спор с А.М. Горьким как автором статьи «Разрушение личности» (1909), где провозглашался принцип коллективизма, а личность отвергалась как средоточие консерватизма, Золотарев высказал мысли, согласующиеся с укорененной в русской философии концепцией соборности. Он говорил о человеческой личности «как полноценном и необходимом явлении жизни» — о том, что ниже организованные «члены общей родной и родовой жизни» «высылают вперед» человека как индивидуальность и личность; решительно отвергал и апологию коллектива, к которому была склонна революционная интеллигенция, и ницшеанского толка индивидуалистическое своеволие. Провозгласить «правду о творческой силе коллектива», утверждал он, — это «только полдела. Коллектив жив, покуда живы его члены. Как жив человек жизнью составляющих его индивидуальных клеток»^{*}.

Позже, в 1916 г., Золотарев оспорил статью Горького «Две души», где Западная Европа расценена как единственное средоточие мировой культуры и резко противопоставлена Востоку, Азии, России как грандиозному вместилищу отсталости, косности и иных дурных качеств. Отвергая горьковский «европоцентризм», он выступил в защиту мировых религий как неотъемлемой грани исторического бытия: «Вот и возвращаюсь я к старинному нашему спору на Капри о религии и о том, умрет она на Земле или не умрет... Она не умрет — разве что изменит свою форму. Другими словами, или Европейский мир, совершив отступничество от христианства, необходимо упадет в объятия Иеговы, Бога Авраама, Исаака и всего его потомства на Земле, или упадет, как теперь провозглашает протестантская Германия, в Вотанизм (Вотан — бог войны, дарователь побед, сеятель военных раздоров. — В.Х.), о чем мечтали и Вагнер, и Ницше (и все это будет воистину реакция), или на основе христианства (может быть, хотя вряд ли, буддизма) найдет новую форму, которая родится от старой религии, но пойдет вперед в своем связующем религиозном действии и деянии. А устроиться счастливой и долголетней жизнью на Земле — это очень мало, очень скупо да и не в нашем характере»^{**}.

На протяжении 1907 — 1913 гг. Золотарев заявил себя как писатель-прозаик (три повести, опубликованные в горьковских сборниках «Знание», вызвали заинтересованные отклики критиков) и в качестве публициста и критика (ряд статей и рецензий на страницах петербургских журналов и ярославских газет). Вернувшись весной 1914 г. в родной Рыбинск, он сосредоточился

* Из писем А.А. Золотарева А.М. Горькому. Известия РАН, Отд. литературы и языка. 1994. № 2. С. 64-65.

** Там же. С. 69.

на культурнической работе, стал практиком и теоретиком освоения родного края, со временем обрел репутацию одного из лучших в стране краеведов. Рыбинская краеведческая деятельность, интенсивная и многосторонняя, была насильственно прервана в 1930 г. Воспоследовали аресты. После архангельской ссылки, в 1933 году, Золотарев (благодаря содействию А.М. Горького) прописался в Москве и, выброшенный из общественной жизни, сосредоточился на писательской деятельности (которая не прерывалась и в 20-е г.г.) — без всякой надежды на публикации: работа велась, по его словам, для души и потомства, как стали говорить позже — «в стол». Сохранившиеся рукописи (порой с трудом расшифровываемые) поражают разнообразием, богатством, своеобычностью. Здесь и художественная проза автобиографического характера, и мемуары, и стихи, и литературная критика в жанре «заметок для памяти и рецензий для себя»*, и работа о русском духовенстве «Богатырское сословие»**, и философские трактаты: «О Гегеле и гегельянстве»*** и публикуемый ниже текст «Вера и знание. Наука и откровение в их современном взаимодействии на человека».

Главным произведением последних полутора десятилетий жизни писателя является монументальная книга поминальных очерков (всего их 497, но часть утрачена) о людях, с которыми его сводила судьба, — «*Sancto santo*» (лат., кладбище или цветущий луг) моей памяти. «Образы усопших в моем сознании», — книга, обладающая чертами традиционного летописания и документальной хроники, мемуаров с установкой на создание литературного портрета, надгробных речей (причитание, молитва), житийной литературы и исповеди. В книге выражено убеждение (роднящее автора с Н.Ф. Федоровым), что неотъемлемой гранью человеческого бытия является «союз живых и умерших», осуществляемый устным преданием, письменными текстами, а также «в молитвах и таинствах». Это — беспрецедентно-оригинальный документ эпохи, ждущий дальнейших публикаций и исследований. Эпиграфом к книге могли бы стать слова из очерка о священнике Петре Судьбине: «Боже! Боже! Как невыразимо грустно погибают, помирают сейчас исконно русские люди! Нет сил, нет слов рассказать об этом как следует».

* См. Аниковская А.Н., Хализев В.Е. О литературной жизни в России 1930-х — начала 1940-х годов: по страницам архива А.А. Золотарева. Филологические науки, 1992, № 2.

** Литературное обозрение, 1992, № 2.

*** Вопросы философии, 1994, № 5.

Воззрения Золотарева находятся в русле укорененной в России философии любви и всеединства. Они отвечают духу христианства и православной культуры, которой, по мысли В.В. Зеньковского, присущи приятие просветленной плоти земного бытия и пафос напряженности и свободного исторического делания*. Со взглядами философа согласовывались сами формы его мышления, посредством которых общебытийные начала и конкретные явления земной реальности постигались как друг другу сродные, близкие, необходимые.

Страстному поборнику мирного и дружественного согласования и взаимодействия всего и вся в земной реальности, Золотареву довелось жить в эпоху, которая меньше всего располагала не только к осуществлению его идей, но и признанию их прав на существование. И эта «ураганная» эпоха вторгалась в жизнь философа непрестанно, грубо, зловеще. И до событий 1917 года, и позже, он, с детства отличавшийся слабым здоровьем, испытал тюрьмы и ссылки, а в старости полуголодное и полубездомное, вынужденно-странническое существование без постоянного заработка и пенсии. «Живу не здоровьем, а смелостью», — повторял он слова покойной матери. Алексею Алексеевичу (своей семье он не имел) довелось пережить смерть брата в одном из сражений первой мировой войны, исчезновение в сталинских лагерях двух других братьев, гибель близких родственников в ленинградской блокаде. Собранные им в 1920-е г.г. краеведческие материалы (исторические документы, конспекты докладов и лекционных курсов, рукописная история Рыбинска и т.п.) впоследствии безвозвратно исчезли. Подобные же утраты сопровождали и литературную деятельность Золотарева: «Все мои почти рукописные тетради постепенно забирались у меня после очередных обысков, машинку дважды реквизируют» (1924). Тяготила писателя и его, можно сказать, фатальная «невыписываемость» в литературно-общественную среду, ставшая ощутимой уже в начале 1910 г.г.: «Я как-то не попадаю в ногу с литературой нашей: или провинциал я, или метафизик, или славянофил, или христианин (так меня все определяют, когда возвращают назад рукописи)» (1916)**. А вот запись, сделанная четверть века спустя: «Все мои литературные замыслы... не в эпоху или, может быть, не в политическую погоду нынешнего дня... Вся жизнь моя... не гармонирует с настроениями современников. И я начинаю горько чувствовать лермонтовские

* Зеньковский В.В. Идея православной культуры. Православие и культура. Берлин, 1923.

** Из истории русской публицистики и критики 1910-х годов. Наследие А.А. Золотарева//Контекст-1991. М., 1991. С. 213.

пророческие стихи: «Когда же через шумный град/Я пробираюсь торопливо...».

Жизнь людей своего времени (в том числе и собственную) философ называл «дорогою скорби» и при этом, как подобает христианину, стремился не предаваться отчаянию. «Горе и опасность, — писал он, — нас умудряют и приближают к Богу... Мы зреем, мы наполняемся совершенством». Казалось бы, вопреки всему и вся, но Золотарев верил, что его жизненный труд не напрасен: «Потери... могли бы настроить меня и очень печально, если бы не давняя моя уверенность, что раз произведенная работа не пропадает даром. Кое-что восприняли те, кто меня слушал, кое-что удержалось в дребезгах мысли у меня самого, а главное — самая работа участвовала в сложении меня самого». Надежда на понимание потомков выражена словами, завершающими философские трактаты, вошедшие в рукописную тетрадь «Своею дорогой»: «Книга моя написана. Нет надобности, кто будет читать ее, современники или потомство, она может подождать читателя». В одном из своих очерков Золотарев процитировал стихотворение А.С. Хомякова «Счастлива мысль, которой не светила/Людской молвы приветная весна»*. По-видимому, в безвестности и безотзывности и сам он находил страду, пусть и горькую.

В заметке «О героях и праведниках» Н.С. Лесков писал: «Прожить изо дня в день праведно долгую жизнь, не солгав, не слукавив, не огорчив ближнего и не осудив пристрастного врага, гораздо труднее, чем броситься в бездну или вонзить себе в грудь пук штыков»**. Добавим к этому, что в эпохи гонений на веру трудности праведнической жизни многократно возрастают. В годы, когда, по словам Золотарева (1918), погибла провинциальная печать, были разогнаны земства и думы, когда «расстреливались люди, потерявшие голову в общей неразберихе», и в стране воцарились «подлый страх, тупость и отчаяние», он утверждал, что «уходить из гущи жизни не надо», и советовал своему младшему другу жить «с людьми и в людях». Так жил и он сам, неустанно стремясь утешать тех, кто находился рядом, вселять в людей бодрость духа, борясь с «фиолетовым грехом уныния вокруг». Этому человеку чудесным образом хватало любви на все и для всего. Доминантой его личности была неистребимая сердечная расположенность, заинтересованно-бережное, участливо-теплое, самоотверженное отношение к каждому из окружающих.

* Золотарев А.А. Очерк «А.А. Ухтомский». См.: Наши земляки: А.А. Ухтомский, А.А. Золотарев, А.А. Сигсон. Рыбинск, 1992. — «Русский голос», спецвыпуск № 4. С. 33.

** Церковно-общественный вестник, 1881, № 129. С. 5.

Приведем несколько фрагментов из писем и воспоминаний о Золотареве в самую трудную для него пору. «Когда нас посадили в камеру, он создавал вокруг себя какую-то благожелательную атмосферу; всегда найдёт случай сказать человеку ласковое слово, поделиться, чем может (часто последним), и этим примером заражал других. Мужички, вообще не особенно склонные делиться своим добром, следовали его примеру». «Братья шлют ему из последних сил посылки, а он раздает все, кому попало. Пробовал я говорить: «Алексей Алексеевич, так нельзя». Смеется только». «Во всяком другом он находил что-нибудь хорошее, частицу... образа Божия..., постоянно со всеми ровный и ласковый». Золотаревская «ровная ласковость» была одновременно и чертой натуры, и плодом духовного усилия. Вот относящаяся в 1935 году запись-молитва: «Так страшно, Господи! Дай силу для приветной речи. Ласковому слову научи меня».

Доброжелательно чуткий к каждому из окружающих, Золотарев не проводил границ между «своими» и «чужими»: между кругом единомышленников и всеми остальными; между теми, кто принадлежал к образованному слою, и людьми простого физического труда. «Странное дело! — писал он о своем земляке и друге. — Отрыв от отцовщины, насмешки и почти что непростительная критика духовенства, наконец, его безбожие... нисколько не мешали мне любить его с прежнею юною силою и даже... еще больше сродниться с ним». А вот фразы из поминального очерка о рыбинском печнике: «Я... заразился устойчивостью и энергией у... дяди Миши..., мастера своего печного дела... Ведь по существу именно такими людьми упорного, непрерывного труда, наследственно воспринятого от отцов и дедов, держится всякая культура. Стоило мне, бывало, поглядеть на дядю Мишу, и я, точно внутренне встряхиваясь, забывал свое горе и точно так же, как он, не борясь, но зато упорно-упорно брался за свою безвидную работу... Спасибо дяде Мише на этом примере. Да будет ему вечная память!»*.

Золотарев испытывал радостную готовность сродниться не только с людьми, с которыми его свела судьба, но и с местами своего обитания и их природой, а также с великими деятелями культуры прошлых эпох и их творениями. Светлое чувство благодарности, простирающееся на земное бытие, неизменно присутствовало в душе этого человека. Мысли его рождались не столько из опыта чтения и отвлеченных интеллектуальных построений, сколько из непосредственного жизненного и душевного опыта, из поэтически-просветленного восприятия окружающего. Вспомнив формулу

* Золотарев А.А. Очерк «Дядя Миша Ботев». Русь, 1994, № 10. С. 131-132.

В.А. Жуковского («Жизнь и поэзия — одно»), можно сказать, что для Золотарева философствование и повседневная жизнь ума и сердца были нерасторжимы. Вот фразы из дневника 40-х г.г.: «Идучи за хлебом и любуясь рощею, я вдруг с ясностью ощутил, что война уплотняет нас как народ и союз народов. Жива Россия, жив русский народ как носитель и служитель высшей духовной правды и братства народов. И весь день я ходил (прихрамывая от стертой ноги, но весело ковыляя по замерзшей грязи) как пьяный от этой мысли». Еще одна запись: «Вчера в ясный солнечный день осени, переезжая на трамвае через Литейный мост, глянул на Неву и почувствовал в сердце радость от сознания органической связи и родства своего с этим волшебным городом... Как-то особенно понятна стала преемственность старой и новой русской культуры, сыновнее родство Санкт-Петербурга с Господином Великим Новгородом». В приведенных словах сказался дифирамбический склад личности Золотарева — присущий ему дар (как будто бы вопреки всему и вся!) восторженного и благодарного приятия мира.

Черты Золотарева как личности цельной и необычайно привлекательной преломились в его письмах. Вот несколько фрагментов из них. А.М. Горькому (1916): «Что касаясь Финляндии и того, чтобы поселиться у Вас, — не могу, Алексей Максимыч, и тому есть много причин. У меня сложилось к Вам особое отношение, зависящее не только от Вас самих, но более всего от свойства моей натуры. Я очень дорожил и дорожу своей жизненной встречей с Вами, и вот почему пуще огня боялся и боюсь иметь с Вами какие-либо денежные отношения и счета... Уезжая с Капри, ничего не взял я на память об острове, даже цветка не сорвал и не увез с собой, кроме тех, что были засушены раньше по давнишней склонности к гербаризированию. Не взял даже камешка с Пиколя-марины. И хотел взять, да помешало какое-то особо ласковое чувство к острову, где я так много и щедро был одарен. Есть люди на жизненном пути, они тоже как островки, и избави меня Бог рвать цветы в их саду. Может, это и глупо, но такова моя натура». Е.П. Шихановой, землячке (1930 г., из ссылки): «Вы знаете, что я люблю и людей и землю, и мне... в каждом месте земли что-то очень нравится, и я всегда нахожу людей себе по сердцу, так что я проживу и в Архангельском крае. Весь вопрос в том, чтобы не быть людям в тягость». Е.П. Пешковой (1949 г., из последней поездки по родным волжским местам, за несколько месяцев до смерти): «Гляжу не нагляжусь знакомыми с детства угличскими пейзажами, дышу не надышусь родимых спеющих и еще не скошенных трав и цветов. Облекся

* Из писем А.А. Золотарева А.М. Горькому. С. 72.

в Вашу белую рубашечку и щеголяю, греясь на солнышке в те недолгие часы, что позволяет сменявшая жару ненастная погода... (во время дождей) читаю Пушкина: и «Повести Белкина», и «Арап Петра Великого», и «Дубровского», — сладко баюкаясь в историческом прошлом нашего народа. Удастся много писать и еще больше многое и о многом думать».

Известный русский мыслитель С.Л. Франк в 1920-е г.г. помышлял о человеке, который, будучи богат духом, ободрял бы, исцелял и возвещал спасение «не одними словами только, а всей своей жизнью, всем своим существом»*. Именно таким остался Золотарев в памяти людей, которые его знали. Для круга своих друзей, родственников, многочисленных учеников этот человек стал личностью легендарной. Воспоминания о нем передаются от поколения к поколению в виде устного предания. В последние годы мне неоднократно доводилось встречаться с людьми, которые знали и хорошо помнят Алексея Алексеевича. И едва ли не каждый раз, слушая их рассказы, я наблюдаю, как светлеют лица, как голоса проникаются благодарными интонациями. Ряд мемуаров и писем свидетельствует, что общение с Золотаревым окрашивало и направляло жизнь людей, порой определяя их духовные судьбы. По словам С.А. Аскольдова, жизненная встреча с этим человеком была для него «даром Параклета» — Утешителя, Святого Духа, являющего собой третью ипостась Святой Троицы. «Надо мне сопротивляться. Сила мне необходима. Вера в то, что А.А.З. поможет», — записывал после смерти Золотарева его младший друг А.Л. Лбовский. А вот слова И.В. Ливановой, известной художницы Палеха: «Родители (рыбинские ученики и близкие друзья Золотарева. — В.Х.) мечтали о том, чтобы было известно об этом необыкновенном человеке. Настолько полна памятью о нем, о молодых его годах под его крылом их жизнь, что, может быть, поэтому они не старели душой». Проникновенно писал о Золотареве историк Н.П. Анциферов, его друг и соавтор: «Это был русский патриот. Он был одержим любовью к русской земле, ко всему лучшему, что создано и возросло на ней в веках; он светился этой любовью до конца своих дней... Обладая исключительно разнообразными знаниями, А.А. Золотарев был интереснейший собеседник. Но не столько знания, сколько своеобразие мыслей, всегда таких искренних и глубоких, делали столь привлекательной тихую беседу с ним. Он говорил медленно, словно продолжая думать. Его умное лицо оживлялось блеском голубых глаз, ясных, чистых, кака у ребенка, и мудрых, как у философа. Те, кто его знал, не забудут его высокую сутуловатую фигуру,

* Франк С.Л. Сочинения. М., 1990. С. 109.

русую голову с неприглаженными волосами, рыжеватые усы, скрывающие добрую улыбку его губ».

Личность Золотарева как деятеля отечественной культуры и мыслителя при всей ее исключительности — симптоматический, по-своему закономерный феномен русского бытия с его многовековыми традициями. Облик этого человека сродни облику Г.С. Сковороды, В.А. Жуковского, мыслителей и деятелей славянофильского круга, А.К. Толстого, Сергея и Евгения Трубецких... Черты личности Золотарева побуждают и к сопоставлению его с такими персонажами нашей литературы, как лесковский Туберозов («Соборяне»), Макар Иванович из «Подростка» Ф.М. Достоевского, ссыльный Крот («Несчастные» Н.А. Некрасова), Горкин (поздние повести И.С. Шмелева).

Хочется думать, что со временем будет написана биография А.А. Золотарева — православного христианина по вероисповеданию, интеллигента по характеру деятельности, персоналиста по взглядам, подвижника по образу жизни, человека оседлого духом и житейской «повадой» (пользуясь его выражением), скитальца по горестной судьбе. Эта биография, несомненно, явит собой один из образцов жития в полном и высоком смысле слова.

«Не столько нас гнут, сколько мы гнемся», — вспоминал философ русскую поговорку. И сам он — не гнулся. «Своею дорогой» — так назван сборник рукописных статей Золотарева, написанных в 1940-е годы. Хочется верить, что эта дорога станет общей для всех нас — нашей дорогой.

Публикуемая ниже работа написана в 1946 году — в пору, когда атеистическая пропаганда, сопровождавшаяся гонениями на верующих, казалось бы, свое «дело», начатое на рубеже 1910 — 1920-х годов, в полной мере осуществила. Трактат А.А. Золотарева «Вера и знание», который сегодня, может быть, кажется несколько наивным, — яркое свидетельство того, что в тогдашних условиях и подлинная вера, и ищущая религиозная русская мысль вопреки всем злоеющим стихиям времени продолжали существовать, откликаясь на современность и обогащаясь ее горестным опытом.

Текст публикуется по рукописной тетради «Своею дорогой», хранящейся в РГАЛИ (ф. 218, оп. 1, № 38, л.л. 80—100). Сделана минимальная стилистическая правка, изменена (в соответствии с современной нормой) пунктуация, сокращено количество абзацев, исправлены немногочисленные неточности автора при цитировании.

ВЕРА И ЗНАНИЕ

Наука и откровение в их современном взаимодействии на человека

И Слово стало плотию и жило между нас, полное благодати и истины. (Евангелие от Иоанна).

Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн... Он не был сам светом, но прислан был в мир свидетельствовать о Свете. (Евангелие от Иоанна).

Отец Мой доселе делает и Аз делаю. (Евангелие от Иоанна).

Кто из вас хочет быть первым, будь всем слугою. (Евангелие)

Сын человеческий пришел в мир не для того, чтобы Ему служили, но затем, чтобы самому послужить всем.

Служу — *diakoneō* (древнегреч.), отсюда во Христе дьяконство.

*Servusservorum** — папа в Риме. У Рима архидиаконы почетное служение миру. У нас в православной Руси дьякон — услуга-парень в быту.

И снова пришел к нам этот дивный, исполненный благодати и истины праздник Рождества Христова. Снова еще и еще раз напомнил нам вечно радостную святую ангельскую песнь:

Слава в вышних Богу,
и на земли мир,
в человецех благоволение.

Снова напомнил всем и каждому из нас об исконном свете разума, просвещающего каждого человека, грядущего в мир, и освещающего пути всемирного человеческого развития. Почти целых две тысячи лет назад произошло явление на небе чудесной Рождественской звезды, открытое мудрецами Востока и приведшее ученых людей того далекого от нас времени к смиренному поклонению и простоте, и правде, и святости Рождества Христова.

* Слуга по отношению ко всем другим слугам, в точном переводе — слуга слуг (лат.).

Глубокий смысл и неисчерпаемая радость Рождественского праздника как нельзя лучше уясняются каждому христианину из последних слов, сказанных Христом при завершении своего служения Пилату: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине; всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Пилат сказал Ему: «Что есть истина?». И, не дожидаясь ответа, вышел. Скептическому уму миродержавного римлянина было чуждо стремление искать истину, но, возможно, внутренним чувством он уловил в словах Христа сокровенную правду, что царство Христово не от мира сего и что Христос не виновен в посягательстве на земную власть, Римскую державу. Средневековые мыслители схоластически построили известную анаграмму из этой евангельской беседы Христа с Пилатом: «*Quid est veritas?*» — «*Vir est qui adest*»*. Из перестановки 14 букв вопроса в тех же 14 буквах ответ по существу: «*Vir est qui adest*». Сама истина в лице Предстоящего перед Пилатом Христа является миру.

Истина не есть что-то отвлеченное, согласие формы с содержанием или иное какое логически философское определение или целая философская система. Нет! Это и есть сам Логос, Бог-Слово, это живая, спасающая мир, дающая ему смысл, уясняющая пути его движения личность Сына Божия... «Я путь, истина и жизнь», — говорит о себе сам Христос.

И в этом существенная грань, отделяющая христианское мировоззрение от всякого другого. Личное начало пронизывает весь мир, освещает и одухотворяет его. Мир не безличен, он сотворен Богом и носит на себе печать божественного промысла и творчества. Он движется, и движется к одной спасающей его цели. Он постоянно подвергается творческому воздействию. «Отец Мой доселе делает, и Я делаю», — говорит сам Христос.

Вот почему каждое новое Рождество Христово воспринимается нами как праздник все более и более радостный, родной и близкий по мере уяснения нашим сознанием всей полноты христианства, по мере нашего приближения ко Христу. Каждое открытие науки, каждый новый шаг в деле установления связи человечества со всею остальной тварью, в деле сохранения и упрочения мира всего мира; каждое новое более глубокое проникновение в тайны строения мира ставит нас все ближе лицом к лицу с рождающимся Христом.

Христос рождается — славите!
Христос с небес — срящите!
Христос на Земли — возноситеся!
Пойте Господеви Вся Земля!

* «Что есть истина?» — «Муж, который присутствует» (лат.).

Рождественский праздник — это праздник Божественного Логоса и человеческого Разума, Неба и Земли, Веры и Знания. В общем поклонении согласно объединяется весь Космос, весь Мир. Небо рождает дивную новую звезду. Ее открывают мудрецы и, следуя за нею, приходят к родившемуся в мир Младенцу, Отрочати-младу-предвечному Богу. Видимый и невидимый мир согласно славословит рождение Христа, озаряющее все прошлое и все будущее светом разума.

Не то, что мните вы, природа:
 Не слепок, не бездушный лик —
 В ней есть душа, в ней есть свобода,
 В ней есть любовь, в ней есть язык, —

говорит нам русский поэт, подтверждая эту всеобщую связанность и зависимость всей твари, всего сотворенного от Логоса: Им же вся быша и без Него ничто же бысть еже бысть. Тот же русский поэт, Ф.И. Тютчев, прославляя открытие Колумбом Америки, выражается еще яснее и вдохновеннее:

Так связан, съединен от века
 Союзом кровного родства
 Разумный гений человека
 С живою силой естества...

Скажи заветное он слово —
 И миром новым естество
 Всегда откликнуться готово
 На голос родственный его*

Не менее родственны и утверждения [существующей] от века связи между [естеством человека] и творческим Словом, божественным Логосом, который дает себя познать человеческому разуму через наблюдение и исследование явлений природы. Историю европейской науки, связь глубочайших открытий науки с возведенными Духом Святым истинами Откровения можно особенно ясно ощутить хотя бы на одном примере. На гранях XVII—XVIII веков два великих ученых — естествоиспытатели и в то же время оба создатели богословских произведений — почти одновременно пришли к величайшему научному открытию исчисления бесконечно малых величин, названных ими текучими (т.е. флюк-

* Из стихотворения «Колумб».

сиями), способными непрерывно изменяться. Значение этого открытия ясно для каждого из одного решающего факта: без помощи дифференциального и интегрального исчисления не был бы возможен сказочно огромный рост современной техники. Математический анализ, метод бесконечно малых, позволил ученым углубиться в самую суть процессов, протекающих в природе, и привел в свою очередь к новым научным открытиям.

Один из создателей учения о бесконечно малых величинах был славянин Лейбниц (1646 — 1716), вместе с имп[ератором] Петром Великим и Ломоносовым стоявший у колыбели Российской Академии Наук. Он создал также учение о [бесконечном многообразии вселенной] и написал Теодицею, где с особой любовью развил учение о предустановленной гармонии и о живых монадах, носителях духовной неделимой сущности, противопоставленной им атомам как первичным носителям материального начала мира.

Другой ученый, англичанин Ньютон (1643 — 1727), автор закона о всемирном тяготении и в то же время богословского исследования об Апокалипсисе. Последнее произведение приписывают его старческому слабоумию. Правдивее будет сказать, что самый Закон Всемирного Тяготения выдает в его авторе верующего христианина, ибо он построен аналогично стремлению всего духовного мира существ к средоточию духовных сил — Богу. Это тяготение к Богу на протяжении [существования] христианской литературы задолго до Ньютона не раз облекалось в математическую форму. Ньютон распространил закон всемирного тяготения на материальный мир и, облекая его в математическую формулу, сохранил термин живой силы, влекущей тела ко взаимному сближению.

То, что и Лейбниц, и Ньютон оба были верующими в Бога людьми, оба воспитывались на истинах Евангельского Откровения, не только не помешало, [но], наоборот, помогло им сделать свои гениальные научные открытия, помогло им схватить глубокий смысл и общеприменимость Слова Божия в деле познания мира.

За 17 веков до теорий текучих величин, до учения о пределах и уяснения смысла и значения малых величин Христос принес на Землю свою новую заповедь о любви. Эта заповедь была новой не в своем пределе — заповедь о любви знал и Моисей: люби ближнего своего! — а в указании того нового Христова пути, каким достигается любовь.

Начиная с Нагорной проповеди и кончая Своими последними словами с креста, Христос открывает Своим ученикам и последователям Своей Церкви, верующим в Него, значение бесконечно малых величин, крупинок добра и зла в строении нашей духовной жизни. «В малом был верен, над многими тя поставлю». «Вы

слышали, что сказано древним: «не убий». А я говорю вам: всякий сказавший брату своему рака́ (пустой человек)», [подлежит си-недриону — верховному судилищу]. Значит, убийство есть как бы предел, а малые дифференциалы, маленькие крупинки его рождаются уже в наших злых словах, и еще раньше — в злых помыслах. «Кто взглянет на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». Отсюда максимальный предел: чистота сердца поставит нас в будущем веке лицом к лицу с Богом. Блаженны чистые сердцем, ибо сии Бога узрят. Ищите прежде всего Царства Божия, а прочее все приложится вам. Царство Божие силой берется, и только борцы-подвижники овладевают им. Отсюда, из этих слов Христа, идет вся многовековая практика подвижничества, весь этот огромный духовный опыт, каким отмечен творческий путь христианина в мире.

Важно не количество совершенных человеком добрых дел, не высота достигнутого им нравственного совершенства, а глубокое и смиренное сознание малости сделанного перед бесконечностью и трудностью пути к Богу. Важна и та сила стремления, какую имеет, какую запасася человек на пути своем к Божьему оправданию. Молитва мытаря и лепта вдовицы, благодарность прокаженного самарянина — вот те нравственные малости-дифференциалы, те легко подвижные, способные к постоянному, непрерывному увеличению суммирующиеся-интегрируемые величины, что делают нравственное учение христианства (богословие) несравнимым с нравственными системами других, не христианских религий или с моралью безбожного человечества и сверхчеловека.

На кресте в предсмертных муках Христос молился за своих врагов: Отче! отпусти им, не ведают бо, что творят. Спаситель мира не только в св[оей] новой заповеди о любви расширил пределы ее применения на врагов наших, заповедав благословлять клянущих нас и добро творить ненавидящим нас. Примером св[оей] молитвы на кресте Он указал и тот путь, каким можно достигнуть этих вершин нравственного богочеловеческого совершенства.

«Есть три добродетели. Они всегда свет доставляют уму: не видеть ни в ком злонамеренности, переживать все находящее без смущения, благотворить злотворящим. Эти три добродетели рожают другие, больше их. Неведение злонамеренности рождает любовь, несмущенное перенесение находящего порождает кротость. Благотворение злотворящим стяжевает мир». Так претворяются слова крестной молитвы Спасителя в подвижнической душе преподобного отца нашего Иоанна Лествичника, так щедро обогащается и оплодотворяется примером Христа его собственный духовный опыт.

С креста же были сказаны те незабываемые слова, что сплачивают стадо Христово в одну крепкую, кровно связанную узами родства семью: Жено! Се Сын Твой! Се Мати Твоя! Если в притче о Страшном Суде [Христос] отождествляет Себя, уподобляя Себе, роднит с Собою все многое множество Св[оих] меньших братьев и добро, милость, суд и правду, оказанную как-либо и когда-либо им, считает оказанными Ему Самому лично, то в последние часы на примере Матери Св[оей] и возлюбленного ученика Спаситель дает нам незабвенное поучение, как надо идти, как достигать этого уподобления себя, соединения себя со всем миром. Через Церковь, невесту Христову, совершается это объединение всего христианского мира в единую спасаемую и спасающую семью, где нет ни эллина, ни иудея, ни раба, ни свободного человека, но всяческая и во всех Христос — едино тело, едино сердце, одна душа и один дух.

Через Церковь идет это таинственное непрерывно совершаемое объединение самых немощных, нищих духом, сиротствующих, труждающихся и обремененных. И, по слову Божию, сила Божия в немощи совершается. Церковь, подобно Царству Божию, быстро растет измала, как горчичное зерно, и возрастает в могучую крепость-твердыню, в спасительный оплот против миродержавной тьмы века сего. «Созижду Церковь Мою, и врата Адовы не одолеют ю». Пример Созидания Церкви Своей дал Христос также в последние часы земной своей жизни со креста. В ответ на искреннее, чистосердечное раскаяние в прошлой св[оей] грешной жизни и исповедание благоразумного разбойника: «Сей же ни единого зла сотвори!» и внимая молитвенному призыву: «Помяни мя, Господи, в Царствии Твоем!», Христос утешил умирающего радостными словами: «Днесь со Мною будешь в раю». Сразу за чистосердечное исповедание перед Христом, [за] признание своих вин и преступлений дано единому от малых сил полное прощение и полная награда, выше которой и не может быть в мире. И здесь, как у смиренно признающего св[ои] грехи мытаря, учитывается та твердая вера в спасение, тот горячий порыв к спасению, та живая сила движения ко Христу, что по божественному предвидению дает сторицей свой плод в свое (будущее) время. «В чем застану, в том и сужду».

Сказанного достаточно, чтобы уяснить себе ту простую истину, что великие научные открытия не только не противоречат истинам Откровения, евангельскому благовестию и Церкви Христовой, насколько не противоречат, а наоборот, уясняют, делают понятнее, ибо корнями своими питаются Словом Божиим, исходят от Него. В самом деле, не сказано ли в Священном Писании: невидимая бо Его от создания мира творениями помышляема видима суть и присносущая сила Его.

Нынешнее Рождество мы встречаем, находясь в особо приподнятом, радостном состоянии духа по многим причинам. Из них, пожалуй, чуть ли не на первом месте стоит великое научное открытие, значение которого в истории человечества приравнивают к изобретению или открытию огня. Это величайшее открытие есть открытие внутриатомной энергии.

Уже с начала текущего столетия, с момента открытия ученой Склодовской-Кюри элемента радия началось успешное изучение строения атома. То, что казалось древним физикам и философам пределом материи, самым первичным, неразложимым, неделимым кирпичиком мироздания, оказалось в конце концов, после усиленных научных разысканий, в свете разума, чудеснейшей сложной системой наподобие солнечной, где центральное атомное ядро представляет собой как бы солнце, вокруг которого по строго определенным орбитам движутся наподобие планет электроны, причем число этих электронов изменяется, увеличиваясь вместе с ростом веса каждого химического элемента, начиная с водорода. Когда-то гениальный ученый и мыслитель Паскаль в своих «Мыслях», произведении столько же философском, сколько и богословском (Паскаль был страстно верующим человеком и до конца своей недолгой жизни (1623 — 1662) вдохновлялся и набирался духовных сил в посещении Церкви, причем особенно любил он службу первого часа), обмолвился гениальной мыслью о том, что человек колеблется между двумя бесконечностями: Бесконечностью большого и Бесконечностью малого. Только в наши времена малая бесконечность открылась нам во всем своем величии, силе и смысле.

В продолжении полувека, если считать с 1896 года, когда в Париже Беккерель открыл на солях урана явление радиоактивности, человечество искало путей и средств к использованию того огромнейшего запаса энергии, что содержится внутри невидимого ни при каком увеличении атома. 1945 год уходит в вечность как год, начавший собою новую эру использования внутриатомной энергии, к сожалению, для разрушительных и убийственных целей войны. Две атомные бомбы, сброшенные американцами последовательно одна за другою в августе 1945 года сначала на японский город Хиросима, а затем на Нагасаки, произвели небывало чудовищные разрушения и уничтожение всего живого.

Самая практика атомной бомбы, конечно, засекречена, но путь к использованию внутриатомной энергии извечен. Это все то же свойство радиоактивного элемента, в данном случае урана, к самопроизвольному разложению и расщеплению. Человеческий ум, научная мысль только ускоряет, подталкивает этот стихийный природный процесс схождения со своего пути, уклонение от за-

кономерного гармонического движения в сторону отщепенства и разлады. Электроны, выбитые из своих привычных орбит, как бы сходят с ума и в порыве безумной злости на самих себя и на чуждую им силу жестоко мстят за потерю своего равновесия.

Вся наша цивилизация, заверяют в один голос ученые, вся культура, чуть ли не существование нашей планеты будут под угрозой гибели, если не поставить использование атомной энергии под международный контроль. Пока научная мысль дойдет до использования атомной энергии в положительных целях, надо — во что бы то ни стало! — преградить путь злобному, корыстному, эгоистическому использованию этой энергии во вред миру всего мира.

Что же это новое открытие, противоречит ли истинам Откровения? Не зовет ли она, эта внутриатомная энергия, так же, как некогда Рождественская звезда (загоревшаяся в необъятных просторах мира тоже, м[ожет] б[ыть], как результат огромной катастрофы), современных волхвов и мудрецов поклониться Солнцу Правды, рожденному в Вифлееме Начальнику Тишины, как называет Христа одна из церковных молитвенных песней?

Человечество не знает,
Что еще раз к Назарету
Приведет его судьба.

(И. Бунин)*

Во всяком разе это новое глубочайшее научное открытие в свою очередь заставляет нас еще усерднее вдумываться, еще более чутко прислушиваться к тем глубочайшим истинам, которые возвещены нам Откровением. В свете разума, уясняющего нам строение материи, ближе, понятнее и доступнее становятся тайны строения невидимого нам, невещественного, духовного мира, смысл нашего существования и судьба мира.

В своей защитительной речи-апологии Сократ говорил афинским судьям, что если бы они и отпустили его на свободу под условием не заниматься больше философией, то он не посмел бы преступить велений своего голоса, какому он повинует всю свою жизнь. Угроза смерти для него исчезает перед долгом послушания тем более, что бояться смерти — это значит казаться мудрым, не будучи им вовсе. «Что касается меня, афиняне, то, может быть, я еще разнюсь от великого множества людей. И если когда-либо я и утверждал, что я мудрее того или другого из моих сограждан, то именно потому, что, не знаячи, что такое преисподняя, я и не воображал по крайней мере, что я это точно

* Из стихотворения «На пути из Назарета» (1912).

знаю. Но зато я достоверно знаю, что позорно и преступно совершать злые дела и оказывать непослушание тому, кто лучше тебя, будет ли это Бог или человек».

Нравственный закон духовных существ — послушание высшей тебя и совершеннейшей воле — всего ярче выразился в богочеловеке Христе, принявшем на себя облик раба и пребывавшем на земле в полном послушании воле Отца Своего Небесного до самой смерти, «смерти же крестной». Эту же заповедь совершеннейшего послушания воле Отца Своего Небесного передал Христос основанной на Земле Церкви и тою же заповедью послушания Церкви обязал Он всех Своих учеников и слушающих Слово Его, Слово Доброго Пастыря, неустанно заботящегося о том времени, когда все овцы, отовсюду пришедшие, — иные овцы имам яже не суть от двора сего — послушают Его гласа и будет едино стадо и един Пастырь.

В свете аналогии с миром вещественным, где, как теперь это ясно стало после губительной силы атомной бомбы, даже мелкие отклонения от гармонического единства и связности влекут за собою огромные потрясения и катастрофы, более понятна стала нежная забота Христа о малых сих и грозный, предостерегающий голос Его к тем беззаботным сеятелям праздных слов, которыми они зачастую соблазняют и губят единого из малых сих.

Учение Христа, Его Церковь несет всем мир. Мир, отвергнутый не внемлющими голосу вашему, говорит Христос, посылая учеников на проповедь, к вам и возвратится, но судьба тех сел и городов, что отринут ваше слово о мире, будет плачевнее Содомы и Гоморры.

Смертоносные взрывы расщепленной материи, бомбы, начиненные атомной энергией, бросили свой ослепительно яркий свет на таинственное прежде событие падения Денницы, о котором очень мало открыто нам в Священном Писании и предании. В послании Иуды говорится лишь о том, что слóва единого хулы не произнес Архистратиг Михаил против своего врага и врага Господня, обнажив свой меч. В синаксарии на день Архистратига Михаила упоминается о том, что своим призывом: «Вонмем!», «Будем послушны» — он ободрил верных Богу и остановил колеблющихся ангелов и бесплотных духов.

Размеры этой исполинской катастрофы потрясают самые основы мира, и отдаленнейшие ее следствия даже до сего дня стали нам в это Рождество как-то понятнее и ближе вследствие того исключительного духовного опыта, какой мы приобрели за прошлый 1945 год. Если расщепление мельчайших частиц материи — не видимых глазом атомов — вызвало катастрофу, которая смела все живое и испепелила его во мгновение ока на довольно значительном пространстве земли, то и обратно: отщепление, отступление от Бога чуть ли не первого из бесплотных духов

передалось на все мироздание и бросило его в объятия новых, рожденных злобных сил. Эти злобные силы растят, множат и поддерживают зло в мире, начала хулы и злобы против Творца, начала вражды, распада и разрушения, лжи, клеветы и неправды. Дьявол — человекоубийца был искони и во Истине не стоит.

* * *

133 года назад Праздник Рождества Христова наша родина и в особенности сердце ее, столица Москва, встречали в радостном сознании одержанной над могучим противником Наполеоном полной победы. Единодушная благодарность Богу выразилась в установлении особого торжественного молебствия в память победы над двадцатью языками. Был всенародно задуман и всенародно построен в Москве храм Христу Спасителю.

Нынешнее Рождество завершает собою исключительный по своей исторической и нравственной значительности год: он приблизил к нашему сердцу нашу церковную сугубую молитву — моление к Богу Отцу Вседержителю Творцу Неба и земли Видимых же всех и Невидимых. Это усердная молитва Церкви

О мире всего мира
О благостоянии святых Божиих Церквей
И соединении всех

была услышана Господом Богом.

Изнаурительная, смертоносно жестокая брань народов почти всей Земли была завершена, наконец, вожделенною победой над фашистскою Германией и Японией. Создался союз Объединенных наций для утверждения безопасности и для упрочения всякого рода мирных культурных и нравственных связей между народами. Как раз перед самым Рождеством на Московской конференции трех министров внутренних дел были счастливо разрешены некоторые трудные и спорные вопросы и между прочим утверждена Комиссия по использованию атомной энергии. Тем самым нависшая над миром угроза саморазрушения и самоистребления была если не полностью, то на самое ближайшее время устранена, и можно было от полноты сердца присоединиться к Рождественскому славословию ангелов и Вифлеемских пастырей:

Слава в вышних Богу,
и на земли мир,
в человецех благоволение.

Благостояние святых Божиих Церквей в особенности чутко показало себя в родимой нашей Русской Православной Церкви из-

бранием патриарха Алексия на Поместном Соборе нашей Церкви с участием всех православных церквей. Это было в самом начале года, а далее в течение всего года шло собрание раздробленных частей Русской Православной Церкви и воссоединение с нею автокефалических Церквей всего славянства, а также укрепление духовной связи с Англиканской Церковью и с православными Церквями Грузии и Армении. Со слезами радости и сердечной молитвы Святому Духу Утешителю воспринимались после соборно совершенных литургий слова заамвонной молитвы: Исполнения Церкви Твоя сохрани! Мир и радость о Духе Святе не раз охватывала всех верных чад Православной Русской Церкви за этот приснопамятный год церковной Плиромы. И последнее, самое трудное для исполнения молитвенное прошение О соединении всех также приблизилось своим исполнением. Самые разнообразные посольства, делегации, представительства побывали в Москве только за этот истекший 1945 год.

Соединение всех — это последняя, завершающая цель соединения в Боге, предания себя в руки Божии всех уклонившихся от праведного пути, блудных сыновей, ушедших на сторону далече от Отчего Дома. Она требует прежде всего объединения и видимых и невидимых духовных сил, как об этом Церковь молится в молитве первого часа: «Огради нас святыми Твоими ангелы да ополчением их соблюдаемы и сохраняемы достигнем Соединения веры и в Разум неприступныя Твоя Славы яко благословен еси во веки веков. Амины!». Это спасительное сознание, что нам нужна помощь и заступление невидимых Бесплотных Сил, возросло в высшей степени, ибо на пути объединения во Христе, может быть, резче, чем когда-либо, встало объединение противоборствующих антихристовых сил тоже видимого и невидимого мира.

В связи же со многим множеством смертей за эти последние годы войны чувствуется потребность в общей молитве за близких усопших. Когда вдумываешься в условия гибели многих из них, вспоминаешь слова Спасителя, сказанные Им в ответ на рассказ о 18-ти убитых при падении башни: Если не покаетесь, то все так погибнете. Жестокая, истребительная война в результате не столько высоких технических орудий истребления, сколько вследствие жестокосердия и оскудения любви в людях ставит перед верующим сознанием необходимость одуматься, опомниться, изменить свой неправильный путь.

Хочется установления какого-то всенародного дня поминовения усопших за эти годы, для всеобщего поста и покаяния. Мечтается не только о восстановлении Храма Христа Спасителя, построенного в Москве в благодарность за избавление страны нашей от нашествия иноплеменных, но и о создании Храма Святой Троицы: Отца Вседержителя, Сына Божия Бога-Слова и Святого Духа Утешителя.

Три волхва, три мудреца, что сошлись вместе и пошли за вновь явленной их взорам звездой, чтобы поклониться Солнцу Правды, новорожденному Младенцу Христу, стали прообразом для многих и многих поколений ученых, которые в течение веков, поучаемые светом разума от истин и открытий своих наук, приходили к признанию истин Богооткровения.

Где двое или трое соберутся вместе во имя Мое, там и Я среди них. — Эти утешительные слова Христа в наше время и в нашей стране чувствуются и воспринимаются нами как живой, непосредственный опыт нашей ежедневности. Снова, как во времена раннего христианства, безмерно усилилось и возросло значение домашних, семейных церквей. Каждый верующий, принимая у себя брата по вере, испытывает в своем сердце чудо Христова посещения своей горницы. И если единственные в некоторых городах православные церкви стали соборами — местом, где собираются все верующие города, то количество домашних церквей возросло, возросло в соответственной степени. И этот рост, даже если идет иной раз помимо церкви, нельзя не благословить и не поддержать словом ободрения и сочувствия, делом помощи и защиты.

В Евангелии рассказывается, что как-то ученики пожаловались Христу на людей, которые Его именем делают чудеса и учат народ, а между тем держатся особняком: «за нами не следуют». В ответ на жалобы учеников Спаситель сказал слова, что стали преимущественно в наше время внятными в своей правде и значительности: «Оставьте их: кто не против вас, тот за вас».

Рядом с дехристианизацией Европы, о которой так много говорилось как о завершительном этапе нашей культуры, на самом деле безвидно и неслышно идет или, лучше сказать, продолжается и христианизация как предваряющий этап следующего за поклонением Солнцу Правды воцерковления.

Пустите детей приходиться ко Мне, таковых бо есть Царство Небесное, или, как эту евангельскую Христову правду выразил Тертуллиан: *Anima naturalitez christiana est* — Душа по природе своей христианка. Отказываясь отвечать детям на первые детские пытливые вопросы о мире и боясь, что они не поймут, мы очень часто именно закрываем от них Христа, препятствуем им слышать и слушать слово Божие. Мы таким образом становимся виновниками того огромного несчастья для детской души, что она лишается всей полноты и глубины Рождественского праздника, что впоследствии своим радостным и кротким светом светит и умиротворяет и спасает всю нашу жизнь.

Нынешнее Рождество и по отношению к нашим детям требует от нас какого-то подвига. Надо ярче противопоставить разрушительным силам вражды и войны светлую проповедь:

Слава в вышних Богу,
мира на земле,
и благоволения в людях.

Все эти только что высказанные задушевные мысли и чувства, навеянные Рождеством Христовым 1945 года, требуют какого-то восполнения себе в братской беседе двух или трех собравшихся во имя Христа.

Сие буди! буди!

К 80-летию митрополита Сурожского Антония

Александр КЫРЛЕЖЕВ

Митрополит Антоний Сурожский — «заезжий православный миссионер» в России

Процесс вырождения христианства в национал-православие, который приобрел сегодня в России такой размах, отбил у многих интерес к Церкви как к источнику религиозного опыта прежде всего. В обществе в целом, подавляющее большинство которого религиозно безразлично, а другая, немалая, часть ограничивается несколькими ритуальными посещениями храма на протяжении жизни, — в обществе христианство попросту отсутствует. Это отсутствие проявляется, с одной стороны, в неосведомленности, в отсутствии знания о том, что же такое Церковь, а с другой стороны — в отсутствии самого желания что-либо узнать о традиционной религии.

Причина заключается прежде всего в том, что к сегодняшнему дню наша Православная Церковь не породила таких ярких фигур, которые, появившись в общественном пространстве, могли бы явить собою образ христианина и ответить на неизбежные вопросы и недоумения соотечественников по поводу современного христианства. Исключением, пожалуй, был лишь покойный о. Александр Мень, по какой-то таинственной и горькой иронии судьбы ушедший в самом начале открывшейся эпохи религиозной свободы. Недаром день его гибели всегда отмечается телевизионными сюжетами и публикациями в прессе — значит, его дело до сих пор признается значимым в обществе. Сегодня, однако, «информация» о Церкви, по существу, сводится к отдельным официальным декларациям высших иерархов — как правило, церковно-политического характера — да к серии картинок храмов и богослужений со свечами, которые мы наблюдаем на телеэкране. Остальное, то есть жизнь самой Церкви, — где-то за кадром, вне общественной сцены. Поток православной литературы — в основном переизданий книг и брошюр XIX столетия, в котором опять же немало «сопутствующих» религиозно-политических тек-

стов, — предназначен явно для «внутреннего пользования». Для обычного человека эта литература является столь же эзотеричной, сколь и другая, которая посвящена собственно так называемому «эзотерическому знанию», оккультизму и теософии, и которая соперничает с православной по количеству. Разобраться во всем этом непросто.

Но разве Церковь — это не люди прежде всего другого? Разве это не человеческий опыт, не реализованные убеждения, называемые на религиозном языке верой? Может ли эта вера быть значимой для человека сегодня и если да, то как об этом узнать, когда «родное православие» замкнулось в себе и выходит наружу, как правило, лишь в политическом обличье вполне определенного толка?

Вопросы эти, кажется, обречены оставаться риторическими. Не поэтому ли для многих неискушенных наших соотечественников христианство представлено прежде всего именно заезжими миссионерами с Библией в руках? Это христианство американско-корейского образца (хотя и вырванное из того контекста, в котором оно обычно бытует), христианство простое, по видимости вполне аполитичное и далекое от аффектированного ритуализма, который демонстрирует православие. Невольно создается впечатление, что «христианская проповедь» — это одно, а православие — что-то другое, более склонное прибегнуть к нео-идеологиям и оппозиционным политическим движениям, чем стоять на своих собственных ногах.

Возникает еще один вопрос: исчерпывают ли эти доминирующие тенденции потенциал православной традиции или она шире и глубже тех религиозно-политических «синтезов» национал-патриотического толка, что сегодня настойчиво пытаются отождествить с «истинной верой Христовой Церкви»? Учитывая, что указанные тенденции в православной среде более или менее отчетливо проявились лишь в последние, постсоветские, годы, имеет смысл вспомнить недавнее прошлое.

В брежневские времена многие из тех, кто сегодня «встал под знамена Сергия Радонежского», и близко к Церкви не подходили. Однако мотивы внутреннего поворота к религиозному мировоззрению и церковной практике в те годы для какой-то части людей безусловно имели характер «духовного диссидентства», то есть были исканиями параллельного мира, где «все по-другому». Не всегда Богоискательство в собственном смысле определяло этот поворот. Но, с другой стороны, удержаться в новой системе координат можно было только дойдя до сути — до самого христианства и христианского Бога. Недаром ведь путь в Церковь для немалого числа интеллигентов лежал через временное увлечение восточными духовными учениями и практиками. Требовалась определенная мера духовного реализма, чтобы не выпасть назад.

И поэтому, отталкиваясь от йоги, доходили до православной аскетике, то есть до вполне эзотерического для нашей эпохи монашеского опыта. Ритуализм оставался уделом «бабушек»; люди же с дипломами искали в Церкви и внутреннего духовного изменения, и его интеллектуального осмысления. А «политическая составляющая», по понятным причинам, просто отсутствовала. У кого же эти неопиты учились? Чем питались, кроме религиозно-философского «там-» и «самиздата» и исповедальных бесед с немногими духовниками и старцами, как правило, весьма далекими от «культуры»?

Такие «миссионерские фигуры», такие «синтетические личности» — были, хотя и одной руки будет много, чтобы их перечислить. Среди них на одном из первых мест — лондонский Владыка Антоний, митрополит Сурожский, «заезжий православный проповедник» 1960-70-80-х годов.

В то время Владыка Антоний был в Советской России явлением уникальным: «русский парижанин» и выпускник Сорбонны, долгие уже годы живущий в Англии, постоянный участник религиозных программ Би-Би-Си и «Радио Свобода», дворянин и монархист по убеждениям, человек, завораживающий немислимим для нас, советских и под-советских, внутренним достоинством и духовной свободой... И вместе с тем он — епископ нашей Русской Церкви, приезжающий официально и «как свой», служащий в московских храмах и проповедующий: с амвона толпам собравшихся людей, совсем не похожих на церковных «бабушек», и где-то по квартирам группам счастливицков. И все это записывалось на магнитофоны и размножалось, расшифровывалось, передавалось из рук в руки. (Уже в то время в самиздате вышло два толстых тома этих бесед и проповедей.) Не было стадионов и ТВ, но ни одно слово не пропало. Можно с уверенностью сказать, что «на счету» митрополита Антония тысячи уже тогда обращенных в христианство людей.

В чем «секрет» этого человека? Почему он был и остается поныне живым христианским дыханием и свидетельством, воплощенным утверждением: «Быть христианином можно несмотря ни на что!».

Конечно, тогда, помимо всего прочего, был именно «эффект инопланетянина» — присутствия человека из другого мира и другой эпохи. И все же есть несколько моментов существенных, значение которых к сегодняшнему дню — когда митрополит Антоний уже перешел 80-летний рубеж — только возросло.

Первое, психологически очень важное: в том, что и как говорит Владыка Антоний, нет никакой архаики. При этом он — не «интеллектуал», то есть не профессиональный гуманитарий; по профессии он врач-практик и стал священником только тогда, когда церковное служение «пересилило» профессиональную деятель-

ность. Но его собственный путь в Церкви и условия европейской жизни были таковы, что «стилизация под старину» оказалась неуместной. Бог — или есть, или Его нет. Для новоевропейского общества в целом «практически» Бога не существует, и ностальгия по религиозному прошлому цивилизации не пользуется нимало. Христианство — не в своих вторичных пост-христианских продуктах, а в первичном, существенном смысле — держится только на своих собственных основаниях, если держится, то есть на вере и опыте веры. И это первое свидетельство митрополита Антония: можно быть «современным человеком», членом современного «западного общества» и в то же время быть приверженцем и носителем древней церковной православной традиции.

На чем же может сегодня держаться вера?

Ответом является вторая — а по существу первая и основная — черта этого человека: непосредственный духовный опыт, в котором воспроизводятся некоторые «постоянные» православной духовной традиции. Смысл этого опыта в том, что он есть результат существования на той грани, о которой говорит апостол Павел: если Христос не воскрес, то тщетна вера наша; тогда лучше искать достижения обычных и обыденных, сугубо земных целей: есть, пить и веселиться, ибо завтра умрем. Иначе говоря, трезвый реализм позиции, которая возникает благодаря непосредственному духовному опыту, заключается в сознании, что вне действительной встречи или встреч с Живым Богом все «религиозное» — это пустое, обманное, напрасное (если не лицемерное).

Митрополит Антоний являет целостный человеческий опыт и, соответственно, опыт положительной свободы, которая возможна лишь тогда, когда человек обретает внутренние критерии правильного и неправильного, истинного и ложного. Однако эти критерии для различения — не тотальны, не «универсальны» в том смысле, чтобы давать возможность отвечать на все вопросы человеческого существования — индивидуального и социального (как это бывает в случае «критериев», предлагаемых идеологией). Идеологи и начетчики отвечают на все вопросы; человек непосредственного, но осмысленного опыта может сказать «не знаю», как это делает порой Владыка Антоний, но тем убедительнее, «подлиннее» оказываются его собственные ответы. То, что Владыка Антоний говорит о встрече с Богом и с другим человеком, о действии Сущего Бога и содействии реального человека, убедительно именно в этом смысле (даже на уровне текста). Его утверждения, взятые в их «теоретическом» аспекте можно ставить под сомнение, но как живое свидетельство о возможной для человека глубокой и отрефлектированной духовной жизни, в которой присутствует, как ее сердцевина, древний и всегда новый Бог христиан, — в этом смысле слово митрополита Антония несомненно. Это свидетельство прямое и предельно честное. Конечно,

скептики и нигилисты всегда могут предложить психологическое или какое-либо иное объяснение этого опыта, в котором Богу не будет места, но это уже иная тема. Для нас же здесь важно другое: в случае проповеди митрополита Антония мы имеем дело с аутентичным церковным опытом, а не с его эрзацами или же идеологическими, религиозно-политическими, «духовно-оппозиционными» и прочими его версиями. Оставаясь полностью внутри христианской традиции (и русской традиции в том числе), Владыка Антоний показывает, как эта традиция может быть освоена пониманием и таким образом стать источником духовно-практических ориентиров для человека сегодняшнего дня. Духовность в этом смысле — это не нечто возвышенное и возвышающее человека над безблагодатной обыденностью (и церковной рутинной в том числе), но способ христианской жизни, конкретный путь самоиспытания и самоизменения — конечно, не «психотехнического», но силою свыше, коль скоро речь идет о живом и действующем Боге.

Одна из книг митрополита Антония имеет характерное название: «Школа молитвы». Это, по существу, — его главная тема. Важно, однако, что сама тема молитвы — кажется, сугубо «религиозная» — рассматривается им не в ракурсе самодостаточного молитвенного «упражнения» (содержание которого, порой, действительно можно исчерпать анализом психологических состояний), а с точки зрения отношений и взаимоотношений личностей: человека и Бога, человека и человека... Поэтому можно говорить о полноценном этическом смысле той внутренней духовной жизни, которую проповедует или опытом которой делится с нами Владыка Антоний. Полюса побед и поражений, удач и неудач на этом пути можно обозначить двумя понятиями: духовный рост, открытость к возрастанию, с одной стороны, и, с другой — замыкание, тупик, который в духовной сфере есть не что иное, как идолатрия — обращенность не к реальному Богу — скрытому, но и открывающемуся человеку, — а к умственным идолам, придуманным образам Бога, которые удобны тем, что ничего не требуют от нас, позволяя обманывать себя, питаясь своими утробными «религиозными переживаниями». Такая позиция означает христианский максимализм, принципиальный отказ от подмен. Ведь все религиозные символы, которыми полна традиция, сами по себе изначально двусмысленны. Они — указатели пути, но в то же время они же могут оказаться благочестивыми преградами на пути духовного движения к новому, более глубокому и подлинному опыту Бога и жизни, согласной с Богом. Последнее — это то, к чему постоянно призывает митрополит Антоний.

Что это означает на практике?

Как минимум две вещи.

Во-первых, любые идеологические превращения христианства (и Церкви) — незаконны и являются его извращениями, его обезбоживанием. Государство, нация, общество, язык, культурные парадигмы, способы мышления и социального существования людей — все это феномены сами по себе внешние по отношению к Церкви как опыту взаимообщения с живым Богом. Они суть, безусловно, те сферы, в которые христиане должны приносить свой особый духовный — и человеческий — опыт, однако объединить их с феноменом Церкви как таинства Тела Христова в одно целое невозможно по определению. Царство Божие — не от мира сего, но именно оно и является для христиан предметом постоянного духовного поиска (как это и заповедует Евангелие).

Во-вторых — и это не менее важно, — пребывание в определенной христианской традиции не порождает с неизбежностью конфессионализма, религиозной изоляции от иных христианских — и не только христианских — форм и традиций. «Правильность» религиозной жизни определяется не только буквой и даже не только смыслом догмата — и уж тем более не местным обычаем. Ибо Бог есть «настоящий Бог», Суций и действующий, и каждый, кто обращается к Нему, открывает Его в свою меру, обретает какой-то опыт встречи с Ним.

Без всякого сомнения, митрополит Антоний — не только «православный епископ», но и живой голос, образ Православия в наши дни; однако он также открыт и к религиозному — и просто человеческому — миру за формальными пределами Православной Церкви. И это не является противоречием, как сегодня кажется многим нашим ревнителям Православия (особенно т.н. «русского Православия»). Здесь уместно вспомнить слова авторитетного и достаточно консервативного богослова и иерарха прошлого века митрополита Московского Филарета Дроздова: «Никакую Церковь, исповедующую Иисуса Христа Господом, не назову я неистинной». Сам Владыка Антоний проповедовал по всему миру в различных христианских Церквях и, как он сам говорит, всегда проповедовал не «православие» (со строчной буквы), но — Евангелие (коль скоро Православие понимает себя как церковное предание, преемственно восходящее к Церкви Нового Завета). Сознание принадлежности к «истинной Церкви», принимающее формы одержимости, — это «несчастное сознание». Ведь очевидно, что «принадлежать» и «исповедовать» еще не значит «быть» и «осуществлять». Подобное состояние — одна из форм идолатрии, обращенности на себя и «свое». В этом случае часто поклонение «истинному учению» вытесняет и оставляет в стороне его Источник — Самого Бога. Митрополит Антоний, проживший все свои восемьдесят лет в Западной Европе, являет пример человека, который открыт к другому опыту и не боится встреч с его носителями — чтобы щедро поделиться своим.

И, наконец, нужно сказать еще об одном, что отличает этого человека. Владыка Антоний являет собой также образ епископа, весьма отличный от того, к которому мы привыкли в России. Епископ — не как администратор только, не как «церковный начальник» с неизменной черной «Волгой» и свитой. Епископ — как духовный лидер, обращенный ко всем и в то же время к каждому, по-человечески доступный, главной заботой которого является научение и передача духовного опыта конкретным людям — то, что по-старому называлось душепопечительством.

Конечно, условия эмигрантской жизни и вообще жизни Православной Церкви в инославной Европе не только позволяют, но и требуют именно такого отношения епископа к своей пастве: там нет — как у нас — громадных церковных епархий со множеством приходов и толпами верующих, многие из которых не являются постоянными прихожанами; там в целом иной стиль взаимоотношений между людьми и иные способы организации религиозных сообществ. Однако дело не исчерпывается этими внешними особенностями. Ведь в древней Церкви епископ и был главой местной общины (а епископии были, как правило, невелики), что позволяло ему быть действительным духовным пастырем своего «словесного стада». Это понимание епископа как прежде всего служителя и как пастуха, идущего впереди стада, митрополит Антоний не только практикует, но и защищает, на нем настаивает. Внешняя помпа, которой по обычаю сопровождается появление архиерея на людях, в храме, — следствие византийского стиля, а также старого уклада, когда архиерей приравнивался к генералу. Сегодня этот стиль вряд ли уместен, с миссионерской точки зрения в особенности.

Церковь как сообщество единоверцев призвана не воспроизводить — даже в институциональных своих аспектах — способы обычной социальной организации со всеми ее неизбежными пороками, но являть возможность общности иного типа, где высшие обращены к низшим и все соучаствуют во всем. Церковная власть — иной природы и восходит к той особой «власти», которую имеет и осуществляет Бог: силы ненасилия, примера и взаимной веры. «Большой да будет вам слуга» — говорит Христос. Во время всего своего священнического служения Владыка Антоний большую часть времени проводил на людях и с людьми. Результатом его миссионерства в Великобритании стало открытие новых православных приходов, появление общин, членами которых являются британцы, ставшие православными. Стоит заметить, что подобному «православному прозелитизму» никто там не препятствовал; напротив, издавали книги митрополита Антония, приглашали его на церковные кафедры, в экуменические собрания, и даже один из университетов присвоил ему почетное докторское звание «за оживление религиозной жизни в стране». Впрочем, в стране своего

пребывания митрополит Антоний стремится не к насаждению «русской веры», но к утверждению и расширению местной Православной Церкви, которая ощущает свою связь с древней Британской Церковью той эпохи, что предшествовала разделению христианского мира.

Митрополит Антоний — не академический богослов. Однако знакомство с его текстами — в подавляющем большинстве первоначально устными выступлениями — позволяет увидеть целостный богословский взгляд человека с «продуманной верой» (по его собственному выражению). Это видение Бога, человека, характера их взаимных отношений, а также христианского отношения к обществу и культуре — видение, которому чужд всякий триумфализм, обычно характерный для замкнутых на себя религиозных общностей. И, кажется, ни у кого, кто имел возможность общения с ним, и даже у тех, кто просто внимательно вчитывался в тексты его выступлений и проповедей, никогда не возникало сомнение, что свидетельство его подлинно и достоверно. По крайней мере, не соглашаться с ним в главном — это, мы убеждены, значит делать выбор против того Православия, которое действительно знает Бога.

Открыв для себя Христа и Его Церковь уже в сознательном возрасте, проведя многие годы в сосредоточенной духовной работе, которая углубила и по-новому удостоверила решающую значимость этого первоначального открытия, митрополит Антоний до сего дня не устает сообщать свое духовное знание всем, кто готов его слушать и услышать.

Владыка с готовностью откликнулся на нашу просьбу — дать интервью для журнала «Континент» — журнала, на страницах которого слова митрополита Антония звучали уже не однажды.

Интервью с митрополитом Сурожским Антонием (Лондон, праздник Преображения Господня, 19 августа 1994 года)

— Владыко, Вы недавно миновали значительный рубеж — 80 лет. Как Вы ощущаете нынешнюю смену эпох: ту, в которую Вы жили и действовали все эти годы и приезжали к нам, и нынешнюю, когда и в Европе, и в России сложилась совершенно иная, новая ситуация — относительно Церкви и церковной миссии? Здесь несколько важных тем, которые мы хотели бы затронуть: Православие сегодня и его судьба; Православие в России; Православие в Англии. Каково Ваше видение этих тем?

И, конечно, нам особенно интересна Ваша реакция на современную церковную ситуацию в России.

— Я думаю, что многие — не Церковь через заглавное «Ц», а церковь как люди — очень часто думают, что верность Преданию заключается в том, чтобы из столетия в столетие повторять одни и те же действия и иметь тот же самый подход. А мне кажется — и когда я говорю «мне кажется», то это не означает какую-то личную фантазию, — что Предание — это живая, органическая память Церкви. И к ней можно относиться так, как человек относится к своему прошлому. Скажем, когда он становится взрослым, он не повторяет того, что он делал, когда был мальчиком. То, что он делает сейчас, вырастает из того, что было, когда он был ребенком. И поэтому Предание — это живая память, которая должна рождать новое мышление — причем не новые фантазии, а именно зрелое мышление — и порой, я бы сказал, даже часто, перемены в том, как ты относишься к изменяющимся ситуациям в окружающем мире. И поэтому, с одной стороны, укорененность в Предании — такая же, как укорененность дерева в почве; но дерево живет не в одних своих корнях — оно живет этими корнями, но развивается оно ввысь и меняется постоянно в зависимости от условий. Когда я говорю: меняется — это не значит, что мне вздумалось жить по-иному, а на основании всего моего человеческого опыта.

Я думаю, что это очень важный момент, потому что в Русской Церкви после всех трагедий, которые она пережила, вопрос о верности очень ярко стоит. И всякое отступление от того, что когда-то было, воспринимается часто как измена чему-то основному. И это вызывает порой такой подход, что надо-де повторять прошлое, надо вернуться к формам прошлого, к языку прошлого, к подходам прошлого. А с другой стороны, если смотреть на Предание как на живую память церковную, так же, как мы смотрим на свой житейский опыт и соответственно действуем в окружающем нас мире, это значит, что мы должны посмотреть на окружающий нас мир и поставить перед собой вопрос: что же это за мир? Скажем, мир современной Москвы — это не мир Византии; и, скажем, мир, в котором я здесь живу, это не мир ранней парижской эмиграции. Я это очень остро пережил, когда переехал в Англию в начале 1949 года. Это был для меня совершенно новый и непонятный, во всяком случае неизвестный мир. Мне пришлось посмотреть на новую ситуацию, и, может быть, потому, что она тогда была для меня новая, мне удалось ее увидеть. И речь шла не об оттенках, а о каких-то очень основных вещах.

Я думаю, что Церковь в России должна перед собой ставить ряд вопросов. Во-первых, осознать, что такое Предание в настоящем смысле — что это не раблепное следование тому, что

делалось раньше. Причем раньше — опять-таки — когда: в петровскую эпоху или после петровской эпохи? Или — громадный скачок — в Византии? Или где и когда? Потому что каждый выбирает то, что ему кажется чистотой Православия.

С другой стороны, надо поставить вопрос о том, что случилось с Церковью в целом, с христианским миром. Был момент, когда Церковь состояла из двенадцати апостолов и небольшого числа верующих. И они были шире всей вселенной, они в себе как бы заключали весь мир. Теперь мы стали небольшой общиной в мире, которому до нас никакого дела нет. Кроме тех случаев, когда мы вдруг чудачествуем или мешаем. Почему это произошло? Мне кажется, потому, что мы ушли в замкнутость: мы стали создавать закрытые общины. Люди приходят в церковь для того, чтобы отдохнуть душой от того, что представляет собой внешняя жизнь. Тогда как надо было бы приходить в церковь встретиться лицом к лицу с Христом и услышать Его слова: Я вас посылаю, как овец среди волков. Вот, мы с вами побыли вместе, мы разделили Трапезу, и теперь идите и несите Благую Весть. Но можно ли сказать, что люди несут Благую Весть, когда они уходят из Церкви?

Я помню, как ко мне пришел один молодой человек, который мне сказал: Вот, я хотел бы стать священником, но меня смущает одно: церковь состоит из слишком большого числа женщин; где же мужчины? Я его спросил: Очень просто — где твои товарищи? Почему их нет? И он на меня с ужасом посмотрел и сказал: Мои товарищи!? Я же не могу с ними говорить о своей вере! Я говорю: Значит, ты хочешь, чтобы тебе предоставили замкнутую общину, где никакого риска нет, где никакого противоречия не будет, и ты будешь вещать. А те люди, которым это нужно, — они остаются вне. И вот это одна из проблем Церкви.

Церковь должна выходить на дороги, на улицы, на стогны — и это возможно. Я по себе знаю — я проповедовал здесь на улицах Оксфорда, на доках в Абердине, на доках в Лондоне. В Оксфорде была устроена всеми Церквями миссия, и меня пригласили проповедовать на улице. И я пять дней проповедовал. Это был очень интересный опыт, потому что был январь месяц, холод, дул ветер; мы поставили большое распятие у дверей университетской библиотеки, я встал там, один студент встал передо мной, чтобы изображать толпу — будущую, а другой стал ходить и «вербовать» людей: Смотрите, там какой-то чудак говорит: почему его не послушать? Действительно, я одет, как никто. И начали люди собираться. Я на них посмотрел — они как англичане стояли на расстоянии друг от друга, потому что, если люди не знакомы, значит, они не могут плечом к плечу стоять. Я подождал, и они начали от холода бледнеть, потом синеть... И я остановился и говорю: вот, вы меня слушаете, вы уже стали синие от холода,

и потому что вы друг друга лично не знаете, вы не становитесь рядом друг с другом, чтобы обменяться животным теплом. Попробуйте! — И они стали вплотную и начали уже розоветь... Я им дал немножко порозоветь и говорю: Вы только что научились тому, что может делать животное тепло. Как вы думаете, нельзя ли это применить к христианскому теплу? Те, что в первом ряду, — им тепло, потому что люди, которые за ними, дышат им в спину. А вот вы переходите назад и дышите в спину тем людям, которые на холоде. Знаете, в течение одной недели они это делали постоянно. Они приходили, становились вплотную, а потом те, которые были впереди, переходили назад. Это очень интересный опыт был. Я думаю, что это опыт, который можно применить — не в такой форме, но принципиально: вам хорошо здесь — а кому от этого лучше делается? Вы святыми не стали — вам только тепло. А вот пойдите и погрейте другого.

Мне кажется, что роль Церкви в том, чтобы вдохновлять людей идти в мир и этот мир преобразовывать. Причем здесь есть важный момент. Часто говорят, что Церковь должна заниматься общественной работой и должна иметь какое-то политическое влияние. Я думаю, что это и правда, и неправда. Церковь должна быть организмом милосердия и любви, но не потому, что она — общественная организация, а потому, что ни один христианин не может вытерпеть, чтобы рядом с ним был голодный или холодный — и ничего не сделать. Но здесь тоже надо учиться. Например, мы здесь собираем деньги постоянно, на разные нужды. И как-то ко мне подошел прихожанин и говорит: вот, вы призываете пожертвовать деньги для голодных и бездомных: сколько? Я говорю: Очень просто. Если вы хотите пожертвовать всерьез, по Священному Писанию, то — десятину; если это Вам не по карману, дайте недельный заработок; если Вы считаете, что это слишком много, дайте ту сумму, которую Вы с семьей истратили бы на один обед. Не шиллинг и не фунт, но сколько кто сможет. И тогда это получается общественная деятельность, но не как организованная работа: вот, человек сидит в конторе и щедро дает какие-то гроши, — а лично!

Второй вопрос — это политическая сторона. У Церкви как таковой не может быть однозначной политики, то есть мы не можем быть ни коммунистами, ни монархистами, ни средними, ни какими-либо другими. Но как Церковь ни старается — у нее ничего не получается. Я думаю, потому, что мы здесь промахнулись — столетиями. Церковь стала себя строить по образцу Византийской империи, и ее строй — строй Византийской империи. Тогда как Церковь была призвана к совершенно иной структуре: соборности, служения. И мы должны были перестроить Церковь на этих началах. И тогда мы могли бы быть примером для нецерковного общества, чтобы оно перестроилось на началах со-

борности, взаимного служения и т.д. Мне кажется, что это очень важный момент.

— К сожалению, это слово — соборность — стало приобретать очень расплывчатое значение. Соборность у нас очень часто похожа на некий коммунистический коллектив на заводе, когда все во главе с начальником идут с лопатами копать какую-нибудь канаву. Как Вы себе это представляете — более конкретно? Должен ли быть какой-то разрыв между государством и Церковью, между обществом и церковным обществом? Ведь в Византии все общество было христианским: все — христиане, и все — члены общества. Каким образом тогда можно было бы помыслить различение государства и Церкви, общества и церковного общества?

— Различие вот в чем: Если кто из вас хочет быть первым, пусть будет всем слуга. Это не государственная структура, это не армия. С другой стороны, Церковь не может быть демократией в том смысле, что большинство голосует против меньшинства. Церковное общество должно достичь — болезненным и трудным путем — того, что апостол Павел называет «ум Христов». Чтобы решения, которые принимаются, были бы решениями, соответствующими «Христову уму», а не коллективному разуму или неразумию людей, которые собрались. Здесь, в нашей сравнительно небольшой общине, мы сделали попытку никогда не принимать решения, на которые меньшинство не согласно. Откладывать, собираться снова, заново обсуждать. Прийти к единодушию, причем единодушию, основанному на Евангелии, а не на том, в чем мы «сговорились» между собой. Это касается и рукоположений в священники. Например, я никогда не рукополагал никого, кого не выдвигала община или кого община была бы не согласна принять. Если какой-нибудь человек оказывается подходящей кандидатурой, я спрашиваю — в личном порядке, не на собрании — членов общины: что вы думаете о нем? Я помню, как мы рукоположили одного священника, потому что ко мне пришли люди и говорят: Почему ты не рукоположишь Сережу? Мы бы к нему на исповедь ходили. Другого священника я рукоположил после того, как он два года со мной работал в детском лагере. Лагерь ко мне пришел: Почему Вы не рукополагаете Даниила? Он нами управляет любовью. Что же касается обычных выборов, то мы приглашаем кандидата на священническое собрание всей епархии, которое у нас бывает два раза в году. И священники высказываются: да, мы можем его принять. Причем идея заключается не в том, чтобы сказать: он умен, учен, он — хорош; а в том, чтобы ответить на вопрос: случись с ним беда — скажем, поскользнулся он каким-то образом, — мы, священники, готовы ли его вынести на своих плечах? Или мы скажем: это твое, епископское, дело. Это очень важно, потому что бывают случаи — так было у нас в

Париже, — когда священникам пришлось вынести из катастрофы житейской одного из своих товарищей. Но если они с самого начала знают, что они берутся этого человека нести на плечах, если будет нужда, то это другое дело. И только тогда я вступаю и действую.

Я думаю, что такая должна быть церковная структура — где на каждом уровне ожидается, что Божий народ принимает решение. К сожалению, в русском языке нет слова, соответствующего греческому слову «лаик» — от слова «лаос» — «народ Божий». Я всегда настаивал, что и епископ, и священник остаются не «мирянами», но именно «лаиками», то есть членами Божьего народа. Я однажды участвовал в одном съезде, где были только миряне, а меня пригласили потому, что я был докладчиком. И меня представил председатель, который сказал: «С нами здесь митрополит Антоний, он мирянин в епископском сане». Мы не перестаем быть мирянами, не в смысле «мира» — как раньше писали через і с точкой, а в качестве народа Божия. И вот, если это развивать, если представлять Церковь так, как однажды о. Софроний мне сказал: Церковь — это пирамида, которая перевернута, так что самый высокий сан — в самом низу, в основании, — тогда надо признать, что этого у нас в церковной жизни, конечно, нет. У нас епископ — управляет, священник — управляет, причем не обязательно потому, что он что-то знает, чего другие не знают, а «по сану». Я помню, как меня спросил один студент в Троице-Сергиевой лавре, когда я что-то подобное говорил: Ну как же так, ведь нам говорят, что священник — это икона Христа? Я отвечаю: икона делается настоящей Иконой, когда она освящена и когда человек, глядя на нее, перестает ее видеть и становится лицом к лицу с Первообразом. А пока ты не стал прозрачным в этом смысле, ты просто дубина, на которой намазали краской. Он, может быть, не очень был доволен таким определением, но я это очень чувствую по себе. Если ты — в священном сане, твоя одежда, может быть, к этому относится, но ты — никак! Мне кажется очень важным делать такие различия.

— Владыко, скажите, Вам с самого начала было ясно, что существующая административная структура нуждается в изменении, или это результат многолетнего опыта?

— Нет, это очень постепенно пришло. Скажем, у нас в Париже не было никакой особой структуры. У нас не было тогда местного епископа; нашим епископом был Владыка Елевферий Литовский и Виленский, которого мы видели раз в несколько лет. Мы относились к священникам нашим, как к старшим братьям, и они действительно служили в самом глубоком смысле слова. Они голодали, холодали и заботились о нас: они нам были действительно отцами, и поэтому и вопроса такого не стояло. Но когда по-

смотришь на иерархический строй, скажем, у католиков, тогда видишь эту изуродованность. То есть организацию, которая заменяет собой существо дела.

— *Можно ли сказать, что мы должны искать просто золотую середину между хорошей организацией и таким почти харизматическим, любовным отношением, которое ведь очень плохо держится среди реальных людей?*

— Должна быть организация — организация, которая не является самоцелью и которая не ограничивает жизнь. Это организм, который способен к изменениям и способен реагировать, отвечать на жизнь, а не только хранить свою структуру.

— *Какова, по Вашему мнению, в этом смысле роль богословия? Ведь, с одной стороны, был яркий, непосредственный опыт, скажем, в 1920-е и 1930-е годы, когда у вас, в эмиграции, были настоящие богословы. Но совершенно другая ситуация в России: там организация церковной жизни становилась все более жесткой, а богословия становилось все меньше и оно приобретало подчас очень странные формы. Важен ли в этой ситуации теоретический, богословский момент для понимания и в какой мере? Или все идет и создается из опыта?*

— У нас есть исконное православное богословие, которое соответствует тому, о чем я говорил. И также есть сейчас, после прошедших десятилетий, возможность пересмотреть свои структуры, свои предрассудки — на основании этого богословия и на основании жизни. А где-то в интервале забывается богословие как слово о Боге и Слово Божие к нам, и остается только структура, остаются только строительные леса. И эти леса приобретают колоссальное значение: власть, право решать... И это в опыте Церкви в России распространяется также и на младшее духовенство. Человек, которого рукоположили, думает, что он может вести другого человека от земли на Небо. Об этом меня тоже спрашивали когда-то в Троицкой лавре, в семинарии, и я сказал: Ты можешь быть проводником только туда, где ты бывал. Пока ты сам не бывал в Царстве Божием, не говори людям, что ты можешь их провести туда. Ты можешь сказать: вот чему меня научили — идите в этом направлении. Пока мы можем вместе идти — на основании моего опыта и того, чему меня научили, — я тебе буду спутником. Но я тебя не буду наставлять на то, куда и как идти.

Надо все продумывать и еще раз продумывать. Скажем, когда я приехал сюда на приход вскоре после того, как я уволился из армии, после войны, я начал строить приход, как офицер строит свое подразделение. Тогда это было даже необходимо, потому что надо было создать какую-то структуру, чтобы что-то окрепло. Но это — не Церковь: это — полк. И я стал себя ломать, потому что мне проще всего было быть командиром: я

воспитывался в русских организациях, которые были полувоенными, и провел пять лет в армии, которые тоже меня чему-то научили в этом смысле. Но я решил: нет, так нельзя, надо перестраиваться. И я думаю, что всякий епископ в Русской Церкви может это понять и не бояться того, что он потеряет авторитет или возможность строить Церковь, если он призовет других людей думать с ним. Не обязательно в том смысле, чтобы его переубеждать: ты, мол, стар и глуп, а мы молоды и лучше понимаем... Нет. Но просто ты живешь в пределах замкнутой, закрытой Церкви — мы живем в открытом мире: вот что мы знаем о нем... Что ты ответишь на это? Как нам сотрудничать? Я не думаю, что каждый епископ или священник на это пойдет, но этим надо заниматься.

Я думаю, что будет какой-то период брожения, а потом все большее число людей будут задумываться. Очень многие просто удовлетворены существующим статус кво, потому что это беспроблемно, но есть люди, которые думают и которые ищут единомышленников и людей, которые могут свою точку зрения выразить. Очень важно эти точки зрения выражать, причем не в виде обновленчества, а в виде исконного православия — но не старообрядческого. Обновленчество в дурном смысле — это, прежде всего, приспособление Церкви к миру и пренебрежение памятью церковной в пользу приспособления к новым обстоятельствам. Скажем, протест против окаменелости может выразиться — выродиться в совершенную бескостность и неопределенность. Есть вещи, которые историческое обновленчество вводило и которые имеют ценность: например, русский язык в богослужении. А есть вещи, которые неприемлемы с точки зрения святоотеческого опыта. Я не говорю «текстов», но именно опыта.

Мы здесь на Западе употребляем западные языки, и в России это ценится: да, мы принесли православие сюда и на западных языках мы им делимся с другими. Скажем, здесь в нашем храме мы совершали венчание на восьми языках. Но в России на собственном русском, народном языке почему-то богослужение совершать нельзя. Это абсурд. Так что есть вещи, которые сейчас считаются невозможными, но о них надо думать. Потому что если бы так, как некоторые сейчас, думали в Византии, то мы сейчас продолжали бы служить на греческом языке той эпохи, на языке, который и греки больше не понимают. То, что люди путают некоторые выражения славянского языка, понимают их превратно и умиляются там, где умиляться нечему, — это не такая беда. Но все-таки на своем языке молиться — очень важно. И не обязательно для этого все переделывать, но надо этот язык омолодить, сделать более понятным. Я помню, как одна старушка мне говорила: как замечательно, что в Православной Церкви и зверей поминают... Я спрашиваю: Каких зверей?.. — Ну как же,

на вечерне поют « Я крокодила пред Тобою..» (То есть «Яко кадило пред Тобою..») Беды в этом нет, а все-таки лучше было бы, чтобы она о кадиле думала...

— *Как Вы оцениваете ситуацию, которая сложилась в связи с богослужebной практикой московского прихода о. Георгия Кочеткова?*

— Я писал об этом патриарху. О том, что русский язык надо вводить по возможности, во всяком случае омолаживать славянский язык, чтобы он становился все более и более родным и понятным. Это одно. Второе — это то, что надо богослужение сводить все больше к его сущности и, по возможности, исключать из него все то, что Владыка Никодим называл «литургическим балетом». В-третьих, проповедь должна быть на нормальном, понятном человеческом языке, а не на семинарском языке с употреблением таких слов и таких оборотов речи, которые никто не понимает — и порой даже сами говорящие понимают превратно. Что касается о. Георгия, я думаю, что ему надо помогать. Пусть это будет пока экспериментально, не надо всех благословлять делать так же; надо посмотреть, не получится ли что-либо стоящее из этой практики, и тогда это может быть распространено шире.

— *Какие главные задачи, по Вашему мнению, у православного свидетельства в настоящее время и на будущее?*

— Я думаю, что одна из вещей, от которых нам надо избавиться — в разных странах по-разному, но это общая задача, — это страх... Страх того, что Православие может быть опорочено, что оно может быть испорчено. То, что Божие, испортить нельзя. И поэтому мы можем совершенно бесстрашно открыться окружающему миру. Скажем, общаться с неправославными, не сдавая ни одной позиции, но не в порядке самообороны. Я помню, когда Русская Церковь была принята во Всемирный Совет Церквей, за нас говорил Владыка Иоанн Вендланд, и он сказал: Мы благодарим вас за то, что вы нас приняли в свою среду; мы вам не приносим новое учение, мы вам возвращаем учение Древней Церкви, которое вам принадлежит так же, как нам, но которое вы отчасти потеряли. И мы вас просим: принесите плоды, которые мы не сумели от него принести... Мне кажется, что это было замечательно сказано, потому что — неправда, что нет Православия в неправославных верах. Нельзя так разделить: здесь — чистота, а здесь — нечистота, потому что в нашей среде очень много путаницы, а в той среде очень много света...

Владыка Антоний Храповицкий, который был одним из самых узких богословов, которых можно себе представить, написал в 1920-х годах статью, где поставил вопрос о том, каким образом Церковь стала из столетия в столетие относиться с меньшей строгостью к людям, которые от нее отпадали. Он говорит, что это можно объяснить двояко: или тем, что Церковь потеряла свое

чутье — и тогда она не Церковь; или тем, что каждая группа, которая с течением времени уходила из Церкви, уносила с собой все большее и большее православное содержание, и Церковь это понимала. Церковь, конечно, видит разницу между теми, кто отрицал Божество или человечество Христа, и теми, кто в дальнейшем перестал исповедовать полноту и чистоту Православия. Я думаю, что мы можем совсем открыто и бесстрашно идти вперед и, глядя на других людей, радоваться на то, что в них есть, а не нападать на них из-за того, чего у них нет.

Старец Силуан писал в одном письме о том, что его посетил русский епископ из Китая, который ему говорил, что китайцы — безнадежный народ, буддисты — безнадежный народ, их никаким образом не обратишь. Силуан его спрашивает: А что Вы делаете? — Я иду к ним в капище, и когда наступает какой-нибудь момент тишины, я начинаю им говорить: Что же вы поклоняетесь этим истуканам? Это же дерево, они же никак вам не отвечают! Разбейте все это, становитесь христианами! Силуан спрашивает: А что с Вами дальше бывает? — Они меня бьют и выкидывают из капища... Силуан ему говорит: Знаете что, Вы сделайте лучше по-другому: пойдите в капище и посмотрите, как они благочестиво и искренне молятся. А когда они кончат молиться, позовите их священников и скажите им: Вот я стоял тут и обратил внимание на то, сколько молитвы, благочестия у вас есть; расскажите мне о своей вере... И когда они будут рассказывать, каждый раз, когда они что-нибудь скажут приближающееся к христианству, говорите: Как это замечательно! Вот, если бы еще эту крупичку прибавить, будет еще лучше... И тогда Вы внесете сколько-то христианской веры в их сознание...

Я думаю, что этого у нас мало. У нас — чувство обороны: надо защищаться... Не от чего защищаться — с нами Бог. Я не говорю, что с другими Его нет; я говорю, что если мы верим, что с нами Бог, то — чего нам бояться? Я ездил в Америку, лет тридцать тому назад, и один выдающийся православный богослов мне говорил: Ты же не будешь общаться с протестантами и католиками?! Я говорю: Я только для этого и приехал, меня пригласили в десяти городах читать лекции о молитве. А что тебя беспокоит? — Он говорит: Они могут отравить твое Православие... Я думаю: Боже Ты мой! Я дожил до пятидесяти лет, и если от встречи с какими-то протестантами или католиками я могу перестать быть православным, то мне вообще не надо быть священником! У нас есть этот момент страха, и нам надо открыться, не бояться! Причем и неверующего бояться не надо. Здесь есть еще и этот момент.

Христос с нами разделит всю трагедию человечества: и основная трагедия человечества — это потеря Бога. И когда Он на Кресте, умирая, говорил: Боже, Боже, зачем Ты Меня оставил?! — это

момент, когда Он, в Своем человечестве, вдруг потерял контакт с Богом... И Он умер от обезбоженности. Но это не значит, что я верю, что Христос был атеистом, как одна греческая газета представила, обвинив меня в ереси. Это то, что о. Софроний Сахаров раз назвал «метафизическим обмороком Христа»... И поэтому я думаю, что нет ни одного безбожника, который безбожие так знает и так переживает, как Христос его переживал. Нет ни одного безбожника, который — вне опыта Христа. Поэтому мы можем и к безбожнику так подойти: ты — наш; Христос все о тебе знает, Он это пережил так, как ты никогда это не переживешь...

Беседу вел А. Кырлежев

Антоний, Митрополит Суражский

ИЕРАРХИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ ЦЕРКВИ

Выступление на епархиальном собрании, Лондон, 12.06.93

Когда мы говорим о Церкви, мы можем подходить к ней с двух сторон. Катехизис сообщает нам, что Церковь есть общество людей, объединенных одной иерархией, одним вероучением, одним богослужением и т.д. Однако это слишком внешний подход. С таким же успехом можно говорить людям: если вы хотите найти такой-то храм, то вот вам описание его, вот как он выглядит.

Но Церковь узнается изнутри, и «внутреннее» Церкви невозможно определить ни одним из этих понятий — ни одним словом, ни всеми вместе, потому что Церковь — это живой организм, тело. В XIX веке Самарин определял Церковь как «организм любви». Тело это — одновременно и человеческое, и божественное. Это сообщество людей, которые связаны с Богом не только верой, не только надеждой, или устремлением, или обетованием, но гораздо более органично. Это место, где Бог и Его творение уже встретились, уже заодно. Это само таинство встречи. Это путь, по которому человек может войти в это соотношение.

Церковь человекна в двух различных аспектах: в нас, пребывающих, так сказать, в становлении, и — во Христе, Который есть откровение Человека, такого человека, каким мы — каждый из нас в отдельности — призваны стать.

Церковь также есть храм Святого Духа. И мы — каждый в отдельности, индивидуально — тоже призваны быть местопребыванием Духа. И поэтому как Церковь в целом — все ее члены, — так и каждый ее член являются вместилищем Святого Духа. Вместилищем в том смысле, что мы не можем обладать Духом, однако Он дает Себя нам так, что мы оказываемся охвачены Его присутствием, опять же в большей или меньшей степени в соответствии с нашей открытостью Ему и нашей верностью Христу, то есть верностью тому, к чему мы призваны: быть совершенным образом совершенного, полного, действительного Человека. И во Христе и в Духе мы — «чада Божии», дети Бога.

Мы часто думаем о себе в терминах приемных детей. Христос есть Единородный Сын, а мы, так сказать, Его братья и сестры. Так Он нас называет — Своими друзьями. Но мы пребываем на этом уровне только потому, что не достигли в меру возраста Христова. Наше призвание — расти в подобие Христа, чтобы в каждом из нас и во всех вместе можно было увидеть то, о чем говорит, как о нашем призвании, св. Ириней: во Христе силою Духа Святого мы призваны стать не только приемными детьми Бога, но все вместе стать Единородным Сыном Божиим. И то, что к нам может быть обращен такой призыв — всем вместе быть единственным Сыном Божиим, — показывает, насколько полным должно быть наше единство, как оно должно быть совершенно.

Это очень важно. И поэтому, говоря о структурах, мы должны помнить, что вот это и есть сущность, подлинная реальность Церкви, а все остальное только служит этой цели, ее достижению. Безусловно, как я уже сказал, мы только находимся на пути к этой полноте. Но вместе с тем Церковь уже — изначально — есть эта полнота. Как говорил о. Георгий Флоровский, мы одновременно *in via* — в пути и *in patria* — на родине, дома. Мы уже дети Царства. Царство уже пришло в мир. Мы все его граждане. И в то же время мы граждане, которые должны — каждый из нас — еще вырасти в полную меру Христа, то есть должны стяжать то, что Павел называет «умом Христовым». Мы должны настолько исполниться Духа, чтобы каждое наше слово, каждая мысль, каждое движение нашего внутреннего «я» — и даже самого нашего тела — было исполнено Духа. Как говорил старец Силуан Афонский, благодать Божия, достигающая нас в духе, постепенно охватывает нашу душу и в конце концов наполняет и тело, так что тело, душа и дух становятся одной духовной реальностью, единой со Христом, и мы таким образом становимся — не только зачаточно, не только в перспективе развития — действительно членами одного Тела.

Когда мы думаем о том, как связаны составные части этого Тела (апостол Павел говорит о глазе, голове, ноге и т.д.), мы должны сознавать, что наше призвание — призвание Церкви —

быть иконой, образом Святой Троицы. Единственной подлинной «структурой», единственным реальным путем, на котором Церковь будет строиться в соответствии со своим призванием, является отображение ею во всем своем бытии тех отношений, которые существуют внутри Святой Троицы: отношений любви, отношений свободы, отношений святости и т.д.

В Троице мы различаем то, что греческие отцы называют «монархией Отца», то есть единоначалием Отца. Он есть источник, «сердце» Божества. Но и Дух, и Сын равны Ему: они — не производные, не вторичные боги, но суть то же, что и Он. И мы должны спросить себя: что это значит? Как мы на земле можем быть образом, иконой этой реальности?

Для нас вершина, предельная точка — это Господь Иисус Христос. Господь Иисус Христос — наш Господь, наш Бог, наш Спаситель и в Нем начало всех структур — тех структур, пронизанных присутствием Духа Святого, которые в Духе и во Христе постепенно соделывают нас — сначала несовершенным, но — образом Святой Троицы. Когда я говорю «образом», я не имею в виду некую неподвижную структуру, но нечто динамичное и мощное, динамично-живое, как Сама Троица. Некоторые отцы Церкви говорят о Троице в терминах *перихорезы* — кругового движения хоровода, в котором три Божественные Лица в одномоментности вечности занимают места друг друга. Они являются один для другого тем, чем каждый является для всех — все время, в каждый момент. И это то, к чему мы призваны.

У меня нет времени развить эту мысль. Но если это так, тогда в жизни Церкви есть два аспекта. Во-первых — это по необходимости структуры, потому что мы несовершенны, мы только еще на пути, мы нуждаемся в водительстве, и как река, текущая к морю, мы нуждаемся в берегах, — иначе мы превратимся в болото. Во-вторых — это живая вода, которую Христос дал самарянке, — вода, бегущая в этих берегах.

В нас есть нечто, что свершено, и нечто, что несовершенно. Если развить сравнение с иконой, можно сказать, что не только каждый из нас в отдельности, но и Церковь в целом, подобна иконе, которая была написана совершенно, но затем испорчена, искажена человеческой небрежностью, ненавистью, различными обстоятельствами, всем злом мира, так что для постороннего взгляда человека, чуждого Церкви, некоторые ее части до сих пор выражают эту совершенную красоту, тогда как другие являют следы порчи. И наша личная задача, призвание в своей собственной жизни и в жизни общины, к которой мы принадлежим, — это может быть приход, евхаристическая община, епархия, Церковь поместная или вселенская — состоит в том, чтобы восстановить эту икону в совершенной красоте — в той красоте, которая в ней уже присутствует.

Можно сказать иначе. Святой Ефрем Сирий говорит, что когда Бог творит человека, Он вкладывает в его сердце, в сердцевину его существа полноту Царства или, если угодно, совершенный образ Бога. И цель жизни в том, чтобы пробиваться, все глубже и глубже, к этой центральной точке — чтобы выявить то, что заложено в глубине. Поэтому, когда мы говорим о структурах Церкви, мы должны помнить, что в Церкви есть нечто, что не может быть структурировано, не может быть организовано, не может быть ограничено правилами и уставами. Это — действие Духа Святого в каждом из нас и внутри отдельной общины, а также и вселенского церковного сообщества. И это очень важно, потому что Святой Дух говорит нам и с нами, с каждым и со всеми вместе, или воздыханиями неизреченными, или же с ясностью трубного гласа, призывающего нас на борьбу.

Но, с другой стороны, в нас есть несовершенство и хрупкость, и поэтому должны быть и структуры, подобные лесам строящегося здания или берегам реки, или палке, на которую опирается хромой, чтобы не упасть.

Однако настоящим искушением для Церкви, как и всякой человеческой организации, являются структуры, построенные согласно мирским принципам: принципу иерархии и власти. Иерархии как подчинения, как порабощения, как унижения; иерархии, оттесняющей чужих и ненужных. Нередко в наших общинах (на практике — в очень многих православных общинах; богословски же — в Риме) миряне оказываются не нужны, неуместны. Это — стадо, которое нужно пасти; у него нет никаких прав, кроме послушания, кроме того, чтобы быть ведомым к цели, которую, как предполагается, знает духовенство.

В своей крайней форме это проявляется в представлении, что вся полнота власти сосредоточена в руках папства, так что Церковь воспринимается как пирамида, на вершине которой — папа. Это богохульство и ересь — ересь против природы Церкви. Богохульство же потому, что на том возвышенном месте, которое присвоил себе папа, никто, кроме Господа Иисуса Христа, не имеет права стоять. Поэтому вопрос здесь не в том, хорошо ли будет управляться Церковь, но это хула против Христа и самой природы Церкви.

Вместе с тем, исключая эти две крайности, — под чем я разумею властные структуры и подчинение, которое они предполагают, — мы все-таки должны задать себе вопрос о том, какими должны быть структуры Церкви. Структура, о которой мы говорим, есть та, которую Христос определил словами: «Кто из вас хочет быть первым, да будет слугой всем». Смысл иерархии — в служении. Чем выше служитель по своему сану, по своему званию, тем ниже он должен быть в отношении своего служения. Он должен

совершать наиболее низкое и смиренное служение, а не наиболее высокое.

Для тех, кто знает французский язык, я приведу пример. Однажды во Франции журналист задал мне вопрос: почему христиане так высокомерны, что употребляют такие титулы, как «Ваша Эминенция» — «Ваше Преосвященство»? Это относилось ко мне персонально. И я ответил: А почему нет? Это знак нашего предельного смирения. Есть горы, есть холмы, а есть просто бугры (по-французски *une éminence* — небольшая возвышенность, бугорок. — Прим.пер.). И я думаю, что с богословской точки зрения это был правильный ответ. Это именно то, чем должны быть патриарх, митрополит, архиепископ, епископ, духовенство и т.п.: оконечностью перевернутой пирамиды, когда они находятся снизу и пирамида стоит на одной точке, обозначающей высшего иерарха — самого низшего служителя. Вот это мы должны снова осознать.

Но мы сможем это осознать только тогда, когда восстановим понимание Церкви как тела и сообщества с множеством функций, а не множеством групп, соединенных так, что одни стоят на головах у других. В данном случае я имею в виду то, что мы должны восстановить понимание роли и достоинства мирян. У нас был недавно епархиальный съезд на тему царственного священства. Царственное священство забыто. Если оно не забыто в богословских учебниках, оно забыто на практике, в жизни. Я настаиваю на этом, потому что хотел бы, чтобы вы поняли и приняли мою точку зрения — для меня очень важную, очень мне близкую.

Становясь служителями Церкви — священниками, мы не перестаем быть членами Тела Христова, «лаоса» — народа Божия. Однажды на конференции, куда клирики не допускались, а меня пустили, потому что я должен был выступать, меня представили словами: «Здесь присутствует митрополит Антоний, который является мирянином в духовном сане». И это совершенно верно. В некотором смысле «лаос» включает в себя также и клириков, но с другими функциями. Мы должны восстановить это понятие о святости и достоинстве мирян. Если же мы этого не сделаем, мы не сможем говорить о структуре Церкви, как об образе Троицы. Мы не можем сказать, что в Троице — и сейчас я скажу нечто почти кощунственное — существует «хозяин» и подчиненные ему рабы. Бог Отец — это не «начальник» в Троице, рядом с которым есть еще два меньших начальника.

Действительно, отцы говорят, что Бог творит мир двумя руками, которые суть Сын и Дух, и в этом контексте такое сравнение уместно. Но по существу Три Лица Троицы совершенно равны друг другу, и так же существует полное равенство всех членов Церкви. По-иному быть не может.

Конечно, существует иерархическая структура, в которой тот, кто выполняет наибольшее служение, кто является слугой для других, есть наибольший в очах Бога. В этом все дело. Но это менее всего заметно в нашей литургической практике, потому что наша Евхаристическая литургия во многом переняла формы византийского императорского двора, придворного ритуала. И поэтому не так уж трудно епископу чувствовать себя «центром», главой общины, окруженным служителями меньших рангов, за которыми, в отдалении, стоит и народ. Но это неверно.

Литургия совершается всей общиной, а не только священнослужителями. Вот почему я неоднократно говорил, что тот, кто не присутствовал с самого начала службы, не может подходить и причащаться — если, конечно, не существует серьезных, уважительных причин. Ибо иначе он не участвует в совершении литургии. Если кто-то приходит в середине литургии и хочет причаститься, это значит, что для него литургия — все равно, что ресторан, где повара приготавливают блюда, а ты приходишь, когда тебе надо, и просишь для себя порцию.

Это очень важно: мы должны снова понять, что лаос, народ Божий *включает* клириков. И в этом смысле различные члены рукоположенного священства занимают каждый свое собственное, особое место в созидании Церкви.

С самого начала, с первой главы книги «Бытия» призванием человека было освящение всего творения Божия. Св. Григорий Палама говорит, что человек сотворен принадлежащим двум мирам: миру Божию — духовному миру и миру материи. И не потому — это уже я добавляю, — что он есть высшая точка в процессе эволюции, наиболее совершенная обезьяна, ставшая несовершенным человеком, а затем разжившаяся во что-то еще. Человек не был создан из наиболее совершенной обезьяны. Согласно Библии, он был сотворен из праха земного. Бог взял как бы основной материал всего творения, и сделал из этого человека, так что человек участвует во всем, что было сотворено из земной пыли, начиная с малейшего атома и кончая самой большой галактикой, а также во всем остальном, что мы видим в окружающем нас тварном мире с его растениями, животными и т.п.

Это чрезвычайно важно. Если Бог стал человеком во Христе, значит Христос участвует, как и каждый из нас, в материальной пыли, в галактиках, в атомах, в животном мире, во всем, что принадлежит тварному миру. Он воспринял опыт всех творений. Он — один из нас, но в Нем каждая тварь может увидеть себя самое в том предельном состоянии, которое является ее призванием, ее целью.

То же самое, когда мы думаем о хлебе и вине Евхаристии. Хлеб и вино остаются хлебом и вином в том смысле, что они не становятся чем-то иным по сравнению с тем, что они есть.

И вместе с тем, исполненные силы Духа Святого, они становятся Телом и Кровью Христа,— не переставая быть тем, чем они являются. Таким же образом мы призваны стать сынами Божиими в едиnorodном Сыне — «едиnorodным сыном в едиnorodном Сыне»,— не переставая быть уникальными личностями — каждый из нас. Каждый из нас уникален пред Богом, а не только — одна из особей человеческого рода, подобных друг другу. В книге «Откровения» говорится, что в конце времен каждый получит имя, которое знает только он и Бог,— имя, совершенно выражающее сущность каждого, его уникальную связь с Богом.

И поэтому, когда мы говорим об иерархии, мы должны понять, что необходимо восстановить правильный подход к ней: как иерархии служения, иерархии смирения, иерархии, в которой нет места господству, власти. Бог избрал бессилие, когда даровал нам свободу, право ответить Ему «нет». Но Бог во Христе, Бог в Духе приобрел иное качество: не власть, которая принуждает, но авторитет, который может убеждать. Это не одно и то же.

Авторитет есть качество человека — и Бога,— способного быть убедительным, но не заставляя нас делать что-либо. И если наша иерархия постепенно придет к пониманию, что ее призвание — обладать авторитетом, а не властью, тогда мы будем ближе к тому, чем Церковь призвана быть: живым телом, «организмом любви» — но не сентиментальности. Ибо Христос говорит о любви словами: «нет большей любви, если кто положит душу свою за ближнего».

Поэтому, говоря о структурах Церкви, нужно сказать: да, они необходимы. Но отношение со стороны людей, находящихся на «командных высотах», должно быть отношением служения. «Я среди вас как слуга», — говорит Христос. И мы — как и Он — призваны быть слугами. Структуры необходимы, потому что мы хрупки, греховны, потому что диавол искушает нас, потому что мы — незрелы. Но эти структуры должны быть подобны Закону Ветхого Завета, который апостол Павел называет «детоводителем», педагогом — тем, кто учит и направляет.

Когда мы читаем в начале книги «Бытия», что человеку было дано господство, мы всегда толкуем это в терминах права на управление, на порабощение, на подчинение; права относиться ко всему творению как к подвластному. На самом деле слово «доминирование» в английском и французском происходит от латинского «доминус», которое может означать «владыка», «повелитель», а может значить и «учитель», «наставник», «мастер». Наша задача — быть этими «наставниками», приводящими все творение к полноте единения с Богом, а не доминировать, не господствовать. Но в этом процессе, как я сказал, необходимы и структуры, и формальное, институциональное священство.

Почему вообще священство? Позвольте мне сказать,— и это мое предположение, так что всякий, богословски более сведующий, чем я, может поправить меня,— позвольте мне предположить, что каждое человеческое существо призвано привести в область Бога все, что его окружает: обстоятельства жизни, места, где он живет, существа. Но одного человек не может совершить: он не может сам себя освятить. Мы не в состоянии актом воли, по своему собственному решению стать тем, чем мы не являемся по причине нашего отступления от своего призвания. И вот почему Христос и Святой Дух входят в мир и действуют, и поручают нам sacramентальное служение, то есть служение священников, назначение которых — приносить Богу элементы этого тварного мира, так чтобы они могли быть изъяты из области греха и введены в область Божию; а Бог затем воспринимает их и освящает силою Святого Духа.

В этом смысл священства. Его административный аспект — это не сущность его, а нечто уже побочное, второстепенное. И поэтому оказывается, что существует «структурированный» народ Божий — *лаос*, к которому принадлежат и клирики, то есть священство, назначением которого является литургическое служение, совершение священнодействий или, лучше, создание ситуаций, в которых может действовать Бог. Потому что,— если речь идет о литургии,— *никто не может* совершать литургии и на самом деле она не совершается никем, кроме Самого Христа: Он — единственный Первосвященник всего творения. Мы можем произносить слова, делать жесты, но тот, кто приносит эти дары Богу, есть Христос; и сила, которая претворяет эти дары в Тело и Кровь Христовы, которая преобразует воду, взятую из колодца, в воду вечной жизни, есть Дух Святой.

Перевод с английского А.Кырлежева

Сергей ЮРОВ

ЛИЦО, ПОЖЕЛАВШЕЕ ОСТАТЬСЯ НЕИЗВЕСТНЫМ

Константин Пантуев, 28 лет, ушел из жизни 8 июля 1989 года, выпив смертельное количество снотворного. У русских хиппи это называлось «золотой дозьяк». К хиппи, инвалидам, поэтам и другим отбросам советского народа Костик относился хорошо. Двухметровый парень из Владивостока, отдавший зоне 10 от своих 30-ти и наживший там туберкулез в последней стадии (вес 60 кг), мог бы это подтвердить. Костик подобрал его на улице и пустил перезимовать. Таких историй было десятки, поэтому идем дальше.

Я познакомился с Костилом в 1986. Три года мы встречались очень часто, и мне есть что вспомнить.

Его гардероб складывался из свитера домашней вязки, коричневых для будней и парадных серых брюк, клетчатой рубашки, матерчатых летних и бесформенных зимних ботинок, куртки болгарского производства, лыжной шапочки*. Костик не слишком обременял мир вещественными доказательствами собственного существования, и в итоге у меня, не считая боли, сохранилось одно-единственное — номер дебильного журнала «Трезвость и культура» с первыми главами поэмы «Москва-Петушки» и автографом автора «Юному другу Костику от седого литератора Вен. Ерофеева». Но если учесть, что седой литератор пережил своего юного друга меньше чем на год, то и эта улика приобретает черты косвенной.

Июньским утром восемьдесят восьмого меня будит телефон: «Это говорит лицо, пожелавшее остаться неизвестным...»

Где могила Неизвестного Костики, я не знаю. Больше года капсула с прахом почему-то хранилась в квартире его родителей.

Последышу шестидетной семьи из Зеленограда выпала короткая жизнь во времена, когда люди одержали безоговорочную победу над человеком. Пусть датировка Костики, скажем, дворянским

* Финские вельветовые джинсы «Wrangle» были подарены Костику М. Кудимовой поздней осенью 1988 года.

ХІХ-ым (слово чести, табу на чужие письма и деньги) или каким-нибудь иным веком есть безусловное упрощение, но несвоевременность Костика очевидна.

Серьезное отношение к своей жизни как частному случаю универсальной драмы человеческого бытия всегда и везде противоречит общепринятым стандартам времени и места. В этом смысле Костик был несвоевременен и неуместен, его одинаково не задевали ни дилемма «сверхчеловека» ХІХ-го — «тварь я дрожащая или право имею», ни массовая парадигма ХХ-го — «я — дрожащая тварь, а следовательно имею право». Он не был дрожащей тварью, и куда больше, чем права, его интересовали «долги наша».

Тема «Костик и общество», если она вообще возможна, — это тема конфликта персональной жизни как личной интерпретации вечного содержания с общественной жизнью как вечной интерпретацией личной бессодержательности. Я что хочу сказать, бездарное у нас общество.

Костик дружил с Новодворской, что тогда было небезопасно. В восемь утра (воскресенье, декабрь 1987) в снимаемую Костицом квартиру № 19 на последнем этаже хрущевского барака приехало КГБ. Обыск закончен в три, перепуганные соседи-понятые закрывают дверь: выходной погублен из-за щуплого тихого засранца, испорчен аппетит и не вернешь «Утреннюю почту». Агенты по протоколу изъятия изъяли и увезли к себе на Лубянку несколько килограммов самиздата, пишущую машинку, Костика.

До 23 ноль-ноль майор занимался с Костицом, «лучше все рассказать», «плохие твои дела, парень». Требовались «данные» на Новодворскую (арестованная, она доводила «слуг народа» в соседнем кабинете). Костик молчал, и ближе к полночи арестованного Пантуева выпустили, взяв подписку. Декабрьской ночью он вышел на пустынную площадь Дзержинского и зашагал к метро. Площадь площади Дзержинского около шести квадратных километров, а по ночам больше. Площадь Костика — стремительно летящая к нулю БМВ (бесконечно малая величина). БМВ-Костик юркнул в метро, в Чертаново поехал, «домой».

Добираться из разных мест до Чертаново Костику оставалось меньше двух лет. Под Новый 1989-ый год хозяину «дома» показалось, что сто рублей за две роскошные немеблированные комнаты — это мало. Квартирант съехал в московскую зиму — полгода холода и ветра, грязного снега на неосвещаемых улицах, курточка эта чудовищная, шапочка «лыжная».

Майору (подросткему в чинах или преуспевающему в коммерции) и хозяину (потомственный врач, более ничего не знаю) ночлежки, где Костик провел три счастливых года своей жизни — «отдельная благодарность», как пишут на чехлах грампластинок.

Самая большая глупость — это попасть в жанр некролога, фальши, доведенной до слез (по-гречески — мертвословие). После

следующего предложения Костик, наделенный идеальным слухом благородного человека, посмотрит на меня с жалостью. Вот: Костик был человеком культуры. Пустота на его месте, вкупе с пустотами на местах других «лиц, пожелавших остаться неизвестными», вероятнее всего и есть причина жалкого состояния русской культуры. Ответить, где причина этой причины, я не умею, и остается только смотреть, как заместители пустот делают все, чтобы говорить о русской культуре стало неприличным.

Личный путь любого человека есть непрерывная (до известного момента, естественно) цепь ошибок. Человек культуры — это тот, кто совершает правильные ошибки. Нищий, деклассированный, неуместный, несвоевременный Костик совершал правильные ошибки.

А седуksen горстью?

На это мне нечего сказать, и все, что я могу сделать, — это отвести пару наиболее частых, обыденных объяснений.

В России человеческая жизнь ничего не стоит, и абсолютно безопасных вещей в России нет, есть лишь разные градусы опасности. У нас, например, слово «охота» прежде всего даст спонтанную ассоциацию «несчастный случай», а уже потом, может быть, затрубят егеря и полетят быстрые прозрачной осенней далью. Крикни в эту даль: «Суицид!». Эхо ответит: «Пьянство!».

Но Костик не пил.

Можно возвести между собой и добровольной смертью другого оборонительный редут психопатологии. Кстати, Костика спасла от армии справка из дурдома. Однако легкость такого объяснения не совпадает с ясным и стройным душевным механизмом, который Костик являл естественно и непринужденно. Может быть, подвижной щуп этого механизма опустился на ту глубину, где «смерть» и «неизбежность» становятся полными, взаимозаменяемыми синонимами. К обыкновенному человеку тавтология «неизбежность неизбежна» изредка наведывается ночью, заставляя беззвучно кричать «Нет!» и размахивать руками. Но Костик не был обыкновенным человеком, он был необыкновенным человеком, а поэтому, а поэтому я горожу чушь, жалкую несусветную чушь.

Но ангедонии у Костика не было, я знаю, что говорю...

...на четырех машинописных страницах слово «Костик» появилось 28 раз. Непозволительная бедность словаря. И выхода нет, заменить нечем. Зато, уже опозорившись, можно сделать вид, что демонстрируется дешевый авангардистский фокус и написать самое главное: Костик... Костик... Костик... Костик... Костик... Костик... Костик... Костик... Костик... Костик... Костик... Костик... Костик... Костик... Костик... Костик... Костик... Костик...

ДЛИННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, ИЛИ КОСТИК ИЗ СЕДЬМОЙ БЕЗДНЫ

Провожала Костика процессия, разнородная, как хрестоматия: знатная революционерка с бригадой, безгонорарные поэты, инвалиды в колясках малой механизации и неофиты в бесполох рубищах. Неофитами были, впрочем, почти все, потому что комсомол распался. Куда пристроить «КОМ» и «МОЛ», еще было мало-мальски ясно, а вот что делать с «СО»? Будучи первым и по совместительству вторым слогом молодежного имени Сталина, это «СО» одновременно подходило и к тройке оСобого СОВещания, и к Социализму, но в целях временной конспирации, связанной с ревизией смыслов, оно органично вмонтировалось в хомяковскую затею Соборности, якобы сурово отличающую русское Православие от пагубного инославия. Костик принял Крещение считанными месяцами раньше собственных похорон, детально избегая соборности не в составе Символа веры, а в роевом, толстовском значении. И одиночества он боялся, как всякий неврастеник. И рою не доверял. С тем и пришел ко вратам...

Вина и обида засматривают в яму, куда мы погребаем возлюбленных наших. Мне не доводилось испытывать новаторски описанного в классике чувства: хорошо, что не я, — при последнем целовании. Скорее: жаль, что не я. Опять не я. Костика я поцеловала в крышку гроба — лицо открыть не позволили. Вина — загадка, тупая, как камень-гнет: почему ты нас покинул? Обида — недоумение: на кого ты нас покинул? Она, напротив, обоюдоостра, вторым концом колет оставшихся: «на кого» — вотум недоверия им. Одно дело, когда уводят. Тогда порция обиды отплевывается разлучнице, и любимого минует чаша демьяновой ухи. Другое дело, когда у х о д и т. Тогда обида, единая и неделимая, заливает берега сиротства полой, дикой, тяжелой водой. Вода стоит, не склывая, не поя, не испаряясь. Костик ушел сам... Когда ж «обидой» опилась душа разгневанная», берега вновь обнажились и заняли по отношению к реке подобающую позицию. И на этих берегах было начертано — прямо про Костика: «Берегитесь, когда приходится бороться за жизнь в самом себе, когда нервы натянуты, воспалены, берегитесь обнажить свое сердце, свой ум с какой-нибудь неожиданной стороны. Сосредоточив остатки сил против чего-нибудь, берегитесь удара сзади. На новую, непри-

вычную борьбу сил может не хватить. Всякое самоубийство обязательно результат двойного воздействия, двух, по крайней мере, причин» (В. Шаламов «Серафим»). И неразрешимость загадки, и навеки вздернувшее брови недоумение происходили от «двойного воздействия». Имя его — обида, а фамилия — вина, то есть те же, что срикошетили в оставшихся и были приняты ими за свои. Других причин наложить на себя руки нет. Есть частные обстоятельства.

В Церкви, куда разными путями проникли уже все друзья Костика и куда он пытался войти через дверь, а она оказалась тяжела, руки пристывали к ручке, суставы от натуги выворачивались из плечей — там, внутри, две причины поделились между двумя самоубийцами. Один — обиженный, другой — виноватый. Один — Сатана, ангел света, Денница, друг Бога — до Моисея и пророков. Другой — Иуда Искарот, друг Бога и ученик, поцеловавший Его. Тщательно, слишком тщательно готовясь к уходу, Костик перецеловал всех, перед кем был заведомо виноват. А Тот, на Кого он был обижен — за тяжелую ли дверь, за непривычную ли борьбу, отшел жестокий вопрос: «на кого?» и поставил: «каково?». Каково Костика — т а м, куда его не призывали? Куда он ушел сам... Обида не знает жалости. Жалеть умеет только вина.

...Тогда я руку протянул невольно
К терновнику и отломил сучок;
И ствол воскликнул: «Не ломай, мне больно!».
В надломе кровью потемнел росток
И снова крикнул: «Прекрати мученья!
Ужели дух твой до того жесток?
Мы были люди, а теперь растенья...»

(Данте «Ад», пер. М. Лозинского)

А берега превратились в заповедник Костика, и каждое слово, сказанное на левом берегу, обращалось к правому, как подсолнух, смыкало их — пологий с отлогим, как радуга, и все книги были про Костика, тем более, что многие из них написаны самоубийцами или о самоубийцах: «Он не был способен ни на какое дурное движение душевное... Чувство человеческого равенства было ему присуще в высшей степени; всегда, со всеми людьми без исключения, держался он одинаково» (Воспоминания о Вс. Гаршине). Именно эгалитаризм, сугубый миф русского интеллигентского сознания, мешал Костика предпочесть людям — Бога, согласиться, что они Ему — не равня. А без этого предпочтения жить нельзя. Нечем.

В детстве моем было два дворовых суицида — оба через повешение. Вор Володя, женатый на цыганке Лидке и менжезавшийся между ходками в окурковом подвале с выводком цыганят, проиграл себя в «буру». Сын его первым обнаружил тело отца, уже отконвульсировавшее в деревянном сарае и висящее грузно и ровно, как набатный рельс. За Володей вскоре последовал кладовщик Юзик. Он разговаривал с водевильным идишевым акцентом и боготворил свою полудебильную от калорий дочь. Лицо Юзика было в экземе, и мы не пошли смотреть, как он повесился, потому что и живой он был нам эстетически неприятен. Оба покойника воплощали для нас, полубеспризорников эпохи освоения космического пространства, кьеркегоровскую «отрицательную форму бесконечной свободы», и мы ни на миг не задумывались, каково им т а м. «Счастливы тот, кто найдет положительную», — вздохнул Кьеркегор.

Когда душа, ожесточась, порвет
Самоуправно оболочку тела,
Минос ее в седьмую бездну шлет.
Ей не дается точного предела;
Упав в лесу, как малое зерно,
Она растет, где ей судьба велела.
Зерно в побег и в ствол превращено...

Самоубийство как высшая форма самоуправления... Трактат с обличениями и назиданиями. «Су-и-цид». «Сый-и-стыд»... «Положительное» — это «нельзя», «отрицательное» — «можно». Первый вопрос начинающего релятивиста — почему нельзя? Ответ: потому, что — самоуправство... Кол, на колу мочало, начинай сначала.

Православный катехизис, 574: «Самоубийство есть самое законопреступное из убийств. Ибо если противоречит природе убить другого, подобного нам, человека, то еще более противоречит природе убить самого себя. Жизнь наша не принадлежит нам как собственность, но Богу, Который дал ее». Значит, самоубийство проходит не по статье «не убий», но «не укради»? Владыка Филарет, начетчик и поэт... Всю-то он софистику проехал, всю патристику прошел. «... не принадлежит нам как собственность». Украсть — взять чужое. У самого себя можно украсть только самого себя. Но мое Я, по катехизису, не мое. Я не Я. И, значит, Бог, Которого человек, предположим, выстрадал, — экзистенциалистский Чужой. Посторонний.

Некий М.Г. Кривошлык, молочный брат Козьмы Пруткова, повествует: «Филарету донесли на одного священника (О темпора! Вы все одни и те же. — М.К.), что он поминает самоубийц. Владыка призывает его к себе и спрашивает, правда ли это.

— Правда, Владыко...

— Как же это ты так делаешь?

— По любви и состраданию. Бог не запрещает любить, а помиловать — это уж Его воля.

Посмотрел Филарет на священника, прочел в лице его выражение высокой христианской любви и сказал со вздохом:

— Молись, брат!..

Что уж там было «в лице» безвестного «нарушителя конвенции», но как христианин он настолько выше своего начальства, насколько Филарет Московский выше своего создания — катехизиса.

Молитва оптинских старцев несет отпечаток исихастической конкретики: «Взыщи, Господи, погибшую душу раба Твоего...». «Взыщи» — разыщи. Душа самоубийцы в розыске. Взыскание погибших. Данте нашел Костика в седьмой бездне:

Пойдем и мы за нашими телами,
Но их мы не наденем в судный день:
Не наше то, что сбросили мы сами.

Теневое жилище определено у Бога по дантовской схеме всем — в том числе и самоуправцам. Но поговорка «душа с телом расстаётся» веет здесь вечностью, индийской кармой. Происходит расподобление, обезображивание — «в побег и в ствол». Тело — одежду сущности — сдувает прочь, как тряпки, которыми сказочный дурак прикрывал голые деревья.

Я видела Костика во сне лишь однажды. В каком-то пустом подвальном кафе (в подвале жил вор Володя) с флюоресцирующими матовыми столиками на ножках-фомках Костик долго не поворачивал ко мне лицо. И только когда я, как жена Лота, оглянулась на выходе, увидела, что лицо его покрыто слоем не то смородинового варенья, не то запеклось масочным струпом, как у Юзика и меня, маленькой, когда сосед обварил мясным бульоном и меня тут же окунули в бульон из марганцовки...

Значит, «жизнь взаймы» — жалкий плеоназм? Эта единственная безусловная данность в ощущениях, как бы они ни были неприятны, даже не находится у меня на балансе, потому что если она — не моя, то меня попросту — нет! И тогда мне действительно не с чем покончить. Какой-то чудовищный перевертыш... Жизнь — Божий подарок, сюрприз, кукла, заласканная до отрыва конечностей... «Дар напрасный, дар случайный»... Как Костик любил стихи! Маслинными глазами впитывал их, будто свет. Погиб от впечатления. Жертва импрессионизма. Жизнь — багровый тигель, переплавляющий в опыт, в на глазах густеющую и гаснущую массу, персидскую сирень впечатления! Но ведь не поленился Филарет, напряг всю риторическую семинарскую память, ответил приунывшему поэту. Ведь даже самые злые мальчишки не отбирают назад подарков. А Бог — отбирает?! Чуть, издержки педагогики: «Ешь скорее, а то дядя отберет!». Но по-

дарок, вопреки этикету, иной раз и передаривают. А то еще и возвращают (достоевский билет в зубах навяз). Передаривают — тому, первому обидевшемуся. Возвращают — наново обидевшись. Таким образом, подарок всегда, в любом случае попадает в руки «князя вещества». За исключением тех случаев, когда съедается, изнашивается, то есть употребляется по назначению. Костик боялся передарить и потому возвратил. Страх собственной немощи поразил его ранее страха Божия. Сознание никудышности прихлопнуло раньше, чем сошла Благодать. «Импрессионизм» жизни у интеллигента обязательно связан с «руссоизмом» в религии, о котором предупреждал о. А. Ельчанинов, расшифровав это повсеместное среди новоначальных явление как «мысль, что здесь, на нашей земле, до всеобщего суда и осуждения, могут быть явления безукоризненные — в нас самих, в других людях, в человеческих отношениях». При условии религиозного индифферентизма ставка на безукоризненность и ложится в основание интеллигентских приоритетов. В ситуации религиозной, в храмовом интерьере эти приоритеты ничего не значат. На зыбкой почве пробуждающейся веры, принципиально иного типа сознания, важен плавный, внешне нерезкий и внутренне неинфернальный переход. Фигура переводчика — в полисемантическом смысле, — вождя того, способного вывести из метели смятения, здесь первостепенна. Вероятно, искусством перевода обладал о. А. Мень. Аффектация «в нас самих», развенчанная Ницше применительно к христианам, к христианству не имеет отношения. Взыскание безукоризненности с других — пародийно: «Я прошу у тебя извинения, но и ты должна сделать то же самое». Это все знакомо до зевоты.

Духовный отец, доставшийся Костику, вероятно, замечательный катехизатор. Но с его точки зрения, уставной и потому безукоризненной, катехизируемый, катехумен, не оправдал доверия, подвел. Меч духовный занял руку иерея, свободную от креста, и ему нечем было приободрить, погладить по голове растерявшееся, сжигаемое аффектом самоосуждения чадо. Ельчанинов не уставал объяснять: «Только первые шаги к Богу легки; окрыленность и восторг явного приближения к Богу сменяются постепенно охлаждением, сомнением, и для поддержания своей веры нужны усилия, борьба, отстаивание ее». В отрицании души, которую взял на себя, природил, духовник Костика шагнул дальше родственников мертвой героини «Домби и сына», попрекавших ее на одре за то, что она не сделала усилия: он не пришел на похороны вообще. Может быть, переживал свое поражение и, следовательно, тоже находился в плену безукоризненности, превратившей Костика в саркофаг собственных нервов. Прохладный Ларошфуко понимал трагедию неопита лучше православного священника, Бог ему судья: «Истинный признак христианской

добродетели — это смирение; если его нет, все наши недостатки остаются при нас, а гордость только скрывает их от окружающих и нередко от нас самих». Гордость по праву занимает второе после безукоризненности место среди личных доблестей интеллигента...

К абсолютному катехизическому «нельзя» как «положительной форме» даже Филарет Дроздов рискнул приставить «почему». Этот наивный вопрос, торчащий в каждой паре сапог, сношенных на пути смирения, дал Камю право обосновать проблему самоубийства как единственно серьезную философскую проблему. Достоевский, открывший феномен «логического самоубийства», был родным отцом экзистенциализма. Но «двойное воздействие», голевая передача вины — обиде, гарантирующая физическое выполнение интеллектуальной задачи, как во вратарскую площадку, прорывается в эмоциональную, душевную сферу. Рефлексирующий богатей Савва Морозов в романе Алданова «Самоубийство» размышлял о том, что самое действие может быть автоматическим, то есть усилие туда потенциально ничтожно по сравнению с усилием обратно. Но смирение и есть такое усилие — изгнание обиды и вины, равновеликих составляющих «двойного воздействия» через эмоциональную жизнь человека. Ни Достоевский, ни Камю не решают школьной задачи с вопросом: почему нельзя? Из пункта А движутся туда Кириллов, Ставрогин, Свидригайлов и иные поборники «логики» Достоевского. Им навстречу, по всей видимости, оттуда, ибо больше неоткуда, шествуют Матреша, Кроткая, девушка, оставившая записку: «Предпринимаю длинное путешествие», — и примкнувший к ним Костик, ничуть не лишний в этой феминической компании. Но встречаются они в абсурде Камю и совершают, выполняют одно и то же! Значит ли это, что свобода не имеет «положительной формы», именно формы как интерпретации? «Самоубийство совершают потому, что жить не стоит», — заключает Камю. Заключает, соответственно, исходя из абсурда мира, из «логики» только Кириллова, Ставрогина, Свидригайлова. Или потому, что «Бог не захотел», — резюмирует Достоевский, адвокат Матрешы, Кроткой и, несомненно, Костики. Значит, Бог не исключает «отрицательной формы»? Значит, нельзя — виноватым? А обиженным, стало быть, — можно? Я только спрашиваю. «Униженным и оскорбленным» — можно? Необходимо, — отвечает Достоевский. Что??? Повторяю: необходимо. Привожу полностью: «В результате (какое резиново-рессорное, не-достоевское слово! — М.К.) ясно, что самоубийство, при потере идеи о бессмертии, становится совершенною и неизбежно даже необходимостью (что я говорила! — М.К.) для всякого человека, чуть-чуть поднявшегося в своем развитии над скотами». Но тогда да здравствуют скоты, коль скоро им не грозит такая ужасная потеря! Или — совсем

уже непонятно, когда же, собственно, человек такую идею обрел? До того, как «поднялся»? Почему человеку грозит утрата этой сверхценной идеи именно в связи с «подъемом»? Да ведь речь-то идет, убейте меня, не о другом чем, как о вторых шагах к Богу! Только необходимость усилия подменяется необходимостью суицида. Что же, Бог «не захотел», не предусмотрел пути оттуда? Нет! Он предоставил поиск человеку. И никакой другой «положительной формы» нет и не бывает! Значит, самоубийство Матрешы и Кроткой — отрицательная форма смирения. Потому что место вытесняемой обиды заполнилось виной. Всклянь. «С головкой». А смирение для христианина, в свою очередь, есть та самая «бесконечная свобода», которой нам все уши просвистели. Как и «идея о бессмертии», она давно стала крапленой картой в захватанной колоде прописных истин. Но бессмертие не является христианским откровением. Уже в ведических книгах устоялась мысль о двусторонней связи: человек зависит от богов, но и боги зависят от человека. Уже в книге «Ле-цзы» написано: «...все следует предоставить естественному течению. Зачем в страхе медлить или торопиться в этом промежутке (между рождением и смертью. — М.К.)?». Пифагорейцы повторяли на разные лады, что боги сами укажут человеку, когда и как угодна им его смерть. «Бессмертие» в устах обреченных — та халва, от которой не становится сладко, потому что ее не положили в рот. Мудрые и целомудренные говорят лишь о тайне часа смерти. И, чем человек выше «поднялся над скотами», тем эта тайна неразгласимее. Надежда, дочь матери-Софии, занимает в софиологической триаде то же место, что Сын Божий в живоначалной Троице. Надежда г-на Симеонова-Пищика, что как ни-то все устроится: или «промежуток» позатянется, или д-р Моуди выручит. Надежда гарантирует Пищика не только от самоубийства, но и от пограничных состояний. А свобода? А свободы ему вообще никто не обещал... А вот так! Ему сказали: Я дам вам истину. А уж там — как получится.

Завмаг Силайкин в рассказе Шаламова заметил, что «преступников вовсе нет, кроме блатарей». Это, разумеется, в ситуации, когда «тюрьму никому не обойти». Так, применяя шаламовско-силайкинскую методику, выводим, что в дни «великого смещения масштабов» свободных вовсе нет — кроме мертвых. И выкрик Вертера: «Я должен был умереть вчера, в тот же миг!» — торжество беглеца из «дурки», который всего-навсего выскочил в коридор из палаты, а там еще пять дверей, и все заперты. Это бесконечное навязывание Богу своей смерти, вялая торговля «на грош пятаков» сделали разглашение тайны обыденным сплетничаньем у подъезда. Если ты знаешь, когда и как тебе надо умереть, то и умирай на здоровье. Йоги и аскеты всех мастей вычисляют свою смерть с точностью до минуты. Принято думать, что это и есть высшая

стадия посвящения. Но Сын Божий, предчувствуя крест, надеялся ничуть не меньше Симеонова-Пищика:

Если только можно, Авва-Отче!..

«У царя Траяна козы уши!» — кричит мальчик матери-сырой земле. «Мне надо было умереть вчера!» — кричит самоубийца. Оба не справились с тайной. О Вертере, магистре Ордена Разгласителей, или о боявшемся собственного сочинения Гете говорит Томас Манн: «Он не хочет признавать самоубийство слабостью и доказывает, что именно в этом человеческая гордость и свободная воля торжествуют над обессиливающим воздействием страданий»? О смещении масштабов: гордость и свобода здесь соседствуют.

Тайна срока смерти есть расстояние между Богом и человеком, дистанция между Творцом и тварью. Уничтожить ее можно только насильственным путем, как стереть грани между городом и деревней. Литература преуспела в этой гонке в обратную сторону. И.о. Творца стал автор, и он же захватил место твари, идентифицировавшись с героем, развоплотив его, «родив обратно». Человек стал интереснее Бога сразу после грехопадения. Пока Библию не перевели на греческий и латынь, литераторы не подзревали, какой подарок им приготовил Создатель. Да и потом довольно долго ленились размышлять. Средневековое «солнце правды», «умное солнце» померкло лишь в хищных глазах гуманистов. Они догадались, что человек грешный сложнее и богаче безгрешного Бога. Да и траектория греха нелинейна, а потому плодотворная в сравнении с линейной перспективой праведности. Так была решена проблема положительного героя. Но так герой стал многообразнее автора, от которого в худшем случае ушла жена и убежал кофе. Героя уничтожали всеми мыслимыми способами, отправляли на тот свет с вариативностью, не снившейся Дракуле и Сосо. Так «препростому существу» — Богу — мстили за тайну смертного часа. За милосердие вообще. Явленная Сыном сложность мира, обжитого грехом, не отрицала простоты Отцовского Эдема, но преемствовала ей при посредстве Благодати Духа Святого. Искусство же, не вмеслив и тайны Воскресения, невозможного без Сыновнего преемства, наслаждалось возможностью выбора смерти героя, а затем съело его, как маньяк, и стало последовательно суицидально: вобрав героя в себя, автор мог теперь расправиться с ним только через самоуничтожение. Это блистательно доказал постмодернизм. «Слушали музыку самоубийц!» — воскликнул о своих ровесниках 30-летний В. Голованов. Гуманистическое разочарование в Троице отозвалось через ножницы деизма и рогатки пуританства суицидным пиршеством романтизма и Вертером — пророком его. Вася Голованов своей метафорой объял XX век — век глобального декаданса. Но на могилах Ромео

и Джульетты, любовников-самоубийц, клялся в эстетическом согласии Ренессанс. Ирония — не спасительная плéгелевская, а черная сажина — комом стоит в номинации этого царства смерти как Возрождения. В той же пиесе грамотно аттестовал латальную литературу никем не услышанный брат Лоренцо:

Страстей таких конец бывает страшен,
И смерть их ждет в разгаре торжества.

«Самопознание есть саморазрушение». Кровь невинно убиенных героев залила первую часть равенства Ницше, превратив его в страшную шараду: «...есть саморазрушение», звучащую с параноидальной категоричностью, как «Есть такая партия!». Щелочная среда иронии окончательно засушила романтические цветы. Разрушенную материю все полновластнее заменяли синтетические волокна, эрзацы. Утраченные куски плоти — от глаз и зубов до половых органов — восполнили протезы. Выполнены они с различной степенью технологической адекватности. Кому вживляли в мозги электронику, кому оборудовали тележку на шарикоподшипниках.

Фредди Крюгер, сочащийся лимфой призрак убитого героя, многосерийно вставал на горизонте новой литературы. Несварение катастрофы отдавалось гулками метеоризмами полистилистики. Почему в отсутствие «моно» всегда рождается «поли», русское «поли»? Уж лучше бы «нихиль»... Честные протезы «шестидесятников», этих мересьевых, наевшихся ежатины, не взбухали, как горошина от жара, волдырями вдохновения. Их вставные челюсти и положенные на полку не покрывались бессонным никотиновым налетом подлинности. Спи, Шекспир, которого не Бог весть какой молитвенник Тургенев обозвал самым антихристианским драматургом. Отдыхай, Гете, подождав немного! Самая жуткая сказка детства — «Медведь — Липовая нога» — сделалась былью протезной литературы, а качество дерева только добавило сходства. Поэма без героя, аллюзивно-цитатный гомункул, апофеоз жизни без Христа, реанимации без Воскресения. Ретортен беби — новый, не предусмотренный Благою Вестью аспект Сыновства. Критик Фома, сующий протез в рану Распятого Бога! Вот сюжетец! Это вам не «Школа для дураков» — лабораторное чучело Фолкнера. А то еще: на представлении «Царя Иудейского» билет — именной, заметьте, — через голову Христа-Спасителя передается, например, Будде с Кришной. И немудрено: герой, как в сочинении венценосного К.Р., отсутствует на сцене. О, какой бурлеск! Какие диалоги возобладают!

— Стой! Это не будка с крышкой. Это Валя с генисом.

— Ну, пусть...

Суицидальность этой драматургии в вытеснении Героя, Который с нами во все дни до окончания века. И мы доподлинно знаем его, нищего безумца, краснобая и бомжа, но, подобно Петру, утверждаем, что понятия не имеем. Только с отречения Петр начал апостольский путь, а нам на протезе так далеко не ухромать. Лазарь на протезе — вот еще неплохая идеечка.

«В контексте конфронтации (человека и безмолвной вселенной, — М.К.), — говорит Камю, — убийство, по сути дела, равноценно самоубийству». Эгалитарная вселенная, вселенная равенств, где третий безусловно лишний, и мы безусловно знаем, Кто этот третий. Эгалитарность, вящая слава интеллигенции, равноценность самопознания и саморазрушения, икса и игрека, коммунизма и молодости мира. И — никакой, ни малейшей разницы в том, что Отец — умер, что и было торжественно провозглашено, — а Сына — убили!!! Что и было художественно забыто, закамуфлировано очередным манекеном. Жрем тело Его и пьем кровь Его и делаем вид, что ровно ничего не произошло. Летят самолеты — «Хари Кришна!». Плывут пароходы — «Слава КПСС!». А пройдут пионеры — «Хайль Гитлер!». А «Христос воскрес» — никто, никогда, наипаче же Ярославны Губельмановны, что выступают по религиозным вопросам. И в мире без Христа, — а до или после, уже совершенно не важно, — я готова сразиться только по одному пункту равенства, с одной только главою в книге Абсурда. Я утверждаю, что самоубийство предпочтительнее, нравственнее, во всех отношениях порядочнее убийства. Самоубийство здесь есть спасение от человеческой расправы, есть единственная защита от абсолюта убийства. И применительно к миру, откуда изгнан Человек, тысячу раз прав Сократ: смерть в нем не имеет никакого отношения ни к живым, ни к умершим. И Сократ сам выпил цикуту, не дал убить себя. Дал себя убить только Христос. И те, кого истина сделала-таки свободными. Потому что у героя нет выбора. «Ведь Он не может, если бы даже хотел, совершить самоубийство»*, — так в главе о Боге отвечает Плиний на «почему нельзя». Но с тех же полос, которые полтора десятка лет тому требовали уничтожить то Синявского, то Пеньковского, сегодня, ввиду свободы слова, а снова не Человека, все, кто по-прежнему живет в страхе, что его рано или поздно, не за ту, так за другую провинность шлепнут, как мальчишку в Иркутске, вопрошают: «Разве не имеет права преступник покончить с собой после суда? (самосуда! — М.К.). Если нет, то почему?.. Он должен иметь свой выбор, в том числе и выбор смерти» («Собеседник»).

* В трактате «Биатанатос» (1606) Джон Донн развил версию самоубийства Христа, опираясь на стих из Иоаннова Евангелия: «Никто не отнимает ее (жизнь) у Меня, но Я Сам отдаю ее» (Ин. 10:18).

Этот парень не читал ни Плиния, ни Ельчанинова. Об отсутствии выбора он знает не больше, чем последний постмодернист. Но самое поразительное — то, что для него, принимающего страдания, Голгофа пуста, как сцена в «Царе Иудейском» для критика Фомы. На кресте не только Сына Марии Девы, но и «разбойника благоразумного». Вымарано и предпочтение толпой другого разбойника, но тут явная оплошка цензора. В. Шаламов, изучая в лагерной больничке шкафы с ядами, перевел по аналогии «герой» как «сильно действующий». В эгалитарной вселенной сократической смерть, «длинное путешествие» есть единственный выход, «ценнейший дар человеку» (Плиний) «слабо действующему», вовсе бездействующему, парализованному, Лазарю, которому предлагается пара желтых скрипучих протезов. «Это были мученики, а не герои». Эпитафия Шаламова противопоставляет жертву — поступку, что в христианской системе ценностей не так кощунственно, как может показаться. Средневековый brutальный эпос «Беовульф» воспеваает Христа как молодого героя. Аскетика впереди — или безнадежно позади. Плодотворна только попирающая смерть жертва. Мертворожденных «безмолвной вселенной» она преображает в жертвожденных, освобожденных Искуплением, собранных (со-бранных, однополчан) синонимией КРЕСТА и ВОСКРЕСЕНИЯ. Тогда «Смерть героя» переводится как «Конец главы». Но следующую главу читать не велено. Не по программе.

Перестать быть скотом, чтобы без промежутка покончить с собой — человеком? Но именно об этом мечтают сладострастно, как не мечтают о любви, славе, богатстве. Я не встречала никого, кто был бы наделен более, чем одной извилиной, и по чести бы отрицательно ответил на провокаторский вопросец Черного Саши:

Мой близкий! Вас не тянет из окошка
Об мостовую брякнуть шалой головой?

А сомневающимся, нетвердым ставится в дополнение:

Ведь тянет, правда?

Ой, правда! Достаточно вспомнить не слабака Толстого с его веревкой и ружьем. Мечта о суициде имеет разную степень приближения к идее фикс, воплощается в эту идею, потом развоплощается и иногда заканчивается счастливым браком, а иногда, опять же, «Вертером». И до дурдома отсюда тоже недалеко, но маршрут сей вовсе не обязателен. Иные держат ближних в интриге возможного суицида многие годы ко взаимной пользе. Интриганы чем наглее напирают, тем скорее не совершат, а ближние научатся избегать резких поворотов, а то кто его знает. Истерики и меланхолики ничуть не более потенциальные самоубийцы, нежели

жизнерадостные массовики-затейники. Скептики и циники оснащены антисуицидным иммунитетом отнюдь не надежнее тонкокожих элегиков. Дело не в темпераменте, не в особенностях психики и уж совершенно не во врожденной предрасположенности. Человек, особенно юный, может сделать попытку — отшатнуться в страхе. Может, как Костик, повторять попытку вплоть до удачи. Но и тут глупо искать систему. Дело только в сюжетостроении. Способность воспринимать себя как героя некоего сюжета — отстраненно-заинтересованно — и неспособность управляться с собой по собственному, а не авторскому разумению, если не исключают самоубийство, то очень и очень затрудняют его исполнение. Осознание Я-героя есть первый шаг к христианскому, глубоко сюжетному мироощущению. В истинных христианах более всего поражает цельность, фабульность. Все члены на месте, протез приставить некуда. Так в роман нельзя вписать извне добавочный персонаж, как бы уместно нам ни казалось его появление. Так Святое Евангелие можно экранизировать, класть на ноты и представлять под куполом цирка, но нельзя вынуть Героя. Даже когда Его нет на сцене. Тем более, когда Его нет. Если мы все, кто находится внутри сюжета, начавшегося две тысячи лет назад в Галилее, договоримся между собой, что Герой нам надоед, устарел и вообще творит неподобающее и надо Его заменить, это будет означать, что мы все — самоубийцы. Если же мы действительно однажды не обнаружим нашего Героя в сюжете, значит, произошло невероятное — самоубийством покончил Бог. Но тогда нам уж точно нечего будет делать в «безмолвной вселенной». И мысль эта не столь фантастична, если, например, взглянуть с точки зрения героя Т. Набатниковой, придающего суициду «значение абсолютной реабилитации». «Реабилитировать» вечно виноватого Бога не удалось ни святым, ни атеистам. Может быть, Ему осталось только обидеться...

Христианское искусство есть искусство Пасхальное, искусство Воскресения. Самоубийство же исключает Воскресение, отрицает его. Воскресение и самоубийство — это Христос и Антихрист. «Мирное сосуществование» их немислимо. Поэтому немислимо сопряжение искусства Пасхи и искусства суицида. Векторы их так разнонаправленны, что любая приноровка ведет к опрокидыванию, к обратной перспективе, к антимиру. Однако, тема самоубийства, начиная с гибели Иуды, присутствует в христианском искусстве в нескольких модулях, а отнюдь не избегается, как тема Воскресения в искусстве антихристианском. Как пример авторской сублимации не станем в тысячный раз помянуть Вертера и Анну Каренину. Но вспомним, что через Пушкина, много и сосредоточенно мечтавшего «об этом», нам известна мистификация Сент-Бева. Тот создал поэта Делорма, который сочиняет суицидальную элегию. То есть описывает собственное

самоубийство. Подчиняясь законам жанра, Делорм вписывает свое отчаяние в природный фон, в пейзаж. И на фоне пресловутой спасительной красоты поступок героя особенно безобразен. И особенно ясно, что мечту о самоубийстве провоцирует недостаток в мире любви и нежности. И красоты. Жалость к себе, любимому, заставляет Делорма напрягать фабулу: так, гипотетический труп героя по его «завещанию» будет найден «Только через месяц или через два, может быть, через год...» (Костика нашли через три недели. Потому и не открыли лицо при прощании. Там, где он это сделал, соседи давно потеряли обоняние на супе из сельдечных голов). Мрачное воображение Делорма рисует собаку, обнаружившую тело, и ее брезгливый испуг, и оторопь охотника, и его безоглядный бег «до самого поселка». Но высшее наслаждение доставляет Делорму описание собственного полуистлевшего трупа:

Несколько местных жителей придут ранним утром,
Вытянут за волосы неузнаваемый труп,
Эти обрывки тела и кости, забитые песком.
И, примешивая шутки к каким-нибудь глупым рассказам,
Долго будут совещаться над моими почерневшими останками
И наконец повезут их на тачке на кладбище...

Опосредованная ирония Сент-Бева направлена против романтического флера и сопливости. Ему не требуется, как Гете, убивать героя, чтобы списать на него то «патологическое состояние», о котором он позже поведал Эккерману. Да и Делорм, слава Богу, только сочиняет. Но если самоубийство есть совлечение образа Божия, то «почерневшие останки» вместо реванша или реабилитации, по всей видимости, останавливают многих «мечтателей».

Поэт Некрасов показал ту же ситуацию уже глазами «местных жителей» с поправкой на крепостную зависимость. Ярославские ребята из стихотворения «Меж высоких хлебов» вряд ли слабонервнее и экзальтированнее своих нормандских однодельцев. Правда, самоубийца тут уже не воображаемый, и острота восприятия сельчан просто потрясающая:

Ой, беда приключилась страшная,
Мы такой не знавали вовек!
Как у нас, голова бесшабашная,
Застрелился чужой человек.

Исполу относим содержание к революционному народничеству автора. Но только христианин может назвать случившееся «страшной бедой». Страшной! А эти люди, без сомнения, пережили и пожары, и холеры, и недороды. И ни на что так не реагировали.

Какие же основы бытия должны быть потрясены, чтобы русские хлебопашцы признались, что такой беды «не знавали вовек»? Какой сюжет был жестоко оборван на их глазах? А главное, что реакция крестьян доказывает: их духовная жизнь, до которой три года скачи — не доскачешь, не заряжена бациллой суицида. Ошеломляет и полное отсутствие осуждения того, кто принес им столько хлопот и огорчений. Это в XX веке Машинист из пьесы Н. Садур вынесет вердикт. «Кто на себя посягнул, тот на людей плюет». Дорогостоящий и такой приговор из уст народа — кумира интеллигенции. Я не знаю, поют ли на каком-нибудь еще языке песню о самоубийце, как поют до сих пор в России «Меж высоких хлебов»? Я знаю, что Костик плевать не намеревался. Он хотел по-честному. Он не мог остановиться на варианте ежедневного квазисуицида, совершаемого нами, «не совсем самоубийства», про что писал Пришвин: «...я не прекращаю жизнь свою, а только не поддерживаю, потому что устал...». Самоубийство — всегда зло другому. Иначе не бывает.

Вина и обида. Любовь и гордыня. «Двойное воздействие». Как там поет популярная «женщина — зубной техник» стихи труднейшей из самоубийц:

За то, что мне прямая неизбежность—
Прощение обида...

Январь 93 г.

Илья СЕРМАН

ВЗГЛЯД ИЗДАЛЕКА

Чему, чему свидетели мы были...

Пушкин

Конец 1920-х — начало 1930-х годов породили несколько очень интересных собственно литературных и мемуарных произведений, в которых литераторы трех основных литературных направлений дореволюционной эпохи занялись подведением итогов достигнутого и сделанного ими, их единомышленниками и союзниками. Символисты (Андрей Белый, Георгий Чулков, Ольга Форш), акмеисты (Осип Мандельштам, Георгий Иванов), футуристы (Борис Пастернак, Василий Каменский, Бенедикт Лившиц) и другие, менее интересные авторы, подвигнуты были неким единым импульсом. Всем захотелось оглянуться назад в предположении еще более страшных грядущих социальных и идеологических перемен.

Хотя Горький как будто принадлежит к литературному лагерю, враждебному всем этим направлениям, я хочу вспомнить здесь и «Жизнь Клима Самгина», очень тенденциозную, но и самую содержательную хронику идейной жизни эпохи.

Свобода слова не только освобождает от нажима посторонних сил, она обязывает пишущего соразмерить свои возможности с темой, за которую он берется. Поэтому, говорю сразу, — у меня есть мое дополнительное право писать о мемуаристах начала 1930-х. Право естественное — право человека, который в те годы жил сознательно и как мог, их понимал. Я пишу о тридцатых годах нашего века как человек того времени, которому по счастливому стечению обстоятельств удалось дожить до конца века, и потому получить возможность двойного зрения на ту эпоху.

Как верно заметил Михаил Лившиц в 1981 году, «нужно иметь ключ к внутренней жизни 30-х годов, чтобы понять их роль в развитии нашего общественного самосознания»*.

* Мих. Лившиц. В мире эстетики. Статьи 1969-1981 гг. М. 1985, стр. 311.

Думаю, что обращение к мемуаристике эпохи — один из путей поисков этого «ключа».

Я не претендую на полноту охвата всего, что появилось в это время. Мне хотелось бы остановиться только на самых, думается, важных явлениях тогдашней литературной мемуаристики. Я попытаюсь, хотя бы предварительно — в виду сложности и неразработанности темы — проследить, как шел этот пересмотр недавнего прошлого, продиктованный прежде всего внутренними импульсами (у каждого автора своими) — а не только воздействием внешнего идеологического давления, как могло бы показаться при невнимательном взгляде на время появления этих свидетельских показаний.

Все эти литературные свидетельства важны и сами по себе, как материал из первых рук, и тем, что они еще страшно близки к эпохе, о которой вспоминают. Вернее было бы сказать, что все эти авторы в изображаемой ими эпохе живут, не порвали с ней органических связей и несут ее с собой и в себе.

Сегодня мы тоже переживаем эпоху мемуаров. И это прекрасно. Наконец-то молчание и тайна перестали определять наше отношение к себе и к прошлому давнопрошедшему, и к прошлому, еще не успевшему покрыться патиной времени. Мемуары пишут все: и те, кому есть что вспомнить о своем времени, и те, которые способны помнить только о себе и о своих несостоявшихся встречах со знаменитыми людьми своего поколения. Последний вид мемуаров — неизбежные издержки эпохи открытых плюзов: мусор и накипь уплывут, а правда недавнего времени останется.

Пафос большинства появляющихся теперь мемуаров — разоблачительный. Герои и жертвы эпохи предьявляют к ней свой счет и делают это в меру своего жизненного опыта. Разумеется, сегодняшний мемуарист свободен от внешних ограничений, разве что он сознательно или бессознательно подчиняется самоцензуре или еще каким-либо побочным соображениям. А ведь можно припомнить, какой опасной была заполненная вакансия мемуариста даже в оттепель, как требовали от того же Эренбурга, чтобы и люди и годы в его воспоминаниях были вполне стандартны и соответствовали казенному на них взгляду.

Те литературно-мемуарные свидетельства, о которых я хочу напомнить, появились тридцатилетием раньше мемуарной книги Эренбурга. Вдруг, не стовариваясь, литераторы, проживавшие и действовавшие каждый по-своему во вспоминаемую ими эпоху, становятся мемуаристами или хроникерами своего времени, своих и чужих трудов и дней. Сознательно эти авторы хотели закрепить, сохранить для литературного сознания, особенно для будущих поколений, облик и содержание культуры эпохи, людей которой в Петрограде начали истреблять («профилактировать») систематически и планомерно. Напомню только о религиозно-философ-

ском кружке А.М. Мейера «Воскресение» и о так называемом Платоновском деле.

Мемуары давали возможность остановить время, вернуться к тем дням, когда литература была самопорождающим органом, а не «надстройкой», которую архитекторы новой социальной системы могли перестраивать, как хотели.

Мемуары или романы-хроники могли стать убежищем, катакомбами, где хотели бы укрыться, хотя бы на время, все те, кто мог предвидеть или предчувствовать свою печальную участь в наступающую эпоху официального монизма.

К тому времени, когда взялись мемуаристы за свои воспоминания, официальная философская теория уже окончательно распорядилась со всеми вне «марксизма» существовавшими «идеологиями». «...Идеологию можно определить как оторвавшееся от действительности сознание, потерявшее сознательную связь с этой действительностью и отражающее последнюю неправильно, в перевернутом виде. Марксизм — враг идеологии».*

Я напомним, что писательские мемуары, о которых пойдет речь, создавались не для того, чтобы получить «анкураже в петличку», они совпадали только по времени появления с «Записками современника» (1934) И.Г. Лежнева. За свою книгу Лежнев по личной рекомендации Сталина был принят в партию и назначен редактором отдела литературы и искусства партийного офицоза — газеты «Правда». Сравнить с книгой Лежнева писательские мемуары нет надобности, но помнить о ней полезно, чтобы сохранить меру вещей.

Лежнев в письме к Сталину говорит, что «окончательно вытряхнуть из себя и изжить остатки прошлого, переключиться и идейно, и психически на новый ритм, стать действительно новым человеком — помогла мне работа над книгой».**

Литераторы-мемуаристы не объявляли себя «новыми» людьми. Они хотели добросовестно объяснить свою эпоху новым поколениям и найти с ними некую общую почву, найти взаимопонимание.

Всех, кто в это время стал писать о серебряном веке, объединяла не общая точка зрения, а нечто гораздо более любопытное. Все они, от Андрея Белого до Максима Горького, от Георгия Иванова до Бенедикта Лившица, прониклись — как это ни покажется странным — одной идеей, которая и стала побудительным толчком к мемуарному творчеству столь разных во всех отношениях авторов. Идея эта, а вернее чувство, еще вернее — ощущение, сво-

* В.В. Адоратский. Об идеологии. — В кн. На переломе. Философские дискуссии 20-х годов. Философия и мировоззрение. М. 1990, стр. 216.

** М.О. Чудакова. Письмо И.Г. Лежнева к Сталину. — В кн. Шестые Тыняновские чтения. Тезисы докладов и материалы для обсуждения. Рига — Москва, 1992, стр. 247.

дилось к убеждению, что все, что было до 1917 года, ушло безвозвратно из литературного сознания, не только хронологически, но и духовно. И потому обращение к своему литературному прошлому было так соблазнительно: «Бойцы вспоминали минувшие дни и битвы, где вместе рубились они».

Битвы были бескровные, литературные, и тем приятнее было вспомнить себя и попытаться изменить кое-что в сознании новых поколений. Но это могли быть мотивы побочные, а главная задача была другая — пересмотреть и переоценить себя, свое время, свою литературу с точки зрения человека, одолевшего рубеж между старым и новым миром. И на этом сходились такие антагонисты, как Мандельштам и Маяковский.

Наиболее удачно выразил такое отношение к русской жизни и русской культуре конца XIX — начала XX века Осип Мандельштам: «...память моя не любовна, а враждебна, и работает она не над воспроизведением, а над отстраненьем прошлого»^{*}.

Такое отношение к прошлому, свою к нему враждебность Мандельштам мотивировал социологически, «разночинством» семьи, ее недворянским происхождением.

«Никогда я не мог понять Толстых и Аксаковых, Багровых-внуков, влюбленных в семейственные архивы с эпическими домашними воспоминаньями»^{**}. Если можно принять такое же социологическое объяснение для мемуарных произведений Горького (его трилогии), то уже мемуары Андрея Белого этой формулой Мандельштама не объясняются, хотя они пронизаны «отстраненьем» от прошлого как никакое другое мемуарное произведение конца 1920-х — начала 1930-х годов.

Не предлагая пока окончательного объяснения этому явлению, — борьбе памяти мемуаристов со своим прошлым и, следовательно, с эпохой, людьми которой они были, — я решаюсь предположить, что позиция вражды к недалекому прошлому у разных авторов все-таки может быть объяснена хотя бы отчасти и существованием некоей общей, общеисторической и общекультурной причины. Сошлюсь хотя бы на «Поэму без героя», где уже не «отстраненье», а настоящий суд над эпохой вершит ее поэт.

Я не буду говорить о мемуарах политиков или военных — это особый тип воспоминаний, и заниматься ими должны историки. Я буду говорить лишь о собственно мемуарах и чисто литературных явлениях, на материале которых можно попытаться проследить, что же определило общий пафос этой столь

* О. Мандельштам. Собрание сочинений. М. 1991, т. 2, стр. 41.

** Там же.

для нас неожиданной работы литературской памяти. Понять — чем же провинилась эпоха перед своими детьми.

Вот выборочный список авторов:

Осип Мандельштам. Шум времени. 1925.

Георгий Иванов. Петербургские зимы. 1928.

Борис Пастернак. Охранная грамота. 1931.

Максим Горький. Жизнь Клима Самгина. 1927—1931 (части 1—3).

Андрей Белый. На рубеже двух столетий. 1931. Начало века. 1933. Между двух революций. 1934.

Бенедикт Лившиц. Полутораглазый стрелец. 1933.

Ольга Форш. Сумасшедший корабль. 1931.

Ольга Форш. Ворон. 1934.

Как видно из этого краткого и выборочного перечня, со своей оценкой эпохи выступили представители действительно самых разных литературных направлений, — от символизма до реализма.

Акмеист Георгий Иванов, в отличие от остальных перечисленных выше авторов, писавших на Родине, не должен был оглядываться на цензуру и мог руководствоваться только собственным отношением к людям и фактам.

Поэтому он мог воспроизвести свою встречу с Блоком во время Кронштадского восстания, не утаивая слов своего собеседника.

В это время слышна была перестрелка вокруг Кронштадта:

«— Стреляют, — говорит он. — Вы не верите? Я не верю. Помните у Тютчева:

В крови до пят, мы бьемся с мертвецами,
Воскресшими до новых похорон...

Мертвецы палят по мертвецам. Так что, кто победит — безразлично.

— Кстати, — он улыбается снова. — Вам не страшно? И мне не страшно. Ничуть. И это в порядке вещей. Страшно будет потом... живым»^{*}.

Я привожу это воспоминание Георгия Иванова не только потому, что оно как-то выражает общую тональность его книги, но еще и потому, что не сомневаюсь в точности его рассказа об этой встрече с Блоком.

Нам рассказывала в 1957 г. Вера Сутугина, секретарь издательства «Всемирная литература», куда часто по своим литературным делам заходил Блок, что в один из тех дней, о которых вспоминает Иванов, Блок, придя в издательство, долго смотрел

* Георгий Иванов. Петербургские зимы. Париж. 1928, стр. 153.

в окно и, наконец, повернувшись, спросил ее: «Как вы думаете, они победят?» — имея в виду восставших кронштадтцев.

Вера Сутугина в годы своей службы во «Всемирной литературе» была еще совсем молодой девушкой. Вернулась она в Ленинград в 1956 году после более чем тридцатилетней ссылки, но эти слова Блока помнила твердо...

В мемуарах Георгия Иванова если не всегда «страшно» живым, то всегда есть ощущение чего-то не настоящего, ирреального в литературной и околослитературной жизни Петербурга 1910 — 1917 (до революции) годов.

Подробно рассказывая о «Бродячей собаке», ее создателе и хозяине Борисе Пронине, о посетителях подвала, Георгий Иванов неожиданно дает понять читателям «Петербургских зим», что «Бродячая собака» была, может быть, иллюзорным, мнимым, но убежищем от того, что происходило или могло произойти снаружи:

«Не все ли равно, что там на улице, в Петербурге, в мире...»*.

В отличие от тех, кто в условиях советской цензуры должен был о многом умалчивать, Георгий Иванов пишет свободно, не считаясь с какими-нибудь запретами. Естественно, что центральные фигуры его петербургских зим — это Гумилев, Мандельштам и особенно Ахматова. Главка о ней кончается торжественным апофеозом Вячеславу Иванову, сказавшему после первого стихотворения, прочитанного ею на «башне» («Так беспомощно грудь холодела...»): «это стихотворение — событие в русской поэзии»**. По убеждению Георгия Иванова, именно Вячеславу Иванову принадлежит «редкая честь» — «первому увидеть бессмертное лицо поэта»***. К мемуарам Георгия Иванова, после того, как стало известно резко отрицательное к ним отношение Анны Ахматовой, обращаются редко, и в России их до сих пор, кажется, не переиздали. В этом, как и в отзывах Ахматовой, проявилось пренебрежительное отношение к личности автора «Петербургских зим». А между тем, именно в эмиграции Георгий Иванов стал замечательным поэтом, которого еще плохо знают в России, а его мемуары, несмотря на фактические неточности и ошибки, открыли тему предвоенного Петербурга как пира во время чумы — тему «Поэмы без героя». Мемуары Георгия Иванова — это больше «литература», чем «мемуары», и не потому, что он может ошибаться и даже чем-то раскрашивать свои воспоминания. «Петербургские зимы» — это литература без кавычек потому, что все как будто разрозненные портреты и эпизоды объединяет образ Петербурга-Петрограда, живой, иногда страшный и трагический, но всегда прекрасный. Все, что сказано в «Петербургских зимах» о Городе, может быть сопоставлено по силе впечатления только

* Там же, стр. 68.

** Там же, стр. 67.

*** Там же, стр. 75.

с петербургско-петроградскими стихами Мандельштама и Ахматовой. А потому этим мемуарам веришь, даже понимая, что не все в них точно и может быть документировано,— включая и разговор с Блоком.

И, конечно, Георгий Иванов в своей книге торжествует. Для него победа акмеизма несомненна, и ничего другого в литературе он не видит. В этом принципиальная разница между его мемуарами и всеми теми, которые писались и печатались под бдительным надзором Главлита.

Мемуары футуриста Бенедикта Лившица написаны в условиях очень жесткой советской цензуры. Под внешне сдержанной и подчеркнута деловитой манерой изложения событий мемуарист прячет то, о чем он прямо мог говорить только в письмах к друзьям.

Смерть Андрея Белого пробудила в нем ощущение, что «пропасть обнажена, и огромный кусок, целый пласт нашего прошлого рухнул в эту бездну. Дело не в самом факте смерти, ... а в чудовищном одиночестве поколения, к которому мы с вами принадлежим и которое гораздо крепче связано с предшествующим поколением, нежели со своей сменой»*, — писал он в 1934 г. М.Зенкевичу.

Центральной фигурой в «Полутораглазом стрелце» становится Маяковский, не столько как деятель будетлянства, — Лившиц не любит термин футуризм и считает, что как определение их группы он был навязан враждебной печатью, — сколько как поэт-завоеватель славы. О себе Лившиц пишет: «Литературный неудачник, я не знаю, как рождается слава. Постепенным ли намывом, как Анадиомена из пены морской? Или вулканическим извержением, как Афина из головы Зевса?

Бог ее ведает, как это происходит.

Я не видел ее возникновения даже вблизи»**.

На самом же деле он прекрасно знал и хорошо видел, как завоевывает славу Маяковский.

Перед одним из выступлений «речетворцев» в Москве Лившиц, в котором, по его словам, «не дотлели остатки провинциальной, граничащей с простодушием добросовестности (...) допытывался у Володи, что скажет он, очутившись на эстраде.

Маяковский загадочно отмалчивался»***.

Лившица особенно интриговал в тезисах доклада Маяковского пункт 4: «Египтяне и греки, глядящие черных сухих кошек»****.

* Цитирую по А.Прнис. Первая книга по истории русского футуризма. — В кн. Б.Лившиц. Полутораглазый стрелец. М. 1991, стр. 235.

** Бенедикт Лившиц. Полутораглазый стрелец. Л. 1989, стр. 419.

*** Там же, стр.434.

**** Там же, стр.434.

Вразумительного ответа на свои недоумения он не получил. «Никакого доклада не было: таинственные даже для меня египтяне и греки, глотившие черных и непременно сухих кошек, оказались просто-напросто первыми обитателями нашей планеты, открывшими электричество, из чего делался вывод о тысячелетней давности урбанистической культуры и... футуризма»*.

И эта «веселая чушь», а главное, конечно, стихи Маяковского покоряли многочисленные аудитории и создавали ему славу всерьез, славу, вскоре затмившую и Северянина, и других. И на протяжении всей книги, формально без связи с темой «славы», завоеванной Маяковским, идет другая тема, которая объединяет мемуары Бенедикта Лившица с мемуарами Белого,— тема критики себя как теоретика, тема несостоятельности манифестов и декламаций будетлян.

В «Предисловии» он безоговорочно осуждает эстетику футуризма, поскольку в ее основу «было положено порочное заявление о расовом характере искусства»**.

Свои тогдашние определения искусства и его места в культуре Лившиц в мемуарах оценивает так: «Мы были на гребне волны, будущее принадлежало нам, и, увлекаемые инерцией разнузданных нами сил, мы не могли — как бы это нами впоследствии не отрицалось — удержаться от ошибки, неизбежной для всех новаторов в искусстве, у которых теория опережает практику»***.

И рядом с таким полуправданием мы читаем о том, что он «только замыкал порочный круг, в котором беспомощно трепыхалась моя еще неоперившаяся теоретическая мысль»****.

«Неоперившаяся» — как должны были понимать читатели 1934 года — по сравнению с марксизмом...

Далее идут самообвинения уже политического характера.

И все же, вопреки этой «крепкой связи» со своим поколением, со своей эпохой, со своими соратниками по будетлянству, Бенедикт Лившиц судит, вернее, осуждает себя за патриотическое одушевление в 1914 году, в котором он видит «поток» разнузданных сил и «массовый психоз». Он выстраивает в один ряд, подготовивший его к участию в этом «массовом психозе», среднюю школу, университет, воинскую повинность. Он осуждает себя и своих друзей за то, что они нашли общий язык с Маринетти.

Роковые ошибки, сделавшие Лившица, по его собственному убеждению, «неудачником» в литературе, не помешали Маяковскому стать глашатаем эпохи.

* Там же, стр.434.

** Там же, стр.309.

*** Там же, стр.392.

**** Там же, стр.391.

Вероятно, Бенедикт Лившиц думал, что он судит с точки зрения высшей правды, и писал все это искренне, как бы подводя черту под сметенным в бездну прошлым.

Так, мемуары, написанные как объективное изложение поэтических блужданий поколения, искавшего путей к искусству через крайности своего экспериментирования, предназначенного сменить символизм, заканчиваются чем-то вроде самосуда в этимологическом значении этого слова.

Более того, есть какая-то внутренняя связь между самокритикой бывшего гилейца и мемуарами бывшего символиста Андрея Белого, смерть которого Бенедикт Лившиц воспринял как конец их общей эпохи.

Бенедикта Лившица и Бориса Пастернака, принадлежавших к враждебным поэтическим группировкам в эпоху появления и развития футуризма, в их мемуарах объединяет тема Маяковского и его судьбы: Пастернак в 1931 г. писал, что Маяковский и наше государство «могли показаться близнецами».

Маяковский, по мнению Пастернака-мемуариста, соединял в себе, в своей личности и поэзии те эпохи, между которыми Бенедикт Лившиц видел только бездну, только пропасть. А в «Охранной грамоте» Пастернак оптимистически смотрит на «наше, ломящееся в века и навсегда принятое в них, небывалое, невозможное государство»^{*}.

Лившиц писал свои воспоминания как литератор, выпавший из времени, Пастернак — как автор уже готовившегося сборника «Второе рождение».

Из тех авторов, о которых пойдет у нас речь, разве что Горький мог разделить оптимизм Маяковского с его поэмой «Хорошо» полностью, а прочие авторы сходились только в одном — в необходимости признать ход времени, в желании понять, что же произошло в культуре русской и как следует с высоты достигнутого времени, оглядываясь на прошлое, то есть на самих себя когда-тошних, дать исторически верную оценку своему прошлому, своей культуре, своей идеологии.

Поскольку хронологически все эти вещи создавались примерно в одно время, предпочтительнее рассматривать их не в порядке появления в свет, а по их масштабности, по охвату событий. И тогда есть очевидный смысл рассмотреть раньше три самые большие и значительные разработки нашей темы: «Сумасшедший корабль» (1930) Ольги Форш, «Мемуары» (1930-34) Андрея Белого и «Жизнь Клима Самгина» (1927-31) Горького, в последнем случае не касаясь четвертой, незаконченной части. А уже затем —

* Борис Пастернак. Воздушные пути. Проза разных лет. М., 1982, стр. 284.

другие мемуары и вещи мемуарного типа, менее масштабные, более локализованные тематически.

Названные выше три монументальные явления литературно-хроникальной прозы сближает временная масштабность. «Жизнь Клима Самгина» имеет подзаголовок «Сорок лет», Андрей Белый начинается детством, то есть 1880-ми годами, и доводит до 1914 года. Да и Ольга Форш, формально ограниченная годами жизнедеятельности Дома Искусств в Петрограде (1919 — 1933), по существу далеко выходит за эти временные пределы.

«Сумасшедший корабль» занимает некую среднюю позицию в изображении и оценке того литературного прошлого (то есть символизма), о котором с беспощадной резкостью пишет Андрей Белый и тоже строго, но без полемики с самим собой, Максим Горький.

«Трехтомная хроника Белого, обнимающая тридцать лет (1880 — 1910), включает в себе огромный и драгоценный материал по истории русского символизма» — писал Мочульский. — «К сожалению, материал этот не вполне достоверен. Автор стилизует свое прошлое, изображая его бунтом против старого порядка, «перманентной революцией», не только духовной, но и политической. Между тем, произведения Белого до 1917 года такой концепции явно противоречат: юный лирик, метафизик и теоретик символизма был совершенно чужд социализму. Но в условиях советской действительности в 30-х годах 20 столетия он стремится себя реабилитировать»^{*}.

И далее Мочульский говорит о собственно литературной стороне дела — как идеологическая тенденция искажает образы людей, друзей (даже таких, как Блок) и недругов мемуариста.

По мнению Мочульского, с которым трудно не согласиться, свое прошлое Белый изображает «в тонах злобной сатиры», на службу которой идут «наблюдательность, острота рисунка: шаржа, пародии, карикатуры, гротеска»^{**}.

Мочульский издал свою книгу в 1955 г. Новейший исследователь (Долгополов) в недоумении от мемуаров Белого: «Это большой труд, совершенно не изученный нами. Мы даже не знаем, как поступить: видеть ли в Белом бытописателя эпохи, или историка, или историка литературы, или, наконец, романиста, написавшего роман о своем времени»^{***}.

Вывод, к которому приходит Долгополов, сводится к решению, что мемуары Белого «одновременно и воспоминания с элементами

* К. Мочульский. Андрей Белый. YMCA-PRESS. Париж, 1955, стр. 268—269.

** Там же, стр. 269.

*** Л. К. Долгополов. Начало знакомства. О личной и литературной судьбе Андрея Белого. — В кн. Андрей Белый. Проблемы творчества. М. 1988, стр. 95.

подлинной и глубокой достоверности, и роман эпохи, и откровенная попытка реабилитировать себя, исходя из условий и обстоятельств нового исторического времени». Сказано в достаточно вежливой, академической форме.

В 1934 г. Цезарь Вольпе в разоблачительном стиле того времени предпринял попытку защитить Белого от возможных критических нападок: «Мемуары эти,— писал Вольпе в предисловии к их третьей части,— не только рассказывают об идеологической эволюции Белого, не только дают ценный материал для истории крушения русской дворянской и буржуазной культуры эпохи империализма,— они являются также документом, характеризующим сложность и противоречивость пути самого Белого к социализму»^{***}.

Критик верит в искренность намерений Белого, и это дает ему возможность создать вокруг мемуаров защитную ограду: «...новые позиции Белого нашли выражение прежде всего в его мемуарах. Эти мемуары обращены к советской современности. Поэтому это ... попытка объясниться с современностью, оправдаться перед нею, попытка посмотреть новыми глазами на собственную биографию»^{***}.

Сейчас мы понимаем, что вся трилогия — это картина русской идеологической и литературной жизни трех десятилетий. Белый не отстраняется от прошлого — и не только потому, что «прошлое», о котором он пишет, это его прошлое, его жизнь, дело его жизни — литература. Задача его мемуаров — пересмотреть и переоценить с точки зрения «современности» начала 1930-х годов (как ее понимал Белый) все прошлое, всю историю русского символизма вообще, весь сложный переплет его отношений с Александром Блоком и его женой.

Цезарь Вольпе готов считать мемуары Белого «особым жанром памфлетного романа». В этом определении верно указана памфлетность как метода сатирико-гротескного изображения всей галереи персонажей, изображенных в мемуарах Белого.

Конечно, мемуары не роман потому, что их герои не вымышленные, а реальные деятели русской культуры и общественной жизни.

Романична техника, которую применяет Белый, чтобы превратить в шаржированную, гротескную фигуру каждого из своих персонажей.

Сам Белый видел источник сатирического гротеска в своих мемуарах в «ненависти к режиму»^{****}. Так или иначе, но совер-

* Там же.

** Цезарь Вольпе. О мемуарах Андрея Белого.— В кн. Андрей Белый. Между двух революций. Л. 1934, стр. VIII.

*** Там же.

**** Там же, стр.33.

шенно очевидно, что художественным образцом для него служил Гоголь, всегда ему близкий, а в 1930-е годы ставший героем может быть лучшей книги Белого «Мастерство Гоголя».

Каждый сколько-нибудь значительный персонаж мемуаров Белого приобретал только ему присущую гротескную систему движений. Так Георгий Чулков — по Белому — «страдает настойчивым зудом: поспеть первым куда бы то ни было; быв в ссылке с Дзержинским, партийцев своих обогнав, он бросается перегонять декадентов, и в этих условиях он притирается к религиозным философам; его застаю уже на другом перегоне, когда, перегнав Мережковских и сбив с ног Булгакова, на которого он налетел, локтем трахнул под бок Анну Шмидт на бегу, догонял он Иванова, Вячеслава, чтобы вместе с ним броситься к Блоку: его обогнать — в манифесте от имени мистических анархистов; он им известил — Мейерхольда, Иванова, Блока, что собственно есть Мейерхольд, Блок, Иванов»*.

Другой иронический прием в изображении того же многогрального Георгия Чулкова — алогизм в показе хода его мысли: «...вдруг... хватается за покрытый холодной испариной лоб, удивляясь тому, что из слов его вытекло вовсе не то, что втекло: втек — схематизм Мережковского: вытекло же — козлиное игрище: с Вячеславом Ивановым; носом пытит, оговаривается; и не зная, как справиться со всеми точками зрения, их изживает «стостустым» он воплем, в изнеможении бросаясь на стул; отирает испарину и опрокидывает стакан вина себе в рот: содержание слов остается-таки под углом в 90° к себе самому; «следовательно» не вытекает из «так как»; «так как» он следовал в ссылку, то — прав Иванов и Блок!»**.

Читатель 90-х годов с трудом разберется в этом гротеске, но ирония ситуации до него дойдет, а для первых читателей мемуаров всё это было понятно, и пикантность всему тексту придавало еще и то обстоятельство, что Чулков, которого Белый высмеивает, живет и здравствует.

Другие персонажи мемуаров получают в них от автора некоторое подобие лейтмотива. Так В.В. Розанова в отведенной ему главе сопровождает лейтмотив «плева» (плевания): «Ни в ком жизнь отвлеченных понятий не переживалась как плоть; только он выделял свои мысли — слюнной железой, носовой железой, чмаком, чмыхом; забулькает, и набрызгивает отправлениями аппарата слюнного...»***.

* Там же, стр.63.

** Там же, стр.64.

*** Андрей Белый. Начало века. М. 1990, стр.476.

А портрет Дягилева кроме лейтмотива («кокетливо взбитый кок волос») и весь выдержан в гротескном тоне; заодно достается и портрету Дягилева работы Сомова:

«Так было дело: открывалась выставка «Мира искусства» в Москве; посетитель всех выставок, был, разумеется, я и на выставке этой, пустой почти; томные, с шиком одетые люди скользили бесшумно в коврах, меж полотнами Врубеля, Сомова, Бакста; все они были знакомы друг с другом, но я был чужой среди всех; выделялась великолепнейшая с точки зрения красок и графики фигура Дягилева: я его по портрету узнал, по кокетливо взбитому коку волос с серебристой прядью на черной растительности и по розово, нагло безусому, сдобному, как испеченная булка, лицу, — очень «морде», готовой пленительно маслиться и остывать в ледяной, оскорбительной позе виконта: закидами кока окидывать вас сверху вниз, как соринку.

Дивился изыску я: помесь нахала с шармером, лакея с мистром; сердечком, по Сомову, сложены губы; вдруг — дерг, передерг, остывание: черт подери — Каракалла какая-то, если не Иезавель нарумяненная и сенаторам римским главы отсекающая (говорили, что будто бы он с Марьей Павловной, с князем великим Владимиром — запанибрата); маститый закид серебристого кока, скользящие, как в менюэте, шажочки, с шарком бесшумным ботиночек, лаковых. Что за жилет! Что за вязь и прокол изошренного галстука! Что за ослепительный, как алебастр, еле видный манжет! Вид скотины, утонченной кистью К.Сомова, коль не артиста, прощупывается через кожу сегодняшних вкусов, и завтрашних, и послезавтрашних, чтобы в любую минуту, кастрировав собственный сегодняшний вкус, представить: в собственном завтрашнем!»*.

Иначе дан облик Льва Тихомирова, из активного народовольца превратившегося в убежденного монархиста и черносотенца**. Белый тогда был увлечен толкованием Апокалипсиса, и ему посоветовали познакомиться с Тихомировым как знатоком-интерпретатором этой книги. Как истолкователь «Апокалипсиса» Тихомиров в разговоре с Белым оказался «несчастливым маньяком» самодержавной власти, которая, как предсказано, должна «пасти ослушников жезлом железным». При этом на протяжении беседы Тихомиров, как кажется Белому, сохраняет на своем лице такое выражение, «будто кислый лимон лизнул». Несколько раз повторенное упоминание «кислого лимона» придает особый отпечаток всей личности Тихомирова и всему, что он говорит.

Андрей Белый писал свои мемуары не на «черной лестнице», о которой с горечью говорит Бенедикт Лившиц в черновых на-

* Там же, стр.277.

** Там же, стр.155-163.

бросках к «Полутораглазому стрелцу». Он продолжал в это время свою серию романов о Москве. «Мемуары мои не сборник анекдотов,— писал Белый в предисловии «От автора» ко второй книге мемуаров, к «Началу века»,— я, мемуарист, из мемуаров не выключаем; стало быть моя задача показать себя на этом отрезке лет объектом, а не только субъектом: не награждать и карать, кичиться или себя бичевать призван я из сознательной старости 1932 года, а рисовать образ молодого человека эпохи 1901-1905 годов»*.

Предисловие это обращено к молодому поколению начала 30-х годов, к тому поколению, которое станет объектом внимательного интереса Ольги Форш в ее мемуарной книге «Сумасшедший корабль» и в романе «Ворон». И та характеристика современной молодежи, которую дает Белый, повторяется, как мы увидим далее, в книгах Форш. Белый пишет о современной молодежи и своем поколении:

«Современная молодежь растет, развивается, мыслит, любит и ненавидит, не чувствуя отрыва от коллективов, в которых она складывается; эти коллективы идут в ногу с основными политическими, идеологическими устремлениями нашего социалистического государства.

Независимая молодежь того социального строя, в котором рос я, развивалась наперекор всему обстаню: прежде чем даже встретиться, чтобы соединиться против господствующего штампа, каждый из нас выбарахтывался, как умел; без поддержки государства, общества, наконец, семьи; в первых встречах даже с единомышленниками уже чувствовалась разбитость, ободранность жизнью; не знать счастливого детства, не иметь поддержки, утаивать даже в себе то, что есть в тебе законный жест молодости,— как это далеко от нас!

Воспитанные в традициях жизни, которые претят, в условиях антигигиеничных, без физкультуры, нормального отдыха, веселых песен, товарищеской солидарности, не имея возможности отдаться тому, к чему тебя влечет инстинкт здоровой природы,— мы начинали полукалеками жизнь; юноша в двадцать лет был уже неврастеником, самопротиворечивым истериком или безвольным ироником с разорванной душой; все не колеблющееся, не имеющее противоречий, четко сформулированное, сильное не внутренней убежденностью, а механическим давлением огромного коллективного пресса,— все это составляло рутину, которую надо было взрывать скудными средствами субъективного негодования и независимости; но и это негодование зачастую затаивалось, чтобы не раздражить блюстителей порядка и быта**.

* Там же, стр.13.

** Там же, стр.7—8.

А все окружающее Андрея Белого и его немногих друзей превращается в мемуарах в некое подобие «Мертвых душ», где живая душа автора с трудом пробивается к марксизму. Так сарказм, ирония, попиранье когда-то «заветных святынь» неожиданно сближает мемуары Белого с романом-хроникой Максима Горького — «Жизнь Клима Самгина».

Разумеется, советская критика начала 1930-х годов одобрительно посмеивалась над «разоблачением» всей символической культуры, которым так пафосно занимался бывший символист.

Примерно ту же задачу — полную дискредитацию всей, за исключением большевиков, конечно, духовной жизни России до 1917 года — поставил перед собой Горький в «Жизни Клима Самгина» (далее — ЖКС).

По различным причинам, которых я могу коснуться только частично, разоблачительный замысел писателю не удался, и получилось гораздо более значительное и интересное, хотя и тенденциозное изображение действительной сложности русской духовной жизни в бесчисленных ее вариантах и разветвлениях.

Сам Горький по-разному определял жанр ЖКС. Отброшенное им название — «История пустой души» — предполагало столь чуждую и враждебную ему центростремительную структуру вещи, да и слово «душа» было не в моде. Бывало, он называл новую вещь романом, бывало — повестью; чаще всего — романом-хроникой, где он хотел показать, «как жили, как думали, что делали русские люди с 80-х годов по 1919»*.

В это время Горький восхищался историческими романами, созданными в 20-е годы — «Петром Первым» Алексея Толстого, «Разиным Степаном» Чапыгина, «Кюхлей» и «Смертью Вазир-Мухтара» Тынянова. Он писал об этой исторической романистике: «Создан исторический роман, какого не было в литературе дореволюционной, и молодые наши художники слова получили хорошие образцы, на которых можно учиться писать о прошлом, не столь далеко, как эпоха Петра I, но очень похожем на нее — я говорю о вчерашнем дне»**.

У своих младших современников Горький действительно мог бы научиться многому, многим приемам исторической романистики, ими найденным, если бы... он писал исторический роман в собственном смысле, роман об эпохе, которую мог знать только по документам, мемуарам, переписке и т.д. Тогда опыт Тынянова или Алексея Толстого мог быть ему очень полезен.

* М. Горький. Полное собрание сочинений в тридцати томах. М. 1953, т. 29, стр. 461. Далее ссылка на это издание в тексте.

** Цитирую по: А. И. Овчаренко. Роман-эпопея «Жизнь Клима Самгина». В кн. Горький. Сочинения в 18 томах, т. 16, стр. 478.

Но со всеми сорока годами своего романа-хроники Горький находился в том положении, в каком находится мемуарист к вспоминаемому им времени. Оно было им прожито, он в нем жил и действовал, и потому он живет в своей книге двойной жизнью. Он вспоминает, как было, как переживалось тогда, и это бывшее он дает в своей теперешней оценке, с точки зрения своего двадцати- или тридцатилетнего опыта. В книге живут и не всегда в мире между собой два человека, люди разных эпох, два Горьких.

Продолжая начатую еще на рубеже 1910-х годов войну с Достоевским, Горький выбрал такого персонажа в качестве зеркала эпохи, который по его, Горького, объяснению, хотел думать о жизни «по Достоевскому»: «Уродливость быта и капризная разнужданность психики объясняли Самгину его раздор с действительностью, а мучительные поиски героями Достоевского непоколебимой истины и внутренней свободы, снова приподнимая его, выводили в сторону из толпы обыкновенных людей, сближая его с беспокойными героями Достоевского» (21, 294).

Но в отличие от героев Достоевского Клим Самгин живет не только в собственных мыслях и душевных проблемах, а, вопреки собственному желанию, среди событий и людей, этими событиями поглощенных. Клим Самгин вынужден жить в мире истории и определять СВОЕ к ней отношение — трудная обязанность, от которой Достоевский своего «подпольного человека» освободил. И в этом смысле роман-хроника Горького — это еще и мемуары.

Есть несомненное сходство между «Жизнью Клима Самгина» и мемуарами Белого в одном неожиданном пункте. Белый хотел показать в мемуарах свой путь к марксизму. Сходным образом Горький иногда заявлял, что он «на всем протяжении романа» показывает, «как формировались большевистские идеи». И это все потому, что ему захотелось представить «недавнее прошлое» как эпоху подготовки Октября. Может быть, другому писателю, который знал бы начало века только по документам, это бы и удалось, но Горький, живший в описываемую им эпоху, хорошо ее знавший, испытавший все ее надежды и разочарования, не мог до такой степени пойти против самого себя — как современник эпохи и в какой-то мере ее создатель. От превращения в пособие по истории КПСС «Жизнь Клима Самгина» спасла та противоречивость Горького, с которой мы сталкиваемся на каждом этапе его литературной биографии.

На первом съезде писателей Горький осудил не только Достоевского, но и, казалось бы, все религиозно-философские искания русской интеллигенции в 1907-1917 гг. И вот в третьей части ЖКС ученица Кутузова, Мария Премирова, меняет не только фамилию, выйдя замуж за богатого купца Зотова, но из марксистки превращается в хлыстовскую богородицу, а ее магазин церковной утвари становится центром каких-то таинственных ре-

лигиозно-общинных связей — совсем в духе тех романов, которыми мальчик Горький зачитывался.

Давно уже было отмечено, что в «Жизни Клима Самгина» «мы видим и слышим лишь то, что видит и слышит сам Самгин»*. Советских истолкователей Горького это очень смущало, и они утешали себя тем, что ЖКС — «летопись общественной жизни предоктябрьской России, история знаменательных событий»**. На самом деле, когда эти исследователи начинают перечислять «события», то их оказывается за «сорок лет» ничтожно мало: Всероссийская промышленная выставка 1896 года, Ходынка, 9-е января, московские баррикады в 1905 году... — и в сущности, это все, что можно отнести к числу «событий». И не смущаясь противоречивостью своих объяснений, Е. Тагер говорит, что «именно духовная история предреволюционной России является главным предметом изображения художника. Роман превращается в грандиозный философско-политический диалог, острый и полемический, ведущийся сотнями участников»***.

Поэтому и понадобился Горькому герой, который все может понять, может воспринять любую мысль, может дать ей оценку и с помощью которого можно превратить книгу в роман о мысли и мыслях: ЖКС — это книга о том, как думала и что думала о себе и своих мыслях русская интеллигенция в очках и без них. Более того, Горькому художественно был необходим герой со строем сознания Клима Самгина, во всем сомневающийся и ничего не принимающий на веру.

Предположим, что Горький захотел бы эти «сорок лет» русской жизни показать глазами так любимого им деятеля вроде Степана Кутузова. Что получилось бы? Очевидно, что девять десятых того идеологического материала, который воспринимает, взвешивает и оценивает Клим Самгин, Кутузов просто не мог бы по своей занятости заметить, ему было бы некогда, он занят делом, он в работе, а не в мире мысли, в котором живет Клим Самгин. Ведь то, что сам Горький и некоторые критики считали лучшим эпизодом в ЖКС, не могло быть с такими подробностями и с таким художественным любованием введено в книгу через восприятие Степана Кутузова. Я имею в виду Марину Зотову, ставшую в третьей части из марксистки хлыстовской богородицей. А. Воронский вспоминал, что в 1931 г. Горький ему сказал: «Читали вы третий том «Клима Самгина»? Еще не читали? Очень вас прошу прочитать. Есть там у меня одна женщина, Марина. Хотелось бы узнать, как вы к ней отнесетесь. Занятая женщина»****

* Е. Б. Тагер. Творчество Горького советской эпохи. М. 1964, стр. 287

** Там же, стр. 288—289.

*** Там же, стр. 289—290.

**** А. Воронский. Избранные статьи о литературе. М. 1982, стр. 63.

Через три недели Воронский сделал такую запись: «...Прочитал с большим интересом третий том «Клима Самгина». По-моему, этот том наилучший. Марина превосходна. Бесспорно, она высказывает некоторые задушевные мысли самого Горького»^{*}.

Близкий к Горькому профессор В.А. Десницкий вспоминает, что он очень возражал против непомерно большого места, уделенного в романе Марине Зотовой и ее хлыстовским похождениям. И встретил отпор. «Меня удивило тогда, — пишет он — необычайное упорство и даже некоторое раздражение, с каким Алексей Максимович, легко соглашаясь с другими моими критическими замечаниями, возражал против этого и настаивал на законности и целесообразности включения им сектантского материала в такой пропорции»^{**}.

То, что Десницкий называет «сектантским материалом», для Горького было одним из стихийных проявлений русского народного духа, его глубинных исканий и надежд. Жаль, конечно, что Десницкий запомнил только эти слова. Но дадим слово роману.

В спорах с Самгиным Зотова опровергает и разум, и православную религию: «Вы, интеллигенты, в статистику уверовали: счет, мера, вес! Это все равно, как поклоняться бесенятам, забыв о Сатане...».

И на вопрос Клима — кто же Сатана? — она отвечает: — «Разум, конечно» (21, 188).

После хлыстовского радения, которого Клим становится очевидцем, в ответ на его слова Марине: «Ведь это безумие!» — она возражает: «Это больше, глубже вера, чем все, что показывают золоченые, театральные, казенные церкви с их певчими, органами, таинством евхаристии и со всеми их фокусами. Древняя, народная, всемирная вера в дух жизни...» (21, 376).

А само по себе хлыстовское радение так описано у Горького, что по силе изображения не уступает Лескову.

Здесь, как и на всем протяжении ЖКС, Горький показывает не развитие большевистских идей, а то, о чем думали и чем жили разные слои русских людей начала века. Любое высказывание горьковских персонажей сегодня может показаться неожиданно актуальным в философско-политическом смысле. Вероятно, сегодня в России многие с интересом воспримут слова одного из персонажей, Прейса: «Большевики — это люди, которые желают бежать на сто верст впереди истории» (21, 102). И если товарищи Кутузова воспринимали это как восторженную оценку своей исторической прогрессивности, то теперь наступило время переосмысления этой оценки. Обмен мнений между Климом и Мариной

* Там же, стр. 65.

** В. Десницкий. А.М. Горький. Очерк жизни и творчества. М. 1959, стр. 43.

Зотовой об отношении человека к самому себе звучит так, как будто он написан сегодня:

«Жизнь сводится, в сущности, к возне человека с самим собой», — говорит Клим. А Марина отвечает: «А ведь это, пожалуй, так и установлено навсегда, чтобы земля вращалась вокруг солнца, а человек — вокруг духа своего» (21, 155).

Клим нужен Горькому как персонаж, который получает информацию со всех сторон, в том числе и идейную. В этом его явная сюжетная роль. Философские и философско-исторические споры эпохи Горький не всегда подробно пересказывает (как это, например, было сделано в «Анне Карениной» где подробно представлены споры семидесятых годов). Горький писал ЖКС в расчете на читателей, знавших этих мыслителей и те книги, о которых говорят в присутствии Клима: «На террасе говорили о славянофилах и Данилевском, о Герцене и Лаврове. Клим знал этих писателей, их идеи были в одинаковой степени чужды ему. Он находил, что, в сущности, все они рассматривают личность только как материал истории, для всех человек является Исааком, обреченным на заклание» (19, 362).

Какая-то часть читателей ЖКС в конце 1920 — начале 30-х годов могла понять антидетерминистскую позицию Клима и оценить ее оригинальность. Позднее из читательского восприятия многое совершенно исчезло. Несколько поколений ничего не знали о славянофилах, Данилевском, Лаврове. Из наследия Герцена в лучшем случае читали «Былое и думы». С оттепели 1950-х годов начался процесс воскрешения забытых мыслителей. Идеи славянофилов и Данилевского вновь стали живым элементом духовной жизни русского общества.

Можно назвать два способа передачи идеологического спора в романе. Один способ — условно его можно назвать манерой Достоевского, у которого реплики в спорах перерастают, как правило, в монологи, иногда очень пространные. Другой — бальзаковский — когда автор воспроизводит многоголосие общего разговора. Горький прибавил к этим двум способам третий: у него Клим Самгин слушает чужие разговоры, как бы резюмирует их, дает им оценку и в таком, пропущенном сквозь его сознание виде, эти «разговоры», то есть умственная жизнь эпохи, поступают к читателю: «Слушая, как в редакции говорят о необходимости политических реформ, разбирают достоинства европейских конституций, утверждают и оспаривают возникновение в России социалистической крестьянской республики, Самгин думал, что эти беседы, всегда горячие, иногда озлобленные, — словесная игра, которой развлекаются скучающие, или ремесло профессионалов, которые зарабатывают хлеб свой тем, что «будят политическое и национальное самосознание общества». Игрою и ремеслом находил Клим и суждения о будущем Великого сибирского пути,

о выходе России на берега океана, о политике Европы в Китае, об успехах социализма в Германии и вообще о жизни мира. Странно было видеть, что судьбы мира решают два десятка русских интеллигентов, живущих в захолустном городке среди семидесяти тысяч обывателей, для которых мир был ограничен пределами их мелких интересов» (20, 25).

В 1930-е годы, несмотря на все усиливающееся его сближение с утвердившейся в России властью, Горький-художник берется за роман-хронику, роман, темой и материалом которого становится свободная мысль, а главным героем — рефлектирующий русский «интеллигент в очках». При этом Горький не любит своего героя, не доверяет ему и боится оставить читателя с ним наедине.

Клим ищет и находит противоречия во всем. Горький его осуждает за это и пишет: «он как бы считал себя обязанным искать противоречий. Это было уже потребностью его разнузданной мысли» (21, 122).

Удивительное определение для «мысли»! Современный читатель может увидеть в этом качестве мысли Самгина не «разнузданность», а свободу.

Горький думал о будущей судьбе своей книги. Он считал, что ЖКС «интеллигенции не понравится, вообще не понравится старому поколению», то есть люди, сами эпоху пережившие, будут недовольны ее тенденциозностью. Но писателю было ясно и другое: «Новое поколения этого не поймет долго: просто там много слишком чужого для нас... что, вероятно, пройдет непонятым». И все же у него была надежда, что «со временем ваши дети в этой штучке разберутся»*.

Если бы Горький не думал, что созданная им художественная летопись идейной борьбы начала века станет вновь интересна на новом витке исторической спирали, он не сделал бы ЖКС основным делом последнего десятилетия своей жизни. В одном Горький оказался прав: воссозданные им споры и столкновения идейных противников, весь разнообразнейший спектр философских, политических, религиозных поисков начала века, если мы, условно конечно, отвлечемся от конкретных фактов истории, окажется зеркалом сегодняшнего дня русской жизни. И чем дальше уходит в прошлое время, показанное в ЖКС, тем ближе к нашему времени, к нашим проблемам оказывается эта «штучка». Изображая правдиво, может быть, вопреки дисциплине своих взглядов, многое из того, что составляло истинное содержание русской идейной жизни нашего века, Горький оставил нам очень важное свидетельское показание. В ЖКС мы находим то, что снова стало и становится почвой и материалом, источником идей для осмыс-

* Цитирую по: А.И. Овчаренко. Роман-эпопея «Жизнь Клим Самгина». В кн. М. Горький. Сочинения в восемнадцати томах, т. 15, стр. 478.

ления трагического тупика, в который пришла русская жизнь после того, как к власти пришли любители бежать «на сто верст впереди истории».

Вот почему ЖКС не удаляется в прошлое по ходу времени, а приближается к нам. И в этом — неожиданная современность исторического романа-хроники Максима Горького и значение того возврата к рефлектирующему герою времени, который осуществил Горький в последнее десятилетие своей жизни.

Белый свой суд над символизмом, то есть над своей эпохой, совершил в трех томах мемуаров; Горький написал о своем времени роман-хронику; Ольга Форш — свои воспоминания «Сумасшедший корабль» (1930-31) и вслед за ними, или, может быть, одновременно, роман «Ворон» (1931-32).

Формально время и место действия в «Сумасшедшем корабле» указано точно. Время — 1919 — 1920-е годы; место — «Дом Искусств», бывший особняк Елисеева в Петрограде на пересечении Невского проспекта и реки Мойки. И «плывет» этот корабль из дореволюционной России по голодному Петрограду в неведомое будущее с драгоценным грузом — со всей наличной петроградской, в сущности со всей тогдашней русской литературой.

Действующие лица, пассажиры «корабля», легко узнаваемы, хотя для полной авторской свободы О.Форш дала им другие имена-прозвища. Из жильцов корабля получили новые имена Михаил Слонимский — Копильский, Зощенко — Гоголенко, Надежда Павлович — Элан, Мариэтта Шагинян — Ариоста, Аким Волынский — Акович, Шкловский — Жуканец и те из писателей, кто в кораблей не жил: Газтан — Блок, Инопланетный гастролер — Андрей Белый, Микула — Клюев, Еруслан — Горький.

И только у Гумилева в книге Форш нет имени, и о нем, о его смерти сообщается как о стихийном бедствии:

«А на завтра, хотя улицы полны были народом, они показались пустынными. Такое безмолвие может быть только в степи в жгучий полдень, и еще когда в доме покойник и живые к нему только что вошли.

На столбах был расклеен один, приведенный в исполнение приговор. Имя поэта там значилось.

Никто никому ничего не пояснял. Не спрашивади. Не толкались. К уже стоящим подходил новый, прочитывал — чуть отойдя, оставался стоять. На проспектах, улицах, площадях возникли окаменелости. Каменный город»*.

Смерть Блока и гибель Гумилева в книге Форш — это веки на пути «Сумасшедшего корабля», но рядом с ними Форш помещает живых тогда и действующих в литературе Андрея Белого, Клюева и Горького: «В Сумасшедшем корабле сдавался в архив

* Ольга Форш. Сумасшедший корабль. Л. 1988, стр. 93.

истории последний период русской словесности. Впрочем, не только он, а весь старорусский лад и быт (...) И как сводка работы русской мысли и воли к жизни предстали четверо». Их всех писательница называет «сдавателями», но особое место среди них она отводит Еруслану — Горькому. Он не просто «сдаватель», в нем она увидела живое воплощение связи между уходящей в «архив» словесностью и новой эпохой.

«...Свойство художника принимать в себя, пронизываться природой объекта, сделало то, что он мог уже тогда раньше всех со всей искренностью чувствовать одновременно за «нас» и за «них» и с одинаковой силой защищать перед «ними» их, а перед «ними» «нас».

Словом, когда вступило в силу правительство «его», он лег мостом между ими и нами.

Сейчас позабыли, но мы все прошли по нему**.

Принимая как неизбежное движение истории конец символизма, Форш не произносит над своей литературной эпохой окончательного суда, не отрекается от нее, как это сделал Белый в своих мемуарах. Она передоверила спор о символизме и о том, что должно прийти ему на смену двум персонажам книги — Сохатому (alter ego самой О.Форш) и Жуканцу, в котором угадывается Шкловский. Первый высказывает авторскую точку зрения, второй — ниспровергает символизм и все, что с ним связано во имя того, что он называет «коллективом».

После похорон Гаэтана — Блока, Жуканец убеждает Сохатого: «С ним кончилась любовь. Будут, конечно, возвращения, но так воспеть, как воспел ее он, никто уже не сможет и... не захочет воспевать. Эта страница закрыта с ним навсегда. И еще скажу — прочитанная вашим поколением нашему она уже совсем не звучит***».

В «Сумасшедшем корабле» Форш еще надеется на преемственность, на верность новых поколений искусству, о котором писательница Долива (то есть сама Форш) говорит в «Сумасшедшем корабле»:

«Сколько ни освобождать человека внешне, если он мыслью и чувствами беден, слеп к краске, глух к звуку, не организован как личность, он сам только внешне приличный член коллектива, а втайне продолжает зависеть от четвероногого в самом себе****».

Об Ольге Форш есть только монография Анны Тмарченко. «Ольга Форш. Жизнь, личность, творчество.» (1966). Хотя книга писалась в оттепель, о многом автору приходилось молчать или

* Там же, стр. 95.

** Там же, стр. 100.

*** Там же, стр. 90

**** Там же, стр. 62.

говорить намеками. Конфликт двух эпох Анна Тамарченко не могла проанализировать с полной объективностью. Но все же каждый, кто захочет лучше понять автора «Сумасшедшего корабля» и «Ворона», должен с этой книгой познакомиться. Как пишет Тамарченко: «Критика 1931-1932 годов в укор и поношение «Сумасшедшему кораблю» утверждала, что это вовсе не добропорядочные мемуары, а... публицистика. Да, разумеется, и публицистика тоже! Но и подлинно художественное «свидетельство современника» об историческом времени величайшей важности и значения, и как раз о той стороне его, которая мало кем закреплена в литературе. «Сумасшедший корабль» критика поняла как «защиту искусства от революции». На самом деле, наоборот: пафос книги — это защита революции, ее завоеваний и перспектив от стихии бескультурия, унаследованной от вековой подавленности и невежества. Это пафос, обращенный не в прошлое, а в будущее»*.

Форш полагала, что символизм сделал для русской культуры так много, что может спокойно уступить дорогу новым поколениям при условии, что они будут верны искусству.

В «Сумасшедшем корабле» Форш судила о символизме как мемуаристка. В романе «Ворон» (1934), скромно посвященном Гоголю, она сделала главным истолкователем символизма безработного учителя Лагоду, занятого исследованием темы «Гоголь и символисты».

Возможно, что толчком для этого романа послужила замечательная книга Андрея Белого «Мастерство Гоголя», где есть глава, которая так и называется «Символисты и Гоголь», но об этом надо было бы писать специально, а сейчас меня занимает другое: тот неожиданный подход к символизму, взятому в целом, какой избрал Лагода в этом романе Ольги Форш: «Лагода задумал связь Гоголя с символистами. Не с теми благополучными, склонявшимися за «чашкой чая» на все падежи введенного ими в моду «своего» Христа, не с «ре-фи» (религиозно-философское общество — И.С.) заседаниями, как сказали бы о них сейчас. Словом, Лагода связывал Гоголя не с столицей, которая «устроилась» с трагической темой и состригла с нее разнообразно купоны, а вот, не угодно ль — провинцию?»**.

Уже в такой постановке темы просвечивает осуждение столичных мэтров символизма, косвенно напоминающее мемуары Белого. Но «Ворон» — это роман, а не мемуары, а романная форма, как правило, требует сюжета. И в «Вороне» он есть, и довольно сложный. Одна из героинь, Нина Каданова, только в конце романа узнает, что она дочь Лагоды, а не эмигранта Каданова, для зна-

* Анна Тамарченко. Ольга Форш. Жизнь, личность, творчество. М.-Л. 1966, стр. 256.

** Ольга Форш. Ворон. Л. 1934, стр. 4.

комства с которым она едет во Францию и в Тулузе присутствует на заседании религиозного общества, члены которого хотят убедить Нину, стопроцентную комсомолку, остаться во Франции и приобщиться к истинной, то есть католической вере.

С собой из Франции Нина привозит рукопись эмигранта Таманина, единомышленника Каданова.

Именно эта вставная история, привезенная Ниной из Франции, переносит читателей «Ворона» из Советской России 1931-32 гг. в эпоху цветения символизма, распространения его идей вширь, их растущей соблазнительности и опасности. Автор вставной рукописи, занимающей по объему половину романа, повторяет те обвинения символизму, которые высказывает от себя Лагода в начале основного текста романа: «Я не про себя хочу писать, — я человек простой и совершенно не герой. Я хочу рассказать про двух людей: про Тихона Рубцова и про Аничку (...) Война (имеется в виду война 1914—1918 гг. — И.С.) только хронологически разделила эпохи, но именно годы, которые вошли в учебники под обозначением — заострение индивидуализма, — именно они породили сегодняшний день... Однако идеи, какие бы то ни было, не для того горят в им положенные сроки, чтобы всего-навсего опочить в книгах, — идеи проходят в живую жизнь и за них расплачиваются живые люди. По-настоящему утерявшие в слово своего времени, они герои этого времени»*.

Гибель Тихона и страдания Анички в эмигрантской рукописи объясняются тем, что Тихон хочет осуществить в жизни, в своих отношениях с Аничкой идею «Великой встречи», идею любви по Владимиру Соловьеву, идею «нездешнего соединения»**. Как рассказала Аничка автору рукописи: «Я спросила однажды Тихона: — женимся мы когда? Он привел мне эти слова: «никогда еще не нашел я женщины, от которой хочу иметь детей, — потому что я люблю тебя, о вечность»***. — слова эти из Ницше, но они выражают ту конкретную идею, из-за которой гибнет Тихон и ломается жизнь Анички.

Судьба этих персонажей связана в рукописи с посещением лекции Мэтра, в котором нельзя не узнать Вячеслава Иванова, с посещением его знаменитой башни, со стихами-песнями Михаила Кузмина и еще со многими приметами предвоенного символистского Петербурга.

Однако ее осуждение символизма как культуры поведения вызвано теми же идеями, какими был воодушевлен Белый как автор мемуарной трилогии.

* Там же, стр. 55.

** Там же, стр. 115.

*** Там же

В романе Ольги Форш показано, что на смену символизму с его безграничными и невозможными требованиями к личности пришла коллективистическая философия поведения (о ней в «Сумасшедшем корабле» еще спорят!). Ее формулирует сожитель Нины, комсомольский активист Маврик: «Пусть на «кладбище прошлого века» захоронен сентимент(...) Ему противопоставляем свою формулировку. И вот она: во-первых, антагонизм личности и коллектива — фикция; во-вторых, коллектив самим собою обеспечивает свободу личности; в-третьих, все, что не потребно коллективу, гони на свалку»*.

Такова «теория», а на практике ей соответствует принципиальное доносительство на все, что не соответствует теории в поведении своих же товарищей.

Нина даже заготовила заявление в «коллектив» на Маврика, в котором просила обсудить его поведение: он, не порывая отношений с ней, сблизился с ее подругой. Но эмигрантская рукопись заставила ее отказаться от такого обращения к коллективу и понять, что не любовь у нее была с Мавриком, а сожительство. И в последнем с ним разговоре она ему заявляет, что человек символистской эпохи, словами Данте: «А женщина всегда, во все времена будет такая любовь нужна, которая движет солнце и другие звезды»**.

Безмерность требований личности к действительности грозит гибелью замороженному символизму, — но и то, что пришло ему на смену, те «Маврики», которые так легко отдают в утиль-старье всю культуру прошлого — отвратительны своей бездуховностью.

Где же выход? Уход символизма из жизни — это конец культуры вообще? Решением этой проблемы занят в романе Лагода. Он «стал думать, какие слова найти, чтобы убедить Маврика, что искания одного поколения дают результат свой часто не в следующем поколении, а много позднее. Как убедить, что всякий оплаченный жизненный счет теряет свой вес в мировой экономике»***.

И тут же Лагода мысленно возвращается к своей любимой теме: «Гоголь и символисты»: «... Гоголь погиб оттого, что известное рядовому члену религиозно-философского общества было ему неизвестно. Он не знал, что его гений — единственный его путь (...) И шевелилась зависть к этим Маврикам, к сегодняшним молодым, которые так легко расправились с его, Лагоды, прошлым, и, не утруждая себя проверкой, ничем не поступаясь, ничего не заплатив за свое познание, — так уверенно знают»****.

* Там же.

** Там же, стр. 138.

*** Там же, стр. 140.

**** Там же.

Лагода позавидовал «маврикам», их «знанию», их уверенности в том, что на них история кончается и никаких неразрешимых проблем больше не будет. «Лагода хочет «пересмотреть» традиционно-просветительское объяснение духовного кризиса Гоголя и найти его внутренние, душевно-психологические причины. «Учительство» Гоголя и убеждение в «чудовищности его полномочий» Лагода объясняет тем, что именно у него впервые появилась характерная для последующей русской культуры жажда немедленного сведения воедино мысли и дела, мечты и действительности, запросов нравственного чувства и личного поведения. «В этом смысле Гоголь оказывается неожиданно «отцом символизма», духовным предшественником тех провинциальных юношей и девушек, которые простодушно уверовали в «слово» столичных «мэтров» и пытались собственной жизнью проверить (подтвердить или опровергнуть) символистские идеи немедленного «преобразования» жизни одним лишь расширением запросов духа. Их жизненное крушение показало несостоятельность спиритуалистических «синтезов» символизма. Но единство слова и дела, идейных взглядов и личного поведения пытаются осуществить в свою очередь и своими путями комсомольцы первой пятилетки. Что взгляды эти — прямо противоположные, а задачи, которые ставит перед собой советская молодежь, носят не мистический, а общественно-практический характер, — эти кардинальные различия кажутся Форш менее существенными, чем сходство: комсомольцы тоже непримиримы к окостенелым формам быта и тоже хотят создать лучшую действительность»*.

Сейчас мы заняты пересмотром и переоценкой того, что сделали «Маврики», и того, что сделала с ними история. Мы вернулись к тому кругу идей, с которыми они так лихо расправились.

А как мы сегодня читаем, — если читаем — мемуары Белого, книги Ольги Форш, роман-хронику Горького? Что дает нам исторический опыт прошедших шестидесяти лет? Неужели он только прибавил самоуверенности, и мы сами не замечаем, что готовы рубить сплеча так же смело, как это делали «маврики»?

Может быть, следует измерить и тех, и других, и «мавриков», и «ре-фи», как иронически их называет Лагода, одной общей мерою, мерой ответственности каждой эпохи за произнесенное ею слово? Сделать это нелегко, но необходимо, и тогда мемуарные свидетельства эпохи «великого перелома» (так она официально называлась) займут свое место среди честных свидетельств эпохи о самой себе.

Иерусалим

* Анна Тмарченко. Ольга Форш. стр. 271.

БУДУЩЕЕ НАДО ВНОВЬ ПРИДУМАТЬ

Интервью с Жюльеном Грином

Французский писатель Жюльен Грин — живой классик. Он родился в 1900 году. Его первая книга «Памфлет против французских католиков» появилась в 1924 г. Первый роман, «Мон-Синер», — в 1926. С тех пор последовали десятки романов («Анриен Мезюра», «Левия Фаня», «Баруна», «Мойра» и много других). В 1936 году начинается публикация его «Дневника». XV-й том «Дневника» вышел в свет в 1993 году.

Жюльен Грин — американец, но родился в Париже, полюбил Париж навсегда, живет в Париже (на «левом берегу») и почти все свои книги написал по-французски. Он стал «бессмертным», то есть был принят во Французскую Академию в 1973 году (занял место Франсуа Мориака). С 1972 года продолжается публикация его «Полного собрания сочинений» в престижной коллекции «Плейяд» в издательстве Галлимар.

Девяносточетырехлетний писатель занимает совершенно особое место во французской литературе. Он принадлежит блестящему поколению писателей, появившихся «между войнами», то есть в 20-е и 30-е годы нашего века: Поль Валери, Франсуа Мориак, Поль Клодель, Жан Жироду, Андре Жид. Неоклассицизм этого поколения выражается по-разному, но все они вернули французскому языку четкость, изысканность, склонность к афористичности. Персонажи Грина — люди обыкновенные, но в них горит необыкновенный огонь. Огонь греха, огонь Дьявола неустанно пожирает их — и самого Грина.

Воспитанный в протестантской традиции, он (вместе с отцом) обратился в католицизм, но всегда яростно отвергал «теплую веру» рядовых католиков, предпочитая потухшей «правильной вере» пылающую ересь.

Есть в мире Жюльена Грина дневная и ночная сторона. Ночная сторона преобладает, она похожа на тюрьму, и в ней гудят «колокола ада». Грин, как заметил французский писатель Жозе Кабанис, наподобие Мильтона, заперт в самой страшной башне, в «Башне Самого Себя». И тем не менее Грин испытывал моменты интенсивного, безумного, крайнего счастья. Они внушили ему светлую книгу о святом Франциске Ассизском. Итальянский

«Поверелло» — дневной полюс мира Грина. Своему биографу, католическому журналисту и писателю Луи-Анри Парнасу, Жюльен Грин сказал, что с 1924-го по 1984-ый, когда он начал писать книгу о «Поверелло», не он писал свои книги, а Враг их диктовал. Франциск его освободил..

Грин лишь косвенно вмешивается в дела нашего мира. Он воздерживается от телевизионных зрелищ, от политических шоу. Но его творчество — одно из самых сильных свидетельств о нашем веке. В этом интервью, первоначально данном французской газете «Монд» и любезно переданном писателем для русского перевода «Континенту», читатель увидит, как старейший мэтр французской беллетристики выражает свою точку зрения на все главные проблемы современности — точку зрения острую и оригинальную.

Жорж Нива

— Читая последний том Вашего Дневника, все время чувствуешь Ваше возмущение войной в экс-Югославии, эпидемией СПИДа, терроризмом. Как удалось Вам сохранить эту способность к негодозанию?

— Просто во мне живет некто, кто не желает стареть. Детство... Именно оно воздействует, не позволяет утратить способность удивляться.

— Вы часто пишете, что Вы не человек нынешнего века. Тем не менее Ваше трагическое видение истории вполне соответствует нашей эпохе.

— Да, это все более и более верно. Есть вещь, которая меня безмерно поражает. Вот уже два-три года два города, отмеченных историей, играют важную роль... Маастрихт и Сараево. Название Сараево напоминает о 1914 годе и зовет к нему; Сараево — имя, которое приносит несчастье. Сараево стал колоколом для Европы. Европа в этот момент распалась на части. Австро-венгерская империя раскололась. Мы находимся в том же самом расколе. Чем дальше, тем больше это превращается в настоящий кошмар.

Под угрозой находится не только Франция, но и весь европейский мир. Под угрозой чего? Неизвестно. У опасности много лиц: раскол, крупная экологическая катастрофа. Я веду дневник и каждый день задаю себе вопрос: что я напишу в этот день через год. Буду ли я в своем кабинете, будет ли спокойной улица под окном?

— 8 ноября 1955-го года Вы писали: «Я благодарю Господа, который позволяет мне писать в этот день. В нем нет ничего особенного, но он напоминает мне о тех многочисленных годах, которые мне было надо прожить на этой прекрасной Земле».

— В 55-ом? Не так уже и плохо было тогда. Верните мне 55-ый! Я был бы рад (*смех*). Это внутреннее беспокойство не беспрерывно, вовсе нет. Я рад тому, что живу, и я испытываю минуты великого счастья. Я встречаюсь с друзьями, путешествую, работаю. Работа! Понимаете, это как опиум. Это удивительно — чего можно достичь работой... Но когда я размышляю над тем, что вижу и слышу — кошмар Истории возвращается. Мне это напоминает высказывание Конто: «Ад существует, это история».

— В 30-х годах Вы писали: «Я ненавижу политику». Это все еще так?

— Слово ненависть — не точное слово. Я отворачиваюсь от политики, ибо у меня есть другие занятия. Я просто хочу сохранить свое время для чего-то истинно ценного. Политика — это огромная сила, негативная и разрушительная, которая вторгается в личную жизнь каждого из нас — часто к наихудшему. И не разум отличает это отродье, а хитрость.

С появлением национал-социализма наша жизнь пошатнулась. Когда около 1933-го — 1934-го года к власти пришел Гитлер, я сразу же сказал, что партия проиграна. Впоследствии мне сказали: «вы были пророком». Если вы помните содержание Дневника, может быть вас удивила непрерывно возникающая тема возможного военного вторжения... Таково было намерение Гитлера. И я задавал себе вопрос: что мы ему противопоставим? Линию Мажино? Разве это все, что мы можем противопоставить с каждым днем набирающим силу немецкой армии и авиации? Простецкие вопросы, быть может. Но они затрагивали суть проблемы. Никто не хотел их слышать, кроме Де Голля. Продолжение вам известно.

— Великим событием Вы всегда уделяли большое внимание. Какие были у Вас возможности получать информацию в 30-ые годы, когда Вы предрекали и так точно описывали крушение Европы?

— А разговоры, радио, газеты? Что касается газет, их крупные заголовки сообщали самое важное. Комментарии экспертов интересовали меня меньше. Впрочем, они регулярно ошибались, они слишком утыкались носом в события, и это развивало косоглазие.

И к тому же я был со многими знаком, круг «света» тогда был более ограничен. Существовало два течения. Одни, когда речь заходила о Гитлере, говорили: «Этот человек не хочет войны, он просто хочет устрашать». Это был опасный способ принимать ситуацию. Другие задавались вопросом, каким образом Франция могла бы сопротивляться. Андре Жид, с которым я часто это обсуждал, был настроен очень пессимистически.

Французы не были подготовлены к крупной катастрофе. Литературная жизнь и жизнь вообще продолжала сверкать. Этьен де Бомон, Ноайи устраивали праздники, где Берар переодевался в Красную Шапочку... То есть была тенденция одурманивать са-

мих себя, отвергать беспокойство. Очень часто это было даже не обязательно, ибо умы были абсолютно спокойны и, надо это сказать, «расплющены». Мы некогда раньше не видели Францию такой... Как это выразить? Трудно так говорить о Франции. Ну, словом...

— *Она зябла?*

— Нет, такой безответственной... Она не хотела знать, особенно молодежь. Зачем отравлять лучшие годы, зачем омрачать молодость? В 1938-м году я написал, что Петен — роковой человек, самонадеянный старик. Это восстановило против меня французов, даже друзей!

— *Как определили бы Вы вашу манеру расшифровывать политику, историю?*

— Инстинктивной.

— *Не под влиянием ли Библии и ветхозаветных преданий о войне выковывалось Ваше трагическое видение?*

— Знаете, война это почти повседневное состояние человечества. Отыскали только один год в 19-ом веке, когда не произошло ни одного конфликта, — кажется, при Людовике-Филиппе. Так это почти уникальный случай. Как правило, всегда где-нибудь идет война. Даже если бы я и не читал Библию, все равно у меня сложилось бы то же впечатление.

— *Как Вы стали пацифистом?*

— В 1917-м году. Я был санитаром на аргоннском фронте. Мне едва исполнилось 18 лет. Я увидел в сарае мертвого французского солдата. Тело было накрыто простыней, выглядывала только рука. Рука молодого солдата. Это вызвало во мне протест. Тот же протест, что вызывает казнь человека, любого человека. Война есть нечто вроде массовой казни. На это можно, при желании, смотреть и по-другому, но и эта правда тоже есть.

— *Однажды Вы назвали XX век — веком войны.*

— Это век народов против народов. В гораздо большем масштабе, чем XIX-й. Вглядитесь в опасности. Границы рушатся. Одни народы движутся против других. Раньше говорили о желтой опасности, предугаданной Кюстином, Наполеоном, Вильгельмом II. Сегодня все смешалось. Мы живем у подножия экономической и политической Вавилонской башни. В 1990 году я почувствовал, что вступаю не в новую эпоху, но в чужую страну — так я воспринял новую, ищущую себя Европу, которая боролась с возможными, с уже начавшимися вторжениями. Это интуитивное чувство обернулось вдруг очевидностью. Я не представлю себе общего будущего между расами различными, нетерпимыми и агрессивными. Будущее надо вновь придумать. Истинное братство тоже. С голодом не борются с помощью оружия и международных ассамблей, занимающихся главным образом болтовней. Мировой

нравственный порядок — это порядок, который несет смерть свободе индивидуума.

— *Когда Вы начали вести дневник, был ли перед Вами образец?*

— Побудил меня начать записывать свои мысли и соображения Леон Блуа. Я открыл его для себя в 1917-м году в Риме. Одна английская знакомая дала мне его дневник, и он запал мне в голову. Я только что был крещен в католичество. Но я не держал в уме никакого образца. Когда начал писать в 19 лет, я и не знал, что веду дневник! Я был страстно влюблен в жизнь. Я говорил себе: это надо записать, это уйдет, и в конечном итоге это составило дневник.

— *Какие чужие дневники дали Вам что-то и могут помочь лучше понять Ваш собственный?*

— Прежде всего дневники англичан. Я начал их читать с Университета. Я прочел Пеписа, Вислея. А затем я прочел братьев Гонкуров, я их много читал. Том, посвященный войне 70-го года и Коммуне... это лучший том. Но не они подтолкнули меня регулярно вести дневник. Что касается Гонкуров, я не смог до конца прочесть издание, опубликованное после войны. Это отвратительно...

— *Почему?*

— Слишком много грязи. В сущности, я не люблю Гонкуров — они буржуазные эстеты. К тому же они лгали... они угождали. Ренан их в этом упрекал. У них не было общих воззрений, они не обладали чувством правды. Это скверно, когда ведешь дневник, не так ли?

— *Как бы вы обозначили отличие вашего дневника от дневника Жида?*

— Дневник Жида гораздо сильнее направлен на интеллектуальные вещи. А в отношении его повседневной жизни это очень скудно. Он не слишком охотно открывает себя.

— *Вы сами не все публикуете. Вы много умалчиваете?*

— Должно быть, значительную часть, да — значительную. Не все интересно публике. Много частей не было опубликовано. Очень личные вещи. Дневник, который публикуется, это подборка. Если бы я публиковал целиком, это могло бы быть однообразным. Есть повторы.

— *Но не страхом же повториться руководствуетесь Вы в вашей подборке?..*

— Нет! Видите ли, первые тома обратили на себя внимание. Это был относительно простой дневник. Он стал как бы письмом, написанным Неизвестному. Неизвестный ответил. Установился диалог, и в конце концов я стал гораздо менее сдержан в своих личных пометках благодаря тем, кто даже на улице обращался ко мне: «Я был счастлив прочесть ваш Дневник. Вы облегчили мне жизнь, Вы заговорили о некоторых религиозных проблемах,

я благодарю вас». Это способствовало тому, что я стал не то чтобы не скромнен, но менее сдержан в подборе фрагментов.

И очевидно тон понравился. Я полагаю... (молчание) Я в этом уверен! Зачем строить скромника! (смех). Мне много пишут по поводу моего Дневника, это непрерывный поток. (Жюльен Грин понижает голос). Я спрашиваю себя, не это ли моя самая значительная книга? Очень возможно. Как знать? Как знать?..

— К каким современным авторам Вы возвращаетесь сегодня чаще всего?

— Я вам скажу... есть один великий французский писатель, о котором никогда не вспоминают: Шарль Пегги. Для меня это пророк, католический поэт исключительной силы и человек, обладавший чувством социального братства — не социализма, который есть его извращение, но чувством уважения к каждому индивидууму в его уникальности и к его свободе. Я не вижу, с кем его можно было бы сравнить по значительности и по качеству его вдохновения.

— А каких авторов посоветовали бы Вы молодежи?

— Недавно один молодой человек говорил со мной о своем чтении, и я ему сказал: читайте все, все, что можете, все шедевры: Шекспира, Данте, Гомера, Де Куинси, Хуана де ла Крус — все. Это формирует своего рода питательный слой души. Очень важно, что ты все читал, хранишь в себе.

— И также быть очень внимательным к словам?

— Мы ограбили французский язык и продолжаем это делать! Французский язык стал беден. Во времена Рабле, Ронсара и Кальвина он был очень богатым. Случился своего рода языковой катаклизм, а впоследствии возникло стремление к большей четкости и ясности. В 17-ом веке он оскудел, но одновременно сделался чудесным, еще более прекрасным благодаря Паскалю с его чувством абсолютного в слове и благодаря Боссюэ с его величественным «словесным органом». Но когда вы читаете Библию в переводе «Господ из Пор-Рояля», это очень голый, холодный язык. А ведь Псалмы — как крик. Переведенные на французский, они — ледяные, в то время как на древнееврейском все — страсть и пыл. В английском языке есть что-то варварское — откуда великолепный английский перевод 1611 года «Библии короля Джэмса». Очень близко по духу к древнееврейскому.

— Вы часто, говоря о ваших романах, вспоминаете детство.

— Когда пишешь, отдаешь себе отчет в том, что рукою движет ребенок. Здесь действует именно сила детства. Ребенка, который сам себе рассказывает разные истории. Упрек, который я предъявляю современным романистам, в том, что они не верят в истории, которые рассказывают, они считают себя слишком умными. Ребенок абсолютно верит своим историям. Это для него сущая правда. Если романист может сохранить эту силу, эту веру в рассказ,

который он сочиняет, — это к лучшему для книги! Такое Вы найдете у Диккенса. Он-то сохранил силу детства.

— *Могли бы Вы описать рабочий день Жюльена Грина?*

— Ранним утром я готовлю завтрак, этой мой «job», это мгновение новой жизни; новый день! И это чудесно. Передо мной всегда Новый Завет. Я открываю его наугад — старая привычка. Именно таким образом дается нам совет, в котором мы нуждаемся. Сколько раз это подтверждалось! Удивительное чтение! Именно оно приносит наибольшие плоды в течение дня. Прежде чем сесть за работу, я еще немного читаю Библию. Это прочно укоренившаяся привычка протестанта.

К 11-и часам я за работой, перед чистой страницей. Ее надо заполнить! Это все более и более поглощает, но все более и более освобождает. После обеда довольно непродолжительная сиеста. И снова работа, над романом или над какой-нибудь другой книгой. Дневник — в любой момент, когда есть время и есть, что сказать. А что сказать, есть всегда! Прежде всего внутренняя жизнь — то, что есть у меня самого ценного, мое великое убежище. Это вся моя жизнь. Очень рано в моем детстве произошли события духовного порядка и внутренние потрясения, связанные с сексуальностью, — одним из великих кошмаров моей жизни.

— *В конечном итоге, Ваши метания между духовным и сексуальным не кажутся ли очень современными? И даже ваш признанный гомосексуализм?*

— В разные периоды во мне возникало что-то вроде ужаса перед сексуальностью вообще и гомосексуализмом в частности. Брала верх платоническая любовь, она же «свирепствовала» в моей жизни два или три раза. Это очень лично, и это может быть очень современно — в том смысле, что это сложности, которые существуют, но о которых не часто говорили и говорят. Платоническая любовь — не очень распространенное явление в наших краях. Она свойственна англичанам, безусловно шведам и возможно скандинавам. Большинство же людей вам скажут: платоническая любовь? Нет!

— *Однако, это явление, которое с распространением СПИДа могло бы стать значительным?*

— Я ультрасовременен, сам того не зная!

— *Но Вы познали не только платоническую любовь. Случались периоды разгула?*

— Да, связанные с физическим, с плотью. Но любовь для меня это не только физическая сторона. Нас увлекает очень сильное чувство, которое и есть любовь. Если физический элемент отсутствует — ничего страшного, это не имеет значения. Имеет значение то, чтобы любимый человек был с вами, рядом с вами.

— *Следует ли обуздывать сексуальность?*

— И да и нет. В 1958 году я ее уничтожил. Я услышал голос, сказавший мне: «Сейчас или никогда!» Я ответил: «Если Вы мне не поможете, я ничего не смогу сделать». Помощь пришла, но опыт был мучительным. Это длилось по меньшей мере два года, и наконец-то вернулся покой. Это итог целой жизни, в которой религиозная сила чередовалась с сексуальным порывом. Этот порыв был слишком силен, ибо он был выражением чрезмерного «я». Сексуальность мешала мне вести ту жизнь, которую я хотел.

— *Вы думали, что это был некий импульс, который надо было направлять? Вы хотели отдать свои силы духовности?*

— Это не так просто — судьба человека... Порой логика разрушена в подобных случаях. Сексуальность везде, во всех проявлениях жизни: в процессе производства, в литературной и артистической деятельности. Даже в сложенных руках монахини есть что-то сексуальное. Однако наступает момент, когда равновесие нарушается слишком сильно. И в этот момент надо преобразить свою жизнь так, чтобы сексуальный инстинкт продолжал проявляться в иной, не плотской форме. Ибо плотская форма исключает все остальное.

— *«Трагедия старости в том, что остаешься молодым». Не кажется ли Вам, что это выражение Оскара Уайльда подходит к вашему случаю?*

— Конечно! Перед вами чудо молодости! (смех). Я чувствую себя очень молодым. «О, Боже, дай мне сил глядеть без омерзения на сердце моего и плоти наготу». Итак! К чему драматизировать? Глядя на себя в зеркало, я вижу, что постарел, но не душой... Так что — мимо...

*Перевод Анастасии Виноградовой
под редакцией Жоржа Нива*

Сергей ПАРАДЖАНОВ

Выступление перед творческой и научной молодежью
Белоруссии 1 декабря 1971 г. Запись из архива ЦК КПСС.

«ЕСЛИ ХУДОЖНИКУ НЕ ВЕРЯТ
ПОСЛЕ СОРОКА, ТО ЕМУ НЕ ПО-
ВЕРЯТ И НА ТОМ СВЕТЕ...»

Имя Сергея Параджанова — одно из самых знаменитых в истории современного отечественного кинематографа.

Сергей Иосифович Параджанов родился в 1924 году в Тбилиси. В 1943 году поступил одновременно в два училища — хореографическое и вокальное. В обоих учился успешно. В это же время пережил и первое свое искушение, которое заставило его осмыслить самого себя. В 1945 году — Параджанов в Москве, поступает в консерваторию в класс профессора Нины Дорлиак. Обучение и здесь было вполне успешным, однако учеба в консерватории отрезвила его, и он задумался о собственном предназначении. В 1945 году он поступил во ВГИК, по окончании которого его распределили в Киев — на киностудию им. Довженко, где он выпускает фильм «Андриеш» по своему ВГИКовскому диплому. Начальству фильм не понравился, но был «засчитан» и принят; Параджанов же чувствует себя нереализованным. Однако новые фильмы ему снимать не дают. Тогда он пишет «наверх» и добивается разрешения сделать три новых фильма подряд. Фильмы получились абсолютно безликими (что примирило с ним коллег), но затем следует фильм «Тени забытых предков», который приносит ему мировую славу. О Параджанове начинают говорить, а он начинает жить так, как он хочет. Его «дурная» слава ширится. Однако после своего второго бессюжетного и бессловесного фильма «Цвет граната» Параджанов снова оказывается в длительном простое, и тут его настигает судебный процесс по делу, связанному с нестандартной сексуальной ориентацией. Параджанов попадает в тюрьму и с 1973-го по 1984-ый оказывается как художник вычеркнут из жизни. Вернувшись на волю в 1984 году, он приступает к съемкам фильма «Легенда о Сурамской крепости», а в 1988 году заканчивает фильм «Апшик-Кериб». К этому времени его взгляд на мир достигает «совершенной» декоративности. Он не воспринимает назначения вещей — он воспринимает их цветовую и эмоциональную оболочку. Его мир становится чрезвычайно пестрым и практически теряет

логическую направленность, которая подменяется стихийной мощью эмоциональных порывов автора.

Достигнув опасной близости с подсознанием, 20-го июля 1990 года в Ереване Параджанов уходит из жизни, навсегда перемещаясь для нас в то измерение, где сила человеческого таланта подлювластна, а все «только человеческое», слабое и смертное — подвержено уже суду не человеческого, а Божественному.

* * *

Речь Параджанова, запись которой мы предлагаем вашему вниманию, была произнесена режиссером, уже познавшим вкус славы, 1 декабря 1971 году в минском Доме Искусств. Уникальную запись сделали сотрудники Комитета Госбезопасности, которые следили за высказываниями опального режиссера. То, о чем мечтали его друзья — записывать и стенографировать за мастером, — делали его враги.

Единственное их упущение: они, как правило, ошибались в записи имен собственных — как живых людей, так и вымышленных персонажей, употребляемых Параджановым в речи. Они же внесли струю «подпольности» в ту речь, которая могла бы украсить выступление любого уникального человека.

Имейте свое лицо, удивляйте им — это было кредо Параджанова. В своем одиноком естестве он воплощал чуть ли не противоположные ипостаси мира. XX век скупится на людей с полифоническим даром. «Многотиражно» распространены «узкие» специалисты. Своей жизнью Параджанов дал ответ на вопрос: кем становились люди, рождавшиеся с талантом кинорежиссера до открытия кинематографа. Наверное, они были «параджановыми». Они были художниками, модельерами, артистами, циркачами. Они исповедовали пластическое видение мира, в котором все течет и переливается. Они не принимали категорию времени, которая заставляет человека помнить, когда и в какое время можно делать одно и не делать другого.

Параджанов был очень сложным человеком, поэтому его боялись. Его как режиссера достаточно полно раскрывает его собственная речь с соответствующими комментариями. Выступления Параджанова всегда отличались крайней степенью свободы. Ему нужна была аудитория, которая вдохновляла бы и окрыляла его. Параджанов был великолепный актер и никогда ни перед чем не останавливался, в том числе и в эксцентрике, чтобы не обмануть ожидания людей, пришедших посмотреть на него и послушать.

Он не знал преград в своих высказываниях, и мог запросто эпатировать какую угодно аудиторию, даже уголовную. Иными словами — он был вечный нарушитель уготованного нам — правом коллектива — штампа.

Эта речь раскрывает его и как человека. Она дает представление о творческой «детскости» ума взрослого человека. Естественно, многие высказывания Параджанова, особенно о живущих ныне людях, могут показаться предельно субъективными. Но это —

право нашего героя, которого именно таким выбрало себе время и который заплатил за это своей жизнью.

Дм. Минченко

СЕКРЕТНО

ЦК КПСС

По сообщению КГБ при СМ Белорусской ССР, 1 декабря 1971 года перед творческой и научной молодежью республики выступил приглашенный ЦК ЛКСМ Белоруссии режиссер Киевской киностудии имени Довженко ПАРАДЖАНОВ С.И.

Выступление ПАРАДЖАНОВА (запись прилагается), носившее явно демагогический характер, вызвало возмущение большинства присутствующих.

ЦК Компартии Белоруссии информирован.

ПРИЛОЖЕНИЕ: на 23 листах.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ

АНДРОПОВ

ЗАПИСЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ РЕЖИССЕРА КИЕВСКОЙ КИНОСТУДИИ ИМ. ДОВЖЕНКО С.И. ПАРАДЖАНОВА 1 ДЕКАБРЯ 1971 ГОДА ПЕРЕД ТВОРЧЕСКОЙ И НАУЧНОЙ МОЛОДЕЖЬЮ БЕЛОРУССИИ

Друзья, я вам благодарен за внимание, за приглашение.* Я абсолютно не волнуюсь: в зале много бородачей, значит, все будет понятно. Я считаю Белоруссию очень любимой своей республикой, хотя я здесь второй раз. Отсюда, со студии, разбегаются мои друзья. Но это ничего не значит. Они придут, вернуться в каком-то качестве. Не дай бог, если Фигуровский вернется сюда актером, как он это показал нам.**

* К истории приглашения. С 1968 года до момента приглашения в Минск Параджанов находился в очередном «простое». Приглашения, приходившие со всей страны от друзей и знакомых — приехать с официальным творческим визитом и показать его знаменитые поэтические фильмы, давали ему, помимо всего прочего, средства к жизни. 1 декабря 1971 года Параджанов выступал в минском Доме Искусств перед аудиторией, состоявшей в основном из киноработников. Зал был не очень большой и людей было немного. В Минск Параджанов привез авторскую версию своего фильма о Саят-Нове, демонстрация которого послужила поводом для Параджанова высказаться по ряду кинопроблем, которые ему представлялись как очевидными, так и болезненными.

** Николай Николаевич Фигуровский — кинорежиссер и сценарист, долгое время работавший на студии «Беларусьфильм». Сокурсник Параджанова по ВГИКу (мастерская Игоря Савченко, к которому оба поступили в 1945 году). Вполне вписывался в советский кинематограф. Пожалуй, его самый известный фильм — «Часы остановились в полночь», а самый известный сценарий — «Когда деревья были большими» (совместно с Ю.Егоровым). Актерские работы Н.Н. Фигуровского незначительны. Он снимался у С.Герасимова в «Молодой гвардии», у Л.Кулиджанова, а также в собственных фильмах.

Стоит чему-то появиться, как сразу пытаемся мы классифицировать: куда и какое это направление, пишутся ярлыки. Если «Саят-Нова» — это поэтический кинематограф, меня ущемляют в великой профессии режиссера. Я получил за два дня до приезда сюда личное письмо от Феллини, которое мне неудобно было цитировать и везти его сюда.

Куда же классифицировать «Войну и мир», «Таньку Каренину» (как я говорю), «Преступление без наказания» или «Дворянское гнездо»? Полная девальвация качеств кинематографического искусства. Абсолютная трагедия во всем мире и, в частности, в советской кинематографии. Я считаю, что удивительный застой, нет ярких художников. Великомученик Тарковский не может нас ежегодно поражать своим талантом, своей глубиной, а все остальное мне кажется просто никаким. И да простит мне наше руководство, я ехал сюда в вагоне, что-то мне не спалось, дорога была длинная, и член ЦК, как он представился, очень долго мне объяснял, почему это происходит.

Я считаю, происходит это потому, что художникам, наиболее интересным художникам, оказано недоверие. Недоверие — удивительная обида, с недоверием связана целая судьба и невероятно короткая жизнь художника. Потому так классически была провалена в Советском Союзе одна из знаменательных дат — ле-

* «Саят-Нова» — первое название картины «Цвет граната», снятой режиссером в 1968 году на киностудии «Арменфильм». Саят-Нова — это псевдоним, поэтическое имя Арутина Саядяна, легендарного ашуга-сказителя, жившего в XVIII веке, писавшего на армянском, грузинском, персидском языках. Фильм Параджанова представлял собой ассоциативное, поэтическое, иносказательное толкование жизни поэта.

** Вышеназванные фильмы Параджанов считал показательными для советской киноидеологии. «Война и мир» — фильм Сергея Бондарчука 1966-67 гг. «...Танька Каренина...» — фильм А.Зархи «Анна Каренина» 1968 г., в котором главную роль исполняла Татьяна Самойлова. «Преступление без наказания» — имеется в виду фильм «Преступление и наказание» Л.Кулиджанова 1970 г.

*** Это не просто философская сентенция. Параджанов в иносказательной форме говорит о самом себе, о своем взгляде на мир, который — он это остро ощущает — не принимается «сильными мира сего». За 35 лет работы в кинематографе Параджанову удалось сделать лишь 8 полнометражных картин, за исключением документальных и короткометражных лент.

нинский юбилей. Вспомните, самые бездарные люди делали ленинские фильмы. И на экране просто плохие произведения, километры пленки — киномакулатура, к которой никто из нас не вернется ни как зритель, ни как искусствовед, ни как киновед.

Появление моей картины удивительно сложно.* Мне пришлось наконец-то на сей раз обмануть своих земляков армян, которые великодушно хотели, чтобы я сделал «Тени забытых предков» по-карски.** Они думали, что я приеду и сразу притащу им медали.*** Этого не произошло.

Армения — великая страна, с потрясающей культурой, это моя родина. Я впервые посетил ее. Абсолютно захлебнулся от красоты и поэзии своего народа, потому что я — армянин грузинского разлива, тифлисского. Я родился в Тбилиси. Я впервые увидел Армению. Это безумная античность, чистота, это величие. И прошу не судить по джазу, который параллельно со мной сейчас выступает. Там Орбелян, и южные мальчишки наводнили город.

Дело в том, что правительство Армении не поняло картину, за что великодушно спустя три года предлагали мне делать и «Давида Сасунского» (просто их вынудило вмешательство в судьбу этого фильма ЮНЕСКО и ООН и лично крупных мастеров мира). Картина выходит на экраны в редакции моего друга Сергея Иосифовича Юткевича,**** который не понял картину и даже сказал: «Что вы так торопились, что два дубля стоят подряд?». Он не

* В 1965 году после кинопроб «закрыли» фильм Параджанова «Киевские фрески». Положение «режиссера без фильмов» становится все более нестерпимым для Параджанова. 12 апреля 1966 года, по предложению тогдашнего министра кинематографии Армении С. Т. Гаспаряна, Параджанов был зачислен в штат ереванской киностудии. В качестве своей первой работы Параджанов предложил киномуководству фильм о легендарном армянском поэте Саят-Нове. Предложение с готовностью было принято. От Параджанова ожидали «удобного» фильма на национальном материале.

** «Тени забытых предков» — пятый полнометражный фильм (1964 г.) Параджанова, снятый им по одноименной повести украинского классика Михаила Коцюбинского на киностудии им. Довженко. «...по-карски»: имеется в виду — в духе национальной старины, от слова Карс — города на северо-востоке Турции, некогда столицы древнеармянского Карсского царства.

*** Фильм «Тени забытых предков» был удостоен 28 международных наград.

**** Работа над «Саят-Новой» завершилась трагически. Картина в параджановском варианте не принималась. Вопрос стоял так: либо картина не выходит вовсе, либо она будет переделана. Чтобы спасти картину, Параджанов был вынужден отказаться от картины на последней стадии монтажа и предоставить закончить фильм Сергею Юткевичу, который осуществил монтажную версию киноленты для всесоюзного проката под названием «Цвет граната». Только в армянском прокате картина называлась «Саят-Нова».

понял, что это метод. Он говорит: «Странная у вас смерть католикоса.* Католикос умер, а у него открытые глаза, и он дышит. Вот когда облака поют, что католикос бессмертен.» Он дословно воспринимает смерть: значит, надо закрыть глаза и подвязать подбородок. Поэтому он реставрировал картину; в таком-то качестве картина попала в минимум московских кинотеатров и я, в общем, получил те рупии, на которые я живу. Получил опять чье-то недоверие — не работать и не делать фильмов.

Но дело не в том. Это не потому, что я сейчас гарцую, а просто благодаря жестокой правде, которая связана с моими коллегами, художниками-кинематографистами. Потому Армения первая. Человек, который высказывался о картине, — это один из секретарей ЦК по культуре, который в прошлом был полотером и был выдвинут на руководящую должность в связи с определенным талантом. Он, посмотрев эту картину, сказал о том, что это удивительная картина, но что в ней очень много мастики. Я долго не понимал, почему именно мастики. Потом мне перевели его переводчики, которые все время его сопровождают и редактируют, что это мистика.

Что связано сейчас с судьбой картины? Армения показывала этот фильм, посылала людей. Народ-то, я не сказал бы, что понимает картину, я и сам ее не совсем понимаю. Но народ идет на эту картину, идет как на праздник. Понимаете, идут все слои населения, они в картине чувствуют свои гены. Ни тот сюжет, ни те установившиеся каноны судьбы поэта (конфликты с царем, придворный конфликт, изгнание поэта из дворца, светская жизнь, монастырь) — это все не стало смыслом моего сценария, а краски, аксессуары, быт, который сопровождал поэзию. И вот я постарался искусство изобразить в жизни, а не жизнь изобразить в искусстве. Наоборот, чтобы искусство отобразилось в жизни. Тот мир, который сопровождал поэта. В картине, во-первых, поэт не разговаривает. В картине фактически две драматургические реплики, я буду их переводить. В картине нет дословно точных географических сведений. Мне кажется, картина очень примитивна по структуре своей: было детство, была юность, была любовь, был монастырь, были камни. Возлюбленный был камень, келья была возлюбленной, любимая, грудь ее воспета,** воспета роза. Потом была мысль, что горло мое пересохло, я болен. Поэт умер. Все так просто, ясно, как в судьбе великого поэта, ашуга, менестреля.

* «Смерть католикоса» — одна из новелл «Цвета граната», в которой показывается смерть и похороны католикоса.

** В фильме очень много ассоциативных сопоставлений: женская грудь и купол восточной купальни, четыре времени года — четыре возрастные ипостаси Саят-Новы, передаваемые четырьмя актерами: детство — актер-мальчик, юношество — Софиико Чиаурели, зрелость — Вилен Галстян, и старость — Георгий Гегечкори.

Картина сложно снималась, в полном недоверии. Мне удалось ее спасти от дамочек из главка, от кокаревых, зусевых.* Там много есть элегантных дам, в прошлом танцюристок, як кажуть на Украине, кордебалеток. Я спас ее и от Романова,** несмотря на то, что он высоко оценил картину, сказав, что это интеллектуальный шантаж. Самое высшее, что можно было получить в оценке.

Ну, картину всяко оценивают. Например, Курьянов, мой друг и земляк, сказал, что это идеальный комиссионный магазин***. Это тоже очень интересно в нашем веке, когда идеальный комиссионный магазин мы не можем представить сегодня. Идеальный комиссионный магазин, я считаю, в «Комиссионном гнезде», в «Дворянском гнезде»,**** где выставили все, что было в арбатских комиссионных, миниатюры, и Кончаловские, дворяне, пытались показать аксессуарный мир Арбата и Парижа, лишая Париж цвета, а цвет переносили в помещицьи усадьбы.

Сейчас ко мне ворвался обезумевший Бондарчук, после того, как я ему послал телеграмму, что мне очень нравится его картина «Ватерлоо» после исключительного провала «Войны и мира»,+ который уже делается государственной трагедией: затрачены удивительные деньги, а результата никакого. Я не видел в Советском Союзе (я хожу, ищу) человека, который дважды посмотрел бы

* Кокарева Ирина Александровна — киновед, Зусева Раиса Соломоновна — редактор. В то время чиновники из Управления художественной кинематографии Кинокомитета.

** Романов Алексей Владимирович — с 1963 по 1972 год председатель Кинокомитета. Позже — главный редактор газеты «Советская культура».

*** «Идеальный комиссионный магазин». Автором этой шутки является оператор «Саят-Новы» Сурен Шахбазян. По всей видимости, при расшифровке текста вкралась ошибка. Ошибка слуха через схожесть произношения: Курьянов — от Курена, что в свою очередь идет от Сурена.

**** «Дворянское гнездо» — фильм А. Кончаловского 1969 г., экранизация одноименного романа И. Тургенева. Для Параджанова в высшей степени было значимо пластическое, художественное восприятие мира. Без различия на бытовое и художественное. Он признавал художественное начало во всем, тем более когда речь касалась восприятия старой антикварной вещи, в которой ее былое утилитарное восприятие должно было напрочь устраняться. Обладая таким предельно обостренным мироощущением и видя в этом начало вселенской гармонии, Параджанов наивно не понимал, как этого не замечают его коллеги-художники.

+ С Сергеем Бондарчуком Параджанов первый раз работал на фильме «Тарас Шевченко» (киностудия им. Довженко, режиссер Игорь Савченко), когда проходил практику у своего мастера курса. Сергей Бондарчук исполнял роль Тараса Шевченко, «Ватерлоо» — его фильм 1970 года.

хоть одну серию, даже ошибочно; этого не произошло. Понимаете, третью и четвертую серии вообще никто не посещал.

А «Ватерлоо» — интересная картина. Вот он приехал ко мне и говорит, что Сан-Франциско потрясено было тем, что совершенно неожиданно русская делегация принимала поздравления от мэра города и муниципалитета в том, что они поздравляли с уникальным фильмом «Саят-Нова», и комиссия вылетела в Москву, чтобы узнать, почему среди совсем других московских фильмов была картина «Саят-Нова». Как туда попала картина, через какие источники, мне не известно, но она начинает интересовать общественность.

Для меня она уже пройденный этап, сейчас я готовлюсь к работе над другими темами, надеюсь, живу, старею и даже слепну** в преддверии ожидания. Шесть лет Украина почти не дает мне делать картину, вот уже три года, как вернулся после «Саят-Новы». Картина с трудом где-то появляется на экранах. Зритель не понимает фильма, а мне не хочется перед ним извиняться, мне кажется, что время уже зрителю извиняться иногда перед художником. Потому что совсем другое что-то хвалится, чего-то ждут.

Сейчас я задумал фильм, работаю с Виктором Шкловским,*** делаю «Демона» по Лермонтову. Экспериментальная студия, опять-таки испуганный Чухрай, пытающийся делать коммерческий эксперимент, а не творческий. Он не знает, куда деться.

* После «Саят-Новы» Параджанов написал сценарий «Ара прекрасный» (1968) — о легендарном армянском царе, в которого влюбилась царица Семирамида, работал над сценарием по «Бахчисарайскому фонтану», который назвал «Дремлющий дворец» (1969), написал сценарий по повести М. Коцюбинского «Интермеццо» (1970). Кроме этих были и другие проекты, о которых режиссер постоянно рассказывал друзьям.

** Параджанов страдал сахарным диабетом, что сказывалось на зрении.

*** В 1970 г. Параджанов встретился с патриархом литературоведения, кино, прозы Виктором Борисовичем Шкловским. По предложению Параджанова два маэстро приступили к работе над «кавказиадой» Лермонтова, поэмами «Демон» и «Ашик-Кериб». Участие Шкловского давало некоторые гарантии по выпуску фильма. Ленту планировали снимать в Экспериментальном творческом объединении при киностудии «Мосфильм», которое в 1965-75 годах возглавлял Г. Чухрай, Шкловский и Параджанов писали свои варианты сценария. По мнению Шкловского, у Параджанова вместо Демона получался Вий, а у Шкловского в Кавказских горах каким-то образом проступают черты Зимнего дворца перед Невою. Два мастера друг друга не понимали.

Будто бы есть приказ Романова заключить договор со Шкловским, иначе бояться, что если не заключат, то Шкловский не выдержит этого, и убийцей будут Романовы.

Шкловскому много лет, он сделал сценарий сложный, странный, непонятный, но я счастлив тем, что есть мой вариант сценария, что еще раз, может, придется кого-то обмануть, если не Шкловского, то Чухрая. Шкловский возложил на меня надежды, очень хочет делать эту ленту. Ну, о фильме, вероятно, много можно говорить, а мне кажется, что после фильма вообще надо просто молча разойтись. Этого требует лента. Понимаете, поэт Бажан, один из великих моих друзей, сказал, что «Тени забытых предков» пять лет нуждались в признании, лента, которую я не люблю, и для меня она просто...

Картина нравится Юрию Ильенко,* поэтому он изредка мне напоминает, что существует эта лента.

Я ушел абсолютно в сторону от этого этнографического, такого колониального фильма, и считаю, что это колоссальное заболевание юноши, что если этому подражает такой мастер, как Юрий Ильенко, или напоминает картину хотя бы даже аксессуаром, обрядом, танцами, динамикой. Картина «Саят-Нова» снята с одной точки: просто назло Юрию Ильенко, не меняя свет, цвет, не меняя оптику, с одной точки. Если мне удалось сделать динамику пластическую, я считаю, что даже если мне это не полностью удалось, то картина статична, безумно статична, и этим она мне очень дорога. Сценарий был написан в стихах, он был абсолютно непонятен никому и поэтому не был утвержден. Никто не понимал, на что надо наводить фокус. Оператором «Саят-Новы» был Сурен Шахбазян, с которым Параджанов учился в одно и то же время во ВГИКе. После института оба оказались на киностудии им. Довженко в Киеве. С Шахбазяном Параджанов снимал свой первый фильм «Андриеш». Операторская съемка «Саят-Новы» велась с намеренно статичных позиций. Параджанов добился живописного эффекта восприятия, будто речь шла о цикле картин, писанных на холсте, или фресок, писанных на камне, а не созданных при помощи кинокамеры. Все говорили: «на постановочные». Постановочных тоже не оказалось. Постановочные — это вознаграждение, которое мы получаем после картины.

Ну, что я могу сказать о фильме? Фильм мне безумно дорог. Я просил Юткевича не трогать последнюю часть, потому что,

* Юрий Герасимович Ильенко — оператор фильма «Тени забытых предков» (1964). Совместная работа с Параджановым в значительной степени повлияла на Ильенко. В 1965 г. он выступает как режиссер, ставит фильм «Родник для жаждущих», который двадцать лет пролежал на полке. После смерти Параджанова Ильенко как оператор совместно с режиссером Леонидом Осыка поставил фильм по сценарию Параджанова «Лебединое озеро. Зона», отмеченный призом на Каннском фестивале 1990 года. Живет в Киеве.

может быть, это и последняя моя лента, к сожалению. Потому что я... Мне запретили уезжать в Минск, потому что со мной должен говорить первый секретарь ЦК Украины. Он очень хочет, чтобы я делал фильм о хлеборобах. Значит, земля, еще раз земля. Такая маленькая отписка, которая произошла для того, чтобы получить (фильм) [ред.] по Коцюбинскому «Интермеццо». Такое произведение, очень сложное, о судьбе интеллигента в начале века. Это такой авторский монолог, очень интересное произведение, не изученное в определенное время. 50 лет оно было изъято из украинской литературы. Потом вернулось для того, чтобы снова был изъятым. Но я готовлюсь к этому фильму, сценарий готов.

Но сейчас я представляю вот фильм «Саят-Нова».

Ну, как и что мне удалось реализовать? Во-первых, роль молодого поэта играет Софико Чиаурели — девушка. Она же играет Идеал любви, царевну Анну* и все призраки, которые потом появляются в судьбе поэта: монашка в белых кружевах, ангел при вознесении — и пантомимы, это мусульманский театр при дворе царя Ираклия. XVIII век, Армения, Грузия, Азербайджан, Закавказье, царь Грузии, он же царь Армении, придворный поэт — армянин. Видите, все элементы дружбы народов, никакого конфликта между возлюбленными — сестрой царя и поэтом. Просто уход поэта в монастырь от светской жизни, что являлось как бы высшим вознаграждением поэтов и поэзии Ренессанса, Армении средневековья.

Сценарий был написан в определенной форме. Я постараюсь вам прочесть один эпизод. Представьте, как же я мог реализовать его потом на экране.

Вот поэт пришел в монастырь. Нужна была плащаница. Умирает католикос Казар,** и великий поэт, который был ключарем и хозяйственником монастыря, идет в женский монастырь, чтобы принести лучшую из лучших плащаниц. Поэту доверяют избрать ее. Он встречает там монашку с лицом царевны. Ну, примерно так для присутствующих здесь литераторов и киноведов:

«Эпиграф:

Тебя одел небесный снег,
Тебя одел небесный снег...
Рипсеме — монастырь в степи.

Сами по себе звенели колокола. Саят-Нова сам по себе шел в гору и сам по себе сходил с нее, пока дорогу не пересек ему

* По сюжету Саят-Нова был влюблен в сестру грузинского царя Ираклия Анну. «Монашка в белых кружевах» в фильме Параджанова — та, которая не скрывает своей чувственной страсти.

** Здесь, ошибка слуха у человека, расшифровавшего пленку с выступлением Параджанова. В фильме «Саят-Нова» католикоса зовут не Казар, а Газарос.

монастырь. Сами по себе монашки выносили на руках расшитые золотом плащаницы для тела Казара и клали к ногам Арутина, на камни притвора свою золотую печаль. Саят-Нова избегал смотрящих на него глаз, а монашки в упор смотрели в лицо Арутина и сами по себе обладали (им) [ред.] какое-то мгновение. Саят-Нова взял плащаницу и примерил ее с головы до ног. И все монашки в черном резко отвернулись, пропуская к Саят-Нове монашку в белых кружевах.

Тебя одел небесный снег,
Тебя одел небесный снег...

Саят-Нова взял плащаницу и примерил ее с головы до ног. Все монашки в черном резко отвернулись, пропуская к Саят-Нове монашку в белых кружевах.

Монашка в белых кружевах улыбалась и в упор приложилась к плащанице, и через золото Христа поцеловала Саят-Нову. И все монашки в черном резко отвернулись. И сам по себе отступил Саят-Нова.

Саят-Нова шел по кладбищу монашек. Сами по себе звенели колокола и с криком бежала за Арутином монашка в белых кружевах, и сама по себе возникла ограда, и ударилась о красные камни. Рипсеме — монашка в белых кружевах. И сама по себе наступила тишина. Саят-Нова вошел в кафедральный собор Ахпата и покрыл тело католика Казара золотом, принесенным из Ринсима. Ринсима — женский монастырь в степях Армении».

Вот, получив таких 12 новелл, растерянный министр, растерянная общественность города все-таки разрешили мне снять фильм. Вы не дословно увидите экранизированные вот эти кадры, но общий лад и настроение фильма примерно в том ритме, в каком я вам прочел. Фильм снимал удивительный оператор, необыкновенно скромный, понявший смысл моего замысла — это Сурен Шахбазян. Он работает на Киевской киностудии, принял приглашение мое, вы его знаете по «Закону Антарктиды», по «Павлу Корчагину». Картина снята на советской пленке, копия, которую вы сейчас увидите, бракованная, она украдена, иначе никто не дал бы мне эту копию, она просто похищена мной со студии и представляет сейчас мою частную собственность. Пока.

Я очень хотел бы, чтобы вы посмотрели картину, и мне больше нечего добавить в картину. Я так и говорю, что многое придется переводить, потому что... Бажан сказал, что фильм не армянский, напрасно вы обольщаетесь, что он армянский, он скорее украинский. Когда мы начали расшифровывать его мысль, то выяснилось, что просто истоки культуры Армении и Украины идут от Византии, и стилистика построения кадров света напоминала и киевские фрески в Софии Киевской, и миниатюры — уникальные вещи IV — XV века. Нет античнее земли на Советской территории,

чем Армения. Памятники I века и палеолита стоят в сочетании с удивительной архитектурой X и XVIII веков.

Армения — очень красивая страна, ее типаж, обряды здесь впервые представлены, потому что я считаю, что был великий фильм в Армении сделан — это «Тепло» режиссера Бек-Назарова. Но, к сожалению, «Тепло» — фильм тифлисских армян, понимаете, об Армении сделан такой атлас, удивительные сочетания типажа, обрядовой поэзии, пластики, диалекта, обрядов и кинематографически расшифровать, komponуя это, — это была удивительно трудная задача.

Картина снималась долго. Боюсь, что она покажется вам не простой. Я хотел бы обратить ваше внимание на удивительную актрису Софико Чиаурели. Что такое Чиаурели? Жалко, что это исчезла эстафета Веры Стрепетовой. Неизвестно, кому принадлежит сейчас Вера Стрепетова. Софико Чиаурели единственная трагическая актриса. Она изображает роль вот молодого Саят-Новы, и мне она необыкновенна, удивительна своей византийской красотой; так вот — как-то ее судьба тоже неизвестна грузинам. Они не понимают, как она безумно красива. Как это и я делаю — второй день спорю, что меня восхищает удивительный мастер, такой как Азгур.* Я понимаю, что многих удивит мое такое признание, но я думаю, что через сто лет Азгур будет обмерен, изучен, покажет удивительную галерею истины, может быть, даже патологии удивительного времени, которому мы все современники. То же Софико Чиаурели представляет. Сверхкрасота. Она больше, чем Византия, она удивительная актриса, несмотря на то, что она глухая и немая, она не произносит ни одного слова, все говорит жестом.

Я вот тут ЦК комсомола Белоруссии приношу свою благодарность, как и те дары, которые передали мои друзья. Во-первых, вот Митуса, автора «Слова о полку Игореве». «Первый актер и скоморох» — работа керамика Орлова.** Вот несколько книг из истории — это в назидание белорусской печати, как украинцы идеально издали свое искусство. Эта книга продается на доллары.

Вот и судьба этого портрета. Знаете, однажды на выставке было... Однажды, когда я был в моде на Украине, то на выставке одновременно появилось несколько бюстов, сделанных моими друзьями, и графика, живопись. И министр, значит, прошел и

* В Минске Параджанов познакомился с работами скульптора Заира Азгура, «классического» советского художника, народного художника Белоруссии. Его скульптуры из белого мрамора поражают «имперской ясностью» и могут служить для специалистов иллюстрацией понятия «идеологическое мышление». Его знаменитые работы: «Ленин с девочкой» и др.

** Митуса — художник, иллюстрировавший «Слово о полку Игореве». Орлов Сергей Михайлович — советский скульптор, народный художник СССР, умер за 22 дня до выступления Параджанова. Параджанов ценил работы Орлова, одного из самых известных отечественных керамистов, с 1929 года работавшего в лабораториях московского Музея керамики.

спросил: «Кто этот бородач? Почему его так много? Примитивное название. Какой Параджанов?»

Ну, там назвали: «Мой далекий друг». После третьего тура исчезли все портреты и все бюсты. Исчезли, и остался вот этот, который я привез сюда. Председателем выставки была Яблонская. Она все время мучается, что у нее широкие бедра. Она все время хочет похудеть, но это ей никак не удается. И вот я говорю: «Как вам удалось спасти этот портрет?» А она говорит: «Знаете, первый раз в жизни меня выручили бедра. Когда проходил министр и хотел снять портрет, я его прикрыла своим задом».

Вот этот портрет нашего удивительного художника-графика Якутовича.* Я передаю его на память обо мне и о Яблонской. Я постараюсь переводить вам фильм.

*Пауза***

Вы знаете, когда Бондарчук у меня спросил: «Сергей, почему ты считаешь, что я провалился?»*** — я говорю, вот давай мне любую склейку, и я тебе докажу, что ты не режиссер. Вот, пожалуйста, вот там, перед дуэлью Пьера с Долоховым, идет этот банкет, с бокалами, где он висит. Вот, говорит, нормальная склейка, значит, вот — конфликт возник. Нет, говорю, баня! Маленькая баня на Арбатских переулках, где у Пьера потеют очки. Он моет в холодной воде их и снова одевает, и кто-то выливает воду, и снова потеют очки, и Пьер снова их моет в холодной воде и снова одевает, а потом отмыл и выстрелил. Этого нет у Толстого. Ну и что ж! А ведь был бы живой Толстой, он, может быть, оставил бы эту сцену, вместо твоей склейки, сам бы вписал бы, на свой манер, кинематографическую сцену, чтобы передать состояние, может быть, внешнее, может быть, естественно идущее, потому что Пьер готовился к дуэли. Дуэль сама иллюстративна, и потому я лично считаю, что Софико...

Говорят, почему-то, есть какая-то система Станиславского. Вот я не понимаю, что это такое. Понимаете, надо глубоко дышать, какой-то текст говорить, а может быть, можно молчать, и это больше, чем...

* Якутович Георгий Вячеславович — автор портрета Параджанова. Известный украинский художник, книжный график. С Параджановым его связывало не только взаимоуважение двух художников друг к другу. В 1964 году он был художником фильма «Тени забытых предков». В 65-66 годах он делал иллюстрации к одноименной книге М.Коцюбинского. Портрет Параджанова он написал предположительно в 1966 г.

** В этот момент возникла пауза, связанная с тем, что никак не могли включить аппаратуру для демонстрации ленты. Это навело Параджанова на некие ассоциации. О чем он и сказал далее.

*** Имеется в виду негативное отношение Параджанова к «Войне и миру» С.Бондарчука.

И есть другое. Есть античный театр, который построен на диалогах. Есть Шекспир. Есть вообще пантомима. Есть киноязык. Значит, все равно мы в плену каких-то киноканонов. Почему должен быть объявлен вне закона режиссер, который говорит, что актер не главный, а может быть, главный сегодня я! Почему сегодня мой «Гамлет» или «Исповедь»,* которая опубликована сейчас во всем мире, сценарий, который я написал, его опубликовали поляки, испанцы, «Кросспресспарк» — вечноезеленое ревю абсурдной литературы. Я взял просто маленькую тему. Мне говорят, что это нетипично. Нетипично. В Тбилиси кладбище рушат и превращают в парк культуры имени Кирова. Точно притом, имени Кирова. Там работают бульдозеры, теодолиты, нивелиры, а я там организовал 12 могил. Я провожал своих предков, понимаете, я провожал белошвеек, провожал терщиков. Возникли могилы, а я еще живой, а там парк, понимаете? Я написал этот сценарий, говорят, он нетипичен. Для меня он типичен, потому что это произошло и в Киеве, и, вероятно, во всех городах, потому что кладбища живут 20 лет. Потом, это не потому, что это какое-то кощунство. Или это нетипично в мире. Может, другие страны и другие народы сохраняют кладбища дольше. Пока мне 46 лет и я жив, я прихожу и вижу разрушенное кладбище, а в часовнях скульпторы делают модные чеканки, и валяющиеся чрева роялей я воспринимаю как арфы для того, чтобы самому умереть в своем детище. Уясняю себе, что это просто скульптор покупает старомодные рояли, вынимает эту бронзу, чтобы сделать модные вот эти чеканки для модного кладбища. Сабуртало.** Это тоже ведь сложности: как точно удержаться, если я художник.

Чем может быть объединено «Андрееш»*** и «Саят-Нова»? Я считаю, что если есть художник, который может синтезировать удивительное, прекрасное, то его надо немедленно эксплуатировать, это должен быть приказ ЦК, понимаете, выкачать из него и делать фильмы, например...

* Параджанов замысливал театральную постановку «Гамлета». «Исповедь» — сценарий неосуществленного автобиографического фильма Параджанова, задуманный им в конце 60-х годов. В 1988 году он снова заговорил о реальности постановки этого фильма на «Арменфильме», но не успел закончить над ним работу.

** Сабуртало — район Тбилиси, в котором находилось вышеупомянутое кладбище. Тема кладбища в творчестве многих художников — архетипична. Достаточно вспомнить Жана Жене, который видел в кладбищенском ритуале некий праобраз современного театра. Параджанов, по-видимому, мыслил аналогично. В 1984 году в Тбилиси, после выхода из тюрьмы, он устроил свои похороны со всей правдоподобностью: несли гроб (с отсутствующим телом), фотографию Параджанова и т.д.

*** «Андрееш» — первый полнометражный фильм Параджанова, снятый им в 1955 году по сказке Е.Букова совместно с Я.Базеляном. Сюжет сказки — про пастушка Андрееша, который победил Черного Вихря, — был сначала использован Параджановым в его дипломной короткометражке. В ней роль Андрееша исполняла кукла.

Кстати говоря, прислали бы меня в Белоруссию, где я мог бы сделать фильм о Белоруссии, потому что, кроме вас... Вы, белорусы, вы что, думаете, что декада в Москве — представлять «Лен» в пляске и «Бульбу»? Вы не правы. Есть другой какой-то круг, другой круг, удивительный круг, понимаете, на уровне мистики какой-то, для того, чтобы воскресить и «Слово о полку Игореве», воскресить сейчас, понимаете, и вашу обрядовую поэзию, или Грузию, которая не может делать «Витязь в тигровой шкуре».

И почему армяне обратились сейчас ко мне делать «Давида Сасунского»? Вероятно, есть клинические какие-то симпатии у художника на определенном языке, на определенном материале развивать свой талант, свой мир.

Кстати, литература. Что такое литература для меня сегодня? Неужели вы думаете, я нажимаю кнопки, и будет взлетать Демон в шифоновом, простроченном на «Зингере» тюлем или газом? Это ведь смешно сегодня иллюстрировать так, как иллюстрируют классиков русских русские режиссеры. Это ведь смешно сегодня! Это дойдет до патологии, вы понимаете?

Ведь посмотрите, всю русскую литературу экранизировали. Что осталось? Что осталось в русской литературе? Назовите одно весомое произведение, которое не иллюстрировалось! Ведь все провал! Кроме «Бесприданницы», кроме «Попрыгунья».* Ну что еще осталось! Вот я выделяю два фильма. Из прочтения режиссерского. Вот, пожалуйста, на Украине. Значит, не хватает, вероятно, того отношения у художников, вероятно, того, что в кино сегодня называется гениальностью. Ведь ищется киногений, который может. Это был Эйзенштейн, который умел удивительно открыть мир Александра Невского, он тоже статуарен, может быть, излишне, бутафорски. Есть целая ода пластике того времени, где она эстетический факт.

Ну, посмотрите, что происходит в мире? Что поляки сделали с «Паном Володыевским»?** Что может быть страшнее, что может

* «Бесприданница» — экранизация одноименной пьесы А. Островского Яковым Протазановым, 1937-го года, с легендарной Н. Алисовой. «Попрыгунья» — фильм Самсона Самсонова, 1955 года, по одноименному рассказу Чехова с Л. Целиковской в главной роли.

** «Пан Володыевский» — экранизация 1969 года одноименного исторического романа Генрика Сенкевича мастером польской кинорежиссуры Ежи Гофманом. В главной роли была занята Барбара Брыльска.

быть ужаснее, примитивнее и более фашистский фильм, чем «Пан Володыевский»? Что это такое? Огнем и мечом размахивают поляки и вызывают, понимаете ли, призрак пана Володыевского. Это ведь смешно. Посмотрите все картины на исторические темы. И «Крестоносцы»,* вот будут делать еще много фильмов; провалился же Экзюпери «Маленький принц».** Вероятно, нет, художники не несут в себе креста поэтического, не несут мира своего, они пусты, декоративны, и сыты. В особенности вот московские художники. Они сыты. Понимаете, потому у них все время провал за провалом. Если я не прав, назовите мне произведение за последнее время, кроме «Начала»,*** где молодой, трепетный, провинциальный Панфилов, с трепетом тюзовского зрителя, еще увлечен Жанной д'Арк и пытается что-то делать и сочетает одно с другим.

Это ведь очень сложная проблема. Мы здесь это не решим. Это должно стать на повестку ЦК, для того чтобы самую великую русскую кинематографию, советскую кинематографию, в особенности довоенного периода, воскресить и продолжить. Потому что в общем — трагедия. Я с этого начал и могут этим кончить. Я лично предчувствую удивительный кризис в советском кинематографе.

Пауза

...Он официальный композитор картины. Он начал со мной делать картину, но его любовь к Армении, он турист, и он ушел в горы и не вернулся к нам, а нам надо было делать картину. Это Андрей Волконский.**** Вот он тут, сидит в конце. Он начинал со мной картину, я очень рад, что он увидел последние два кадра этой картины, потому что мы его разыскивали, и из Кафана и Зангезура нам сообщили, что такого Волконского на учете композитора не имеет ни милиция, ни КГБ. Он ушел, мы думали, что он перешел границу на чужую сторону, должно, перешел через границу. Но он появился наконец спустя три года здесь, в Белоруссии.

Ну, вы знаете, на счет того, что я художник, у меня сейчас очень большие радости, меня Флоренция пригласила выставить

* Фильм «Крестоносцы» — режиссер Александр Форд, экранизация (1960 г.) одноименного романа Г.Сенкевича, которую прославила Люцина Винницка исполнением главной роли.

** Параджанов может иметь в виду две экранизации «Маленького принца»: как фильм Арунаса Жабрюнаса 1967 г. с Д.Банионисом, так и фильм Конрада Вольфа (ГДР) 1966 года.

*** «Начало» — фильм Глеба Панфилова 1970 г. В главной роли Инна Чурикова.

**** Андрей Волконский — композитор, создатель знаменитого ансамбля «Мадригал». Его творчество отличает приверженность к стилизации, в частности широкое использование музыкальной гармонии раннего Возрождения. В середине 70-ых эмигрировал из СССР. В настоящее время живет в Париже.

свои работы живописные, керамику, коллажи, в общем все, что где-то что-то такое появляется, а оно иногда появляется у меня тоже. В последнее время у меня стали исчезать работы, и потому, что самые любимые работы исчезают, я не могу их восстановить. Я не знаю, это делают друзья или делают просто случайно. Вот здесь вы видели коллажи к фильму «Исповедь». И вот Любимов сейчас смотрел, приезжал специально, мои коллажи к «Гамлету», спектакль, который я хотел ставить, но я не нашел продюсера.

Ведь мир, который окружал и влиял на поэзию «Саят-Новы», ведь может, здесь и нет поэзии, как таковой, поэт здесь не сидит, не мучается, не вскакивает ночью, не ударяет для смеха в спину ампириного кресла, вскакивает и радиатор включает, значит, музыку Чайковского. Чайковский так писал музыку и звал почему-то уродливого напарника. Понимаете, вместо красивого. Почему-то странно, вот этот «Чайковский». Один из провалов.* Меня должны понять композиторы. Неужели надо стучать в полированное красное дерево, понимаете, с пламенем и вскакивать ночью под гром, бегать босым. Это же чудовищно! Это чудовищно! Это нам не нужно. Это есть такой сейчас, послевоенный, биографический фильм, вот такие политические фильмы на уровне «Красных листьев»,** певичек каких-то из варьете, где революция чуть ли не была опереттой.

Ведь идет серьезный разговор. Я понимаю, насколько я рискованно выступаю. Но меня разозлил вчера этот член ЦК, который мне грозился, что вы еще шесть лет не будете работать. Ну, не буду работать я, найдется другой талантливый человек, все равно он естественно возникнет где-то. Просто обидно, когда я не могу делать картины, мне давали, а вот когда я умею, мне не дают. Понимаете, я больше зарабатывал, тогда я сделал 5 фильмов: и «Первый парень» и «Цветок на камне»... Очень прилично зарабатывал, очень. Потом, как только я понял, что нужно моему народу — в данном случае я не отличаю украинцев, армян и грузин. Я считаю, что это происходит травма, большая травма. Я считаю, что если в 40 лет тебе не доверяют, как художнику, то и на том свете будут не доверять. Это точно. Понимаете. Поэтому я очень благодарен, что... Вот вы акцентируете, что художник... Я считаю, что эта картина меньше всего должна нравиться художникам. Она нравится больше всего физикам. Понимаете? И потому вот когда я показывал на физическом факультете

* По всей видимости, Параджанов имеет в виду либо фильм «Чайковский» Игоря Таланкина 1970 г., где Чайковского играл И. Смоктуновский, или фильм «Третья молодость» 1966 г., где Чайковского играл О. Стриженов.

** «Красные листья» Корш-Саблина 1958 года, наряду с его же «Константином Заслоновым» — самые показательные ленты как для самого основоположника белорусского кино, так и для социалистической киноидеологии в целом.

в Ереване, и курды вот, горные курды, которые живут, так сказать, скотоводы, а курды, значит, очень эмоциональные люди. Один очень красиво сказал, может быть, это даже и неправда, я плохо знаю физику. Он мне сказал, выступая в большой аудитории, что вот современная физика не имеет формулы, и она в состоянии поиска мечтательной формулы. Вот фильм Параджанова — это мечтательная формула искусства. Вот так как-то красиво, — может быть, он не физик, а поэт, — очень точно он сказал то, что мне понятно было, и так изысканно.

Я не буду цитировать там Сарьяна, моих личных друзей, мне не пришлось своим друзьям, на которых я опираюсь, и вот странно, что я иногда говорю, что я делаю фильмы для своих друзей, они не требуют никакого объяснения, понимаете. Они понимают, что в соборах Грузии, Армении, в византийских соборах были голосники, такие вот кувшины, чури, которые были в углах установлены как резонаторы. Понимаете? Если министр культуры не понимает это...

Или когда я делал «Киевские фрески», там обнаженная натура в мастерской у художника, он мне говорит: «Ну как вы, — вот такой тонкий, такой художник — могли взять такую уродливую женщину с низким тазом, с такой грудью». Я говорю — «Слушайте, Святослав Павлович,** ведь это же Майоль!» — «Меня не интересует ее фамилия!» — сказал министр. Понимаете, ведь он даже не знает, что есть формы определенной скульптуры, определенной пластики. Мне показалось, что я говорю с ним на разных языках. Это же Майоль! — меня не интересует ее фамилия, лучше назови ее адрес, чтобы он там ближе познакомился с этой натурой.

Потому фильм, вероятно, завтра больше будет терзать психику людей впечатлительных. А то, что я обманул*** Армению, это было просто необходимо. Она сейчас удивительно добра ко мне, и удивительно так, как-то осознала и процесс, который происходил у меня, и в группе, очень сложный, недоверие, и неутвержденные

* Параджанов имеет в виду последнюю «новеллу» из «Саят-Новы», когда великий поэт приходит умирать в храм, и там под самым куполом видит каменщика-строителя, который заставляет его лезть в кувшины-чури, чтобы затем замуровать их в стены храма и навсегда сохранить божественный дух Арутина.

** Имеется в виду Святослав Павлович Иванов, тогдашний Председатель Комитета по кинематографии Украинской ССР.

*** Под словами «обманул» Параджанов, по всей видимости, подразумевал то, что из-за его фильма «Саят-Нова» у армянского Кинокомитета были неприятности.

актеры, и тайно снятые сцены. К сожалению, я не сохранил самого первого варианта, который был действительно, как сказал Романов, интеллектуальный шантаж. Может быть, это в свое время и будет удивительной пластикой, больших таких ассоциаций, поэтических, которые, столкнувшись, создадут какую-то форму. То, что уже давно сделала музыка, сделали композиторы и сделало изобразительное искусство. А кино в Советском Союзе нашло какую-то вот линию запрета, которая не может развиваться. А кроме всего, нет и художников. Видите, я не отказываю в должном и таким художникам, как Абуладзе, и удивительные художники есть и в другом ключе работающие. Есть Иоселиани, который сделал «Листопад» и «День-деньской». Есть Леня Осыка, * который сделал «Памятный крест». Просто рекомендую посмотреть эту картину и добиться посмотреть картины Юрия Ильенко, и такие, как были удивительные картины у Кончаловского, как «Первый учитель», которую я не только признаю, поклоняюсь и ждал от него удивительного фильма. Он ушел абсолютно в другую сторону и...

Так что моя чисто такая возрастная доброта удивительно распространяется на судьбы молодых художников, но когда я вижу спокойных, неищущих, кто бы это ни был — керамик или просто модельер, я думаю, что мы в долгу все, и художники, и режиссеры, и композиторы, и члены правительства в долгу перед нашим великим народом. Мне так кажется. Потом я и себя в первую очередь считаю в долгу перед народом, потому что не могу найти сейчас прямо дороги в массы, для того чтобы поразить одновременно всех. Мне кажется, что это невозможно.

Я всегда в Армении говорил: «Вот, что вы хотите. Хотите, вот фильм, как «Спартак», чтобы ломались в кассы, или вы хотите в Каннах получить золотую медаль?» — Мы, говорят, хотим и то и другое. — Это невозможно!

Это невозможно сегодня: одновременно удовлетворить запросы в общем людей подготовленных к изобразительному кинематографу, психологическому, с подтекстом, с ассоциациями, с метафорой, с аллегориями, понимаете, или же надо давать ту схему, когда домохозяйки на коммунальных кухнях будут пересказывать сюжет, кто кого и зачем, и сколько раз.

Вот это самое страшное. Я даже не знаю, как сейчас смонтировать, вот, женщина вышла из одной комнаты и вошла в другую. Обычно монтажницы прикладывают, дверь пластично открывается. Это первые радости кинематографиста, он смонтировал открывающиеся двери. Но это не волнует сегодня, это может

* Леонид Михайлович Осыка — украинский режиссер, друг Параджанова. Вместе с Ю. Ильенко после смерти мастера поставил фильм по его сценарию «Лебединое озеро. Зона.» Далее у Параджанова оговорка. Фильм Осыки называется «Каменный крест».

делать только на первом курсе монтажер, режиссер, это первый опыт монтажера. Сейчас надо, по-моему, какой-то другой кинематограф. Если о поэтическом, если будет такое направление.

Вот мне нужно было сто лошадей. Они мне сказали: сто лошадей на нашествие Ага-Магомет-хана* — это невозможно. Лошади у Бондарчука.**

Я искал идентичное, простое решение, для того чтобы сделать нашествие Ага-Магомет-хана. Мусульманская рука с ятаганом, ударяющая христианский собор. Христианский собор, вытекающий кровью, и распятые символы поэта для меня стали во сто раз интереснее. Кадр, который стоил 10 рублей, а не тысячи, чтобы мне привезли войска, которые бы загадили святые соборы, и я не знал бы, чем кормить людей, чем кормить всадников, и во что их одевать, и что они должны кричать, когда они будут наступать на христианскую землю Грузии. Это уже смешно. Это период «Скандербегов», «Войны и мира», вот этого кинематографа.

Все-таки, кому интересна «Война и мир» сегодня? Тем республикам, там узбекам, туркменам, у которых нет перевода «Войны и мира» с русского на их язык. Вот они и смотрят, вероятно, этот фильм, изучая в средней школе. Вот потому, я думаю, что вот такой фильм как «Саят-Нова» — обсуждать его очень трудно. Потом иногда в какой-то день, появляется какое-то письмо после такой аудитории, которая абсолютно точно заанализирует то, что я сделал.

Таким письмом оказалось письмо Феллини, Кавалеровича, Аднжея Вайды, который, обращаясь ко мне, пишет: «маэстро, вы — учитель». Я потрясен искусством Вайды и никогда в жизни не думал, что я могу быть его учителем. Так же как своим учителем я считаю абсолютно молодого и удивительного режиссера Тарковского, который даже не понят, насколько он был гениален в «Ивановом детстве» и какое удивительное наследие он открыл для того, чтобы его разоряли бы, повторяли бы, удивительно разоряли его мышление, шли к ассоциативному кинематографу, который сейчас пугает, пугает слово ассоциация, даже пугает мюзикл, потому что «Оливер Твист», на который рассчитывала касса кинопроката, провалился, «Оливер Твист» не поняли. Прежде говорили — давайте мюзикл, давайте мюзикл, а сейчас слово мюзикл пугает, как пугает ассоциативный кинематограф.

Я уже не говорю о слове «сюрреализм». «Реализм» еще понимают как-то, а вот «сюр»... Вот так же, как и Герасимов, который предложил мне вместе делать, как он сказал, сюрреалистический фильм «Слово о полку Игореве». «А что нам, говорю, делать

* Нашествие Ага-Магомет-хана — одна из «новелл» в «Саят-Нове», когда турецкий воин стреляет в иконописный лик.

** Параджанов имеет в виду батальные сцены в «Войне и мире».

вдвоем?» — А он: «Ну вот, мы и ударим по сюрреализму». Я говорю: «Очень хорошо, вы будете делать реализм, а я — сюр».

Я тогда официальное имел сообщение, что у него живет мечта поставить с Сергеем Параджановым яркое, страстное «Слово о полку Игореве» с его битвами и удачами половецкими плясками. Это его юбилейное выступление.

Дело не в Герасимове. Герасимов, который хочет меня поддержать, он посмотрел эту картину и сказал: «Ну вот, ты представь себе, что я тебя буду поддерживать. Значит, что «Молодой гвардии» вообще не было?»

Нормально, просто — вот его кредо.

Почему он должен меня поддерживать? При этом, если бы была «Молодая гвардия». Ему надо внушить всем свою «Молодую гвардию». И это естественный процесс, это процесс...

Почему мне должен уступить Кулиджанов, который в общем руководит сейчас и не может сделать Достоевского. Не может! Вот сейчас делает Баталов снова Достоевского. Что они пристали к этому Достоевскому, что они поняли в нем? Понимаете, когда Европа делала, например, «Голод»..., Картину «Голод», кто видел? Не видели? Есть картина в кинопрокате. Возьмите. Тогда вы поймете, что такое Достоевский, как его надо делать. Возьмите в Белых Столбах. В Белых Столбах находится всесоюзный киноархив художественных фильмов, возьмите разрешение, поезжайте, вам дадут там. Потому что если взять, в аудитории до 50 тысяч человек можно воспитать, то считайте, что это чудо. Потому что, понимаете, я сейчас изучал биографию Пушкина, Лермонтова, они рисовали и передавали рисунком, потому что не было фотоаппарата. Вот сейчас в школе вместо рисунка, который механически все передает, механически, можно преподавать фотокомпозицию, фотокадр, фотомонтаж, чтобы развивать с детства пластическое восприятие пространства, пейзажа, натюрморта. А мы механически, не подумав, продолжаем, значит, детей заставлять рисовать куб или там петуха. Можно этого и не делать. А вот как понять... Это нужна целая система преподавания, развитие эстетического вкуса. И кинематограф, преподавать кинематограф, преподавать Довженко, преподавать Эйзенштейна. Это в течение десяти лет можно поднять общий уровень. Потому что где такой неровный зритель, как у нас? Или он имеет свой вкус

* С 1965 по 86 годы Лев Кулиджанов был первым секретарем СК СССР. Параджанов возвращается к теме, поднятой в начале разговора, когда он выразил негативное отношение к фильму Кулиджанова «Преступление и наказание».

** «Голод» — лента 1966 г. известного датского режиссера Хеннинга Карлсена по одноименной повести Кнута Гамсуна.

*** В связи с написанием сценариев по «Бахчисарайскому фонтану» и «Демону».

и другого ничего не смотрит. Возьмите сейчас общий уровень у 10 французов и у 10 советских граждан. Уровень простых людей: рабочий там, шахтер, солдат и все прочее. Уровень у нас неровный, потому что никто этим делом не занимается — эстетическим воспитанием, тем, которое в общем и стоит как проблема. Тем паче, что есть девиз: кино — самое важное, самое активное, самое нужное.

Пятьдесят лет ткали бы ковры, пятьдесят лет, вы представляете, как ужасны были бы сейчас ковры! А почему все считают, что кино остановилось, что оно должно быть законсервировано именно в том качестве, в каком делают там «Красные листья» или «Почтовый роман»,* сделанный на киевской киностудии. И это революция! Туда, значит, как подкидного, бросают Ленина, и он получает чуть ли не Нобелевскую премию в Советском Союзе. Понимаете, они подкинули туда просто ненужного там Ленина. Так вот происходит девальвация искусства, девальвация профессии, девальвация специальности. Это естественный процесс. И потому, когда вы называете Тарковского, вы будьте осторожны с Козинцевым, потому что я получил от него письмо после просмотра «Саят-Новы». Он просил меня не смотреть «Короля Лира». Есть письмо, дословно он пишет, что ему стыдно после «Саят-Новы», и он сожалеет, что не пригласил меня делать костюмы.

Не потому, что я там сделал бы ему ренессансные костюмы, по крайней мере, надо было найти совсем другое решение. А он что, что он сделал в «Короле Лире»? Он просто нам прочел произведение, без своего вмешательства. Просто я бы хотел сыну, онленивый, он не хочет читать «Короля Лира», вот повести в кино, чтобы он примерно знал сюжет: когда и где повесилась Корделия. Понимаете, а вот как она вешалась и что происходило, когда она висела, это никого не интересует. Самое главное, ее повесили, значит, за зад, за торс и одели веревочку. Вот и повесили. И чайки стонут. А смысла в этом нету, шекспировского смысла.

Потом, понимаете, ведь Козинцев в чем ошибается? Он не понимает, что шекспировский вымысел и шекспировские произведения — это не хроника шекспировского времени, а тоже вымысел художника и большого поэта и драматурга. Это вообще процесс, философский процесс. Столкновение и королей, и наследников, идущих на измену. Это самое страшное, что он делает хронику шекспировского времени. Потому открывает точно год жизни Шекспира и параллельно собирает гравюры. Это я тоже умею делать. А вот сделать синтетический образ Ренессанса — это пожалуйста... Я ему предложил, дайте мне все ваши картины,

* «Почтовый роман» — фильм Евгения Матвеева (1970 г.) о лейтенанте Шмидте.

все ваши фильмы, значит, «Король Лир» и «Гамлет», и я вам сделаю совсем третий фильм из вашего же материала, и пушу негатив, и покажу вам, что такое Шекспир. Чисто эмоционально. Ну как этюд, как экзерсис, как музыка. Возможно ведь сделать вот такой коллаж из некоторых фильмов, показать страсти, потому что там, понимаете, нет страстей. Нет страстей, есть просто пижоны, которые ходят с помощью Гриппиуса, понимаете, по фанерным стенкам... Может быть, я излишне гневаюсь, но дело в том, что у меня другого убеждения нет.

Музыка? Я учился в консерватории.* Музыка? А зачем она там нужна? Если Шекспир — великий композитор, я очень люблю композиторов, тем паче, что я им завидую, я все умею делать, кроме того, чтобы писать музыку. Я сейчас даже проектирую крематорий для Киева. Но дело вот в чем. Именно как режиссер я проектирую. Меня интересует — как должен происходить процесс превращения формы в пепел. Зачем мне эти громы и молнии нужны? Естественные звуки грома и молнии? Для этого надо оставлять короля Лира под дождем, в лунном пейзаже, под грохот канонад. Зачем это нужно? Дудочка шута и песни как раз органичны и прелестны, и вообще я шута выделяю в этой картине, как прекрасное. Отношения его с королем с каким-то подтекстом, прелестным и естественным, удивительно, что он это хотел как-то расшифровать и сделать очень тактично.

Но музыка Шостаковича к фильму... Если у Эйзенштейна это было органично, так как сделал Прокофьев, и это было великое слияние художников, то тут, вообще, Шостакович сам по себе, с великой музыкой, а Козинцев сам по себе с плохой режиссурой. Пройдет время, Шостаковича, наверное, будут отдельно слушать именно эту вещь, или вот эту как раз и забудут. Мне так кажется.

Я кончил.

Орфография и стиль автора сохранены.

Верно: НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КГБ

28 декабря 1971 года.

Бобков

ЦХСД. Ф.5.Оп.64.Д.135.Лл.2-24.

Публикация А.Петрова

Примечания к тексту Д.Минченка

* С 43 по 45 годы Параджанов учился на вокальном факультете Тбилисской консерватории и одновременно, в хореографическом училище. В 45 году перевелся в московскую консерваторию в класс Нины Дорлиак.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СТРАНИЦАМ
ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ РОССИИ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА И ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Третий квартал 1994 г.

I. Художественная проза

В журнальной прозе обозреваемого периода (июль— сентябрь 1994 года) историческая тема по-прежнему представлена достаточно разнообразно, и по-прежнему авторы этого ряда проявляют преимущественный интерес к темам советской истории. При этом многие романы и повести зачастую лишь очень условно могут быть названы историческими. История не выступает в них самоценным объектом художественного внимания, когда художник целиком погружается в историческую материю, живет «там» и «оттуда» разговаривает с современниками. Напротив, за редким исключением, авторы этой темы живут «здесь» и говорят «отсюда», отделяясь от своих героев отчетливо выявленной исторической дистанцией и настаивая на ее сохранении. Это достигается, как правило, и включением фигуры автора или рассказчика, «единодержавно» ведущего повествование, и акцентированной соотношенностью с сегодняшним днем, свободными переходами из прошлого в настоящее. Человек в истории как ее творец и жертва, активный ее участник и пассивный созерцатель, его индивидуальная судьба в фатально заданных или исторически сложившихся, а то и его же волею созданных обстоятельствах — вот тот современный ракурс, в котором по преимуществу обсуждается в сегодняшней журнальной прозе историческая тема, — даже когда она обращена в достаточно отдаленное от нас время.

Назовем здесь прежде всего роман Алана Черчесова «Реквием по живущему» («Волга», № 3—4, 5— 6). Это роман о трагичности свободы, которая оплачивается волчьим одиночеством, о судьбе, которую мы не выбираем, но предупреждения которой можно распознать в неслучайных случайностях, а распознав — отвести удары судьбы или приготовиться к их неотвратимости, это роман о бедах, которые фатально несет людям утверждающая себя одинокая воля.

Действие романа происходит в горном осетинском ауле — вероятно, в конце прошлого или в начале нынешнего века. Маль-

чишка, сирота, не знающий страха и потому обреченный на гибель или победу, настаивает — не словами, а молчаливыми поступками — на признании себя главой рода. Тем самым он бросает вызов аулу, нарушая — и уже необратимо — стройный порядок родовых отношений, покоящийся на неизменных традициях и чинно соблюдаемый и направляемый старшими членами родов, стариками, окруженными почетом и безоговорочной властью. Сам не желая того, он перечеркивает опыт и ценность прожитой им жизни, утверждая свое достоинство на их посрамлении и отравляя их завистью и злобой. Рассказчик по крохам, по отрывочным рассказам отца, дяди, односельчан, дополняя их своими догадками, дорисовывая в своем воображении, восстанавливает все эти события, происшедшие в ауле задолго до его рождения — они роковым образом сказались и на его семье. Всем этим он задает свой масштаб описываемым житейским ситуациям и обнаруживает за повседневным течением аульной жизни скрытый драматизм, явным образом проступающий в неслучайных трагических развязках.

«Блок-ада» Михаила Кураева, с едкой горечью названная «праздничной повестью» («Знамя», № 7), — обращает нас к страшным дням ленинградской блокады, которую автор пережил ребенком. Это суровая и нежная семейная хроника, очерк блокадных воспоминаний ленинградца из интеллигентного семейства. Жизнь сталкивается на страницах повести со смертью, жестокость — с добротой и человечностью. Хроника богата живыми подробностями и написана с истинным волнением. Это рассказ о том, как выживали в те дни родные и близкие автора, как, сами обессиленные и измученные, хоронили умерших, — рассказ о сознании, которое определяет бытие, о независимости и величии духа. И о власти, которая обрекла людей на вымирание, о ее трусливых и подлых повадках. Повесть венчается эпилогом, в котором звучит тема преемственности власти, недостойной своего народа, — о «праздновании» в Петербурге 50-летия со дня снятия блокады. Это страницы, рассказывающие о приезде президента и бесцеремонности его охраны, о том, как сегодняшняя власть почтила людей, ставших жертвами блокады (до сих пор не подсчитанными), не найдя для этого ни слов, ни дел, достойных их памяти, какой скупой и жалкой оказалась ее благодарность уцелевшим.

В центре романа Даниила Гранина «Бегство в Россию» («Новый мир», № 7—9) — судьба двух американских физиков, зачарованных мечтой о коммунизме. В конце 40-х годов, преодолев все преграды, они бежали из США в СССР — и попали из-под опеки американских спецслужб под надзор спецслужб советских. Молодые американские идеалисты работают на армию СССР, а жизнь дает им уроки, главным из которых является аксиома,

гласящая, что ученые в советской стране — это имущество власти. Это беллетризованное повествование опирается как будто и на реальные факты. Автор не судит своих героев, он скорее доброжелателен. Однако он не стремится и затушевать и смягчить острые углы, прикрыть двусмысленность того положения, в котором оказались беглецы из американского ада в советский рай, где лицом к лицу встретились с реальным воплощением своей мечты. И в этой реальности — продлили жизнь, стремясь, вопреки очевидности, сохранить и оправдать свои коммунистические идеалы и убеждения. Писатель дает анатомию этого вида утопического сознания, свойственного и нашим соотечественникам, но более экзотического, поскольку его носители были воспитаны в американских идеалах свободы, ценности личности и личного достоинства, деловитости и предприимчивости. Те словесные и мыслительные ходы и уловки, которыми талантливые и размышляющие люди защищали свои иллюзии от разоблачающей их советской реальности, коренились, как показано в романе, не только в ущербном идеализме, но и в чувстве страха, поселившемся в них и подчинившем их себе: «Россия — страна страхов, у нас культура страха, великое множество всяких страхов, больших и малых, окружает каждого»...

В беллетризованном повествовании Артема Анфиногенова «Ледяной час» («Знамя», № 6), близком по жанру к документальной повести, эпизод из истории покорения Арктики, относящийся к 1937 году, — спасение челюскинцев, высадка авиационного десанта на Северном полюсе, создание первой дрейфующей станции — показан на фоне политических событий, происходящих в стране, и в жесткой увязке с ними. Триумф полярных летчиков (среди действующих лиц — летчики Водопьянов, Махоткин, Головин, Мазурук, Молоков, Леваневский, руководители полярников Шмидт и Папанин) был включен в «жесткий график героико-сенсационных событий, разыгранных на арктической сцене», чтобы, вызвав массовый энтузиазм, отвлечь интерес людей от того, что происходило в Москве. Под звон фанфар, сопровождающих арктические триумфы, шли аресты участников «военно-политического заговора» — Тухачевского, Уборевича, Эйдемана, Якира. После их расстрела, «исполнив свою роль в сценарии тридцать седьмого года, отряд Героев покинул подмошки, покоровившие воображение миллионов».

Временам «застоя», тоже ставшим уже историей, посвящен целый ряд публикаций, воспроизводящих главным образом картину нравов той эпохи. Назовем в этом ряду:

— «Музей восковых фигур» Риммы Цветковской («Нева», № 4) — повесть о служебных интригах и мелких житейских неприятностях, пережитых на фоне и в условиях этого времени. Героиня, увлеченно работавшая над своим проектом в какой-то

научно-технической конторе, обнаруживает, что проект ее никому не нужен. Пытаясь бороться «за правду», она оказывается в изоляции.

— «Три портрета на фоне холстов» Любви Гуревич («Нева», № 7) — рассказы о питерских представителях неофициального искусства времен застоя. В очерках оригинальных судеб челоковедение сочетается с искусствоведением.

— «Рассказ в диалогах» Владимира Кантора «Пистолет» («Нева», № 8), привлекающий внимание образом чекиста, который переквалифицировался в заведующие кафедрой. Осев на гуманитарном фронте, он ненавязчиво опекает своих новых коллег и подчиненных, охотно разрешая им разные безобидные вольности в те времена, когда либерализм не поощрялся.

К этому же ряду можно отнести и роман бостонца Феликса Розинера «Ахилл бегущий» («Нева», № 7—8), где речь идет о гениальном композиторе, художнике-романтике, который стремится к самореализации, но встречает препоны и терпит гонения. Действие развивается на живописно-зловещем советском фоне, в богемно-диссидентском столичном кругу эпохи застоя. В обширное повествование включены вставные новеллы, беседы, воспоминания. Сосредоточены бытовые и психологические наблюдения, сны и соития. Автор подробно описывает опыт сопротивления художника режиму и перипетии его беспорядочной личной жизни. Экзотическое происхождение главного героя (сын иностранца-дирижера) позволяет ему избежать жестоких репрессий.

О тех же недавних временах, ставших уже историческими, рассказывает и «Повесть» Галины З-иной («Новый мир», № 8), опубликованная с 20-летним опозданием и без ведома автора. В 70-х годах она послала свою рукопись в «Новый мир», где повесть не могла быть тогда опубликована по цензурным соображениям. Из предисловия О. Чухонцева, посвященного этой «юношеской, несовершенной, местами вязкой, а иногда голой, как сценарий, но подлинной в своей боли истории...», можно извлечь скудные сведения об авторе и задуматься об еще одной несостоявшейся писательской судьбе (ныне следы автора повести потеряны, и потому-то журнал и решил напечатать ее без ведома автора, скрыв ее имя). Это жесткая, надрывная проза об унылом, тупиковом советском быте 70-х годов, о зле, которым безысходно окружена жизнь двух девушек-подруг, — та обычная, «нормальная» в своей дикости жизнь, когда формирование чувств и характеров проходит среди людей, одержимых злобным и жестоким эгоизмом, сознательно, с вывертом вымещающих на ближних свои комплексы и амбиции. Серые алкоголические лица, тоскливая, беспросветная жизнь в провинции. Талантливый, хотя и несколько монотонный очерк. По справедливой мысли Чухонцева, это «за-

хлебнувшийся свидетельский голос из того страшного омута, который ласково назовут застоєм».

На переплетении мемуарно-автобиографических мотивов построен «литературно-эмигрантский роман» Михаила Веллера «Ножик Сережи Довлатова» («Знамя», № 6). Михаил Веллер непринужденно, с юмором и иронией, выбалтывает подробности своей жизни, которая оказалась переплетена с жизнью писателя Сергея Довлатова. Оба вышли из одной питерской среды, оба дистанцировались от советского режима. Не встречаясь и не будучи знакомыми, они общались в умах и сердцах их общих друзей и подруг в Ленинграде и Таллине застойных времен, куда забросила их судьба. Будучи на несколько лет моложе, Веллер жил как бы в тени и под знаком Довлатова, что не облегчило ему литературную карьеру — Довлатов (уже оказавшись в эмиграции и превратившись в легенду) стал тем навязчивым образом, под влиянием которого происходили издательские неудачи и жизненные неустройства автора, причинявшие ему жестокие страдания, о которых он повествует с немалой долей самоиронии. В самой манере Веллера угадываются довлатовские интонации и приемы. Сквозной темой через роман проходят мысли и впечатления, связанные с состоянием отечественной словесности и критики, а также с сегодняшним самочувствием и самоощущением автора, имеющего странный статус — русский писатель, еврей, гражданин Эстонии, живущий в Эстонии и совершающий поездки в Москву и Израиль.

Василий Аксенов публикует главы из третьей книги своей «Московской саги» («Юность», № 7—8), в то время как целиком «Сага» вышла уже книгой в издательстве «Текст». Знакомые уже персонажи включены в беллетристическое обозрение самых скандальных сюжетов сталинской эпохи, вплоть до 1953 года. Повествование окрашено и украшено добродушным аксеновским панибратством.

Историко-биографический характер носит публикация Станислава Золотцева «Свадьба с шаманом. Глава из романа» («Москва», № 9; название всего романа «Искатель живой воды»), посвященная сибирской полосе жизни (конец 1920-х — начало 1930-х годов) известного романиста, поэта и этнографа С.Н. Маркова — по признанию автора романа, его любимого писателя и учителя. Эта любовь ощущается в эмоционально приподнятых (порой, может быть, излишне) интонациях рассказа о том, как автору, столкнувшемуся с разными вариантами легенды об отношениях Маркова с эвенкийским шаманом, после долгих и безуспешных поисков удалось, наконец, выяснять правду об этих отношениях.

Назовем в этом ряду и политически окрашенную публикацию Виталия Шенталинского «Прошу меня выслушать...» Последние дни Исаака Бабеля» («Знамя», № 7). Это фрагмент книги

«Рабы свободы», представляющий собой документальное, но не лишенное памфлетного пафоса повествование, построенное на следственном деле, протоколах допросов, собственноручных показаниях Бабеля и доносах на него. Документы сопровождаются свободным авторским комментарием — с привлечением исторических и биографических материалов, характеристикой обстоятельств и лиц, в кругу которых прошли последние дни Бабеля.

Из публикаций собственно-мемуарного жанра отметим:

— «Шестой этаж» Лазаря Лазарева («Дружба народов», № 4) — новые главы из воспоминаний о «Литературной газете» времен оттепели и заморозков, о самодурстве ее редактора В. Кочетова. Мемуары насыщены живописными подробностями, характеризующими и людей, и эпоху.

— «Как я старался не стать писателем» Михаила Кураева («Звезда», № 8) — заметки о том, как автор писателем-таки стал, причем не без помощи сотрудников журнала «Новый мир». Интересный опыт творческой автобиографии.

— «Дом без поэта» Наталии Рубинштейн («Нева» № 8) — мемориальный очерк о Марии Степановне Волошиной — вдове поэта и хранительнице его дома в Коктебеле. В основе очерка — опыт личного общения с Волошиной, чьи незаурядность и сложность впечатлили некогда автора.

На стыке мемуарного и документально-публицистического жанров — заметки «...Так как все кончено» Елены Ржевской («Дружба народов», № 3) — публицистическое эссе о последних днях рейха на основе дневников Геббельса. Сюда включены и фрагменты личных воспоминаний автора.

А вот публикация Глеба Горышина «Мой мальчик, это я» («Наш современник», № 6—7) хотя и названа «документальной повестью», однако это явное недоразумение. Ни документов, ни повести здесь нет, а есть дневниковые записи 1970—1980-х годов, посвященные самым разным событиям — личным, политическим, литературным. Записи могут, однако, привлечь внимание не глубиной мыслей о жизни или художественными открытиями, а проступающим в них специфическим типом сознания фрондирующего советского функционера — типом сознания, способным вызвать интерес будущего историка советских нравов.

Говоря о прозаических произведениях, обращенных к сегодняшнему дню, можно отметить, что привычная склонность многих современных прозаиков к той или иной стиливой или тематической «стадности», определяемая скоротечной литературной модой, когда вслед за очередным «педевром», начинается массовая разработка найденной в нем литературной «жилы» (что облегчает задачи классификации, но не приносит большой радости), постепенно сменяется тенденцией к большей индивидуализации писательских манер и лиц. Возможно, впрочем, что дело

здесь не в писателях, а в журналах, уже менее озабоченных тем, чтобы «не опоздать» (поскольку массового подписчика уже не вернешь и о нем лучше забыть). А потому — повышающих меру требовательности к своим авторам и к себе. Так, скажем, срамословие, которым еще недавно пестрели страницы даже лучших журналов и художественно-выразительные достоинства которого горячо обсуждались в терминах «ненормативная», «табуированная», «экспрессивная», «абсинитивная» и т.п. лексика, почти исчезло уже с журнальных страниц.

Как и в 1993 г., и в предыдущие месяцы 94-го, в журнальной прозе, посвященной сегодняшнему дню, преобладает наиболее, пожалуй, традиционное для литературы стремление воспроизвести прежде всего сам «образ и давление времени» (Шекспир), запечатлеть реалии сегодняшних нравов, житейских обстоятельств, человеческой психологии и т.д. — в каких бы жанрах, стилевой интонации, с какой бы глубиной и на каком бы уровне осмысления этих реалий такое стремление ни осуществлялось.

Так, для крупного жанра, обращенного к этой тематике, показателен новый большой бытописательный роман Ильи Штемлера «Коммерсанты» («Нева», № 2—3, части 1—2), повествующий о торговых затеях начинающих дельцов из Петербурга. Автор ведет рассказ в обычной своей манере «русского Хейли»: бойко и со знанием дела, не отвлекаясь на стилистические игры и психологический или пуце того экзистенциальный анализ. Роман интересен прежде всего обилием живых реалий и примет перестроечного быта.

В ином стилевом и содержательном ракурсе написана повесть Льва Рошалья «Новые времена, или Биржа недвижимости» («Дружба народов», № 3), обращенная к событиям 1991 года. Главный герой, бесталанный ученый, мечется между искренними порывами души и практическим расчетом, а чаще — совмещает то и другое. Ради карьеры он идет на баррикады возле Белого Дома и лечит своеобразными методами маленького сына своего начальника, в то же время сочувствуя настоящим борцам за свободу и жалея мальчишку. Читателю предложена своего рода пародия на московские повести Юрия Трифонова. Герои Трифонова помещены в новые обстоятельства иной эпохи, но сохраняют ту же раздвоенность, которая была им присуща в годы застоя. Рошаль добавляет к этому только откровенной эротики и достаточно густого цинизма.

Зарисовками современной «натуры» изобилуют и произведения малых жанров — небольшие повести и рассказы, часто достаточно очевидно примыкающие к традиции так называемого «физиологического очерка». Назовем в этом ряду:

— «Уходящую натуру» Захара Оскотского («Нева», № 4) — рассказ о 45-летней женщине, надумавшей изменить мужу

с каким-нибудь однокашником, — из тех, что некогда были в нее влюблены. Удовлетворить свою прихоть ей не удастся, но у автора возникает повод очерково изобразить современных алко-голика, бизнесмена и политика.

— Повесть Вячеслава Букура и Нины Гордано-вой «Учитель иврита» («Звезда», № 5) — юмористический, несколько развязного тона бытописательный очерк. На фоне современного городского бедлама (место действия — Пермь) преподаватель иврита встречается и ведет разговоры с отъезжающими на историческую родину евреями. В повести много забавных подробностей постсоветского быта.

— «Фрезу господню» Владимира Насущенко («Нева», № 4) — рассказ о немолодой дворничихе, которой не нравится современная жизнь. Она ворчит и тоскует по «могучей стране», а пока суд да дело, подторговывает собранной на помойках мелочевкой. Автор этого скромного бытописательного очерка претендует однако и на некие символические глубины, обрекая свою героиню на странную смерть при мистических обстоятельствах.

Александр Андрушкин в рассказе «Кришна в Петербурге» («Нева», № 5, 6) дает очерк жизни питерских кришнаитов, довольно бегло описывая эту экзотическую среду. Главная героиня адаптируется в новых для себя вере и обществе, находит дело по душе, становясь продавщицей религиозной литературы на Невском.

«Накладка» Игоря Доляка («Звезда», № 7) — снова рассказ от лица убийцы (как и в «Мире третьем»). Теперь это рядовой уголовник-мафиози. Автор живописует современные нравы этой среды.

В рассказах Гелия Ковалевича («Дружба народов», № 4) — суровая проза жизни, причуды судьбы и характера. Героиня одного рассказа влюблена в тихого, скромного москвича, а с ней меж тем балует провинциальный партийный босс. В другом пенсионер, озабоченный судьбой родины, ходит по деревням и собирает подписи «За обнищавшую Россию».

Рассказы Дмитрия Питулы («Нева», № 7) — простонародный, мещанский сказ о бытовых неурядицах. В одном из рассказов семья принуждает бабушку подселить в ее квартиру молодоженов — а бабушка возьми да и умри от огорчения.

Тема «наши за границей», которую мы продолжаем с вниманием отслеживать, пополнилась повестью писателя из Германии Бориса Фалькова «Десант на Крит» («Знамя», № 6). Герой повести, профессионал с кинокамерой, уже прошел первичную адаптацию и приобрел — действительное или мнимое — самочувствие западного человека, в чем призваны убедить его акцентированная автором бывалость, гастрономические предпочтения, вкусы в оценке и выборе напитков. Во всяком случае, среди

жителей острова Крит он вполне сходит за немца, за которого себя выдает. Герой свободно перемещается по европейскому пространству, которое видит как пространство авантюрных возможностей, а себя — как охотника с кинокамерой, и его напряженность связана не с его русскостью, которая лишь неорефлексируемый факт его биографии, а с его загадочной и лишь к концу повести проясняющейся миссией — из случайно подслушанного разговора двух арабов в греческой кофейне (герой, не знающий ни греческого, ни арабского, легко преодолевает языковые барьеры) он узнает о высадке на Крит сверхсекретного десанта НАТО и отправляется на остров, чтобы сделать разоблачительные кадры — для денег и славы. Он проделывает это с риском для жизни, но, как и положено в авантюрном повествовании, вмешивается случай, который путает все его карты, а его самого приводит к трагическому концу. Из-за девушки, с которой он имел неосторожность, в нарушение местных критских обычаев, провести вечер в ресторане, он оказывается втянутым в сложную семейную интригу и становится жертвой вендетты со стороны братьев этой девушки.

Каждый момент жизни героя в повести тщательно выписан, эстетизирован и ароматизирован запахом опасности. Психологически детализирован мир человека, потерявшего в мироздании и погибшего за дело, в котором не уверен. Манера и подход к жизни обличают в Фалькове поклонника одновременно Владимира Набокова и Грэма Грина, а в то же время создается римейк лермонтовской «Тамани» — сюжета о чужаке, представителе цивилизованного мира, который вступил в конфликт с живущими по своим обычаям «детьми природы». Но, что любопытно, в представителем цивилизованного мира ходит не аристократ Печорин, а мало с ним схожий вчерашний советский гражданин.

В разработке современной темы по-прежнему достаточно большую роль играет идеологически-ангажированная, тенденциозно-заостренная проза, заботящаяся не столько о художественной правде и выразительности в изображении сегодняшней жизни, сколько о той или иной, но всегда достаточно отчетливой и даже акцентированной партийно— политической ее интерпретации — того или иного, близкого автору толка. Что, однако, отнюдь не всегда лишает произведение искренности и страсти, каким бы искажающим абберациям ни подвергала авторское зрение его ангажированность. Таким качеством несомненно обладают, например, густо прослоенные публицистичностью рассказы Валентина Распутина («Москва», № 7). В них представлены очерки нынешних диких нравов, сопровождаемые инвективами в адрес властей, ответственных за нравственное одичание и всеобщее помутнение умов. В рассказе «Сеня едет» некий Сеня, бывший бич, а теперь поселковая пьянь, от которого стонут жена

и дети, однажды случайно включив телевизор, застыл в оцепенении перед увиденной на экране непотребной картинкой и, установив перед телевизором ежедневное дежурство, убедился, что непотребство и дерганые песенные шабаши — не недосмотр, а политика, «диверсия на бытовом уровне». Задумавшись о детях и будущих внуках, стал собирать деньги на поездку в Москву, чтобы навести порядок. И хотя взвинтились цены на билеты, «остановить его ничто уже не могло. Едет Сеня, едет. Ждите». В рассказе «Россия молодая» писатель, наблюдая в самолете Иркутск—Москва поведение молодых коммерсантов-челноков, вытеснивших из-за недоступности аэрофлотских цен прежних привычных пассажиров (мат-перемат, водка, курение в салоне, рев музыки, наглая бесцеремонность), размышляет о том, что стоит за этим «разгулом нравов, выплеснувшихся со дна», за «паханством», выпущенным на волю» («Наступил праздник воли, грянуло неслыханное торжество всего, что прежде находилось под стражей нравственных правил, — и тотчас объявило себя предводителем жизни таившееся в человеке дикообразье...»), о молодых, более других подверженных соблазнам такой воли, о судьбах России, которую уже не в первый раз насилуют «великие преобразователи, борющиеся с отсталостью». В рассказе «В одном сибирском городе» толпа людей, брошенная трусливой властью и оскорбляемая спецназовцами в своих национальных чувствах, превращается в народ, бесстрашный и грозный.

Схожие мотивы находим мы и в рассказах Владимира Крупина («Москва», № 9), наполненных теми же страстями, но еще более иллюстративных. Так, в рассказе «Москва—Одесса» автор в одном железнодорожном вагоне собирает типичных для сегодняшнего дня пассажиров, чтобы «скопом» с ними и разделаться. Это «новый русский» с девушкой, взятой им напрокат для заграничного отдыха, торговые люди, правдами и неправдами скрывающие свой товар от таможенников, которые устраивают свои засады и ловушки, два снайпера, завербованные в воюющее Приднестровье и быстро раздружившиеся после того, как они узнают, что будут стрелять друг в друга, и т.п. В противовес этому исповедательный рассказ «Поздняя Пасха» о смерти отца, известие о которой застало писателя в Италии, наполнен акцентированно просветленным религиозным настроением.

Следует упомянуть в этом ряду и рассказы Владимира Гусева («Наш современник», № 8), один из которых — «Оберегайте акул» — также питают дорожные впечатления, связанные с вынужденной посадкой (при возвращении домой из Аргентины) на одном из Островов Зеленого Мыса. В рассказе «Сергеич молчит» выведен хозяин некой частной зверофермы, вольно раскинувшейся в сибирской глубинке и обнесенной бетонной стеной с колючей проволокой, за которой наемные рабочие выращивают лисиц на

продажу, в том числе и за границу. Это преуспевающий человек, у которого все есть и дела которого идут в гору, но в нем и в его семье, показывает писатель, чувствуется какая-то трещина: вместо увлечения своим делом, радости от своей удачливости и доходов, в нем живут безразличие и усталая тоска, связанная с потребностью, видимо, в ином смысле своей жизни и деловой активности.

Невеселым дачным впечатлениям посвящены рассказы Глеба Горышина «Время дергача» и «Неубитая птица» («Москва», № 9), где писатель берет на себя роль хроникера деревенской жизни, давая очерковые зарисовки сегодняшних забот и настроений жителей маленькой деревушки, «нашпигованной питерскими дачниками». Здесь все вместе и каждый по отдельности — и селяне, и питерские интеллигенты — кто каторжным трудом на своем подворье, кто предприимчивостью стараются приспособиться к «переворошенной жизни», сохранив, однако, при этом старые привычки. И прежде всего — пьянство, ведущее к ранним смертям.

Современные нравы, характеры и условия жизни открывают, впрочем, широкий простор не только для «жанровой» словесной живописи, направляемой по преимуществу более или менее спокойным и объективным собственно-художническим изобразительно-познавательным интересом, и не только для желчного идеологизированного от них отталкивания, но и для разнообразного смыслового и стилевого их обыгрывания в том или ином ироническом или юмористическом ключе. Целый ряд публикаций журнальной прозы обозреваемого периода дают тому характерные образцы.

Так, в духе гротескного реализма выполнена «Казенная сказка» Олега Павлова («Новый мир», № 7), посвященная вечной памяти «русских капитанов, на чьих горбах да гробах покоилось во все века наше царство-государство». Главный герой «сказки» — капитан Хабаров, честный служака, командир караульной роты из лагеря под Карагандой. Человек простого и нежного сердца, ведущий свою литературную родословную от лермонтовского Максима Максимыча, он добросовестно служит и патриархально командует ротой, заброшенной в степь, вдали от полкового начальства, которое годами не заявляется в роту, живя в своем мире чинов, мундиров и карьерных интриг. Главный смысл ратной службы и главная забота, над которой ломает голову капитан — чем кормить солдат, отощавших на тухлятине и гнилой картошке, которую раз в месяц завозит полковая машина. Будучи не в силах разрешить эту головоломную задачу, капитан периодически уходит в жестокий запой, после чего с новыми силами принимается выгадывать, припрятывать, делать запасы к зиме, урезая и без того скудные пайки и вызывая законное возмущение отпеты солдатской вольницы, быстро переходящей от уставных отношений

к угрозам и поношениям. Однажды ему приходит в голову посадить в пустой степи картошку, чтобы накормить отоцавших солдат, и отсюда начинается новая череда его неприятностей — ведь в армии ничего нельзя делать без приказа. Добротное гротескно-натуралистическое повествование с массой тщательно выписанных подробностей полно и всесторонне раскрывает интригу вокруг «дела Хабарова». Автор с головой погружается в мир советско-армейского идиотизма, вскрывая будничное, рутинное безумие жизни, тоскливую безысходность эпохи, бессмысленность службы в пространстве, где спутаны все ценностные вехи и человек обречен без толку блуждать и нелепо умереть. Повесть избыточно подробна, хотя читатель вправе мотивировать неспешность рассказа и вязкость манеры Павлова его замыслом пройти по кругам ада, не теряя и не забывая ни одной детали. Замысел тем более правомочный, что и затеянная капитаном «картофельная» война, и гибель героя, не пожалевшего живота своего в защиту жизни во вверенной ему роте, и его торжественные похороны — все это исполнено трагикомического звучания, благодаря которому в картинах мрачной безнадежности проступает постепенно жизнеутверждающий смысл — праздник причастности капитана Хабарова, верного защитника отечества, к неумирающему и вечно обновляющемуся бытию.

Иной смысловой и стилевой ракурс у иронической сюжетной прозы М и х а и л а П о п о в а, который в своем романе «Невольные Каменщики» («Лепта», № 19—20) никогда не забывает о своем читателе и постоянно заинтересован в его реакциях. История любовного романа провинциального парня, босяка, студента и поэта, с дочерью большого начальника разворачивается в 80-е годы и получает свою окончательную развязку в наши зыбкие дни, когда на поверхность всплывают двусмысленные люди, действующие в романе, — книжный издатель, не издающий книг, но раздающий щедрые словесные авансы, чтобы было где переночевать в Москве; театральный режиссер, ценитель дарований, а на самом деле безобидный сумасшедший с манией театрального величия; всемогущий бизнесмен, окруженный роскошью и колуями, оказавшийся делателем фальшивых денег, и т.п. Сюжет с «мистической почтой» — передачей денег в прошлое, чтобы «переиграть» любовную историю, неудачно кончившуюся для героя, — вводится в повествование опять-таки «под конвоем иронии и при трехслойном стилистическом камуфляже», а к концу романа разоблачается как мистификация. В результате избыток изобретательности приводит писателя к переусложненному финалу, тогда как поставить точку без ущерба для романа можно было гораздо раньше.

Еще более «игровой» характер носят главы из романа В л а д и с л а в а О т р о ш е н к о «Приложение к фотоальбому. Вариант

семейной хроники» («Москва», № 8) — гротесковое повествование об одном мифическом семействе, состоящем из патриарха рода, древнего и выжившего из ума старца Малаха, «пленника дремучего долголетия», тринадцати его детей, «дядюшек», которые появлялись на свет с живописными бакенбардами и физиономии которых на фотопортретах «являли собой картину дружного однообразия», а также многочисленных «тетушек», детей и племянников. Повествование строится на комментариях к семейному альбому с фотографиями — рождественскими, пасхальными, траурными, по случаю рождений, свадеб и помолвок — с подробным описанием позы, жеста, мимики изображенных членов семейства, событий, предшествовавших появлению снимка, а также последовавших за ним. Однако главный нерв романа составляет не иллюзорная реальность, где легко заблудиться среди многочисленных «дядюшек» и «тетушек», а затеянная по их поводу словесная игра, с детской непосредственностью резвящаяся вокруг разного рода сюжетных придумок, уходящая в длинные барочные периоды, взрывающиеся словесными эскападами, — в тайной надежде на самопроизвольный накопительный эффект вечных смыслов, ибо «всякое слово, по завету Создателя, содержит в себе нетленную душу смысла».

К словесной виртуозности явно устремлен и роман А н а т о л и я Королева «Эрон» («Знамя», № 7—8) — опыт современного «Сатирикона» на материале позднесоветской Москвы. Гниющий изнутри «Третий Рим» порождает причудливые фантазмы, и здесь есть все — демонические персонажи из номенклатурных детей, лимитчиц и посольских дам, оборванные сюжеты с обязательно ввернутым в них гомосексуальным мотивом, «катакомбная» Москва с нудистами, некрофилами, гомосексуалистами, нимфоманками и т.п. Молодые героини предаются садомазохистским играм, отдаются эротическим соблазнам, сводят мелкие счеты с Богом, а автор повествует обо всем этом в манерно-изысканном стиле, перемежая очерки быта и нравов имперской столицы замысловатыми рассуждениями и обширными экскурсами в архитектуру, гинекологию, политическую историю, астрологию, астрономию, историю астронавтики и т.п. Есть здесь также и философствования в стилистике Хайдеггера, космические озарения и даже собственное летоисчисление («эрон — единица измерения бега, придуманная автором, исполинская сверхзвуковая мистическая секунда бытия емкостью в полтора десятка лет, пять человеческих одиссей и длиной в шесть тысяч миллионов километров»). Но хотя эксплуатируемая автором эстетика всякого рода изощений и извращений, пряных вымыслов и затейливых муаров передает и нечто такое, что было действительно характерно для избранного писателем времени и места, однако определяющей для читательского восприятия оказывается все-таки игровая концентрация наворотов, навязываемых жизни, которая и проще, и фантастичнее. Дань

модному ныне постмодернизму настолько здесь велика, что оставляет автора без достаточных средств к собственному самостоятельному существованию.

Мода на постмодернизм все чаще пробивает, впрочем, сегодня брешь даже в цитадели эстетического постсоветского и даже просто советского традиционализма — на страницах так называемых «патриотических изданий». Так, например, «роман-анекдот» Александра Сегеня «Страшный пассажир» («Наш современник», № 6— 8) начинается как будто бы вполне жизненно и занимательно — вооруженный бандит, угрожая пистолетом и обещая деньги, приказывает московскому таксисту везти его в Ленинград, — но по ходу дела превращается в нечто прямо противоположное и жизненности, и занимательности. Попытки таксиста отделаться от страшного пассажира приводят лишь к временному успеху: полностью оказавшись под телепатическим влиянием этого пассажира по фамилии Левин (он же Сатана), герой-таксист, теряя моральный облик, делает гадости — убивает котенка, обманывает вдову, пристаёт к пассажиркам, а к долгожданному концу романа возвращает партбилет и становится демократом, митингуя на столичных улицах и площадях...

Под знаком постмодернизма рождены и многие рассказы, предлагаемые читателю на страницах журнальной прозы обозреваемого периода. Их авторы, находящиеся в явной оппозиции к эстетике, которая рассматривает литературу как серьезное дело, имеющее «учительную» роль и обязывающее писателя к социальной ответственности за слово, продолжают ставшую ныне тоже уже достаточно привычной самозабвенную и почти полностью замкнутую на себе игру со словом, со стилями, со «смыслами», с читателем.

Виктор Ерофеев в рассказе «Комплект» («Знамя», № 6) продолжает свой эксперимент по конструированию текстов, составленных из обрывков газетных статей, подогретых искусственным пафосом и повествующих о героическом прошлом и архитектурных достопримечательностях некоего провинциального городка, монтируя их — для «комплекта» — вплотную, без швов и монтажных стыков, со столь же обрывочными приметами жалкого настоящего, устремленного в раскрепощающую эротику. Тексты излучают двусмысленную иронию, и эта ирония — единственная внятная героиня газетно-жизненного потока, лишенного каких бы то ни было смысловых координат.

В игровую стихию вовлекает читателя и рассказ Валерия Попова «Ванька-встанька. Ноу-хау» («Знамя», № 7), в котором отсутствует сюжетная, событийная или хронологическая последовательность и эпизоды, рассказывающие о похождениях и злоключениях моряков-подводников, всплывают на поверхность повествования, как случайная карта, выброшенная из колоды. Впрочем, в событиях рассказа можно сориентироваться и без сю-

жетной связности — в постигшей мариманов конверсии, когда с их подлодкой и с ними самими делают, что хотят, уподобиться ваньке-встаньке, к чему у одного из героев, хвата и удальца Ваньки Кошкина, прирожденный талант, — самая удачная и душеподъемная тактика из всех возможных. Очевидно, что для В. Попова обаятельная человеческая натура его героя интересна и в разных «мелких гадких подробностях», о чем автор рассказа с иронической ухмылкой и извещает.

Рассказы Вячеслава Пьецуха («Знамя», № 8) сообщают читателю чувство душевного комфорта, возможность снисходительно, с высот своего морального или интеллектуального превосходства, взирать на глупости, творимые соотечественниками. Великовозрастный оболтус из рассказа «Пятое доказательство» от безделья и из «метафизических» соображений решил оскорбить действием проповедника, утверждавшего на публичной проповеди в доме культуры, что его «Бог хранит, как зеницу ока», потому что он добрый человек. Проповедник сумел однако пройти незамеченным мимо подстергавшего его у подъезда «богоборца», что произвело на того впечатление неизъяснимой тайны и вызвало некоторое шевеление волос и мыслей. Вдова, схоронившая двух мужей, которые стали являться к ней в виде привидений, оправившись от испуга, быстро вернулась в русло прежних отношений, стала пикироваться с ними, пилить их, как и прежде. («О привидениях»). Рассказ «Пятницкий, диссидент», где описана плачевная история человека, однажды от безысходности возмущившегося отказом чинить канализацию в его квартире и включившегося в писание разоблачительных статей уже по любым поводам, имеет четко прописанную мораль: «мир прекрасен и самосущ», а отдельные люди суетятся от собственной дури.

Зуфар Гареев в рассказе «Осень БЭ—У» («Знамя», № 9) производит игровой эксперимент, превратив пышное словесно-выразительное оформление романтики армейских будней в самоценную лирическую материю, в которую погружает всю «полковую рать» от прапорщика до полковника, включая рядовых, занятых созерцанием прекрасного. Они пастушески резвятся среди берез, а на учениях и спевках полкового ансамбля общаются друг с другом исключительно возвышенным образом, сплетая слова в затейливые, лишённые всякого смысла, но гордо и проникновенно звучащие фразы.

Примыкают к этому ряду, наконец, и главы из романа Виктора Сосноры «День зверя» («Звезда», № 7), изобретательный квазилирический бред, где тема, проблема и идея — чистые условности. Своим буйному воображению и прихотливым фантазиям автор не ставит никакой преграды, следуя единственному принципу — самоценности авторского эстетического произвола.

Возвращаясь к литературе, ориентированной более традиционными задачами серьезного художественного познания и осмысления жизни, отметим по-прежнему не убывающий интерес многих авторов к нравственно-психологической и экзистенциальной проблематике человеческого бытия, к поискам положительных нравственных противовесов современному «беспределу», к вглядыванию в содержательные и самобытные человеческие характеры, судьбы и жизненный опыт которых несут в себе те или иные общезначимые человеческие смыслы. Разумеется, и по характеру проблематики, и по художественным пристрастиям, и просто по уровню письма авторы, объединяемые нами условными рамками этого ряда, весьма различны.

Психологический роман Шама Я Голана «Брачный покров» («Знамя», № 9) построен на внутренних монологах двух женщин — сначала жены героя и матери его детей, затем его многолетней любовницы. Через эти монологи, в которых каждая из женщин, разговаривая с героем, выясняет свои с ним отношения, предъявляет свои обиды и права на него, проступает высвеченный двойным светом образ героя. Внешне это преуспевающий банкир, обязанный своими деловыми успехами удачной женитьбе. А по существу — внутренний банкрот, не справляющийся с жизнью, в истоках которой — ставшее незаживающей раной бегство ребенком из еврейского гетто, где погибла его семья. Он так и остается все тем же жалким ребенком и не способен разрешить сложности жизни иначе, чем уходом от них, самоубийством.

Интересен своеобразный, предложенный читателям на страницах журнала «Знамя» (№ 8) семейный дуэт. У Нины Садур в повести «Сад» дается исповедь певицы-москвички: фантазии, бормотанье, бред. Героиня беседует с понравившимися ей мужчинами и сама с собой в режиме сплошного монолога. Повесть дочери Н. Садур Екатерины Садур «Из тени в свет перелетая» — история поэтессы-алкоголички и ее взрослеющей дочери, также художественно одаренной. Это этюд в манере обериутов и Добычина: трагифарсовые сцены жизни, увиденной цепким, холмоноватым взглядом. Обе повести, взаимно отражаясь, выигрывают от непосредственного соседства, наводя на мысли как литературного, так и внелитературного характера — о диалоге двух голосов, связанных и жизненной, и литературной «утробной» преемственностью: трезвого голоса дочери, рассказывающей невыдуманные страшные подробности жизни, лишь внешне вправленные в рамку сентиментальности и легкого безумия, и рыдающего голоса матери, в повести которой распятая плоть, просящая как милостыни человеческого тепла и ласки, обретает «перезумный» язык, выговаривая себя в словах.

В рассказе Александра Шендарева «Ты все равно придешь домой...» («Москва», № 8) обработана не новая, но все

еще не исчерпанная жизнью и литературой тема — молодой человек из глубинки, студент и поэт, поселившись в Ленинграде, утратил корни и, став «ничейным», потерял себя, спился и погиб.

Напротив, рассказ забайкальца Анатолия Байбородина «Мы не пропадем» («Москва», № 8) наполнен оптимизмом, который вдохнула в рассказчика встреча в инфекционной больнице (куда он попал, «добыв клеща» в тайге) с веселым человеком — зная о своем смертном приговоре, тот затейливыми байками, охотничьими рассказами, стихами и частушками поддерживает бодрость и надежду в больничной палате, до него пребывавшей в смертной тоске, а ночью, когда никто не слышит, со слезами молится Богу и, уже обреченный, чудом выживает («образ русского балагуристого мужика, на диво живучего, мастеровитого, безунывного, уж один ловкий и складный вид которого так и говорит: нет, ребята, мы не пропадем»).

Ностальгией по молодости окрашен рассказ Алексея Варламова «Паломники» («Знамя», № 9) — о паломничестве трех студентов в Троице-Сергиеву Лавру, которое они затеяли со всем легкомыслием молодости и — в процессе пешего путешествия — все более ослабевали телом и духом, то соглашаясь на ночлег в женском общежитии, то устраивая бурную пьянку в холодном ночном лесу, — чтобы потом, во время службы, совершенно раствориться среди молящихся в Лавре. Путь в Лавру для рассказчика — это путь к обретению настоящей, непоказной веры, и недаром двое из тех студентов стали потом известными священником и богословом. Но, говорит рассказчик, «кажется, что никогда мы не были так близки Богу и никогда не были ему так открыты наши сердца, и мне бесконечно жаль, что время этой душевной неопытности и открытости безвозвратно ушло»...

«Маленькая любовная история» Анатолия Приставкина «Радиостанция "Тамара"» («Дружба народов», № 4) — тоже ностальгический рассказ о том, как в суровые послевоенные годы какой-то отчаянный радиолюбитель завел в поселке подпольную радиостанцию и в назначенный час регулярно беседовал в эфире со своей возлюбленной Тамарой, ежедневно объясняясь ей в любви. Несанкционированная деятельность современного трубадура вызывает бурную реакцию и в органах, и у слушателей. Одним радиостанция мешает, другие видят в ней отдушину, стосковавшись по живому, искреннему слову. Приставкаин рассказывает о робких радостях и нежных чувствах простых, потрепанных жизнью людей в большой безжалостной стране. Повесть о заговоре чувств, душевных волнений и тревог против советской власти.

К прошлому обращен и рассказ Элигия Ставского «Белые храмы» («Нева», № 7) — воспоминания о ленинградском детстве 30-х годов, о родителях — советских интеллигентах, а больше всего — о деде, самородке, чудеке-изобретателе, обла-

давшем широкой русской натурой, жившем в Париже и однажды приехавшем в Ленинград навестить родину.

В рассказе Давида Маркиша «Записки похоронщика Вениамина Семеновича Белоцерковского» («Дружба народов», № 3) старый мудрый еврей рассказывает о своей богатой событиями жизни, в том числе и о лагерном прошлом. Сочные подробности, доброта и сентиментальность на фоне советского абсурда.

Рассказы Аркадия Селезнева («Звезда», № 5) — сентиментально-бытовые истории о престарелом адмирале, впадшем в детство, о тихом чиновнике и его маленьком восьмимартовском романе. А еще одному персонажу приснилось, что все памятники Владимиру Ильичу ушли в эмиграцию...

Среди рассказов Г. Петровой («Нева», № 7) выделяется история жизни бабки рассказчицы. Это незаурядный, решительный и смелый человек, судьба которого в советское время складывается драматично.

В рассказах Магды Алексеевой («Нева», № 8) обращает на себя внимание история мальчика, который в конце 40-х годов встречается с вышедшей из лагеря матерью и переживает перипетии первой влюбленности. Это то прошлое, раны которого болят и сегодня.

«Троим Дементьевич и другие товарищи» Михаила Чулаки («Нева», № 5/6) — простонародные лукавые байки о жизни сварщика Селявенка, который рассказывает о вождях и царях, о своей семейной обыденности, а больше всего — о военном быте. Война в жизни героя-рассказчика — явно главное событие. Колоритный повествователь и забавные истории могут вызвать интерес у читателя.

Заключая представление журнальной прозы третьего квартала 1994 г., назовем ряд публикаций, не уместившихся в условные рамки условных «рубрик» нашего обзора:

— Миниатюры Тимура Зульф리카рова «В чайхане у дервища» («Юность», № 7—8) — афоризмы в восточном стиле о войне, смерти, мудрости, боли и т.д.

— Рассказы Петра Кожевникова («Звезда», № 8) — лирические монологи шара, дупла, обращение к городу и т.п. Тщательные этюды.

— «Сказ» Таисии Пьянковой «Черная барыня» («Юность», № 8) — это стилизация в бажовской манере на досоветском материале о злой чаровнице — купечкой вдове и о хороших, простых русских людях: кузнеце Демьяне и его милой подружке.

— «Деревенский дневник» Людмилы Петрушевской «Карамзин» («Новый мир», № 9). Экспериментально-игровая вещь. Попытка выразить в формах белого стиха поток жизни,

передать инерцию сознания, фиксирующего эту жизнь. Возможно, есть здесь и ирония по отношению и к формам, и к содержанию.

— В «Текстах присланных из Германии» Андрей Битов («Знамя», № 9) рассуждает в своей обычной изысканной манере о всякой всячине. В частности, о Хрущеве, о Дворцовой площади в Петербурге, о своих встречах с немцами, о XX веке и его духовных тенденциях, о Боге.

— Главы из книги Игоря Померанцева «Альбы и серенады» («Волга», № 3—4) не обладают стилевым единством, предлагая познакомиться с разными гранями писательской индивидуальности автора. В главе «Читая Фолкнера», тяготеющей к эссе, автор, разговаривая с Фолкнером, уходя от него и возвращаясь, рассказывает о постепенном вхождении американского писателя в его жизнь, начиная с детских лет, когда он не подозревал о существовании Фолкнера, но тот уже присутствовал в его детских впечатлениях. И потом — знакомство с его книгами происходило как узнавание себя, наполняло «счастьем чтения». Импрессионистичная по манере глава «Немного о тебе, Иосип!» оживляет память детства; автор, не особенно озадачиваясь сюжетами и диалогами, собирает его цвета, запахи, вкусовые ощущения, звуки, жесты. Дальше следуют исповедь собаки, живущей человеческими симпатиями и идиосинкразиями («Альбы и серенады»), и любовные письма иностранки русского и, как видно, дворянского происхождения, написанные к русскому и по-русски, но на искусственном рационализированном языке («ты моя единственная трансценденция»), который больше говорит об авторе писем, чем описываемые ею чувства и сюжеты («Возлюбленный»).

II. Литературная критика

Ситуации в современной литературной критике посвящает статью «Элегия» Сергей Чупринин («Знамя», № 6) — предаваясь элегическим воспоминаниям о критике «перестроечного» периода, перечисляя заслуги литературных критиков перед гласностью и демократией и призывая воздать им должное, автор от «отцов» переходит к «детям» и «внукам», давая им нелицеприятные характеристики, а затем набрасывает контуры завтрашнего дня литературной критики, в котором предвидит «резкое изменение культурной парадигмы», «смену жанров, амплуа, профессиональных привычек». Автор намечает следующую эволюцию творческих позиций критики: от критиков-идеологов первых лет перестройки к экспертам, а от них — к нарциссическому самовыражению. Чупринин сожалеет, что в критике ярких индивидуальностей не так много, как заявок на них. Все ограни-

чивается «монструозным амплуа»: «эстет-хам, умник-сплетник». Тем не менее автора радует приток свежих имен в критику, это внушает ему некоторую надежду в отношении ее будущего.

Сегодняшнее состояние русской поэзии обсуждается в публикации Алексея Машевского и Алексея Пурина «Письма по телефону, или поэзия на закате столетия» («Новый мир», № 7), где два поэта в культурологически-лирическом диалоге (точнее, в монологах с соблюдением диалогических «приличий») строят культурологическо-эстетиком-етафизические концепции и «спектральные» метафоры, стремясь приблизить к себе обсуждаемый предмет. Они размышляют о «завершителе» Кушнере, который «деспотически пользуется всем эмоционально-семантическим репертуаром предыдущей поэзии», о бесспорной «двойной звезде» Бродский—Кушнер, определяющей русло современной поэзии, о «паводковом мелководье авангардизма», об эстетической ущербности и несамодостаточности «постмодернизма», о стихах поэтов, о которых можно говорить «по высокому счету» — Олеси Николаевой, Елены Шварц, Светланы Кековой, Николая Кононова. И, согласившись в том, что предмет обсуждения ускользает от попыток выявить его «с помощью логических дискурсов», остается «неизреченным», авторы переходят к обмену поэтическими посланиями.

Обсуждению ситуации в русской поэзии посвящена и статья Михаила Айзенберга «Возможность высказывания» («Знамя», № 6). Автор обосновывает закономерность появления концептуализма, жестко связывая его «с условиями под-советского существования», которое не оставляло поэту иных опор, кроме культурной традиции, где он был обречен на «апробированные формы творческой реализации», на «воспроизводство культурных клише». Ощущая при этом свое время как «пустой промежуток», будучи носителем «выморочного» сознания, которое «лишено настоящего» («Настоящее отсутствует в обоих значениях этого слова: и как настоящее время, и как подлинность... Все пространство поэтической речи автоматизировано, а прямой — национализировано. Старыми словами ничего нельзя сказать»), поэт стоял перед необходимостью «доказать, что реальность существует», и, отказываясь от культурно освященных возможностей высказывания, создавал новый поэтический язык, в котором реальность выявляет себя («Вся нереализованная напряженность, весь драматизм переносится из жизни в пространство языка»).

По-прежнему в центре внимания критики — особенности современной литературной ситуации в целом.

Елена Иваницкая в статье «Модернизм-постмодернизм» («Знамя», № 9) рассматривает постмодернизм не с точки зрения разрыва с литературной традицией, а наоборот — с точки зрения связи и преемственности. Разбирая романы В. Шарова, М. Ку-

раева, А. Курчаткина, А. Королева, привычно относимые критиками к постмодернизму, и не оспаривая этого факта (для отношения к постмодернизму «на сегодняшний день самое главное формальное основание — самоквалификация автора»), автор видит в них отражения «модернистских повествований начала века», отмечая сходные черты (разорванное Я, наложение текстов, зеркальность, включение перечней и пр.) в творчестве Сологуба, Брюсова, Мережковского, Гиппиус, Кузмина, Ремизова и рассматривая их творчество как прототипическое в отношении сегодняшних «постмодернистских созданий» («Модернизм Серебряного века в них подает руку сегодняшнему дню, и рукопожатие модернизма и постмодернизма крепкое — не расцепишь»). Автор считает, что у нас много недооцененных замечательных произведений (см. вышеперечисленные имена). Они выдерживают сравнение с литературой начала века, которая также подвергалась в то время критическим нападкам, а ныне признана чуть ли не классикой. Представленный названными литераторами модернизм—постмодернизм, считает Е. Иваницкая, уже доказал свою творческую силу.

«Литературная газета» тоже начала недавно обсуждение хода и перспектив современного литпроцесса. Первым высказался Вячеслав Курицын («ЛГ», № 34). В статье «Постмодернистская эпоха учит конформизму, но русский писатель с рождения заряжен иначе» он говорит, что отходят уже «рефлексии на теле соцреализма». В современной литературе большую роль играет контекст (жестовость), который оказывается важнее текста. Критик предсказывает оживление жанровых, остросюжетных или сентиментальных форм. Перспективной, с его точки зрения, выглядит стратегия Слаповского и Пелевина — создателей детективно-приключенческих вещей.

Павел Басинский в статье «Мерси!..Мерси» («Литгазета», № 36) возражает Курицыну. Он связывает все надежды с возрождением русского реализма, в чем бесконечно уверен. А потому Басинский советует ждать, пока пройдет мода на симулякры и восстановят в правах реализм. Покамест же критик развенчивает Сорокина, Пригова, Слаповского и все того же Курицына.

Владимир Иваницкий в статье «Эпоха новой анонимности» («Знамя», № 7) делится раздумьями более глобального плана. Он полагает, что сегодня стирается личность художника, и анализирует причины этого, обозначает плюсы и минусы, дает генеральный прогноз на XXI век для русской литературы. Статья любопытна полным отсутствием в ней имен писателей или поэтов, что, очевидно, связано со стратегической мыслью автора.

Игорь Кузнецов в статье «Ах-ах, или Новый сентиментализм» («Литгазета», № 41) ведет речь о «направлении ныне популярном, но вряд ли перспективном». Это проза чувств, ду-

шевных переживаний, написанная с любовью к читателю. Ее представители — Иван Алексеев, Алексей Варламов, Людмила Улицкая, отчасти Андрей Дмитриев. Автор вполне допускает, впрочем, существование и такой литературы.

«К вопросу о происхождении жаб» Инны Пруссаковой («Нева», № 8) — это опубликованные под рубрикой «Литературный фельетон» обширные сердитые заметки о современных литературных нравах. Автор выговаривает критикам-поносителям и хулителям, которые чохом и огулом все и всех заодно отрицают. Таковы Виктор Топоров, Вячеслав Курицын, Виктор Ерофеев, Лев Наврозов, Михаил Золотоносов. Пруссакова защищает литературу советского времени от «младокритиков», которые «горой стоят за модерн», и призывает уважительно относиться к писателям.

Статья Вячеслава Вс. Иванова «Взгляд на русский роман» («Звезда», № 7) дает обзор прозы, составленный председателем жюри премии Букера 1992 года на материале произведений, выдвинутых в тот год на соискание Букеровской премии. Это образец «профессорской» критики — доброжелательно-нейтральной, в меру аналитичной и несколько тяжеловесной.

В диалоге «Пейзаж после битвы» («Нева», № 7) Андрей Столяров и Борис Стругацкий рассуждают о современной ситуации в российской литературной фантастике. В частности, Стругацкий делится такими соображениями: катастрофы нет, надо потерпеть, когда читатель обещается иностранщиной, есть отечественные литературные традиции. Собеседники сходятся на том, что литература держится на отрицании, она не предлагает ничего позитивного, в отличие от религии. Ибо наш мир — это мир зла, а наша жизнь — это борьба со злом.

Вячеслав Рыбаков в фельетоне «НФ в предложенных обстоятельствах» («Звезда», № 5) также озабочен судьбой лит-фантастики. Он жалуется на времена и нравы, пеняет на рынок, где отсутствует спрос на «серьезную фантастику».

Из публикаций, посвященных творчеству отдельных современных поэтов и прозаиков, отметим следующие:

Журнал «Звезда» посвящает свой 6-й номер *Александру Солженицыну*. Помещены несколько статей, речей, интервью писателя, воспоминания, письма советских граждан по поводу его высылки. Ричард Темпест в статье «К проблеме героического мировоззрения (Солженицын и Ницше)» проводит мысль о Солженицыне как авторе своего биографического мифа: то ли патриархе, то ли провозвестнике. Жизнь и творчество писателя явили миру пример героического. Он следует карлейлеву мифо-образу Писателя как Пророка, сознает себя исполняющим исторический долг по отношению к миллионам погибших, карающим мечом Господним в Царстве Лжи. С Ницше Солженицына сбли-

жают пророческий тип поведения и художественной речи, резко оригинальный язык и стиль и пр. Немецкий философ проповедовал миру героя, который преодолел в себе человека. Русский писатель показал миру героя, который преодолел в себе раба. Герой Ницше говорит вместо всех. Герой Солженицына говорит за всех.

Людмила Сараскина в статье «Россия опять собирается с мыслями» сравнивает позднюю публицистику Достоевского и Солженицына.

Никита Елисеев в статье «Август Четырнадцатого» Александра Солженицына — сквозь разные стекла» размышляет о полемике писателя с Львом Толстым и с русской литературой вообще. Критик полагает, что жестокостью субъективной концепции книга Солженицына провоцирует полемику.

В отклике на этот номер «Звезды» Андрей Немзер («Сегодня», 28 октября) замечает, что есть имена писателей, ставшие уже просто словами: понятные без комментариев, ощутимо полисемичные. Есть в русском языке и такое слово — Солженицын.

Марк Липовецкий в небольшой реплике «Приветная песнь совка. О Солженицыне по канонам соцреализма» («Литгазета», № 40) откликнулся на выход в Екатеринбурге книги Ю.А. Мешкова «Александр Солженицын. Личность. Творчество. Время», усмотрев в ней «примитивную совковую пошлость» и заимствования на грани плагиата из своей с Н. Лейдерманом статьи.

Инна Пруссакова в статье «Бард, хроникер, летописец» («Нева», № 7) пишет о творческом пути Булата Окуджавы, главным образом — о его романе «Упраздненный театр». С точки зрения критика, роман является первым по-настоящему полноценным художественным произведением о коммунистах 20—30-х годов, написанным не наблюдателем со стороны, а человеком, выросшим в центре вращения этих судеб. Для Окуджавы это «любимые, близкие люди, ставшие жертвами, и уж потом — люди, забрызганные чужой кровью».

Лидия Пани в статье «Вместо интервью, или Опыт чтения прозы Людмилы Петрушевской вдали от литературной жизни метрополии» («Звезда», № 5) рассуждает о специфике прозы Петрушевской. Это — «свиток эпохи». Здесь ткется ткань советской повседневной жизни. Со слов писательницы Пани излагает ее художественное кредо. Статья прислана в Петербург из Нью-Йорка.

Разнообразие смыслов, облеченных в афористичную и «недоказуемо убедительную» форму содержит статья Ирины Роднянской «Преодоление опыта, или Двадцать лет странствий» («Новый мир», № 8), посвященная роману А. Битова «Ожидание обезьяны». Автор называет писателя летописцем послеоттепельного тридцатилетия, для которого писательство — «не профессиональная, а всецело экзистенциальная задача». «Быть писателем —

его жизненная позиция, его пожизненная каторга». Поэтому Битов не уместается в герое-неписателе, тот не служит адекватным орудием самопознания — отсюда постоянное присутствие автора внутри повествования. Битов фиксирует опыт гибели империи, и в то же время его произведения — это «отчет о поединке писателя с действительностью», где решается проблема обстоятельств и смысла творчества. Битов выразил «драму поколения», о которой критик пишет так: «Вся эта паразитическая, в сущности, неприкаянность, жите нахалюву, запойная рисковость и виюновщина — они утратили электричество и духоподъемность, как только перестали быть формой «тайной свободы», формой сопротивления. (...) Да, все мы тогда поистратились, потеряв добрую половину души, и хоть вроде бы не совсем зря — а спасибо смешно дожидаться». Вступая в неявную полемику с теми критиками и читателями, которые прочли его «слишком утилитарно», как «реквием по вчерашнему миру», предлагает свое прочтение, для начала определяя место романа в творчестве Битова («Прежде писатель существовал в двух жанрах как в двух лицах» — в жанре «путешествия» и в жанре «романа»), жанр романа («роман-странствие» как «гибрид «просто путешествия» и «просто романа», повлекший за собой и трансформацию героя-повествователя — «резко обозначенное Я и ОН раздвоило протагониста обновленного романа, смутив многие читательские умы»), а также закономерность включения романа в качестве замыкающего в трилогию «Оглашенные». Уточняя жанровое определение «роман-странствие» пониманием слова «странствие» («не путешествие, не пересечение пространства, а устойчивая пространственная метафора духовного пути»); автор отмечает видимые приметы этого пути в новом романе: «замечательная юмористическая витальность» («Юмор совершенно вытесняет иронию, проедавшую когда-то до дыр закомплексованного и оглядчивого Монахова», «от иронии к юмору — тоже маршрут странствия»); «преодоление опыта» (опыт — «тюрьма духа, подгонка человека к обстоятельствам, к данностям, круговой конформизм», «Область опыта преодолевается здесь вхождением как в штопор в область риска, усилием прыжка из внешних времени-пространства во внутренние»); духовное сопротивление действительности («Битов написал уникальный по дотошности и темпераменту отчет о поединке писателя с действительностью», «авторский вызов превосходящим силам действительности, эта боевая готовность противопоставить то, что «кажется» воображению, тому, что навязывает себя в качестве неодолимого «опыта», — таковы здесь формы и метод резистанса»). Вместе с тем, приводя цитату из романа: «Империя кончилась, история кончилась, жизнь кончилась — дальше все равно, что», Роднянская видит за этой драмой Автора не личную драму Битова, не его капитуляцию перед «новыми временами», а драму и боль

его поколения, которое питалось энергией сопротивления системе, и «Битов пишет эту боль изобретательно, динамично, весело и честно».

В центре внимания статьи Натальи Ивановой «Дым отечества» («Знамя», № 7) два произведения о войне, написанные в эмиграции, — эпитафия И. Бродского «На смерть Жукова» и роман Г. Владимова «Командарм и его армия», в которых автор видит схожий по направлению пересмотр «слишком простой антисоветской схемы», по которой война была борьбой двух тоталитарных систем. Прочитывая текст романа Владимова «на разных уровнях» («реализм», «правда войны», роман в контексте советской военной прозы, «соревнование с классикой» и «переключки с ней» — «с толстовским текстом и толстовскими мыслями», с «пушкинской линией», «глубинная фольклорная толща» романа, «сказочный фольклорный элемент» и пр.), автор статьи видит в романе отражение народного характера войны и воодушевленности патриотической идеей (в истории России «есть вещи поважней тоталитаризма»).

Григорий Померанц в статье «Белые ночи» («Литгазета», № 35) критически разбирает «Одиссею» Евгения Федорова. Померанц, сидевший с Федоровым в одном лагере, полагает, что писатель исказил акценты в своем лагерном повествовании, подбирал детали, «чтобы втиснуть в нас философию подлеца», постулировав неизбежность духовного падения и подчинения морали «социально близких», тогда как в реальности такой неизбежности не было.

Александр Панов в статье «Антология мужества и здравого смысла. Опыт вульгарно-социологической критики» («Независимая», 17 сентября) характеризует творческую эволюцию Тимура Кибирова. По Панову, он стал последним летописцем ушедшей в небытие страны. Поэт начал в духе «кухонной диссиды русского поэтического андеграунда», сочетая в стихах чувство свободы, ненависть, жалость, любовь. В зрелости же Кибиров воспел «бедную Родину», он пытается спасти исчезающее, проповедует тихие семейные радости и мещанские добродетели. Критик эту метаморфозу одобряет.

Вольф Шмид в статье «Слово о Дмитрие Александровиче Пригове» («Знамя», № 8) формулирует эстетические принципы «концептуалиста» Пригова. Автор в его опусах «существует только в разных ролях, масках, имиджах». «Колеблется... и образ языка». Шмид ищет достоинство в такого рода игровом творчестве, отвергающем любую абсолютную систему координат, нейтрализующем давние оппозиции.

Наталья Иванова под рубрикой «Письма из Москвы в Петербург» дает в «Звезде» (№ 7) «Письмо первое: Благонамеренный». Анализируются творчество и поведение нынешнего ре-

доктора журнала «Наш современник» Станислава Куняева. «Он играет в сильного мужчину, в супермена»: «узы крови — и страсть к крови, к кровавости». «Двойной мотив «разрешенной» крови и крови, текущей в жилах (густой и молодой), ...в конце концов становится и идеологическим». Иванова размышляет также о сегодняшнем направлении «Нашего современника».

Анна Злобина в статье «Фанатик скептицизма» («Новый мир», № 8) пишет о покойной Анне Барковой — поэтессе мятежного дара, без иллюзий и надежд. Не веря ни в Бога, ни в Добро, ни в идеал, Баркова тем не менее сохранила каким-то чудом духовное напряжение: «вечные антагонисты у нее сменили окраску: вместо битвы света и тьмы — борьба ослепительного мрака со скучной и скудной серостью».

М. Кораллов взглянул «С точки зрения Кенгира» («Новый мир», № 8) на арестантские очерки недавнего ээка Л. Самойлова «Перевернутый мир». Критик размышляет о своем старом лагерном опыте и сопоставляет его с опытом очеркиста, отмечая «прелесть новизны», остроту взгляда, притупленного у других большими сроками и давностью воспоминаний. Отмечая внутренний конфликт у Самойлова между утопистом-реформатором и ученым—этнографом, Кораллов полагает, что «в главном очеркист прав. Страну победил ГУЛАГ».

Читатель из Волгограда А.М. Блажко написал отклик на статью Н. Славянского в «Новом мире» № 12 за 1993 год. Отклик опубликован в «Звезде» (№ 7). Блажко отвергает критические оценки Н. Славянского. Для него Бродский — скорее Иов, мужественно сносящий жестокие удары судьбы, чем «озлобившийся на судьбу зануда, литературно талантливый деморализованный тип». У Бродского, по Блажко, «растерянность и скепсис содержания вступают в противоречие со строгой, стройной, гармоничной формой стиха и, в конечном счете, побеждаются ею».

Вячеслав Курицын в статье «Мечь, леть» («Сегодня», 21 октября) откликается уже на отклик А.М. Блажко. Он полагает, что «есть похвалы, которые могут звучать как обливание помоями». В «Звезде» «непрофессионал учит профессионала хорошим манерам». Иосиф Александрович Бродский не добивался памятника в центре Санкт-Петербурга — «За гуманизм и жизнефилию». «Вы хотели крика ястреба, получайте: поэт принадлежит народу».

Ефим Лямпорт в «Независимой газете» по-прежнему дозами и порциями обзорекает очередь новых претендентов на премию Букера. Уже досталось С. Юрьенену, Д. Рубиной, В. Володину, О. Новиковой, не говоря уж о Латыниных. Похвалены Ю. Буйда, А. Бородыня, В. Шаров... Как и обычно, — бесцеремонное «остроумие», грубость и резкость характеристик, полный и демонстративный произвол в оценках.

В связи со смертью Л.М. Леонова ряд журнальных публикаций был посвящен покойному писателю и его последнему роману «Пирамида». Публикация «В поисках «золотого иероглифа». Из беседы профессора А.И. Овчаренко с Л.М. Леоновым 19 ноября 1981 года» («Наш современник», № 8) содержит высказывания Леонова на разные темы — о «хрупкости цивилизации» и «катогре творчества», о любимых писателях, художниках, композиторах, о Горьком — его поддержке и помощи, о сопровождавшем Леонова недоброжелательстве советской критики, о таких его «критиках» как Сталин, Молотов, Жданов. Владимир Перхин в статье «“Я хотел сказать о праве на родину...” У истоков романа Леонида Леонова “Пирамида”» («Москва», № 9) рассказывает об истории идеологических запретов и преследований пьесы Леонова «Метель», написанной в 1939 году, в которой впервые в его творчестве прозвучала национально-патриотическая идея, и о том, как в ходе этой «публичной идеологической порки» у Леонова рождался замысел романа «Пирамида». Статья Ольги Овчаренко «“Ума и рук не хватает обнять Россию...” Роман Леонида Леонова и русская идея» («Москва», № 9) сводится к двум констатациям: в центре романа Леонова «мысль об исторической России, ее предназначении и судьбе», и эта мысль включена в общечеловеческий контекст («Россия показана в романе как место, по-видимому, финального столкновения добра и зла, последствия которого должны определить дальнейшие судьбы всего человечества»).

1. С. Сошинский Надежды и тревоги о России

Летом этого года редакция получила адресованное главному редактору журнала письмо от физика С. Сошинского. К письму была приложена статья «Надежды и тревоги России», о которой автор писал: «Я пытался опубликовать ее в журналах разной ориентации. Но поскольку статья недостаточно «патриотична» для патриотов (в редакции «Москвы» прямо сказали, что слово «патриот» может и должно писаться только без кавычек, и неблагоговейное отношение к «патриотическому движению» недопустимо), а для демократов статья недостаточно «демократична» (потому что я и в самом деле считаю, что наши реформы насквозь лживы), — то меня постигла неудача... Около года назад послал письмо А.И. Солженицыну с рядом вопросов... К письму приложил и статью — не с тем, чтобы Солженицын ходатайствовал, а чтобы просто составил представление о направлении моей мысли. Долго не было ответа. Вдруг... получил письмо, копию которого прилагаю. Солженицын посоветовал обратиться к Вам, я решил попробовать еще раз не похоронить статью. Представляю ее Вам на суд. Да — да, нет — нет. С глубоким уважением, С. Сошинский.

К письму была приложена ксерокопия следующего письма А.И. Солженицына:

«Дорогой Сергей Анатольевич!

Виноват я перед Вами: Ваша статья (и письмо) пришла как раз в такой момент, когда на меня хлынуло очень много писем и материалов. Я положил ее в папку «Церковь» — «потом прочту» — и забыл. Только теперь обнаружил, прочел, очень заинтересован Вашей постановкой вопросов и сочувствую во многом. Пишу сейчас на всякий случай, может и не дойдет (оказии сейчас нет) — оправдаться перед Вами.

В этом году в Москве надеюсь Вас увидеть — и поговорим.

От души всего Вам хорошего.

А. Солженицын

P.S. Не пытались Вы ее еще потом нигде печатать? А надобно. Например, новый «Континент» (И.И. Виноградова) мог бы и взять вполне. (Сошлитесь на меня). Православие прочно стояло и в жизни — включая Смуту. Переломили его Ал. Мих. расколом и Петр. Но есть ценности и кроме жизненных битв».

Ознакомившись с присланной статьей, редакция «Континента» согласилась с А.И. Солженицыным в том, что «Континент» «вполне» мог бы и напечатать эту статью. Не столько потому, что высказанные в ней мысли привлекли нас какой-то особой новизной (темы, обсуждаемые автором статьи, «Континент» постоянно поднимает в своих публикациях — и с тех же, в общем, принципиальных позиций), сколько потому в первую очередь, что статья свидетельствует, несомненно, о все более ширящемся в нашем обществе понимании того, что Россия стоит сегодня прежде всего перед духовным выбором, от которого и будет зависеть ее историческая судьба. И с этой — общественно-репрезентативной — точки зрения статья может быть особенно интересна как раз читателю «Континента». К тому же автор удачно формулирует ряд положений, связанных с конкретизацией тех общих для многих позиций, которые он отстаивает, а также высказывает ряд конкретных соображений, которые тоже могут быть интересны читателю, разделяющему его общие позиции.

А мнение А. Солженицына об этой статье придает ее восприятию, как нам кажется, и некий дополнительный интерес, связанный с самим Солженицыным, с кругом его читателей и корреспондентов, с его отношением к ним, к мыслям и позициям, которые он считает себе близкими.

Приводим статью С. Сошинского (весьма обширную) в сокращении, выбрав для публикации (с согласия автора) наиболее, на наш взгляд, существенные ее фрагменты.

Противоречивое время переживает Россия, тяжелое и благоприятное, время очищения, но и растрепанности, исцеления старых болезней, но и усиления их и появления новых. Время выбора. Оно пришло не случайно, не создано искусственно, не ввезено из-за границы, как думают некоторые. Оно пришло, как наша внутренняя необходимость.

Родовое сходство современных реформ с коммунистическими, начатыми 70 лет назад, в их ОТРИЦАТЕЛЬНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ. Отрицательных импульсов достало сломать существовавшее — но лишь индуцировав далее продолжающееся разрушение.

Абстрактная идея «свободы» и «рынка» обернулась свободой и преуспеванием «абстрактных» же (отвлеченных от народной жизни) «деятелей»: ничего не производящих перекупщиков, ничему не служащих дельцов, без царя в голове и без совести идеологов и просто мошенников, фальсификаторов, вымогателей, да еще «сексуалов», да «астрологоманов» и «окультистов». Им-то всем и принадлежит сейчас реальная власть, которую они уже не отдадут без крови. Начался — и не отдельными симптомами, а системно — новый виток старой болезни, мутировавшей из хронической формы вновь в острую. И легкость, с которой произошла трансформация

«коммунистического уклада» в «демократический», указывает, что какие-то фундаментальные черты первого продолжают под новыми именами длиться.

Действительно, наш развивающийся «капитализм» похож на отпавший «социализм» распределительным, не производительным характером, духовным (антидуховным) обликом, использованными средствами — изменилась лишь форма власти и социальной жизни. Свобода на деле оказалась лишь свободой перераспределения наличного государственного, да и непосредственного народного богатства: прочие свободы допущены ради этой главной. Рычагами перераспределения, обогащения одних (не производящих) за счет других (производящих) послужила та неявная, но реальная система великого неравенства, которая существовала, вернее же, была в основании социальной жизни эпохи. Единицы могли решать судьбы народов или проектов, имеющих общее значение. Существовало всеобщее злоупотребление служебным, должностным положением и всеобщее воровство — как, если можно так сказать, «особая форма распределения при социализме». Существовала общая психологическая установка невмешательства, неявного потакания творимому, равнодушного соприсутствия, в котором виноваты все мы, все общество.

Ныне неявное становится явным, и все в прежние годы выносимое за скобки общественного сознания — неравенство, злоупотребления, воровство и т.д.— становится видимым и как бы законным, становится главным рычагом перераспределения реальной власти и денег. Власть должности или знакомств материализуется властью денег. Тайное право единиц превращается в юридически подтвержденное право тех же или новых единиц.

Укоренены в предыдущем периоде и разрушительные силы, вольное развитие которых наблюдаем, и народная апатия; там же истоки нашей глухоты друг к другу и готовности к ненависти. Долго мы были лишены (отчасти будучи сами согласны на это) элементарных условий нормального развития народа: его самопроявления в культурном и социальном творчестве, в культурном и социальном консерватизме, во множестве диалогов, звучащих голосов, в отзывчивости на зарождающиеся проблемы. В общественной и государственной лже-жизни голос не слышал голоса, мысль была разобщена от мысли и дела, сознание воспитывалось «подпольное», разрушалось качество межчеловеческих связей, разрушалось понимание должного и недолжного. Зато каждое сознание, каждый готовый зазвучать голос, каждое суждение приобретали оттенок исключительности и чуть ли не «мировой полноты». Все это выпущено теперь на свободу и играет возрастающую роль.

Если бы только это и можно было сказать, картина была бы вполне унылой. Но здесь и начинается проблема неисчерпаемости ни политикой, ни экономикой, ни культурой всего значения совершающихся процессов. Нечто важное, даже самое важное, происходит совсем в другой области.

За видимыми общественными или экономическими процессами, формами власти, законами, вождями, за демонстрациями, заговорами, кризисами, революциями, реформами, даже за техническим развитием и научными открытиями, — существуют и имеют решающее значение процессы невидимой, трудно обозрваемой духовной жизни, в которой — корни и семена исторических событий. «Оттуда» они произрастают к нам, в действительность. «Там» мы как бы совершаем выбор самих себя, и «там же» — как бы суд над нами; «здесь» — в феноменальной истории, в мире социальной, экономической, культурной жизни, — «исполняется приговор».

Взгляд не новый. В той или иной форме он пронизывает всякое христианское понимание истории. Сошлюсь на Патриарха Тихона, увидевшего в революционной эпохе не катастрофу, спровоцированную врагами русского народа, а «годину гнева Божия» и первопричину его — «тяжкий нераскаянный народный грех». Сошлюсь и на Солженицына, который попытался конкретизировать этот грех, определив (верно или ошибочно) решающий рубеж болезни в расколе 17 века: тогда аукнулось — теперь же откликнулось. Список можно было бы множить. Суть взгляда: человек (а не «экономические отношения» и прочее) — основной объект и субъект истории, над ним Инстанция, которая истории не принадлежит.

Этот взгляд позволяет некоторые события предвидеть — ровно в ту меру, насколько они уже обозначились и определились в обществе внутренне, духовно. Но он же требует осторожного отношения к нашим прогнозам, поскольку смысл исторических событий в них не вмещается.



В двадцатые годы в толпе, смотревшей, как ломается храм, стоял белый офицер, прибывший в Москву с тайным поручением. А рядом стоял англичанин. И этот англичанин недоумевал: «Как можете вы терпеть разрушение ваших святынь? Не понимаю! Не понимаю! У нас в Англии это было бы невозможно: народ не дал бы».

Англичанин, конечно, не понимал природу советской власти и идеализировал Англию, но по сути был прав. Во время изъятия церковных ценностей из 70 тысяч храмов, во время массового поругания святынь, произошло менее полутора тысяч попыток воспрепятствовать этому! Сказать ли, что против рожна не попрешь? Да! Но если бесчестят мать: как смотреть на это, даже если мешает рожон? К святыням эти рациональные формулы не применимы. Этот пример кое-что объясняет (хотя далеко не все) в нашей истории и в нашем сегодняшнем дне.

Если не абсолютизировать формулу, то можно сказать, что власть — лишь зеркало, увеличенно отражающее нам наши лица. И не столько следует обвинять лидеров, разваливших страну, и газетчиков много к тому потрудившихся, сколько озаботиться состоянием здоровья народа: все произошло с нашего молчаливого

согласия, определено нашей аморфностью. Если народ здоров — никто не развалит страну, не будет и революционного беспредела. И тем, кто обеспокоен судьбой России, думать надо не только о власти, которая в «чужих» руках дурна, а в «моих» почему-то будет замечательна, но о состоянии нашего общества, способном и негодную власть сделать годной, и годную негодной, и о качестве того, что мы сами несем в него. Надежды и опасности будущего связаны более всего не с внешними надеждами успеха и внешними опасностями неудач, а с истиной того, что мы делаем. Основная опасность не в развале страны и экономики, не в возможном голоде, даже не в возможности гражданской войны — хотя все это ужасно, но в еще одном ложном выборе веры, в новой ложной метаморфозе России. Такая опасность внутри нас.

Она определяется внутренней неизбежностью самого предстоящего выбора, и разрушением, которому духовно подверглось общество за миновавшие десятилетия.

Аморфность, пассивность русского народа, наблюдаемые сейчас, обусловлены глубоким обмиранием его в предыдущую эпоху. А это в свою очередь определено тем, что в его жизни всегда имела великое значение вера, и потому — глубиной расплаты за ложный выбор. Единство русского народа испокон носило не этнический, национальный, государственный, языковой (и так далее) характер — хотя все это, конечно, было, но — не главным. История России показывает, что оно носило в своей основе религиозный православно-кафолический характер* (а после революции интернационально-идеологический). Именно этим обусловлена способность русского народа и к ассимиляции, и к вовлечению других народов в пределы империи в круговорот своей жизни. И именно болезнь русского народа как носителя объединяющей силы явилась причиной распада империи. Объединяющая духовность или объединяющая идея — жизненная необходимость русского народа, его внутренняя форма, независимо от того, в какой мере он сам это сознает. Всей исторической судьбой он предуготован к тому, чтобы воплощать в себе то или другое, быть носителем веры или жертвой идеологии. Вне их он пассивен и аморфен, но только — вне их. По внутреннему накалу, который уже присутствует (не в единицах, а в тысячах), чувствуется, что огонь пошел. Поэтому нынешняя аморфность общества обманчива.

Эта предуготованность у огню, к вере или идее, означает великую надежду, но и великую опасность. Охватит ли народ огонь истины и очищения? Или — очередной мираж?

Можно предполагать, что в ближайшие лет пятнадцать именно этот вопрос станет центральным. Между тем со всего мира стекаются к нам многообразные, точно притягиваемые нами прельщения, частью порождаются и здесь. И мы встречаем их в состоянии духовно-тяжелом и неоднозначном.

* И святые, и иерархи русской церкви отнюдь не были только русскими, среди них — представители множества национальностей.

70 лет были годами страдания и выжигания мерзости, понуждающими теперь к духовному трезвению и бодрствованию. Но с той же степенью интенсивности — и в гораздо большем масштабе — они были также годами великого растления и подготовки общества к псевдодуховным инициациям. Агрессивное безбожие казалось бездуховным, двигающимся по поверхности явлений, верящим во внешность и (по выражению Вышеславцева) отрицающим «таинственный центр личности». Реально же оно было мимикрией антидуховного, маскирующим прикрытием (не хитрым людским умом придуманным, но внедренным ИНОЮ СИЛОЙ) — над закупоренной духовной жизнью общества, чтобы глаз не доглядел и ухо не дослышало, ЧТО беспрепятственно зарождалось и развивалось здесь в темноте. И если наш атеизм отрицал «таинственный центр личности», то именно потому, что ЗНАЛ о его существовании. Глуumlения «воинствующих безбожников» 20-х годов, как и многообразные последствия атеизма (бескультурие, тупость, жестокость, хамство... — все формы дегенерации личности, овладевающие постепенно атеистическим обществом), — явились лишь внешней зоной, действием атеизма наружу. По существу, он был силой, с которой ненависть стремилась вытолкнуть сознание из глубины, заблокировать ее, чтобы всецело завладеть ею и оплодотворить собой.

Что именно сеялось в те годы, мы видим (пока лишь частично) по результатам: ненависть, кровь, апатия, развал, которые первыми явились из духовного подполья и теперь у всех перед глазами. Но ими дело не ограничивается. Вслед им из глубины начинает лезть прямая бесовщина: ею нельзя пренебрегать только потому, что она экзотична, а ее формы часто курьезны. Она пластична, быстро эволюционирует. Вслед первому «телецелителю» целые толпы их явились на экраны. В нее включены не слабые интеллектуальные силы и не пассивные. А общее направление всего развития подобной мистики и псевдодуховности — это создание глобальной идеологии, способной захватить человека глубже, чем социальная утопия коммунизма.

Ростки таких идеологий просматриваются как в господствующем левом («интернациональном», «демократическом») фланге нашей общественной жизни, так и в оппозиционном правом, националистическом. Но если наши «демократы», достигнув власти, делами и лобью отчасти себя засветили (и откатывается от них народная поддержка), то оппозиционное («патриотическое») движение пока в значительной мере остается в тени. С этим движением, охватывающем не только политически активные партийные образования, но и широкий пласт сочувствующих, связываются многими как надежды на прекращение бездонного падения (если бы движение привело к установлению спокойной консервативной власти), так, не менее того, и опасения за усугубление этого падения, если «движение» явит сумму борющихся идеологий или еще хуже — одну победившую.

Под общей шапкой «патриотизма» различимы несколько духовно разнородных сил, как в многоугольнике углы-пределы: это

православно-ортодоксальный патриотизм, либерально-гуманистический вместе с экуменически-христианским, прокоммунистический и неоязыческий. Да еще их сочетания, да еще и слой «случайных» или примкнувших сегодняшней выгодой. Очевидно, единство такого суммарного «патриотизма» негативное и вновь определяется отрицательно — оппозицией к «демократам» (как и единство демократов в свое время было негативным и определялось оппозицией к коммунистическому Центру). Такое единство почти необходимо взорвется изнутри, едва исчезнет образ общего врага.

* * *

Присмотримся к крайнему из полюсов этого «единства» — русскому неоязычеству, которому в свое время «патриотическая» «Газета духовной оппозиции» «День» отдала немало страниц, стремясь соединить на них поклонников Дажь-бога и Хорса с проповедью православия и с апологетикой коммунизма.

Суть подымающегося неоязычества — в глубокой закономерности его абсурдной попытки, совершающейся параллельно в левом и правом движениях. В одном — в форме вненационального оккультно-экстрасенсного мистицизма («суперрелигии» глобального синтеза); в другом — в форме псевдовозрождения культа национальных «божеств». Инвариантность к политическим и национальным целям означает, что неоязычество во всех разновидностях имеет единую существенную причину. Ею является не утверждение какой-либо веры, пусть и языческой, а только неприятие христианства (с его несением креста). Как сказал апостол: для иудея соблазн, а для язычника — безумие.

Не противоположность капитализма социализму, Востока — Западу, Запада — России и тому подобное, но именно противостояние этому «соблазну христианства», этому его «безумию» со стороны «правильного мира» и «мудрости мира» — центральная оппозиция мировой истории. Противоположное христианству, в любых идеологиях выраженное, это движение готово перетечь из формы в форму, перекараситься, как коммунисты в демократов, как демократы, часть их, при некоторых условиях — в патриотов, как революционеры в бюрократов, либералы в деспотов, — лишь бы избежать христианства.

Одной из главных черт всего, что противостоит христианству, является сущностное, не на уровне мысли и психологии явленное, а глубже, безразличие к истине и к границе добра и зла. Люди лично порядочные, приняв любую антихристианскую идеологию, будто слепнут, нравственный мир становится относительным, и образ истины (если не наличной, то хоть идеальной цели) вытесняется мифологемами. Это наблюдается среди экстрасенсов, среди последователей Порфирия Иванова, это — универсально (и я знал одного еврея, который, исходя из оккультной идеологии, оправдывал немецкий фашизм, истребивший треть еврейского народа!).

«Если бы язычества не было, его следовало бы придумать!» — принцип современного языческого возрождения. Но если древнее язычество было неволью обременено потенцией демонизма (вклю-

чая также и потенцию христианства), если затем, вытесненное на границу общественного сознания, оно как бы против воли стало сближаться с демонизмом, то современный сознательный его выбор («лишь бы не христианство!») может означать лишь прямой сатанизм (конечно, требующий времени, чтобы выявить себя). Только им может стать небывалый феномен «постправославного и посткоммунистического неоязычества». И в недавнем разговоре с «неоязычниками», объявлявшими себя «русскими нацистами», ибо для них «русская нация — все, а прочие — ничто», я не только встретился с бытующей у них известной оскорбительной версией о рождении Христа, не только с представлением о христианстве, как «троянском коне иудаизма», но и с утверждением допустимости, если нужно, человеческих жертвоприношений! Этот разговор не был уникален, скорее типичен.

И еще черту надо добавить к портрету неоязычества: и в своих левых суперэкуменических, и в правых псевдонациональных формах оно может стать теперь в итоге только интегральным синтезом всего, что вообще есть языческого в мире. Именно в этом его историческая миссия, его «призвание», если угодно — его неизбежность. Быть лишь религией «Хорса» и «Даждь-бога» оно уже принципиально не может. Эти «языческие маски» — только промежуточные имена, сквозь которые современное язычество обречено проваливаться к бездонному и безликому «интегральному синтезу». Это определяется всем типом цивилизации, универсализмом мышления и воли современного человека. Язычество (и именно постхристианское) может возрождаться в настоящее время лишь как **БЕСКОНЕЧНОЕ ЯЗЫЧЕСТВО**, растворяющее в себе частные формы, поскольку его адепты не могут избавиться от того, что внесено не язычеством, а монотеизмом, и прежде всего христианством, — бесконечности. Они несут ее в себе, «заражены» ею. Неоязычество обязано христианству существенными, неустраняемыми качествами, и в то же время наполнено неистовым стремлением к самоопределению и самосохранению. Оно есть религия самоутверждения **ЭТОГО МИРА**, его панрелигия. **ЭТОТ** мир хочет быть всем, всей полнотой бытия, плотью, душой, духом, разумом, — а этой воле противостоит христианство. Христос сказал: «Ищите Царствие Божие и правду его». Поэтому и в Нем самом, и в Его Церкви, и в Его учении глобальное неоязычество обречено постоянно и не на уровне сознания, а если можно так сказать, **ОНТОЛОГИЧЕСКИ** ощущать величайшую для себя опасность, и за это вновь не умом и чувствами, а **ОНТОЛОГИЧЕСКИ** ненавидеть. И действительно, в ветвях неоязычества можно встретить либо стремление **РАСТВОРИТЬ ХРИСТИАНСТВО**, «встроив» его в какую-нибудь «интегральную систему», — либо ненависть к нему, под предлогом его «противоестественности» и «ужасности» (слова могут произноситься разные). Неоязычество — это отрицание христианства более глубокое, чем атеизм, отрицание не только на социальном уровне, но уже на религиозно-духовном. Оно — «подменная религия» и фаза в эволюции антихристианства от атеизма к тому прямому личностному и духовному подлогу христианства,

которое, по пророчеству апостола, совершится в свое время. Нет сомнения в том, что неоязычество в «левых» или «правых» формах из чисто духовных и идеологических установок постепенно развернется в общественные, социальные и политические силы, так сказать «материализуется». Вот почему этому вопросу уделено здесь такое место.

Что же касается «коммунистического патриотизма», то сам по себе, в узком смысле — как «марксистско-ленинское учение», он едва ли имеет духовную силу и шансы на будущее (только разве в виде кратковременного всплеска перед окончательным рассыпанием), а поэтому в поисках идей обречен перетекать в новые формы. Но принося в них свой тип и мощный комплекс наработанных стереотипов и регенерирующих структур, он (увы) может иметь свое будущее (печальное для страны). Не имея стенового хребта (в онтологическом смысле), коммунизм может при определенных условиях срачиваться с чем угодно, превращаться во что угодно, произносить любые слова, перекрашиваться в любой цвет. Когда-то так революционный коммунизм стал бюрократическим, а в наши дни породил многих «демократов» (сохранивших духовный тип и комплекс партийных привычек). Покинув опустевшую оболочку, они ушли туда, где живее (то есть выгоднее). Перед тем же выбором стоят и остальные, но если за новыми идеями не идут в демократы, значит, остается определяться в пределах «патриотической оппозиции». Одни будут сближаться и усиливать «неоязыческий патриотизм», другие — вносить путаницу в христианский (а третьи — делать то и другое сразу).

* * *

Состав «патриотического движения» еще сложнее из-за противоречий и внутри его основных направлений. Так, заметна подспудная поляризация православно ориентированного патриотизма по отношению к двум ценностям: Бог или Россия? Как бы мы ни хотели видеть их единство, оно условно и относительно, и вопрос, что важнее для нас — оказывается принципиальным. При этом слова произносятся схожие, а итог будет разным. Принимаем ли Россию во имя Божие, то есть потому, что истинно усматриваем попечение Божие в ней, Его о ней волю, а в ней самой — пусть и замутненный, а все же святой образ; или принимаем Бога (а вернее, Православие, а еще вернее — институт Православия) во имя России, потому что такова традиция? Первое — христианство, второе — идолопоклонение. В одном случае мы имеем эталон для понимания России, и всего нашего в ней дела; во втором — мы язычники, выбираем эталоном тварный образ (Россию), а значит — утрачиваем и сам эталон, и границу добра и зла, истинного и ложного*. В первом случае мы понимаем, что как бы ни ценили Россию как оплот Православия, она ему не тождественна, может

* И сам образ Православия при этом с необходимостью будет деформироваться.

пасть (чему мы свидетели) — при этом собирая в себе воинственное противохристианство, и тогда Бог, если захочет, может и другой народ поставить на место русского, как призвал язычников на место иудеев. (Вспомни слова апостола к возгордившимся христианам: «Не ты корень держишь, но корень тебя. Держись верою, не гордись, но бойся. Иначе и ты будешь отсечен». Рим., 11-18-22). Нет ничего дурного в том, что любовь к России может подвигнуть человека на путь к Церкви. Но исповедание Православия во имя России с фактическим поклонением последней — утонченная форма антихристианства, иногда очевидного*, но чаще выраженного внешней гипертрофией ортодоксальности, жестокостью, нетерпимостью, каким-то отсутствием меры и вкуса. Другие народы будто и вовсе уже не могут нести в себе ничего хорошего, чему и нам не мешало бы поучиться. Мы самые умные, чистые, верные — будто не мы рушили церкви или молчаливо пустили это, не мы убивали или пустили убийство десятков миллионов, не наш народ спивается, не мы по деревням и городам безразличны к судьбе соседа (о чем не раз слышал я сетования от деревенских). И вот часть бывших партийцев сближается с Православием в этом гордом (а не смиренном) смысле и уже как-то очень быстро готова проповедовать «Веру, Царя и Отечество».

Православно ориентированный патриотизм тоже, таким образом, весьма неоднороден. В нем несомненно есть струя подлинного возрождения, развивающегося рука об руку с медленным, трудным воцерковлением России (пока очень малой части). Вместе с пробуждением к покаянию, так необходимому для жизни. Вместе с прорастанием образа подлинной, христианской красоты в тысячах — или уже в десятках, а может быть и сотнях тысяч — душ. И эта сверхнациональная, католическая красота есть также и красота национальная. Она требует своего облачения в мысль, в действие, перерастания в жизнь — отдельных людей, братств, коллективов. Так мог бы этот процесс, углубляясь и расширяясь, поднять и воскресить народ.

Но в то же время не только «слева» в широчайшем масштабе совершается разращение российского общества псевдодемократией и прививками соответствующей «духовности», но в самом «патриотическом движении» и под тем же именем «патриотизма» потянулись вверх ядовитые ростки противохристианства. Так слева и справа оба потока сжимают неокрепшее ядро возрождающейся России.

Не бесследно прошли 70 богоборческих лет.

* В одной из бесед человек, называвший себя «православным» — но, очевидно, в последнем смысле, — заявил, что его и его друзей в Православии не удовлетворяет аполитичность Церкви, ее недостаточная целесообразность для России. «Православие должно быть реформировано, чтобы полнее отражать национальные интересы». Этого недостатка, по мнению «реформатора», лишено русское язычество, у которого, быть может, Православие должно кое-что позаимствовать! Таков итог «веры в Бога» «во имя России».

Осквернение души, проникновение в нее темных сил, долгое время безликих и безымянных (именно сейчас получающих свои первые имена, но еще не интегрированных), было главным действием царствовавшего 70 лет атеизма. Это сеялось. Ради этого ставилась блокада сознанию, отрицалась духовная и религиозная жизнь.

Атеизм был закономерным ПЕРЕХОДНЫМ этапом в развитии антихристианства. Последнее, некогда скованное учением Христа, чтобы принять вызов, должно было преобразоваться, по-видимости вобрать в себя все, внесенное христианством, и также по-видимости перекрыть его в глазах народов, «чтобы прельстить, если возможно, и избранных» (Матф. 24, 24). Долгое время сосуществуя рядом с христианством в не до конца воцерковленном мире и не вполне воцерковленных сердцах, оно для скачка в мир полной религиозной подмены нуждалось в перерыве церковной традиции. Развитие гуманизма, просвещения, секуляризованной культуры, идеологии «научной картины мира» среди множества своих значений (отнюдь не только негативных) осуществило такой перерыв.

В России, прошедшей вслед Западу те же этапы, революция как топором перерубила уже истончавшуюся, но еще длившуюся православную традицию. За три поколения система христианских ценностей частью в нас была сломлена, частью подменена, извращена или вытеснена в подсознание. Дом оказывался пуст, и его можно было заселять почти любыми сущностями. Это уже некоторое время происходит и особенно грозит теперь, когда резко усилилась наша восприимчивость к большим идеям. И социальные проекты (плоды некоторых из них мы ощущаем, другие же пока в оппозиции), и псевдонаучные глобальные концепции, давно бытующие в «подпольном научном сознании», и нынешние колдуны, экстрасенсы, астрологи, целители, мистики — все родом из духовного подполья, десятилетиями прикрытого вывеской: «Бога нет». Есть в «подполье» и грани распада, и зачатки идеологий, чаще всего с элементами извращенного христианства, и бытующие мифологические штампы, и глобализм претензий, и неразборчивость в средствах. Дать этому волю — значит окончательно погубить страну, обречь на новый круг идеологизированного ада. Это и есть самая страшная опасность. Ее не удастся отсечь по признаку «наших» и «чужих»; она есть и в «левом», и в «правом», а в общем-то в каждом из нас, детей времени. Поэтому борьба с этой опасностью начинается не с борьбы за власть, а с сознания собственной недостаточности своей и недостатков в своем лагере. Это не означает, что ничего не требуется делать вовне, в политическом смысле, нет. Но всякое такое действие получит создающий, а не разрушительный смысл, лишь поддержанное серьезным нравственным и духовным комплексом. Какому мы духу поверим, какому дадим поселиться в себе? «Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они» — предупреждал апостол (I Иоан. 4,1).

При этом у нас почти нет возможности для срединных альтернатив, вопрос стоит остро: «или-или». Мы не те же, что были в начале века, нет прежнего благодушия и «гуманизма» (равнодушия к вере); но нет и цельности, добротной неиспорченности, которая хотя бы отчасти, но сохранилась в народе до самой революции. Мы выходим из «Вавилонского пленения» другими, чем были в него уведены, никогда нам не быть прежними. Страшный опыт богоотступничества тяготеет над нами. Теперь перед нами стоит разделяющий вопрос: быть с Богом — или пасть хуже прежнего. И ничего срединного. Мы еще не подвели итогов нашему опыту. Выбор — С КЕМ МЫ? — который определится в ряду лет, будет таким подведением итогов. Соответствующим будет и результат для нас.

P.S. За два года, прошедших со времени написания статьи (апрель 1992), не изменилась ли ситуация в России, не следует ли пересмотреть высказанные позиции? Приблизилась возможность еще одной «проходной», не окончательной формы России. Приблизился на шаг и неизбежный главный выбор Россией себя (за 10-15-20 лет). Возросла и опасность выбора ложного «патриотизма», близнеца-антипода властвующей «демократии»: либо популистского, прагматического, без духовной компоненты, либо шумного и радикально-всеядного, свойственного например, газете «Завтра» — наиболее «яркой» из оппозиционных газет, но во многих публикациях являющейся лишь вывернутым наизнанку «Московским комсомольцем». Не дай Бог еще обмануться, поверив шумному, броскому, блещущему «патриотизму» — как свое время такой же «демократии». Спасительный путь, как известно, узок и тих.

Один московский священник много лет тому назад наставлял духовных чад: «Не торопитесь. Идите тихо, мелкими шажками, мелкими шажками — и на Голгофу».

Если присоединимся к этой неприметной, неторопливой процессии несущих свои кресты, если станет это движение народным, Бог даст — справимся, отпустит Он больную родину нашу на свободу и простит нас...

2. От редакции

Информируем наших читателей, что отправленный в «Русскую мысль» «Открытый ответ» главного редактора «Континента» И.И. Виноградова В.А. Сендерову («Открытое письмо» которого, адресованное И.И. Виноградову, было напечатано в «Русской мысли») редакция газеты напечатать отказалась, аргументируя это тем, что не согласна с содержащейся в нем квалификацией текста, сочиненного В. Сендеровым и опубликованного газетой. Поскольку и письмо В. Сендера, и ответ И. Виноградова были опубликованы в предыдущем номере «Континента» и читатель сам может судить о их содержании, мы воздерживаемся от каких-либо комментариев по этому поводу, предоставляя читателю самому судить и о том, как понимает элементарные нормы демократической печати газета, столь ревниво следящая за развитием демократии в России и так охотно поучающая нас на этот счет из своего парижского далека.

АРТ-ФОНАРЬ

АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ

Ежемесячное приложение к еженедельнику

«Арт-фонарь» – одно из шести приложений к самому популярному еженедельнику “Аргументы и факты”. Если Вы любите кино, театр, музыку, живопись, следите за новинками литературы и моды

«Арт-фонарь» – Ваша газета.

Подписной индекс 32132.

Телефоны редакции:

924-94-49,

925-54-93.

Художник М.Кудрявцева

Сдано в набор 01.11.94. Подписано в печать 01.12.94.

Печать офсетная. Бумага офсетная №1.

Формат бумаги 84×108/32. Гарнитура "Таймс".

Тираж 5 000 экз. Заказ № 482

Цена договорная.

Л.Р. № 010184

Издательство "Московский рабочий", 101923, ГСП, Москва, Центр,
Чистопрудный бульвар, 8а

Адрес редакции журнала "Континент":
101923, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8а.
Телефон: (095) 928-97-42.

*Оригинал-макет изготовлен
в Центре информационного обслуживания
и подготовки печатных материалов АО "ФинСтатИнформ"*

Отпечатано в Московской типографии № 13 Комитета РФ по печати.
107005, Москва, Денисовский пер., 30.

1994 год, №4

К

